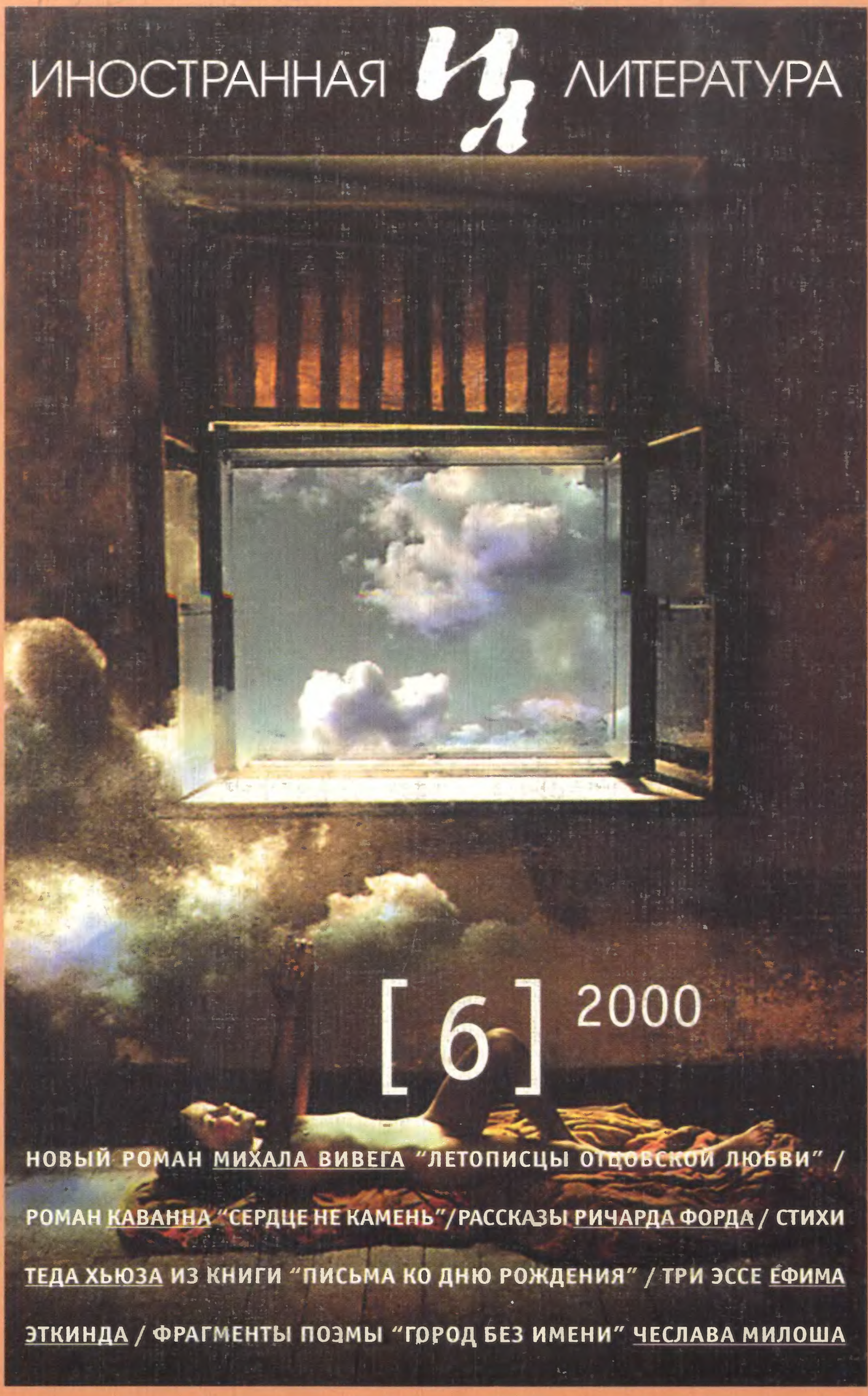
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[6] 2000

НОВЫЙ РОМАН МИХАЛА ВИВЕГА "ЛЕТОПИСЦЫ ОТЦОВСКОЙ ЛЮБВИ" / РОМАН КАВАННА "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" / РАССКАЗЫ РИЧАРДА ФОРДА / СТИХИ ТЕДА ХЬЮЗА ИЗ КНИГИ "ПИСЬМА КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ" / ТРИ ЭССЕ ЕФИМА ЭТКИНДА / ФРАГМЕНТЫ ПОЭМЫ "ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ" ЧЕСЛАВА МИЛОША

Основан в 1891 году

25 мая
названы имена лауреатов
наших ежегодных литературных премий

Премия ***ИЛлюминатор***

[учредители – *ИЛ* и Конверсбанк]

присуждена **Сергею Ильину**

за перевод произведений,
вошедших в Собрание сочинений ВЛАДИМИРА НАБОКОВА в 5 тт.
СПб., Симпозиум, 1999.

Премия ***Инолит***

[учредители – *ИЛ* и Конверсбанк]

присуждена **Леониду Мотылеву**
за перевод романа АРУНДАТИ РОЙ *Бог Мелочей.*

Премия ***Инолиттл***

[учредители – *ИЛ* и Конверсбанк]

присуждена **Наталье Мавлевич**

за подготовку и перевод материалов Виртуального круглого стола
Французская литература выходит из чистилища
и за составление, вступительную статью и переводы
в рубрике *Вглубь стихотворения – Псалом* ПАУЛЯ ЦЕЛАНА.

Премия ***имени отца А. Меня***

[учредители – *ИЛ*, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Институт восточноевропейской истории Тюбингенского университета и Академия епископата Роттенбург–Штутгарт]

присуждена **Михаилу Горбачеву.**

Премия ***имени А. Карельского***

[учредители – *ИЛ* и Академия «Гражданское общество»]

присуждена **Ирине Бусыгиной**

за книгу *Регионы Германии*
М., РОССПЭН, 1999.

Почетный ***диплом критики ЗоИЛ***

присужден **Елене Костюкович**

за перевод романа УМБЕРТО ЭКО *Остров накануне.*

[6]

2000

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Ричард Форд. *Рассказы.* Перевод с английского Л. Беспаловой

36 Чеслав Милош. *Город без имени.* Фрагменты поэмы. Перевод с польского С. Морейно

41 Каванна. *Сердце не камень.* Роман. Перевод с французского Алсу Губайдуллиной

168 Тед Хьюз. *Стихи из книги «Письма ко дню рождения».* Перевод с английского и вступление Глеба Шульпякова

177 Михал Вивег. *Летописцы отцовской любви.* Роман. Перевод с чешского Нины Шульгиной

Статьи, эссе

Памяти Е.Г. Эткинда (1918 – 1999)

263 Михаил Яснов. *«Парижские письма» Ефима Эткинда.* Е. Эткинд. *Три эссе.* К. Долинин. *Впервые на французском языке*

Курьер "ИЛ" 281

Авторы номера 286

© "Иностранная литература", 2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература".С 1955 года –
"Иностранная литература"

Из общего тиража
в 13 930 экземпляров
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и безвозмездно
направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 850 экземпляров.

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

Главный
редактор

А.Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н.А. Богомолова
*заведующая отделом критики
и публицистики*

Л.Н. Васильева
*заведующая отделом
художественной литературы*

А.В. Михеев
ответственный секретарь

Г.Ш. Чхартишвили
заместитель главного редактора

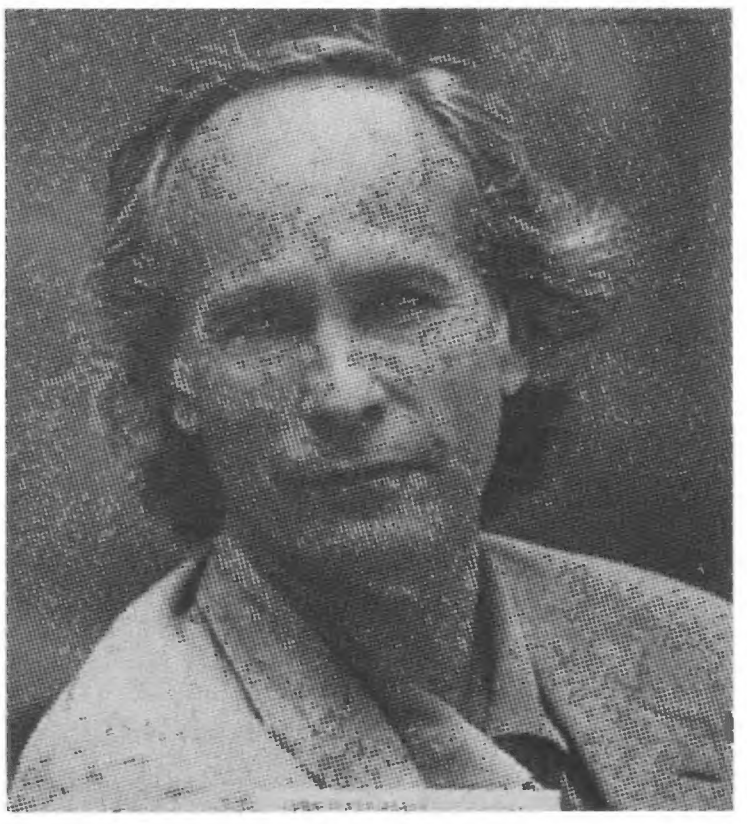
Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С.С. Аверинцев
В.П. Аксенов
С.К. Апт
А.Г. Битов
П.Л. Вайль
М.Л. Гаспаров
Е.Ю. Гениева
А.А. Генис
В.П. Голышев
Т.П. Григорьева
Б.В. Дубин
А.Н. Ермонский
В.В. Ерофеев
Д.В. Затонский
А.М. Зверев
Вяч.Вс. Иванов
В.Б. Иорданский
Т.П. Карпова
А.С. Мулярчик
Д.Б. Рюриков
М.Л. Салганик
Е.М. Солонович
П.М. Топер
Н.Л. Трауберг
М.А. Федотов
Б.Н. Хлебников

Ричард Форд



Рассказы

Перевод с английского Л. Беспаловой

Рок-Спрингс

Мы с Эдной выехали из Калиспелла, держали путь на Тампа-Сент-Пит: там у меня еще имелись дружки с прежних, лучших времен — они не выдали бы меня легавым. Я не поладил с законом в Калиспелле — подделал пару-тройку чеков, а в Монтане за это можно схлопотать срок. И Эдна, я знал, уже прикидывает, что к чему, — думает, что пора уматывать: неполадки с законом у меня не впервой. Она и сама нахлебалась вдоволь: детей у нее забрали, а ее бывший муж Дэнни вламывался в дом и крал вещички, пока она торчала на работе, — вот почему я попервоначалу к ней подселился, ну и еще для того, чтобы дочке моей, Черил, жилось получше.

Не скажу, что́ у нас с ней было — ну а если нас попросту прибило к одному берегу? Правда, любовь родится и на вовсе пустом месте, мне ли не знать. Так что в тот день я, когда вошел, спросил ее только, не хочет ли она все бросить и уехать со мной во Флориду, а она и говорит:

— Почему нет? Терять мне нечего.

Мы с Эдной вместе уже восемь месяцев почитай что как муж и жена — за это время мне случалось и без работы сидеть, и работать на собачьих бегах, и я мог пособить с квартплатой и образумить Дэнни, когда он заявлялся. Дэнни меня побаивался: Эдна ему сказала, что я сидел во Флориде за убийство, но это она приврала. Я и сидел-то всего раз, в Таллахасси: спер шины и ввязался в драку на государственной ферме — тогда одному парню выбили глаз. Но изувечил его не я, и Эдна нарочно понарассказала страхов, чтобы Дэнни не больно безобразил и не заставил бы ее взять детей обратно, она ведь уже устроила все так, чтобы не жить с ними, а Черил уже жила со мной. Я вообще-то не буйный и нипочем

© 1987 by Richard Ford
© Л. Беспалова. Перевод, 2000

не стал бы выбивать человеку глаз, не говоря о том, чтобы убить. Бывшая моя жена Элен сюда бы аж с Вайкики-бич прикатила, чтоб за меня поручиться. У нас с ней никогда до рукоприкладства не доходило, и, по моему разумению, как видишь — быть беде, отойди от греха подальше. Только Дэнни это невдомек.

Мы уже оставили позади половину Вайоминга, направлялись к I-80-й[1], и море нам было по колено, но тут в машине, которую я украл, замигал индикатор бензина, а я знал, что это не к добру.

Машину для нас я раздобыл что надо, малиновый "мерседес" — увел его от дома офтальмолога в Уайтфише, штат Монтана. Украл, потому что думал: для долгого переезда ничего лучше не найти, думал, он накрутил мало километров, — тут я промашку дал; ну и еще потому, что у меня сроду не было хорошей машины — одни допотопные "шеви II"[2] да раздолбанные грузовики, на них я еще мальцом ездил, когда помогал кубинцам возить лимоны.

Нам в тот день сам черт был не брат, и все из-за машины. Я то открывал, то закрывал окна, Эдна отпускала шуточки и строила рожицы. Она, если хотела, бывала заводная. Лицо у нее загоралось, как маяк, и становилось видно, что она красивая, красивая на свой лад. От всего от этого голова у меня закружилась, и я, никуда не сворачивая, доехал до Бозмена, а оттуда прямиком через Йеллоустонский парк до Джексон-хоула[3]. Снял номер для новобрачных в "Куолити-корт" в Джексоне, Черил с ее собачкой Дючонком оставил спать, а мы с Эдной поехали в шашлычную и аж за полночь потягивали там пивко и веселились.

Мне чудилось, что мы распрощаемся с прежней жизнью — оставим плохие воспоминания позади, начнем по-новой. Я до того раздухарился, что сделал на руке татуировку "Славное времечко", а Эдна купила себе ковбойскую шляпу с индейской лентой из перьев, а для Черил — серебряный браслетик с бирюзой, и мы любились на заднем сиденье прямо на стоянке "Куолити-корт"; тем временем над рекой Снейк вставало солнце, и нам казалось, что мы ухватили удачу за хвост.

По правде говоря, я и машину оставил, продержал ее днем дольше, а не столкнул в реку, как надо бы и как всегда делал, и другую не украл оттого, что в такой задор вошел.

Машина забарахлила там, где не то что города, ни одного дома не видно, только низкие горы километрах в восьмидесяти или в ста пятидесяти, кто их знает, а по обе стороны дороги колючая проволока, убитая как камень степь да ястребы парят в вечернем небе, ловят мошек.

Я вылез из машины — посмотреть, что с мотором, а Эдна вывела Черил и собачонку — попи́сать у машины. Я проверил воду, проверил индикатор бензина, все было в ажуре.

— Что значит, если эта лампочка загорается, Эрл? — говорит Эдна. Подошла ко мне, встала у машины — шляпа на затылке. Прикидывала, чем это для нее обернется.

— Дальше ехать нельзя, — говорю. — С бензином неполадки.

Эдна бросила взгляд на Черил и Дючонка — они сидели рядышком, как две куклешки, пи́сали на плотно убитую землю; затем посмотрела на горы — они все больше чернели и терялись вдалеке.

1. Федеральная автомагистраль, соединяющая разные штаты. Идет с востока на запад. Такие магистрали носят четные номера. (*Здесь и далее — прим. перев.*)
2. "Шевроле шеви II" — массовая модель автомобиля 60-х.
3. Джексон-хоул — охотничий заказник. Основан в 1948 г.

— Что будем делать? — говорит. Еще не встревожилась, просто хотела знать, что я намерен делать.

— Дай-ка я еще раз попробую ее завести.

— Что ж, это ты хорошо придумал, — говорит, и мы полезли назад в машину.

Я завел мотор, и он сразу заработал, красная лампочка не загорелась, да и мотор не стучал — так что вроде все было в порядке. Я дал ему поработать вхолостую, потом нажал на акселератор, поглядел на красную лампочку. Но лампочка больше не мигала, и я подумал: уж не примерещилось ли мне, что она горела, а что, если это бликовала хромированная рама окна, что, если я чего-то — сам не знаю чего — боялся.

— Что случилось, папк? — спрашивает Черил с заднего сиденья. Я обернулся — у нее на руке бирюзовый браслетик, у Эдны ковбойская шляпа сбита на затылок, на коленях крохотный черно-белый песик. Девчонка-ковбой из кино, да и только.

— Ничего, детка, все хорошо, — говорю.

— Дючонок там же попикал, где и я пикала, — говорит Черил и прыснула.

— Оба хороши, — говорит Эдна, не оборачиваясь.

Вообще-то Эдна к Черил ласковая, просто она устала, я так понимал. Мы мало спали, а она, как не выспится, на всех кидается.

— При первой же возможности надо отделаться от этого треклятого драндулета, — говорит она.

— И где же эта первая возможность? — спрашиваю: она рассматривала карту.

— В Рок-Спрингсе, в Вайоминге, — говорит Эдна, и так сказала, точно ей это доподлинно известно. — Он в пятидесяти километрах по этой дороге, — и вытянула руку вперед.

Мне-то хотелось на этой машине въехать во Флориду: пусть видят, что я — парень-хват. Но я понимал: Эдна говорит дело — риск слишком велик. Мне уже чудилось, что машина не офтальмолога — моя, а вот на этом-то и прокалываешься.

— Раз так, думается, нам надо ехать в Рок-Спрингс и там разжиться новой машиной, — говорю. Хорохорюсь, будто у нас все идет как по писаному.

— Это ты здорово придумал, — говорит Эдна; нагнулась и крепко поцеловала меня в губы.

— Здорово придумал, — говорит Черил. — А теперь давайте поскорей отсюда уедем.

Такого красивого заката, как в этот день, за всю жизнь не припомню. Едва солнце коснулось окоема, воздух враз запламенел драгоценными каменьями и красными блестками — никогда такого ни до, ни после не видал. Закатов красивей, чем на Западе, нигде нет, даже во Флориде, где, хоть гор вроде бы и нет, окоем сплошь и рядом заслоняют деревья.

— Самое время опрокинуть стаканчик, — говорит Эдна: мы ехали уже довольно долго. — Надо выпить — есть что отпраздновать.

Оттого, что мы решили бросить машину, настроение у нее поднялось. Спору нет, от машины жди беды, и такой, что мало не покажется, значит, надо с ней разделаться.

Эдна вынула бутылку виски, пластмассовые стаканчики; сколько налить, отмеряла по дверце бардачка. Она любила выпить в машине, в

Монтане обзаводишься такой привычкой: там это законом не запрещено, а вот, поди ж ты, за подделку чека загремишь в тюрягу на год, не меньше.

— Рассказывала я тебе или не рассказывала, что у меня была обезьянка, — говорит Эдна и поставила мой стаканчик на приборную доску, чтобы я мог дотянуться до виски, когда выпить захочется. Она перестала кукситься. За ней такое водилось — только что была веселехонька, глядь, а она уже скисла.

— Да нет, вроде не рассказывала, — говорю. — А ты тогда где жила?

— В Мизуле, — говорит она. Закинула босые ноги на приборную доску, стаканчик на грудь поместила. — Я тогда подавальщицей работала в АМВЕТ'е[1]. Это было до того, как мы с тобой познакомились. Входит раз в бар парень, при нем обезьянка. Паукообразная обезьянка. А я ему и говорю, просто так, в шутку: "Бросим кости на твою обезьянку". А парень мне: "Бросаем один раз". Я ему: "Идет". Он сажает обезьянку на стойку, берет стаканчик, выкидывает две шестерки. Я беру стаканчик — выбрасываю три пятерки. Стою и смотрю на парня. А парень ведь просто мимо шел и зашел — не иначе как ветеран. Лицо у него стало чудное — а у меня, думаю, еще чуднее, — он вроде разом и огорчен, и удивлен, и рад. Я ему говорю: "Давай бросим еще раз". А он мне: "Ну уж нет, не в моем обычае по второму разу бросать, что бы на кону ни стояло". Посидел, попил пивка, покалякал о том, о сем — об атомной войне да о том, что надо бы возвести твердыню — не знаю, что уж он имел в виду, — в Биттерруте[2], а я на обезьянку смотрю и думаю, что с ней делать, когда парень уйдет. Ну а он чуть погодя встает и говорит: "Что ж, прости-прощай, Живчик", — так, понятное дело, обезьянку звали. И был таков — я рта не успела раскрыть. Обезьянка весь вечер просидела на стойке. Не знаю, Эрл, почему я о ней вспомнила. Неспроста это. Но я отвлеклась.

— Ну и хорошо, — говорю. И глотнул из стаканчика. — Я бы нипочем не завел обезьянку. Уж очень они шкодливые. А вот Черил наверняка хотелось бы обезьянку, верно я говорю, детка? — Черил елозила по сиденью, играла с Дючонком. У нее в ту пору только и разговору было что об обезьянках. — А куда ты дела эту обезьянку? — спрашиваю, а сам не спускаю глаз со спидометра. Скорость пришлось сбавить, потому что красная лампочка мигала. И, чтоб она не мигала, ничего не оставалось, как сбавить скорость. Мы ехали со скоростью километров пятьдесят, может, чуть побольше, а через час уже начнет смеркаться, и мне хотелось думать, что до Рок-Спрингса не так и далеко.

— Тебе в самом деле интересно? — говорит Эдна. Глянула на меня, и обернулась, и стала смотреть на пустыню, где ни души, так, словно та ее на какие-то мысли наводит.

— А то нет, — говорю. Я все еще храбрился. Думал: пусть у меня болит голова о поломке, а они для разнообразия пусть поживут в свое удовольствие.

— Она у меня пробыла неделю. — Эдна вдруг посмурнела, вроде как увидела эту историю с какого-то другого боку. — Я ее взяла к себе и в свою смену носила взад-вперед на работу и домой. Проказить она не проказила. Я подняла ее стульчик повыше, и она сидела позади стойки — посетителям она нравилась. Она тихохонько, приятно так цокала язычком.

1. АМВЕТ — общественная организация американских ветеранов второй мировой войны, Кореи и Вьетнама. Занимается помощью ветеранам и инвалидам.
2. Биттеррут — хребет в Скалистых горах.

Мы ее перекрестили в Мэри: бармен сказал, что это девочка. Но дома я с ней не знала покоя. Она, казалось, прямо-таки не спускает с меня глаз. А как-то заходит в бар парень, из вьетнамских ветеранов, еще солдатской формы не снял. И он мне и говорит: "Ты что, не знаешь, что обезьяна убить может? У нее в пальцах такая сила, какой у тебя во всем теле нет". Во Вьетнаме, говорит, обезьяны убивали людей, только заснешь — они давай безобразить, убьют тебя и сверху листьями закидают. Я ему вроде бы ни на грош не поверила, а вот поди ж ты — пришла домой, разделась и все смотрю-смотрю на Мэри, а она сидит на своем стульчике в темной комнате и не спускает с меня глаз. И такая меня жуть взяла. Немного погодя я встала, пошла к машине, достала проволоку, на которую белье вешают, вернулась, продернула проволоку под ее серебряный ошейничек, привязала к ручке двери, залезла обратно в постель и заснула. Спала, видать, как убитая, хотя сама того не помню, потому что, как встала, вижу: Мэри свалилась со стула и проволока ее удушила. Слишком я проволоку укоротила.

От этого рассказа Эдна, похоже, сильно приуныла и сползла на сиденье низко-низко, так, чтобы приборная доска заслоняла дорогу.

— Ну скажи, Эрл, разве не стыд, эта история с бедной обезьянкой?

— А вон город! Вон город! — Черил с заднего сиденья кричит. Дючонок давай лаять, такой тарарам поднялся в машине — чертям тошно. Так оно и было: Черил углядела то, чего я не различил, — Рок-Спрингс (штат Вайоминг) сверкающим бриллиантиком в пустыне расположился у подножья горы, с севера его огибала I-80-я, позади него убегала вдаль чернющая пустыня.

— Это он, тот самый город и есть, детка, — говорю. — Туда-то нам и надо. Ты первая этот город углядела.

— Мы голодные, — говорит Черил. — Дючонку хочется рыбки, а мне спагетти. — Обхватила меня руками за шею и обняла крепко-крепко.

— Раз так, все тебе будет, — говорю. — Все, чего угодно. Само собой — и Эдне, и Дючонку тоже. — Я посмотрел на Эдну, улыбнулся ей, но она буравила меня взглядом, и глаза у нее горели злобой. — Что стряслось? — спрашиваю.

— Со мной ужас что приключилось, а тебе без разницы, так надо понимать? — Губы поджала и все на Черил да на Дючонка оглядывается — будто они причиной, что ей плохо.

— И вовсе нет, — говорю, — я так и подумал: это ж ужас что такое. — Мне не хотелось, чтобы она убивалась. Город был уже совсем близко, и в самом скором времени мы сможем посидеть-поесть с толком, не опасаясь никакого ни от кого подвоха.

— Хочешь знать, куда я дела обезьянку? — спрашивает Эдна.

— А то как же, — говорю.

— Сунула ее в зеленый мусорный мешок, бросила в багажник, поехала на свалку и там вышвырнула, — и смотрит на меня так, будто эта история значит для нее очень много, но понять это может только она одна, а больше никому до этого ни в жизнь не додуматься.

— Страх что такое, — говорю. — Но так ли, этак, а тебе ничего другого не оставалось. Ты же не хотела ее убить: если б хотела, ты б не так поступила. Ну а потом надо же было куда-то ее деть, так что тебе ничего другого не оставалось. Может, кто-то и решит, что, раз ты ее выбросила, тебе было ее не жалко, только не я. Бывает так, что не можешь поступить иначе, и тут уж не до того, кто о тебе что подумает. — Хотел было

улыбнуться ей, но, если не сбрасывать скорость, красная лампочка не гасла, и я прикидывал, удастся ли нам добраться до Рок-Спрингса, прежде чем машина совсем остановится. И опять посмотрел на Эдну. — Что я могу еще сказать? — спрашиваю.

— Ничего, — говорит; обернулась и уставилась на темное шоссе. — Что я, не знала — знала же, что́ ты подумаешь. Тебе, Эрл, чего́-то не хватает. Я это давно поняла.

— Хоть оно и так, а все одно ты здесь, — говорю. — И тебе не очень худо. Могло быть и хуже. По крайней мере, здесь мы все вместе.

— Хуже всегда может быть, — говорит Эдна. — Завтра можно угодить на электрический стул.

— Правда твоя, — говорю. — И где-то, сдается мне, кто-то и угодит на него. Только не ты.

— Я голодная, — говорит Черил. — Когда мы поедим? Давайте найдем мотель. Мне надоело ехать. И Дючонку надоело.

Когда машина остановилась, до города было еще порядком, правда, в темноте ясно различалась федеральная автомагистраль, а за ней — светлое от огней Рок-Спрингса небо. На эстакаде тягачи набирали обороты, чтобы подняться в гору, — слышно было, как лязгают их сцепки.

Я выключил фары.

— А теперь что делать будем? — вскидывается Эдна; покосилась на меня, и глаза у нее злые.

— Да вот обмозговываю, как быть, — говорю. — Но, что бы мы ни надумали, ничего особо трудного не предвидится. Тебе и пальцем пошевелить не придется.

— Надеюсь, нет, — говорит и отвернулась.

Через дорогу, позади веревок с сохнущим бельем, метрах в ста виднелся вроде бы как громадный трейлерный парк, а за ним то ли завод, то ли обогатительная фабрика — там горели огни и кипела работа. Во многих трейлерах светились окна, и по подъездному пути — он кончался километрах в двух у эстакады на развязке в другой стороне — сновали машины. Окна трейлеров светились с виду приветно, и я с ходу смекнул, что нужно делать.

— Выходите, — говорю — и открыл дверцу.

— Значит, пешком идти придется? — говорит Эдна.

— Толкать, значит, придется.

— И не подумаю. — Эдна протягивает руку — и заперла дверцу со своей стороны.

— Ладно, — говорю. — Тогда рули ты.

— Думаешь дотолкать нас до Рок-Спрингса, так, Эрл? До него ведь и всего-то километров пять, не больше.

— Я буду толкать, — Черил с заднего сиденья голос подает.

— Нет, детка. Папка будет толкать. А вы с Дючонком вылезайте, только дорогу не загораживайте.

Эдна посмотрела на меня грозно, так, точно я на нее замахнулся. Но когда я вылез из машины, она пересела на мое место, взялась за руль и сердито уставилась прямо перед собой на тополиные заросли.

— Эдне не справиться с этой машиной, — Черил голос из темноты подает, — она ее заведет в канаву.

— Да нет же, детка. Эдна справится не хуже меня. А может, и лучше.

— Не-а, не справится, — говорит Черил. — Не справится она. — Мне показалось, Черил сейчас заплачет, но нет, не заплакала.

Я велел Эдне не выключать двигатель, чтобы машина не встала, и вести ее с включенными подфарниками, чтобы видеть, куда едешь в зарослях тополей. Я подтолкнул машину, она направила ее прямиком в заросли, а я все толкал и толкал, пока мы не отъехали метров на двадцать от дороги и колеса не увязли в сыпучем песке — с дороги нас было уже не различить.

— И где же мы сейчас? — спрашивает Эдна; она все еще сидела за рулем. Голос у нее был усталый и недобрый. Я понимал: ей бы сейчас поесть как следует. Вообще-то она покладистая, и я понимал, что не ее тут вина, а моя. Жаль только, что она не верит в хорошее.

— Ты здесь оставайся, а я схожу в трейлерный парк, вызову такси, — говорю.

— Какое еще такси? — говорит Эдна так, будто я плел несуразицу.

— Будет тебе такси, — говорю и через силу улыбнулся ей. — Такси везде есть.

— И что ты скажешь таксисту, когда он приедет? У нас сломалась краденая машина, подвезите нас туда, где другую можно украсть? Да уж, Эрл, умнее ничего не придумаешь.

— С ним буду говорить я, а ты минут десять послушай радио, потом выходи на обочину — пусть думают, что мы ни в чем плохом не замешаны. И вы с Черил ведите себя чинно-благородно. Черил незачем знать, откуда у нас эта машина.

— Это мы-то ни в чем не замешаны? — из освещенной машины вскидывает на меня глаза Эдна. — У тебя голова плохо варит, Эрл, по-твоему, выходит, все дураки, один ты умный. Но тут ты ошибаешься. Мне тебя жалко. Из тебя, глядишь, мог бы выйти толк, да жизнь пошла не туда.

А мне вспомнился бедняга Дэнни. Он был ветеран и совсем спятил, и я порадовался за него: хотя бы он от этих неурядиц избавлен.

— Посади ребенка в машину, только и всего, — я старался держать себя в руках. — Я ведь тоже есть хочу.

— Надоела мне эта бодяга, — говорит Эдна. — Что бы мне остаться в Монтане.

— Раз так, можешь туда вернуться поутру, — говорю. — Я куплю билет и посажу тебя на автобус. Только утром, не раньше.

— Не волынь, Эрл, двигай в парк. — И она плюхнулась на сиденье, одной ногой выключила подфарники, другой включила радио.

Такой большой трейлерный парк мне еще не встречался. Он каким-то боком имел касательство к фабрике, которая высвечивалась позади трейлеров: видно было, как время от времени машина сворачивает с одной из улиц парка и неспешно подъезжает к фабрике. Фабрика была сплошь выкрашена в белый цвет, трейлеры тоже и походили один на другой как две капли воды. С фабрики доносился громкий гул, и, когда я подошел поближе, мне подумалось, что я нипочем не хотел бы тут работать.

Я подошел к первому же трейлеру, где горел свет, и постучал в железную дверь. Вокруг деревянной приступочки на гравии валялись детские игрушки, слышно было, как бубнит телевизор, но он тут же замолк. Послышался женский голос, потом распахнулась дверь.

В дверном проеме показалась крупная негритянка с широким добродушным лицом. Она улыбнулась мне и подалась вперед — вроде как собралась выйти, но дальше верхней ступеньки не двинулась. Из-за ее

ног выглядывал негритенок, он не спускал с меня взгляда — глаза его были полуприкрыты. Я учуял, что в трейлере больше никого нет, я такое с ходу чую.

— Извините, если помешал, — говорю. — Но у меня незадача вышла. Я Эрл Мидлтон.

Женщина поглядела на меня, потом в темень, где таилось шоссе, будто то, о чем я рассказал, можно разглядеть.

— И что за незадача? — спрашивает и снова перевела глаза на меня.

— Машина сломалась на шоссе, — говорю. — Самому мне ее не починить, вот я и подумал, может, вы разрешите позвонить — вызвать помощь с вашего телефона.

Женщина понимающе улыбнулась.

— Шагу не можем ступить без машин, верно?

— Ваша правда, — говорю.

— Без них все равно как без сердца, — говорит; лицо ее блестело в свете лампочки у входа. — А где ваша машина?

Я обернулся, вгляделся в темноту, но ничего не увидел: даром, что ли, мы упрятали машину подальше.

— Вон там, — говорю. — В темноте ее не различить.

— А кто сейчас с вами? — говорит она. — Жена ваша с вами?

— Она с моей девчушкой и нашей собачкой в машине, — говорю. — Дочка заснула, не то они пришли бы вместе со мной.

— Зря вы их оставили одних — темень-то какая. — Женщина нахмурилась. — На дороге такие безобразия творят — жуть.

— Мне, пожалуй, лучше побыстрее вернуться к ним. — Я старался выглядеть честным, а почему бы и нет: ведь если не считать, что Черил не спит, а Эдна мне не жена, все — чистая правда. Правда обязательно сослужит службу, если только дать ей ход, а я хотел, чтобы она сослужила мне службу.

— Я заплачу за звонок, — говорю. — Поднесите телефон к порогу, и я позвоню отсюда, где стою.

Женщина снова всмотрелась в меня так, словно хотела сама доискаться до правды, потом — в темноту. Ей было за шестьдесят, а может и нет, точно не скажу.

— Мистер Мидлтон, вы меня не ограбите? — и улыбнулась, будто это мы промеж себя шутим.

— Другим разом, — говорю — и улыбнулся, непритворно улыбнулся. — Сегодня я что-то притомился. Как-нибудь другим разом.

— В таком случае мы с Террелом разрешим вам позвонить от нас, хоть папы и нет дома, верно, Террел? Это мой внук — Террел-младший. — Она положила руку на голову мальчонки и посмотрела на него. — Террел ничего не скажет. А если б и сказал, он разрешил бы вам позвонить. Он славный мальчонка. — Открыла сетчатую дверь, и я вошел.

Трейлер был большущий, ковер на полу новый, диван новый, гостиная просторная — прямо как в настоящем доме. Из кухни пахло чем-то сытным, вкусным, и трейлер казался не времянкой, а новым уютным домом, куда только что въехали хозяева. Мне доводилось жить в трейлерах, но что это были за трейлеры — чисто улиткин домик: комната одна, никакой тебе уборной, в них и душно, и тягостно, но я-то думал, может, это только мне в них тягостно.

В комнате стоял большой телевизор “Сони”, на полу разбросаны игрушки. Междугородный автобус был мне знаком: я раздобыл такой для

Черил. Рядом с телефоном стояло новое кожаное кресло со скамеечкой для ног, негритянка знаком показала мне, чтобы я сел, звонил, и дала телефонную книгу. Террел принялся перебирать игрушки, а женщина, покуда я звонил, сидела на диване, смотрела на меня и улыбалась.

В книге значились три таксомоторные компании, телефоны разнились всего на одну цифру. Я набрал по порядку все три номера, ответил лишь последний, причем поименовался названием второй компании. Я сказал, что нахожусь на шоссе, не доезжая автомагистрали, и что мою жену с ребенком надо отвезти в город, а насчет буксировки я договорюсь позже. Покуда я объяснял, где нахожусь, я выискал название буксирной службы — на случай, если таксист поинтересуется.

Когда я повесил трубку, негритянка все еще сидела и смотрела на меня точь-в-точь так, как всматривалась в темноту, так, словно доискивалась до правды. И при всем том улыбалась. Чему-то она радовалась, и я напомнил ей об этом.

— Славный у вас домик, — говорю и откинулся в кресле, а в нем все равно как за рулем "мерседеса": век бы с него не встал.

— Этот дом не наш, мистер Мидлтон, — говорит она. — Это дома компании. Они сдают их нам, можно сказать, за так. А у нас свой дом есть, в Рокфорде, в Иллинойсе.

— Так это ж хорошо.

— Что ж хорошего, мистер Мидлтон, раз приходится вдали от дома жить, правда, мы здесь всего три месяца пробудем, и нам станет полегче, когда Террел-младший в свою, особую, школу пойдет. Сына-то нашего убили на войне, его жена сбежала, а Террела с собой не взяла. Нет-нет, не беспокойтесь. Он нас понять не может. Так что мы мальчоночку не обидим. — Она сложила руки на коленях и умильно улыбнулась. Симпатичная женщина, розово-голубое цветастое платье ее толстило; такой женщине на таком диване в самый раз сидеть. Сразу видно — добрая душа; меня обрадовало, что она не озлобилась, живя с больным мальчонкой в таком месте, где никому в своем уме и минуты по своей воле не прожить.

— А где вы живете, мистер Мидлтон? — вежливо так спрашивает она, и улыбка у нее все такая же сожалительная.

— Мы с семьей сейчас переезжаем, — говорю. — Я офтальмолог, мы возвращаемся во Флориду — я оттуда родом. Думаю завести практику в каком-нибудь городке, где круглый год теплынь. В каком, еще не решил.

— Флорида — хорошее место для жизни, — говорит она. — Я так думаю, Террелу бы там понравилось.

— Можно вас кое о чем спросить? — говорю.

— Почему бы и нет, — говорит.

Тут Террел давай возить по экрану телика свой автобус и так его исцарапал, что каждому, кто будет телик смотреть, царапина бросится в глаза.

— Террел, сынок, не надо, — говорит она и голоса при том не повысила. А Террел знай возит автобус по экрану, и она опять мне улыбнулась так, будто кому-кому, а нам с ней много чего плохого довелось испытать. Только я знал, что Черил нипочем не станет портить телевизор. Она умеет ценить хорошие вещи, а Террел нет, и мне стало эту славную женщину жалко.

— О чем же вы хотели спросить? — говорит она.

— Что́ на этой фабрике — или чего там, позади трейлеров, где огни горят, — делают?

— Золото добывают, — говорит и улыбнулась.

— Что-что? — спрашиваю.

— Золото, — говорит негритянка и улыбнулась; да она, почитай, все время, что я у них пробыл, улыбалась. — Здесь добывают золото.

— Вон там вон добывают золото? — говорю и указал пальцем.

— Каждую ночь и каждый день, — и улыбнулась; видать, рада этому радешенька.

— Ваш муж там работает? — спрашиваю.

— Он пробирщик, — говорит она. — За качеством следит. Работает три месяца в году, остальное время мы живем дома, в Рокфорде. Нам этой работы долгонько пришлось дожидаться. Мы рады были, что внучек живет у нас, но, по правде сказать, я не против, чтобы он уехал. Нам сейчас самое время начать жизнь по-новой, — и она улыбнулась во весь рот мне, потом Террелу — тот ненавистно зыркнул на нее с пола. — Вы говорили, у вас есть дочь. Как ее зовут?

— Ирма Черил, — говорю. — По моей матери.

— Славно-то как. И она у вас ко всему еще и здоровенькая. По вас сразу видно. — Она жалостливо посмотрела на Террела-младшего.

— Мне, похоже, повезло.

— До поры до времени. От детей, от них как радость, так и горе. Мы, покуда муж не получил работу здесь, на золотом руднике, бедовали. А теперь, когда Террел уедет в школу, мы помолодеем. — Она встала. — Как бы вам такси не упустить, мистер Мидлтон, — говорит и пошла к двери, но не для того, чтобы меня выпроводить. Учливости ей было не занимать. — Если нам вашу машину не видно, таксисту и подавно.

— Ваша правда. — Я встал, хоть и не хотелось мне вставать с этого кресла, до того в нем было покойно. — Мы еще не ели, а ваше варево так пахнет, что враз чуешь, как оголодал.

— В городе есть хорошие рестораны, их легко найти, — говорит негритянка. — Жаль, что вы не познакомились с моим мужем. Он у меня замечательный. В нем вся моя жизнь.

— Передайте ему большое спасибо за телефон, — говорю. — Вы меня выручили.

— Вас выручить было нетрудно, — говорит она. — Для чего же еще мы на земле живем, как не затем, чтобы выручать друг дружку. От судьбы не уйдешь, а я вам всего только и помогла, что пойти дальше.

— Давайте надеяться, что все будет хорошо, — говорю и попятился в темноту.

— Я буду надеяться, мистер Мидлтон. Мы с Террелом оба будем надеяться.

Я все махал ей рукой, пока не ушел в темень к укрытой в ночи машине.

Когда я добрался до нее, такси уже пришло. Видны были красно-зеленые огоньки на крыше: они просвечивали сквозь высохшее белье, и я забеспокоился — не наговорила ли Эдна чего-нибудь такого, из-за чего нам не поздоровится, чего-нибудь о машине или о том, откуда мы, мало ли чего. Вот тогда я и подумал, что никогда не умел ничего толком замыслить. Вечно у меня между тем, что я замыслил, и тем, что случалось, был зазор, и мне приходилось применяться к обстоятельствам и надеяться, что я не влипну. Для закона я нарушитель. Но думал-то я по-другому, не как нарушитель, и я не хотел ничего нарушать — святая истинная

правда. Но как-то я прочел надпись на салфетке: от замысла до поступка путь не близкий. Мне мои поступки обходились дорого: частенько поступки мои были поступки нарушителя, а замыслы мои были — чистое золото, не хуже того, что добывали там, где горели и сверкали огни.

— Папк, мы тебя ждем, — говорит Черил; я уже пересек дорогу. — Такси здесь.

— Вижу, — говорю и схватил Черил в охапку.

Шофер сидел на водительском месте, покуривал; свет в салоне не выключен. Эдна в ковбойской шляпе стояла, опершись промеж хвостовых фар о багажник.

— Что ты ему рассказала? — спрашиваю; я уже подошел к ней.

— Ничего, — говорит. — Было б о чем рассказывать.

— Он видел машину?

Она скосила глаза туда, где за деревьями был спрятан "мерседес". В темнотище ни зги не видно, слышно только, как Дючонок копошится в подросте, чего-то ищет, да ошейник его бренчит.

— Куда путь держим? — говорит. — Я такая голодная — того и гляди сомлею.

— Эдна злится, — говорит Черил. — Она на меня огрызалась.

— Все мы устали, детка, — говорю. — Так что ты уж постарайся быть поласковее.

— Она-то не больно ласковая, — говорит Черил.

— Сбегай за Дючонком, — говорю. — И мигом назад.

— Мои вопросы здесь, похоже, мимо ушей пропускают, так надо понимать? — говорит Эдна.

Я обнял ее.

— Вот уж нет.

— Небось подыскал себе в трейлерах бабу и решил с ней остаться? То-то тебя так долго не было.

— Это ты зря, — говорю. — Я должен был так держаться, чтоб комар носа не подточил и мы в тюрьму не загремели.

— Чтоб *ты* не загремел. — Эдна хихикнула, и мне этот ее смешок не понравился.

— Правда твоя. Чтоб я не загремел, — говорю. — За решетку упрячут меня. — Я посмотрел на большое, ярко освещенное скопище белых домов и белых огней позади трейлерного парка, на перья белого дыма, уносящиеся в бездушное вайомингское небо, — эта куча домов впритирку смахивала на небывалый привидевшийся в диком сне замок, где стоит такой гул, что можно оглохнуть. — Знаешь, что там за дома? — говорю Эдне, а она стоит, где стояла, и, похоже, готова тут хоть весь век простоять.

— Нет. Но это не мотель и не ресторан, так что мне без разницы.

— Золотой рудник — вот это что, — говорю и посмотрел на золотой рудник, а он, это я теперь понял, подальше будет, чем поначалу казалось, хоть в холодном небе он и рисовался громадным, близким и высоченным. Я подумал, что его бы надо обнести стеной и сторожей поставить, а то кругом одни огни, забора и того нет. Похоже, первый встречный-поперечный может туда войти и взять что угодно — точь-в-точь как я вошел в трейлер к той женщине и позвонил с ее телефона — хотя, ясное дело, все обстояло не так.

И тут Эдна как закатится. И не злорадным смехом, от которого меня коробило, а участливым смехом, смехом от всего сердца — так смеются,

когда шутке радуются, так она смеялась, когда я впервые увидал ее в Мизуле, в баре "У восточных ворот" в 1979-м, так мы с ней смеялись, когда Черил еще жила с матерью, а я не крал машин, не сбывал поддельных чеков, а имел постоянную работу на бегах. Времечко было получше, как ни погляди. Я услышал ее смех и — поди пойми почему — тоже засмеялся; мы стояли за машиной в темноте и смеялись-потешались над золотым рудником посреди пустыни, я одной рукой обнимал Эдну, Черил нашаривала в темноте Дючонка, таксист покуривал в машине, у нашего краденого "мерседес-бенца" — а уж какие надежды у меня были на него там, во Флориде, — колеса ушли в песок, и больше я его не увижу — мне здесь не бывать.

— Меня всегда интересовало, как выглядит золотой рудник, — говорит Эдна, а сама смеялась-заливалась, аж слезу вытирала.

— Меня тоже, — говорю, — меня давно любопытство разбирало.

— Ну и дураки же мы, верно, Эрл? — говорит она и смеется, остановиться не может. — Два сапога пара.

— Что ж, может, оно и к добру, — говорю.

— С чего бы? Наш он, что ли, этот рудник? Хоть тут и много чего есть, да не про нашу честь, — а сама все смеется.

— Мы его видели, — говорю и указал на него пальцем. — Вот он тут. Значит, мы теперь к нему ближе. А кое-кому и вовсе не довелось золотой рудник повидать.

— Как бы не так, — говорит она. — Как бы не так, нам его не видать как своих ушей.

Повернулась и села в такси — ехать хочет.

Таксист ничего не спросил — ни что с машиной, ни где она: похоже, ничего не заподозрил. А значит, мы вчистую развязались с ней, и какое мы к ней имели отношение, узна́ют, когда уже поздно будет, а то и вовсе не узнают. Таксист, пока мы ехали, понарассказал нам много чего о Рок-Спрингсе: мол, из-за рудника из-за этого сюда народу за последние полгода понаехало отовсюду, и из самого Нью-Йорка тоже, и почитай что все живут в трейлерах. Проституток из Нью-Йорка — он их называл "бардамки", — как запахло большими деньгами, понавалило сюда видимо-невидимо, и вечерами по улицам раскатывают "кадиллаки" с нью-йоркскими номерами, битком набитые неграми в здоровенных шляпах, которые этими бабами управляют. Рассказал, что теперь каждый пассажир, кто в такси к нему ни сядет, перво-наперво спрашивает, где найти бабу, и на наш вызов он не хотел ехать по той причине, что несколько трейлеров рудник отвел под бардаки — для инженеров и компьютерщиков: семьи-то у них далеко. Рассказал, что ему опостылело гонять туда-сюда — добро б за делом за каким, а то за пакостью. Рассказал, что "60 минут"[1] даже сделал об их городе программу, после чего в Шайенне[2] был скандал, но пока бум не кончится, ничего не поделаешь.

— А все благоденствие, — говорит таксист. — К счастью, по мне, лучше быть бедным.

Он сказал, что во всех мотелях дерут втридорога, но раз мы люди семейные, он покажет нам один недурной мотель, где цены божеские. Но я сказал, что нам нужен самый что ни на есть хороший мотель, куда пускают с собаками, и пусть цены кусаются, нам плевать: день выдался

1. Информационно-публицистический тележурнал, выходит еженедельно с 1968 г.
2. Шайенн — административный центр штата Вайоминг.

тяжелый, и хотелось бы его закончить красиво. Мало того, я знал, что в занюханных гостиничках, расположенных черт-те где, полиция тебя скорее будет искать — и как пить дать найдет. Моих приятелей вечно хватали в занюханных гостиничках и туристских мотелях, о которых никто и слыхом не слыхивал. А вот в "Холидей иннах"[1] или в "Трэвел лоджах"[2] — никогда.

Я попросил отвезти нас в центр города, потом на окраину: Черил хотела посмотреть вокзал, и там-то я и увидел розовый "кадиллак" с нью-йоркскими номерами и телевизионной антенной — негр в шляпе с широченными полями неспешно вел его по узкой улочке, где только и есть что бары да китайский ресторан. Видик тот еще — нарочно не придумаешь.

— Вот вам чистой воды уголовник, — говорит таксист и, похоже, погрустнел. — Жалко мне, что такие люди, как вы, видят такое. Город у нас хороший, но кой-какие людишки хотят всем испоганить жизнь. И ведь находилась же прежде управа на всякую шпану и уголовников, но те деньки миновали.

— Ваша правда, — говорит Эдна.

— Не надо из-за этого унывать, — я ему говорю. — Таких, как вы, больше. И всегда будет больше. И лучшей рекламы, чем вы, этому городу не сыскать. Я знаю, Черил будет помнить вас, а не *того* человека, верно я говорю, детка? — Но Черил уже заснула на заднем сиденье, Дючонка из рук так и не выпустила.

Таксист отвез нас к "Рамаде"[3] — она стояла прямо на автомагистрали, неподалеку от того места, где мы сломались. Мне, когда мы въезжали под навес "Рамады", стало даже самый чуток обидно, что мы подъезжаем не на малиновом "мерседесе", а на раздолбанном наемном "крайслере" бог знает какого года, и за рулем старикан, который только и знает, что брюзжать. Хоть и понимал, что так оно лучше. Нам было сподручней без той машины, в самом деле, лучше хоть в какой машине, кроме той, которую взяли на заметку.

Я зарегистрировался под другой фамилией, за комнату заплатил наличными, чтобы все прошло без сучка без задоринки. В графе "род занятий" написал "офтальмолог" и после фамилии поставил "ДМ"[4]. И пусть фамилия не моя, а смотрится хорошо.

В номере — он выходил на зады, я такой и просил — я уложил Черил на одну из кроватей, Дючонка рядом с ней — пусть поспят. Обед она пропустит, но ничего страшного — к утру проголодается как следует и тогда пусть заказывает что душе угодно. Не поест ребенок раз-другой — не пропадет. Мне самому сколько раз случалось не поесть, ну и что — не совсем уж я пропащий.

— Давай закажем жареного цыпленка, — говорю Эдне, когда она вышла из ванной. — В "Рамадах" знатно жарят цыплят, а буфет — я видел — еще работает. Черил можно оставить здесь, пока нас не будет, ничего с ней не случится.

— Мне что-то расхотелось есть, — говорит Эдна. Она стояла у окна, смотрела в темноту.

1. "Холидей инн" — сеть гостиниц выше среднего класса.
2. "Трэвел лодж" — фирменная сеть недорогих мотелей, расположенных вдоль автомагистралей.
3. "Рамада" — сеть респектабельных отелей средней стоимости, расположенных поблизости от автомагистралей.
4. Доктор медицины.

За ее спиной в окне было видно небо в желтоватой светящейся дымке. Я сначала подумал, что это золотой рудник освещает ночь, ан нет, автомагистраль.

— Можно заказать еду в номер, — говорю. — Все, что твоей душе угодно. Меню на телефонном справочнике. Можешь обойтись одним салатом.

— Заказывай ты, — говорит. — Неохота мне есть. — Села на кровать рядом с Черил и Дючонком, ласково так на них посмотрела и приложила руку к щечке Черил, будто проверяла, нет ли у нее жара.

— Славная девчурка, — говорит. — Тебя нельзя не любить.

— Чего бы тебе хотелось? — говорю. — Я, например, не прочь поесть. Может, я закажу себе жареного цыпленка.

— Почему бы и нет? — говорит. — Ты ж его так любишь. — И улыбнулась мне; она все сидела на кровати.

Я сел на другую кровать, позвонил, попросил принести еду в номер. Заказал цыпленка, овощной салат, картошку, булочку, а в придачу кусок яблочного пирога с пылу с жару, чай со льдом. И понял, что не ел с самого утра. Положил трубку и тут заметил, что Эдна смотрит на меня не то чтобы злоехидно или ласково, а так, будто она вроде бы чего-то не понимает и хочет об этом спросить.

— С каких пор тебе так интересно смотреть на меня? — спрашиваю — и улыбнулся ей. Старался не показать, что сержусь, говорить помягче. Понимал, как она вымоталась. Шел уже десятый час.

— Просто я думала, до чего ж погано оказаться в мотеле без своей машины — уехать и то не на чем. Разве это дело? Мне еще вчера вечером погано стало оттого, что та бордовая машина не моя. Видать, та бордовая машина, Эрл, на меня жуть нагоняла.

— Одна из машин на стоянке твоя, — говорю. — Иди вниз, выбирай любую.

— Знаю, — говорит. — Но это будет совсем не то, верно? — Протянула руку, взяла свою синюю ковбойскую шляпу, надела и сбила на затылок, на манер Дейл Эванс[1]. И такая она была славная.

— Знаешь, раньше мне нравилось жить в мотелях, — говорит. — Тут тебе и потаенность, и воля — ну а платила за них, ясное дело, не я. Зато в них ты от всего укрыта и вольна делать что в голову взбредет, раз уж решилась поехать в мотель и заплатить за это, сколько запросили, ну а что до остального, так это только в охотку. Койка, сам понимаешь, и все такое прочее, — и улыбнулась мне по-доброму.

— Ну а теперь-то разве не то же самое? — говорю; я сидел на кровати, смотрел на Эдну и не знал, чего от нее ожидать, что она еще скажет.

— Вроде бы то, да не то, Эрл, — говорит — и уставилась в окно. — Мне тридцать два — пора завязывать с мотелями. Хватит тешить себя выдумками.

— Тебе что, эта комната не нравится? — говорю; и оглядел комнату.

Мне понравились и картинки в современном вкусе, и комодик, и большой телевизор. По мне, так очень даже уютная комната — при том, где нам доводилось жить.

— Нет, не нравится, — говорит Эдна; сказала, как ножом отрезала. — И злиться на тебя из-за этого толку нет. Ты тут ни при чем. Ты для каждого стараешься сделать все, что можешь. Но любая поездка чему-то учит. И я поняла, пора завязывать с мотелями, иначе быть беде. Прости.

1. Жена исполнителя музыки кантри, "поющего ковбоя" Роя Роджерса; с конца 40-х выступала с ним на телевидении и в кино.

— Что это значит? — говорю: я ведь и впрямь не понимал, что у нее на уме, а ведь мог бы догадаться.

— Я, пожалуй, возьму тот билет, что ты предлагал, — говорит она; поднялась и стала лицом к окну. — Утро на носу. А машины, чтобы меня отвезти, у тебя нет.

— Вот те на, — говорю, а сам как сидел на кровати, так и сижу, будто меня оглоушили. Хотел было что-то сказать, попререкаться с ней, но ничего путного не приходило в голову. Не хотел я на нее злиться, а злился.

— Ты имеешь полное право злиться на меня, Эрл, — говорит она, — но винить меня, я так думаю, тебе не в чем. — Обернулась ко мне, села на подоконник, руки на коленях сложила.

В дверь постучали, я крикнул, чтобы поднос поставили на пол, а заказ записали на наш счет.

— А я, похоже, все ж таки виноватю тебя, — говорю. Я рассердился. Подумал: ведь я запросто мог слинять в этот трейлерный парк, бросить все к чертям собачьим, так нет же, вернулся, старался, как у нас не заладилось, дела поправить, для всех старался.

— Не надо. Лучше б ты этого не делал, — говорит Эдна и улыбнулась так, будто хотела, чтоб я ее обнял. — Человек должен, если возможность такая есть, сделать выбор. А по-твоему как, Эрл? Вот я здесь, в пустыне, где мне все чужое, в краденой машине, в номере мотеля, под выдуманным именем, — и денег своих у меня нет, ребенок и тот не мой, и закон за мной по пятам гонится. И выбор у меня есть — сесть на автобус и со всем развязаться. Что бы ты сделал на моем месте? Я точно знаю что.

— Это тебе только кажется, — говорю. Но препираться с ней — доказывать, как бы я мог поступить, а не поступил, — не стал. Что толку. Раз дело до перекоров дошло, значит, все — никого тебе не убедить, хоть и считается, что это не так, и, может, людям другого склада это удается, мне нет.

Эдна улыбнулась, пересекла комнату и обхватила меня руками — я все сидел на кровати. Черил перекатилась на другой бок, поглядела на нас, улыбнулась, закрыла глаза; в комнате наступила тишина. И я стал думать о Рок-Спрингсе — я знал, что всегда буду о нем думать как о подлом городишке, где сплошь уголовщина, проститутки, передряги, где женщина бросила меня, а не как о месте, где я сумел раз и навсегда встать на прямой путь, месте, где увидел золотой рудник.

— Ешь своего цыпленка, Эрл, — говорит Эдна. — А потом давай ложиться. Я устала, но все равно хочу тебя. Ты же знаешь, я от тебя ухожу не потому, что не люблю тебя.

Ночью, попозже, когда Эдна заснула, я встал и вышел на стоянку. Который был час, не скажу: огни автомагистрали по-прежнему выбеливали низко нависшее небо, большущая красная вывеска "Рамады" тихо жужжала в темноте, заря на востоке не занималась, и определить, настало утро или нет, я не мог. На стоянке было полным-полно машин — каждая на отведенном ей месте, — у двух-трех к крыше приторочены чемоданы, багажники битком набиты всяким добром, которое хозяева куда-то перевозят: то ли в новый дом, то ли на горный курорт. Я, после того, как Эдна заснула, еще долго лежал в постели, смотрел по телику "Атланта брэйвс"[1], чтоб не думать, каково мне будет завтра, когда автобус отъедет, и каково мне будет, когда я обернусь — а за мной Черил и Дючонок,

1. Бейсбольная команда.

и о них, кроме меня, некому позаботиться, и мне в первую голову придется раздобыть машину, свинтить с нее номера, потом раздобыть для них завтрак, выбраться на дорогу во Флориду — и провернуть все это часа за два: ведь "мерседес" днем лучше виден, чем ночью, а вести разлетаются быстро. Черил, с тех пор как она со мной, я всегда обихаживал сам. Из моих подружек ни одна ради нее пальцем не пошевелила. Почитай что все они к ней не очень были расположены, но меня, ничего не скажешь, обихаживали, и оттого я в свой черед мог обихаживать Черил. И я знал: когда Эдна от нас уедет, справляться мне станет труднее. Притом больше всего мне хотелось, пусть ненадолго, отодвинуть эти мысли подальше, дать мозгам передохнуть, окрепнуть — мало ли чего нас ждет. Я подумал, что разница между удачливой и неудачливой жизнью, между мной теперешним и теми, у кого машина, каждая на своем месте, стоит, а может, между мной и той женщиной из трейлерного парка при золотом руднике, в том — в силах ли ты начисто выбросить такое вот из головы и плевать на все, а может, еще и в том, сколько таких невзгод валится на тебя за жизнь. Что тут причиной — фарт ли, расчет, только невзгод на них всегда валится меньше, да и по нраву по своему они быстрее их забывают. И мне того же хотелось. Поменьше невзгод, поменьше помнить о них.

Я подошел к машине, "понтиаку" с номерами Огайо, из тех, у которых на крыше громоздятся тюки и чемоданы, да и в багажнике добра навалом — по осадке видно. Я заглянул в окошко. На переднем сиденье лежали дорожные карты, книги в бумажной обложке, темные очки, пластиковые держатели для бутылок, которые вставляют в пазы на дверных панелях. На задних — детские игрушки, подушки, стояла кошачья корзинка; из нее на меня, как на диво какое, таращилась кошка. Все в этой машине мне было знакомо — точь-в-точь так же было бы и у меня в машине, только вот машины у меня нет. Ничего диковинного, ничего незнакомого. Но вот поди ж ты: мне вдруг стало не по себе, я повернулся и поднял глаза на окна мотеля, выходящие на зады. В них во всех не было света, кроме двух. Моего и еще одного. И я — недаром же мне стало не по себе — задался вопросом: а что бы вы подумали, если бы вы увидели, как человек заглядывает посреди ночи в окна машин на стоянке "Рамады"? Подумали бы, что он хочет проветриться? Подумали бы, что он хочет — раз днем ему придется выпутываться из всяких передряг — к ним как следует подготовиться? Подумали бы, что подружка его бросает? Подумали бы, что у него есть дочь? Подумали бы, что он такой же, как вы?

Грейт-Фолс

История эта невеселая. Предупреждаю.

Мой отец — его звали Джек Рассел — и я, мальчишкой лет четырнадцати, жили с мамой в доме на восток от Грейт-Фолса (штат Монтана) неподалеку от городишка Хайвуд, Хайвудских гор и реки Миссури. Это было ровное, безлесое плоскогорье — сплошь одни фермы, где растили пшеницу, отец мой притом к фермерству никогда касательства не имел: он вырос в окрестностях Такомы (штат Вашингтон), его семья работала на компанию "Боинг".

Он, отец мой, служил сержантом в Военно-воздушных силах и демобилизовался в Грейт-Фолс. Но вернуться домой в Такому, как хотела

мама, не вернулся, а устроился в Военно-воздушных силах на гражданскую должность, работал механиком. Снял дом за городом у фермера — тот не хотел, чтобы дом пустовал.

Теперь и дома того тоже нет — я там побывал. Но над зарослями молочая все еще высятся дикие маслины в два ряда да парочка служб. Дом был самый что ни на есть простой, в два этажа, с верандой по фасаду, места для машин около него не предусматривалось. Я тогда ездил каждое утро в Грейт-Фолс на школьном автобусе, отец на машине, а мама сидела дома.

Мама была красивая — высокая, худощавая брюнетка, черты лица у нее были резковатые, и даже когда она и не думала улыбаться, казалось, что она улыбается. Она выросла в Уоллисе (штат Айдахо), год проучилась в колледже в Спокане, потом переехала на побережье — там она и познакомилась с Джеком Расселом. Она была двумя годами старше и вышла за него — так она мне рассказывала, — потому что он был молодой и чудо как хорош, ну и вдобавок рассчитывала, что они бросят свою глухомань и вместе поездят по свету — и так оно, похоже, некоторое время и было. Именно такой жизни ей хотелось до того, как она толком уяснила себе, чего еще ей хотелось и какого будущего вообще.

Отец, когда не возился с самолетами, — охотился или рыбачил, тут ему не было равных. Рыбачить он научился — так он рассказывал — в Исландии, а охотиться на уток — на постах ДРО[1], куда наезжал, когда служил в Военно-воздушных силах. В ту пору — шел 1960 год — он начал брать меня с собой на "вылазки", как он их называл. Мне и тогда казалось, хотя я мало в чем смыслил, что о таком другие мальчишки могли только мечтать, но у них, как правило, дальше мечтаний дело не доходило. Думаю, тут я не ошибаюсь.

И то правда, что отец не знал меры. По весне мы ездили в бассейн реки Джудит, разбивали лагерь на берегу, и за субботу-воскресенье он вылавливал до сотни рыб, а то и побольше. С утра до ночи ничем другим не занимался и никогда не уставал. Насадит кукурузные зерна на крючок номер 4 с поводком, повозит этой хреновиной по дну глубокого озера ниже тяжелого грузила — и рыба клюет, и еще как. И по большей части, оттого что он знал реку Джудит и умел запустить наживку вглубь, ему попадалась крупная рыба.

Та же история с утками — другим его увлечением. Едва северные птицы, как правило к середине октября, сядут на гнезда, он берет меня с собой, и мы сооружаем скрадок из рогоза и пшеничной соломы по одну сторону заросших камышами озерков или болотцев, таких мелких, что их можно перейти вброд, — он их знал во множестве ниже по течению Миссури. Ставим подсадные чучела с подветренной стороны скрадка, и он сыплет зерно так, чтобы голод гнал дичь от подсадных чучел к нам. Вечерами, только отец возвратится с базы, мы уходим из дому — сидим в скрадке, пока не появятся пролетные утки и не присядут к чучелам: их даже подманивать не надо. А некоторое время спустя — порой и целый час пройдет, и стемнеет уже совсем — утки найдут зерно, и вся стая — бывает, штук до шестидесяти — поплывет к нам. И когда по расчету отца они подплывут достаточно близко, он мне и говорит: "Джеки, свети!" — и я встаю и направляю карбидный фонарь на озерцо, и он встает рядом и всех какие ни на есть уток поубивает, если получится, прямо на воде, ну и влет, и на подъеме тоже. У отца был "ремингтон" 11-й модели, длин-

1. Дальнее радиолокационное обнаружение.

ноствольный, с патронником, в который входило десять зарядов, и десятью выстрелами — а стрелял он под птицу — секунд за двадцать убивал или подранивал уток тридцать, не меньше. Я и сейчас слышу выстрел, вижу, как над объятой темью водой просверкивает, один выстрел, другой; стрелял он не так уж и быстро — рассчитывал время, чтобы подстрелить как можно больше птиц.

Что́ отец делал с утками, которых убивал, и с рыбой — продавал, что же еще. В то время законом запрещалось продавать дичь, да и теперь тоже. Толику он оставлял для нас, но большую часть обычно отвозил — рыбу держал на льду, уток, еще необсохших, в джутовых мешках из-под зерна — в гостиницу "Большая Северная" на Второй улице в Грейт-Фолсе, ее тогда еще не закрыли, и продавал негру, поставлявшему их богатым клиентам, а также в вагоны-рестораны поездов, которые следовали через город. Мы подкатывали на отцовском "плимуте" к гостинице с черного хода — всякий раз, когда уже стемнеет, — к бетонному грузовому пандусу, ведущему к двери, над которой горел свет; отсюда было рукой подать до сортировочной станции: иногда я видел стоящие в ожидании отправки пассажирские поезда, золотой, теплый свет в окнах вагонов, пассажиров при костюмах — все они уезжали куда подальше от Монтаны: в Милуоки, или там в Чикаго, или в Нью-Йорк; эти города я — парень четырнадцати лет, чей отец на холоде, в кромешной тьме, продавал незаконно добытую дичь, — и представить не мог.

Поставщик был высокий, сутулый малый в белой куртке, отец его именовал "профессор Гусь" или "профессор Сом", а профессор называл отца "сержантом". Он давал четвертак за фунт форели, десять центов за сига, доллар за крякву, два за белолобого или, скажем, голубого гуся и четыре доллара за канадскую казарку. При мне отец как-то выручил сотню долларов за один улов, осенью и побольше того за уток и гусей, а продаст он дичь, мы едем на 10-ю авеню, делаем остановку в баре "Русалка", по соседству с авиабазой, — и там он гудит с дружками по прежней работе, они рассказывают смешные байки про охоту и рыбалку, а я играю в китайский бильярд и просаживаю деньги на музыкальные автоматы.

Как раз в такой вот вечер беда и приключилась. Октябрь шел к концу. Я запомнил день, потому что это было незадолго до Всех святых, и в окнах домов, мимо которых я проезжал на автобусе по дороге в Грейт-Фолсе, были выставлены вырезанные из тыкв фонари, а во дворах на стульях высажены пугала.

Мы с отцом охотились на уток в заводи реки Смит, выше по течению от того места, где она впадает в Миссури. Он подстрелил тридцать уток, мы поехали в "Большую Северную", где их и загнали, но двух уток отец не продал, оставил в мешке. А отъехали мы от гостиницы, он вдруг и говорит:

— Джеки, поедем-ка сегодня прямо домой. Да ну их, этих забулдыг из "Русалки". Я зажарю уток на решетке. Давай сегодня проведем вечер по-другому. — И как-то чудно́ улыбнулся. Обычно он ничего такого не говорил и вообще так не говорил. Ему в "Русалке" нравилось, да и мама, насколько мне известно, была не против, чтобы он проводил там время.

— А что,— говорю я, — хорошая мысль.

— То-то твоя мать удивится, — говорит он. — Порадуем ее.

Мы проехали мимо авиабазы на 87-й магистрали, мимо взлетной полосы, где самолеты взмывали в ночь. Тьму крапали зеленые и красные сигнальные огни, прожектора на вышке прочесывали небо, пресле-

довали самолеты, удалявшиеся по-над плоскогорьем к Канаде, а то и к Аляске и Тихому океану.

– Ну и ну! – говорит отец ни с того ни с сего.

Я поглядел на него – глаза у него сузились, видно, что-то обдумывал.

– Знаешь, Джеки, – говорит, – твоя мать мне как-то сказала, и этих ее слов я не могу забыть. Она сказала: "От разбитого сердца еще никто не умер". Это было до твоего рождения. Мы жили в Техасе и перессорились вдрызг – и тогда-то ей и пришла в голову эта мысль. Почему, не знаю. – Он потряс головой.

Пошарил рукой под сиденьем, нашел четвертинку виски, поднял ее так, чтобы увидеть в свете идущей следом машины, сколько там осталось. Отвинтил крышечку, отхлебнул и протянул бутылку мне.

– Выпей, сынок, – говорит. – Должно же быть в жизни что-то хорошее.

И я понял: что-то неладно. И не в виски было дело – мне случалось выпивать и раньше, и он не мог об этом не знать, – а в его голосе: в нем сквозило что-то незнакомое, я не знал, насколько это важно, но что это важно – не сомневался.

Я отхлебнул и отдал ему бутылку, но проглотил виски не сразу, подождал, пока оно перестанет печь рот, потом мало-помалу проглотил. Когда мы свернули на дорогу к Хайвуду, огни Грейт-Фолса ушли за горизонт и в темноте высветились белые раскиданные поодаль друг от друга огоньки ферм.

– Что тебя точит, Джеки? – говорит отец. – Девчонки? Как у тебя с ними получится в постели? Тебя, среди прочего, и это точит? – Покосился на меня и снова стал смотреть на дорогу.

– Да нет, это меня не точит, – говорю.

– Что же тогда? – говорит отец. – Что еще может точить?

– Вдруг ты умрешь раньше – вот что меня точит, – говорю, как ни трудно мне было это выговорить, – или мама. Вот что.

– Странно было бы, если бы мы умерли позже, – говорит отец; четвертинку он держал той же рукой, что и руль. Мне и раньше случалось видеть, как он таким образом машину ведет. – Все в жизни так скоротечно, Джеки. И уж это-то пусть тебя не точит. Вдруг мы умрем позже – вот что меня бы точило, будь я на твоем месте. – Он улыбнулся не такой растревоженной, нервной улыбкой, как раньше, а улыбкой, означавшей, что он доволен. Больше он мне никогда так не улыбался.

Мы ехали по-за Хайвудом ровными, бегущими среди полей дорогами к дому. Я видел, как вдали, в прерии, блуждал огонек – это фермер, у которого мы арендовали дом, дисковал поле под озимую пшеницу.

– Что-то он припозднился с этим делом, – говорит отец; отхлебнул виски и швырнул бутылку в окно.– Ему ее не собрать, – говорит, – она вымерзнет.

Я промолчал, но подумал, что отец мало что понимает в фермерском деле, и если он и окажется прав, то совершенно случайно. Он понимал в самолетах и охоте, а больше, по-моему, ни в чем.

– Не хочу лезть тебе в душу, – говорит он, а почему он так сказал, мне невдомек. Я даже не уверен, что он так сказал, но у меня в памяти запечатлелось так. Мыслей его я знать не мог. Только слова.

А я ему и говорю – это я точно помню:

– Вот и хорошо. Спасибо.

На Джералдайн-роуд, которая вела прямо к нашему дому, мы не свер-

нули. Вместо этого отец проехал лишних полтора километра, повернул, проехал еще полтора километра и повернул назад, так что к дому мы подъехали с другой стороны.

— Хочу постоять послушать, — говорит. — В жнивье всенепременно должны быть гуси.

Мы остановились, он выключил фары, приглушил двигатель, мы опустили стекла и стали слушать. Шел девятый час, холодало, хоть дождя не было. Но я, как ни напрягался, не различал никаких звуков, кроме свиста ветра, легонько ворошившего стерню, — гуси же не давали о себе знать. А вот как пахнет виски от меня и от отца, я различал, различал и тарахтенье мотора, и как дышит отец, и как трутся друг о друга и о сиденье наши одежки, ноги, и даже стук наших сердец. Различал желтые огни нашего дома, в темноте к югу от нас он светился сквозь дикие маслины — ни дать ни взять корабль на море.

— Ей-ей, я их слышу, — говорит отец; он высунул голову из окна. — Только они высоко. Сейчас они здесь не сядут, Джеки. Эти ребята, они птицы высокого полета. Поди их поймай.

В стороне от дороги, у защитной лесополосы, около молотилки — фермер бросил ее ржаветь — стояла машина. Можно было различить, как на хроме хвостовых фар играют лунные блики. Это был "понтиак", двухдверный, с жестким верхом. Отец ничего не сказал, ничего не сказал и я, хотя, как теперь понимаю, по разным причинам.

Фонарь над торцевой дверью горел, горел свет и в доме — наверху, внизу. Мама положила на крыльцо тыкву; колокольчики, которые она подвесила у входа, звенели. Мой пес Майор вышел из сарая и стоял в снопе света, пока мы не подъехали.

— Посмотрим, что здесь творится, — говорит отец; открыл дверцу и выскочил. Поглядел на меня — я еще сидел в машине, — глаза расширены, рот сжат.

Мы вошли в дом с торца, по лестнице поднялись из полуподвала в кухню, а там стоит мужик — раньше я его не видел, молодой мужик, блондинистый, лет так двадцати—двадцати пяти. Рослый, в рубашке с короткими рукавами, в наутюженных бежевых брюках. Он стоял по другую сторону обеденного стола, концы пальцев только-только касались столешницы. Голубые глаза уставил на отца — тот был в охотничьем уборе.

— Привет, — говорит отец.

— Привет, — говорит парень; и больше ничего не сказал.

Я, бог весть почему, посмотрел на его руки, длинные, незагорелые. Руки молодого парня, такие руки, как у меня. Короткие рукава аккуратно подкатаны, из-под одного выглядывает краешек зеленой наколки. На столе стакан виски, бутылки нет.

— Тебя как зовут? — говорит отец; он стоял прямо под яркой свисавшей с потолка кухонной лампой. Мне показалось, он вот-вот засмеется.

— Вуди, — говорит парень и откашлялся. Посмотрел на меня, потом протянул руку к виски, но лишь коснулся края стакана. Он не всполошился — это было заметно. И видимо, ничуть не испугался.

— Вуди, — говорит отец и посмотрел на стакан с виски. Посмотрел на меня, потом вздохнул и покачал головой. — А где миссис Рассел, Вуди? Я так понимаю, ты не грабитель, нет ведь?

Вуди улыбнулся.

— Нет, — говорит. — Наверху. Сдается мне, она пошла наверх.

— Хорошо, — говорит отец. — Вот и хорошо. — Вышел было из кухни, но вернулся и встал в дверях. — Джеки, вы с Вуди идите во двор, ждите. Покуда я не выйду, никуда не уходите. — И тут поглядел на Вуди — не хотел бы я, чтобы он на меня так глядел: видно было, что он к нему присматривается. — Надо понимать, это твоя машина, — говорит.

— "Понтиак", да. — Вуди кивнул.

— Так. Ладно, — говорит отец. Опять вышел из кухни и пошел наверх. Тут в гостиной зазвонил телефон, я слышу, мама говорит: "Кто это?" А отец: "Это я, Джек". И я решил не брать трубку. Вуди поглядел на меня, и я понял: он не знает на что решиться. Унести ноги что ли. Да ноги не держали. Притом, сдается мне, он вполне бы мог поступить, как я скажу, скажи я что-нибудь.

— Давай выйдем, — говорю я.

А он мне:

— Ладно.

Мы с Вуди вышли из дома, остановились в круге света от фонаря над боковой дверью. Я был в вязаной куртке, Вуди зяб — голые руки засунул в поглубже в карманы, переминался с ноги на ногу. В доме опять зазвонил телефон. Разок я поднял глаза, вижу — мама подошла к окну, поглядела на Вуди, на меня. Вуди глаз не поднимал и ее не видел, а я видел. Я помахал ей, она помахала мне в ответ и улыбнулась. На ней было платье цвета морской волны. Минуту спустя телефон замолк.

Вуди вынул из кармана рубашки сигарету, закурил. Дым из его ноздрей рванул в холодный воздух, Вуди потянул носом, огляделся, бросил спичку на гравий. Блондинистые волосы зачесаны назад, на висках зализаны; я различил запах его лосьона после бритья, приятный, отдающий лимоном запах. И тут только заметил, какие у него туфли. Двухцветные — черно-белые, — шнурки черные. Носки выступали из-под широких брюк, длинные, блестящие, начищенные, точно он на какое торжество собрался. Такие туфли носить разве что исполнителю деревенских песен, в крайнем случае продавцу. С виду он был недурен, но если столкнуться с ним носом к носу в магазинчике, потом нипочем не узнаешь.

— Нравится мне здесь, — говорит Вуди; головы притом не поднимал, туфли свои рассматривал. — Тихо-спокойно. Небось, отсюда, будь земля плоская, и Чикаго можно увидать. Здесь Великие равнины начинаются.

— Не знаю, — говорю.

Вуди поднял на меня глаза, дым рукой заслонил.

— В футбол играешь?

— Нет, — говорю.

Хотел задать ему вопрос-другой относительно мамы. Но не мог надумать, что бы спросить.

— Я выпил, — говорит Вуди, — а вот поди ж ты — сейчас ни в одном глазу.

Поднялся ветер, и я, хоть и стоял за домом, услышал, как где-то далеко тявкнул Майор; учуял, как пахнет оросительная канава, как она журчит в поле. Канава протянулась от Хайвуд-крика до Миссури километров на тридцать, не меньше. Вуди ничего про это не знал и ни услышать, ни учуять ничего не мог. И ничего ни про что здешнее он знать не знал. Я услышал голос отца: "Вот смеху-то", потом в доме выдвинули-задвинули ящик, закрылась дверь. И больше ничего.

Вуди повернулся, посмотрел в темноту, туда, где горизонт заливало

зарево огней Грейт-Фолса, и мы оба увидели, как сигналит самолет, — он шел на посадку.

— Раз в Лос-Анджелесском аэропорту я прошел мимо брата и не признал его, — говорит Вуди; он вглядывался в темноту. — А брат меня признал, вот какая штука. Говорит: "Эй, браток, ты против меня чего имеешь или что?" Да не имел я ничего против брата. И что нам, и мне, и ему, оставалось — только посмеяться.

Вуди повернулся и поглядел на наш дом. Руки в карманах, сигарету зубами зажал, мускулы напружил. И тут я увидел, что руки у него покрепче, посильнее, чем мне представлялось. Жилы на них набухли. И меня разобрало любопытство: что такое знает Вуди, чего я не знаю. Не о маме — об этом я ничего не знал и знать не хотел, но о самых разных вещах: о том, что за жизнь там, в темноте, о том, как он здесь оказался, об аэропортах и даже обо мне. У нас с ним не такая уж и большая разница в возрасте, это я знал. Но Вуди — одно, я — совсем другое. И я задумался, стану ли я когда-нибудь таким, как он, поскольку, сдается, это необязательно так уж и плохо.

— А ты знаешь, что твоя мать уже была замужем? — говорит Вуди.

— Да, — говорю. — Знаю.

— Нынче с ними со всеми так, — говорит он. — Спят и видят, как бы развестись.

— Похоже на то, — говорю.

Вуди бросил сигарету, отшвырнул ее носком черно-белой туфли. Поднял глаза на меня и улыбнулся так, как улыбался еще в доме, так, словно бы он что-то знает, но тебе нипочем не скажет, улыбнулся так, что тебе делалось погано оттого, что ты не Вуди и ни в жизнь им не станешь.

И вот тут-то из дома вышел отец. По-прежнему в клетчатой охотничьей куртке и вязаной шапке, только лицо у него стало белое как мел, никогда больше не видел, чтобы у человека так побелело лицо. Вот какая странность. Я почувствовал, что он сломался изнутри, потому что вид у него был поврежденный, такой, словно он себя каким-то манером покалечил.

Следом за ним из двери вышла мама и остановилась в круге света на верхней ступеньке. В платье морской волны, это платье я видел в окне — прежде я его на ней ни разу не видел, — поверх она надела короткое пальто, в руке несла чемодан. Она посмотрела на меня и покачала головой, но так, чтобы никто, кроме меня, не заметил: вроде как бы давала знак, что сейчас лучше помолчать.

Отец — руки в карманах — пошел прямиком к Вуди. На меня и не поглядел.

— Чем на жизнь зарабатываешь? — говорит, а сам почти вплотную к Вуди подошел. Еще чуть-чуть, и его куртка Вудиной рубашки коснется.

— В BBC служу, — говорит Вуди.

Поглядел на меня, потом на отца. Увидел, что отец на взводе.

— А сегодня у тебя выходной, так надо понимать? — говорит отец.

Еще надвинулся на Вуди, руки из карманов не вынимает. И как толканет Вуди грудью, и Вуди вроде не противится — позволяет отцу себя толкать.

— Нет, — говорит и покачал головой.

Я посмотрел на маму. Она стояла, смотрела на них. Можно подумать, ей отдан приказ, и она ему повинуется. Она не улыбалась мне, хотя, я так думаю, думала обо мне, и от этого мне стало не по себе.

— Ты что? — говорит отец; он стоял лицом к лицу с Вуди, прямо-таки лицом к лицу, и голос у него был сдавленный, точно ему трудно говорить. — Ты что себе думаешь? Ты что, совсем ничего не соображаешь?

Вынул из куртки револьвер, ткнул Вуди в подбородок, в мягкую выемку под ним, да так, что лицо Вуди задралось, но руки не вскинулись, кулаки не сжались.

— Не знаю, что с тобой сделать, — говорит отец. — Ума не приложу, что с тобой сделать. Просто-таки ума не приложу.

Впрочем, мне казалось, он хотел только продержать Вуди вот так вот здесь, а там что-то да и переломится или он сумеет забыть всю эту историю, а ничего другого сделать и не хотел.

Отец взвел курок и еще сильнее вдавил ствол во впадинку под подбородком Вуди, дышал ему в лицо; мама стояла в круге света с чемоданом, взгляд ее был прикован к ним, мой — тоже. Так прошло, должно быть, с полминуты.

Тут мама и говорит:

— Джек, хватит, кончай это. Хватит.

Отец сверлил Вуди взглядом — казалось, он хочет вынудить Вуди что-то предпринять: пусть тот стронется с места, повернется к нему спиной, сделает что-то, что угодно, лишь бы покончить с этим, и тогда отец и сам положит этому конец. Отец глаза сощурил, зубы сцепил, губы раздвинул — изобразил улыбку.

— Ты чокнутый, да? — говорит отец. — Ты, чтоб тебя, чокнутый, вот ты кто. Ты ее любишь, и ты тоже. Да? Да, чокнутый? Да? Скажи, любишь ее? Скажи, что любишь! Скажи, что любишь, и, если так, я вышибу твои поганые мозги.

— Коли на то пошло, — Вуди говорит. — Нет. Коли на то пошло.

— Не любит он меня, Джек. Будет тебе, — говорит мама. Она если и волновалась, то не подавала виду. И опять покачала головой — дала мне знак. Она, я так думаю, не думала, что отец пристрелит Вуди. И Вуди, я думаю, так не думал. Никто, я думаю, так не думал, кроме самого отца. Зато он, я думаю, так думал и обмозговывал, как к этому приступиться.

Вдруг отец как крутанется — взглядом буравит мать, глаза блестят, бегают, но револьвер от Вудиного лица не отнимает. Испугался, я так думаю, испугался, что делает не то, и все испортит, и выйдет только хуже, и ничего взглядом он этим не добьется.

— Уходишь, — кричит он ей. — Вот почему ты вещички собрала. Проваливай. Давай, давай.

— Джеки утром идти в школу, — говорит мама; голос нисколько не повысила. И, ни слова не сказав никому из нас, подхватила чемодан, вышла из круга света и, обогнув угол, скрылась в зарослях диких маслин, рядами убегавших в пшеничное поле.

Отец оглянулся, посмотрел на меня — я стоял, где стоял, на гравии, — его, похоже, удивило, что я не пошел вслед за мамой к Вудиной машине. Но я тогда и думать об этом не думал — позже, было дело, думал. Позже думал: что бы мне уйти с ней — глядишь, у них тогда все решилось бы иначе. Только я с ней не ушел.

— Уверен, что уберешься подобру-поздорову, так надо понимать, господин хороший? — говорит отец; они с Вуди стояли лицом к лицу. Он и сам уже чокнулся. Да и кто б не чокнулся на его месте. Ему, должно быть, казалось, что ему уже ни с чем не совладать.

— Хотелось бы, — говорит Вуди. — Хотелось бы подобру.

— А мне хотелось бы придумать, как тебя достать, — говорит отец и сощурил глаза. — Только ничего не придумывается. — Мы услыхали, как захлопнулась где-то в темноте дверца Вудиной машины. — Думаешь, я дурак? — говорит отец.

— Нет, — говорит Вуди. — Ничего такого я не думаю.

— Думаешь, ты важная птица?

— Нет, — говорит Вуди. — Да нет же.

Отец опять сощурился. Видимо, с этой-то минуты он и стал превращаться в другого — другого, незнакомого мне человека.

— Ты откуда?

Тут и Вуди закрыл глаза. Долгим вздохом втянул, выпустил воздух. Можно подумать, что этот вопрос Вуди почему-то был тяжелее всего прочего, что такого вопроса он уж никак не ожидал.

— Из Чикаго, — говорит Вуди, — из тамошнего пригорода.

— Родители живы? — говорит отец, а сам свой большущий вороненый револьвер так и не отнял от Вудиного подбородка.

— Да, — говорит Вуди. — Да, сэр.

— Жалко, — говорит отец. — Жалко, они ведь узнают — как не узнать, — что ты за фрукт. Я так думаю, им давным-давно до тебя нет дела. Я так думаю, они оба желали бы тебе сдохнуть. Ты про это не знал. А я знаю. Вот только помочь им ничем не могу. Придется кому-то другому тебя прихлопнуть. А я и думать о тебе больше не хочу. Вот так-то.

Уронил руку с револьвером, стоял смотрел на Вуди. Не попятился, просто стоял ждал, а чего ждал — не знаю. Вуди с минуту постоял, потом конфузливо покосился на меня. Я опустил глаза, это я знаю. Что мне еще оставалось делать. Притом, помню, я подумал, не разбито ли сердце Вуди и что все это для него значит. Не для меня, мамы или отца. А для него, оттого что именно он почему-то скинут со счетов, он в недолгом времени останется в одиночестве, он совершил поступок, о котором однажды еще пожалеет, и около него не будет никого, кто сказал бы ему: мол, да ладно, мы не держим на тебя зла, чего в жизни не бывает.

Вуди отступил на шаг назад, посмотрел на отца и опять на меня, будто хотел что-то сказать, потом отступил в сторону и прошел к парадному входу, туда, где в непривычно холодном воздухе звенели колокольчики.

Отец посмотрел на меня — большущий револьвер он все еще держал в руке.

— Считаешь, это глупо? — говорит. — Вот это все. Кричать, стращать, психовать? Если и так, тебя можно понять. Тебе и вообще на это не следовало бы смотреть. Прости. Я не знаю, что мне теперь делать.

— Все обойдется, — говорю.

И пошел на дорогу. За дикими маслинами заурчал мотор Вудиной машины. Я стоял, смотрел, как она дает задний ход, выхлоп заволок красные сигнальные огни. В машине, в свете передних фар, выступили из темноты их головы. Когда они выехали на дорогу, Вуди на какой-то миг притормозил, и я увидел, что они разговаривают: повернули друг к другу головы, кивают. Голову Вуди и мамину. Секунду-другую они посидели вот так вот, затем отъехали медленно-медленно. А я подумал, что же такое им нужно было друг другу сказать, настолько важное и не терпящее отлагательств, что они тут же остановились. Сказала ли она: *Я тебя люблю?* Сказала ли она: *Чего не ожидала, того не ожидала?* Сказала ли она: *Я только о том и мечтала?* Сказал ли он: *Мне жаль, что так получилось,* или *Я рад,* или *Меня это никак не касается?* Но если ты при этом не

был, ничего такого тебе знать не дано. А я при этом не был и не хотел быть. И сдается, мне при этом быть и не пристало. Я услышал, как хлопнула дверь: отец вошел в дом, и я свернул с дороги, где все еще можно было разглядеть, как убегают вдаль сигнальные огни, и пошел в дом, где мне предстояло остаться один на один с отцом.

Ничто по большей части разом не кончается. Утром я, как всегда, поехал в школу на автобусе, отец — на авиабазу на машине. О том, что случилось, мы почти не говорили. Жестокие слова в каком-то смысле примерно одинаковы. Придумай их за кого хочешь сам — не ошибешься. По-моему, нам обоим казалось, что мы в тумане, сквозь который пока ничего не можем различить, но через какое-то время, не исключено, что даже и недолгое, мы прозреем и что-то поймем.

В тот день на третьем уроке посыльный принес мне записку, в ней сообщалось, что в полдень мне дадут освобождение от занятий и я должен встретиться с матерью в мотеле на 10-й авеню по Южной стороне — это неподалеку от моей школы, — и мы сможем вместе пообедать.

Погода в Грейт-Фолсе в тот день выдалась пасмурная. Листья с деревьев облетели, горы на восток от города закрыли низко нависшие облака. Накануне вечер был холодный и ясный, но сегодня явно надо было ждать дождя. Зима наступала всерьез. Еще несколько дней — и все покроет снег.

Мотель, где остановилась мама, назывался "Тропикана", он помещался рядом с городским полем для гольфа. На вывеске у входа красовался неоновый попугай. За белым домиком конторы подковой расположились коттеджи. Перед ними были припаркованы всего две машины, перед коттеджем мамы машины не было. И я подумал, там ли Вуди или на своей авиабазе. Подумал, столкнется ли с ним отец и что они скажут друг другу.

Я дошел до коттеджа номер 9. При том что на ручке двери висела табличка "Просьба не беспокоить", дверь была открыта. Я заглянул в затянутую сеткой дверь и увидел маму — она сидела на постели, одна. Хотя телевизор работал, она смотрела на меня. На ней было платье цвета морской волны, то же, что и вчера. Она улыбнулась мне, и мне понравилось, как она выглядит сквозь сетку, в полутени. Черты ее лица вроде бы стали менее резкими. По-видимому, ей было тут уютно, и я понял, что мы — пусть что было, то было, — поладим и что я на нее не держу зла и никогда не держал.

Она подалась вперед и выключила телевизор.

— Входи, Джеки, — говорит; я открыл дверь и вошел.

— Верх роскоши, а? — Мама обвела взглядом комнату. Ее раскрытый чемодан стоял у двери в ванную, за окном ванной было видно поле для гольфа — там под молочно-белым небом трое мужчин гоняли клюшками мяч. — Порой одиночество тяготит, — говорит она; нагнулась и надела туфли на высоких каблуках. — Я сегодня дурно спала, а ты?

— Я тоже, — говорю, хотя спал я очень даже хорошо.

Мне хотелось спросить ее, где Вуди, но вдруг меня осенило: он смылся и не вернется, она меньше всего думает о нем, и ей решительно безразлично, где он обретается сейчас и будет обретаться вообще.

— Как насчет комплимента, мне бы он сейчас пригодился, — говорит она. — Не отпустишь какой-нибудь из своих запасов?

— Конечно, — говорю. — Рад тебя видеть.

— Вот это мило, — говорит и кивнула. Она уже обула туфли. — Как

насчет того, чтобы пообедать? Кафетерий через улицу — можно пойти туда. Там и горячее подают.

— Нет, — говорю. — Я еще не проголодался.

— Вот и хорошо, — говорит и снова улыбнулась мне.

Я уже говорил, что мне понравилось, как она выглядит. В ее красоте появилось что-то новое — такой я ее еще не видел: она словно бы освободилась от стеснявших ее прежде пут и теперь могла вести себя иначе. Даже со мной.

— Знаешь, — говорит, — порой я думаю о том, как когда-то поступила. Когда угодно. Много лет назад в Айдахо или на прошлой неделе. И у меня такое чувство, будто я об этом читаю в книге. Будто это рассказ. Ну не странно ли?

— Странно, — говорю.

Мне и впрямь это показалось странным, потому что в те времена я твердо знал разницу между тем, что было и чего не было, и считал, что так будет всегда.

— Случается, — говорит она; руки сложила на коленях и посмотрела в боковое оконце: оно выходило на стоянку машин и изогнутый подковой ряд коттеджей. — Случается, я напрочь забываю, какова жизнь на самом деле. Ну начисто. — Она улыбнулась. — Не так уж это и плохо в конечном счете. Может, это у меня болезнь. Тебе не кажется, что это у меня болезнь и она пройдет?

— Нет. Не знаю, — говорю. — Может быть. Надо думать. — Я посмотрел в окно ванной и увидел, как по дерновой лужайке идут трое мужчин с клюшками в руках.

— Мне сейчас трудно объяснить, что со мной происходит, — говорит мама. — Прости. — Откашлялась, потом замолчала и молчала чуть ли не минуту, а я все стоял. — Тем не менее о чем бы тебе ни захотелось спросить, я отвечу. Спрашивай о чем угодно, и я — хочу не хочу — отвечу тебе по правде. Договорились? Ей-ей, отвечу. Можешь и не доверять мне. Не так уж это для нас и важно. Ведь мы оба теперь взрослые.

И тут я и говорю:

— Ты раньше была замужем?

Мама так чудно на меня посмотрела. Глаза у нее сощурились, и она вдруг сделалась такой, как прежде — черты лица стали резкими, губы растянула недобрая улыбка.

— Нет, — говорит. — Кто тебе это сказал? Это не так. Не было этого. Это тебе Джек сказал? Это отец сказал? Как некрасиво. Пусть я и плохая, но не настолько.

— Он этого не говорил, — говорю.

— Говорил, конечно говорил, — говорит мама. — Не понимает, что когда все и так плохо, лучше не будить лихо.

— Мне хотелось знать, так ли это, — говорю. — Просто пришла в голову такая мысль. Никакого значения это не имеет.

— Да, не имеет, — говорит мать. — Я могла бы выйти замуж раз восемь. Просто мне неприятно, что он тебе так сказал. Ему иногда недостает широты души.

— Не говорил он этого, — говорю. Сказал раз, сказал другой — и хватит, а уж поверит она, не поверит, меня это мало заботило. Доверять или не доверять друг другу — не так уж было для нас тогда и важно. Во всяком случае, теперь я понял: если узнать о чем угодно все доподлинно, по правде, — жизнь не в жизнь.

— Значит, ты только об этом хотел спросить? — говорит мама. Она, похоже, была вне себя, но не я был тому причиной, нет, не я. А вообще всё. И я разделял ее чувства. — Твоя жизнь, Джеки, касается тебя и только тебя, — говорит мама. — Иногда она настолько никого, кроме тебя самого, не касается, что просто жуть. Хочется бежать куда глаза глядят.

— Видимо, так.

— Семейная жизнь мне не очень-то по душе — вот в чем дело. — Она посмотрела на меня, но я ничего не сказал. Не понял, что она имела в виду, но притом знал: что я ни скажи, ее жизнь пойдет своим путем, мои слова ничего не изменят. И я промолчал.

А немного позже мы пересекли 10-ю авеню и пообедали в кафетерии. Когда она платила за обед, я заметил у нее в сумочке отцовский кошелек и увидел, что там есть деньги. И я понял: отец сегодня уже с ней встретился и что ему, что ей безразлично — знаю я об этом или нет. Мы все трое были каждый за себя.

Когда мы вышли на улицу, уже похолодало, дул ветер. Шлейфы выхлопов, тянущиеся за машинами, светились, и, хотя было всего два часа пополудни, кое-кто из водителей включил фары. Мама вызвала такси, мы стояли ждали машину. Куда она едет, я не знал, но я не ехал с ней.

— Отец не разрешил мне вернуться, — говорит; она уже стояла на обочине. Для нее это была данность — она не надеялась, что я уговорю отца, или заступлюсь за нее, или встану на ее сторону. Вот тогда-то я и пожалел, что вчера вечером дал ей уйти, — никак нельзя было этого допустить. Стоит остаться, и, глядишь, все наладится; уйдешь в темень и не вернешься — ставишь жизнь на кон, и потом с ней не совладать.

Мамино такси пришло. Она поцеловала меня, обняла крепко-крепко и села в такси — платье цвета морской волны, высокие каблуки, короткое пальто. Я стоял, вдыхал запах ее духов на моих щеках, смотрел на маму.

— Многое из того, что прежде пугало, мне теперь не страшно, — говорит она; подняла на меня глаза и улыбнулась. — А меня ведь мутило от страха, вот как. — Закрыла дверцу, помахала мне и уехала.

Я пошел назад в школу. Хотел поспеть туда к трем, тогда можно было бы вернуться домой на автобусе. Я проделал долгий путь вдоль Миссури по 10-й авеню до Второй улицы, а там повернул к центру. Миновал гостиницу "Большая Северная", куда отец сбывал уток, гусей и всевозможную рыбу. Пассажирских поездов на сортировочной не было, грузовой пандус казался маленьким. Вдоль него выстроились мусорные баки, дверь была закрыта, на ней висел замок.

По дороге в школу я думал, что моя жизнь круто повернула и мне, пожалуй, не понять толком, как и куда, по всей вероятности, еще очень долго. А может, и вообще никогда. Такие вещи приключаются помимо воли, это я знал, вот и со мной сейчас такое приключилось. И, шагая в тот день холодной улицей по Грейт-Фолсу, я задавал себе такие вопросы: почему отец не разрешил маме вернуться? Почему Вуди стоял со мной на холоду у нашего дома — ведь отец мог его убить? Почему Вуди сказал, что мама была прежде замужем, если это неправда? Да и сама мама, почему она так поступила? Через пять лет отец отправился в Или (штат Невада) срывать забастовку на нефтепромыслах и был там по случайности убит. Маму я с тех пор время от времени встречал — там-сям, с одним мужчиной, с другим — и могу сказать, что мы хотя бы зна-

ем, что́ и как у каждого из нас. А вот ответа на эти вопросы я так и не знаю, и я никого и никогда не просил ответить на них. Притом я не исключаю, что он — ответ — куда как несложен: это всего-навсего неразвитость, в нас во всех сидит какое-то безразличие, бессилие, из-за них мы неверно видим жизнь, по сути чистую и простую, из-за них наше существование — что-то вроде межи, отделяющей одно небытие от другого, из-за них мы всего-навсего твари, повстречавшиеся на одной тропе, подозрительные, злопамятные, которым не ведомы ни снисхождение, ни сильные чувства.

К *чертям собачьим*

Моя жена только-только укатила на Запад с псарем с местных собачьих бегов, а я болтался дома, пережидал, пока суд да дело, подумывал: не сесть ли на поезд во Флориду — перебить невезуху. Билет уже лежал у меня в бумажнике.

Был канун Дня благодарения, и всю неделю охотники парковали машины у ворот: пикапы и одно-два раздолбанных "шевроле" — по большей части с номерами других штатов — пустовали день-деньской; лишь кой-когда двое мужиков постоят у своих машин, попьют кофе, покалякают. Мне они были до лампочки. Гейнсборо — а я тогда подумывал кинуть его с арендной платой — сказал, чтоб я с ними не связывался, пусть себе охотятся, ну а если вздумают стрелять около дома, тогда уж вызвать полицию и пусть она с ними управляется. Около дома никто не стрелял, хотя в леске на задах постреливали, и я видел, как одно "шевроле" с оленем на крыше укатило молнией, но неприятностей от этого не предвидел.

Я хотел выбраться отсюда до снега и до того, как начнут приходить счета за электричество. Перед тем как отъехать, жена продала нашу машину, поэтому наладить дела было не так-то просто, а я их запустил — не до того было.

Утром, в одиннадцатом часу, в дверь постучали. На прихваченной морозцем траве стояли две толстухи — держали мертвого оленя.

— Где Гейнсборо? — спрашивает одна из них.

Обе в охотничьей справе. На одной красная в клетку суконная куртка, на другой — зеленый маскировочный костюм. У обеих сзади к поясу приторочены рыжие подушечки — такие, что нагреваются, когда на них садишься. Обе при ружьях.

— Нет его, — говорю. — Вернулся в Англию. Власти к нему прицепились. За что, не знаю.

Обе уставились на меня — глазами так и буравят. Лица обмазаны черно-зеленой маскировочной мазью, с виду себе на уме. А я еще халата не снял.

— Мы хотели оставить Гейнсборо оленины, — говорит та, что в красной куртке, та, что первая заговорила. Обернулась, посмотрела на мертвого оленя, а у него язык вывалился и глаза ну прямо как у оленьего чучела. — Он нам разрешает охотиться, вот мы и хотели его отблагодарить, — говорит.

— Что бы вам не отдать оленину мне, — говорю. — Я б сберег ее для него.

— Отчего бы и нет, — говорит та, что ведет разговор. А другая, та,

что в маскировке, глянула на нее со значением: мол, если оленина попадет ко мне в руки, она-то знает, Гейнсборо ее не видать.

— Чего бы вам не войти, — говорю. — Я сварю кофе, согреетесь.

— Мы и впрямь здорово замерзли, — говорит та, что в клетчатой куртке, и похлопала в ладоши. — Если Филлис не против.

Филлис сказала, что она ничуть не против, но при этом дала понять, что выпить со мной кофе — это одно, а отдать оленину — другое, и одно к другому касательства не имеет.

— Вообще-то свалила его Филлис, — говорит симпатичная толстуха; кофе они уже выпили, но все еще сидели на диване, обхватив чашки толстыми руками. Она сказала, что ее зовут Бонни и что они не из этого штата. Обе — крупные тетки, лет за сорок, толстомордые, из-за одежек их руки, ноги и все прочее казались несуразно большими. Притом обе веселые — даже Филлис, когда выбросила оленину из головы и щеки у нее снова разгорелись. С ними дом вроде бы заполнился, повеселел.

— Когда она его подстрелила, он еще метров шестьдесят пробежал, перемахнул через изгородь и только тут упал, — говорит Бонни, и так говорит, что ей и не возразишь. — Пуля угодила ему в сердце, а такой выстрел оказывает действие не сразу.

— Он припустил как ошпаренный пес, — говорит Филлис, — потом плюхнулся как куль с дерьмом. — У Филлис были коротко стриженные светлые волосы, рот с неприятной складкой — при таком рте, похоже, так и подмывает говорить неприятное.

— А еще мы наткнулись на подбитую олениху, — говорит Бонни; вижу, она заводится. — От такого прямо зло берет.

— А что, если кто-то шел за ней по следу, — говорю. — Что, если ее по ошибке подстрелили. Как знать.

— Может, и так, — говорит Бонни и искательно глядит на Филлис, но Филлис, та и глаз на нее не подняла.

Я попробовал нарисовать себе картинку, как они на пару волокут из лесу мертвого оленя, — картинка нарисовалась легко.

Я вышел на кухню за булочками — они подогревались в духовке, — а когда вернулся, тетки перешептывались. Но ничего плохого, похоже, не затевали, и я угостил их булочками — прикинулся, что ничего не заметил. Я был им рад. Жена у меня худышка, коротышка, одежду себе покупала в детских отделах универмагов, говорила, что лучше вещей не купишь: им сносу нет. Но в доме что она есть, что ее нет — уж больно мало места она занимала, хоть дом и не такой большой. По правде говоря, даже очень маленький — готовый дом, Гейнсборо перевез его сюда на трейлере. Но с этими тетками казалось, что дом набит под завязку, будто День благодарения уже настал. Тушей быть — ничего хорошего, так я раньше думал, выходит, нет.

— На собачьих бегах бываешь? — спрашивает Филлис; одну половину булочки она в рот засунула, другую в чашке размачивала.

— Бываю, — говорю. — А ты откуда знаешь?

— Филлис говорит, она вроде бы пару раз видела тебя на бегах, — говорит Бонни и улыбнулась.

— Я ставлю только в экспрессе, — говорит Филлис, — а вот Бон ставит на что ни попадя, верно, Бон? И в двойном, и как угодно. Ей без разницы.

— Твоя правда, — Бон снова улыбнулась, вытянула из-под себя рыжую подушечку, поместила ее на ручку дивана. — Филлис говорит, она как-то

видела тебя там с женщиной, маленькой такой, совсем крохой, недурной на личико.

— Очень даже возможно, — говорю.

— Кто же это? — Филлис спрашивает без околичностей.

— Жена моя, — говорю.

— А она сейчас здесь? — Бон спрашивает, а сама — для потехи — озирала комнату так, словно высматривала, кто тут за креслом прячется.

— Нет, — говорю. — Она уехала на Запад. Укатила к чертям собачьим.

— Что стряслось? — спрашивает Филлис, с подковыркой спрашивает. — Ты что, спустил на бегах все деньги, и она от тебя дала деру?

— Нет. — Филлис мне не так нравилась, как Бон, хотя почему-то казалось, что на нее скорее можно положиться, если до того дойдет. Вот только вряд ли дойдет. Мне не понравилось, что Филлис столько обо мне знает, даже если насчет денег она и дала промашку. Мы, моя жена и я, переехали сюда из города. У меня была мыслишка рекламировать в местных ресторанах и на бензоколонках собачьи бега, а тем, кто вечером будет туда ходить, давать купоны со скидкой — чем плохо, всем выгода. Уйму времени угрохал, кучу денег ухлопал. И что же: у меня в подвале ящик на ящике с никому не нужными купонами, за которые не уплачено. И вот как-то жена моя приходит домой и ну смеяться — говорит, что на моих придумках и дырку от бублика не заработаешь, а назавтра берет машину, укатывает и назад не возвращается. Ну а чуть спустя заявляется парень, спрашивает, есть ли у меня паспорт на машину — чего нет, того нет, — и так я узнал, что машина продана и с кем она укатила.

Филлис достала из-под маскировочной куртки пластиковую фляжечку, отвернула крышку и через кофейный столик протянула мне. День только начался, но я решил: какого черта? Завтра Благодарение. Я тут один, собираюсь съехать, а арендную плату зажилить. Так что какая разница.

— Грязища у тебя, — Филлис забрала у меня фляжечку, посмотрела, сколько я выпил. — Ну чисто хлев.

— Тут женская рука нужна, — говорит Бон и подмигнула мне. Вообще-то она была ничего из себя, пусть даже и лишку полновата. Из-за маскировочной мази она смахивала на клоуна, но что лицо у нее симпатичное, и под мазью было видно.

— Я вот-вот съеду, — говорю и потянулся за фляжкой, но Филлис засунула ее обратно в куртку. — А сейчас навожу в доме порядок.

— Машина у тебя есть? — спрашивает Филлис.

— Ее сейчас антифризом заправляют, — говорю, — она у "Б.П."[1] стоит. Синяя "камаро". Да вы небось проехали мимо нее. А у вас, девочки, есть мужья? — Рад был, что разговор ушел от моих невзгод.

Бон и Филлис досадливо переглянулись, и я огорчился. Огорчительно было видеть, как славная круглая мордашка Бон потемнела от неудовольствия.

— Наши мужья торгуют на пару аптечными резинками в Питерсберге. Это за границей штата, — говорит Филлис. — Одно слово, козлы, если ты понимаешь, что я имею в виду.

Я попытался представить себе мужей Бонни и Филлис. Нарисовались два худосочных типчика в нейлоновых куртчонках — они трясли друг другу руки на темной стоянке торгового пассажа перед баром кегельбана. Никак иначе я их представить не мог.

1. Бензоколонка "Бритиш петролеум".

— Как тебе Гейнсборо? — говорит Филлис.

Бон, та теперь мне только улыбку послала.

— Я его плохо знаю, — говорю. — Гейнсборо мне сказал, что он прямой потомок английского художника. Но я ему не верю.

— И я не верю, — говорит Бонни и опять мне подмигнула.

— Из грязи да в князи, — говорит Филлис.

— У него двое детей, они ко мне наведываются — вынюхивают, что да как, — говорю. — Один — танцовщиком в городе. Другой — компьютеры чинит. Я так думаю, они спят и видят, как бы вселиться сюда. Только арендатор-то я.

— Ты думаешь его кинуть? — говорит Филлис.

— Нет. Ни за что. Пусть он иной раз и привирал, зато меня не обманывал.

— Из грязи да в князи, — говорит Филлис.

Филлис и Бонни понимающе переглянулись. Я увидел, что за окном начал падать снег, пока только изморозь, но снег ждать себя не заставит.

— По тебе видать, что ты соскучился по ласке, — говорит Бонни и улыбнулась широко-широко, так, что выставились зубы. А они у нее все до одного целехоньки, белые и меленькие. Филлис посмотрела на Бонни и даже ухом не повела — похоже, ей такое не впервой слышать.

— Ну и что ты об этом думаешь? — говорит Бонни и подалась всем телом вперед, пригнулась к толстым коленкам.

Поначалу я не знал, что и думать. А потом думаю: хоть Бонни и толстовата, чем плохо? И говорю: я, мол, не против.

— А я ведь не знаю даже, как тебя звать, — говорит Бонни; встала, оглядела унылую комнатенку — искала, где тут дверь в другую комнату.

— Гендерсон, — вру я. — Ллойд Гендерсон меня зовут. Я уж полгода как здесь живу. — И встал.

— Ллойд, то еще имечко, — говорит Бонни и оглядела меня, когда я уже встал, но был еще в халате, с ног до головы. — Я тебя, пожалуй, буду Кучеряш звать — ты же кучерявый. Ну чисто негр, — говорит и зашлась смехом, аж телеса под одежками затряслись.

— Да зови как хочешь, — говорю — и так мне стало хорошо.

— Идите-ка вы оба в другую комнату, а я покамест тут приберусь, — говорит Филлис. И бряк ручищей о подлокотник, хотела, что ли, чтобы пыль поднялась. — Ты не против, чтоб я порядок навела, нет, Ллойд?

— Кучеряш, — говорит Бонни, — называй его Кучеряш.

— Да нет, ничуть, — говорю и поглядел, как за окном на поле, что у подножья холма, начал сеяться снег. Ну чисто рождественская открытка.

— Раз так, я пошумлю, вы уж не обессудьте, — говорит Филлис и стала собирать посуду с журнального столика.

Без одежек Бонни гляделась неплохо. И пусть на ней жиров лишку и наросло, казалось, что в середке, под всеми жирами, она и душевная, и ласковая, и славная — не хуже других. Только толстая, хотя, если ее рядом с Филлис поставить, вроде бы похудее той будет.

На кровати было навалено барахло — я скинул его на пол.

Бонни, когда опустилась на покрывало, села прямехонько на металлический галстучный зажим и рассыпанную мелочь да как взвизгнет — рассмеялась, и я с ней. И так мне хорошо стало.

— У нас в лесу один расчет, — говорит Бон и прыснула. — Вдруг да и пофартит на кого-то вроде тебя напасть.

— И у меня такой же, — говорю. На ощупь она была и вовсе неплохая, мяконькая повсюду. У меня и раньше мелькала мыслишка, что толстухи для такого дела способнее: им выпадает меньше случаев этим заняться, а значит, больше времени поразмыслить, подготовиться, чтобы все получилось путем.

— Ты много смешных баек о толстухах знаешь? — спрашивает Бонни.

— Немало, — говорю. — Раньше, правда, знал еще больше. — Слышно было, как Филлис орудует в кухне, напускает в раковину воду, ворочает там посуду.

— Моя любимая про грузовик, — говорит Бонни.

Эту я не знал.

— Эту не знаю, — говорю.

— Байку про грузовик не знаешь? — говорит она; удивилась — не может поверить.

— Извини, — говорю.

— Может, я тебе, Кучеряш, как-нибудь ее и расскажу, — говорит. — Обхохочешься.

А я вспомнил про двух типчиков в нейлоновых куртчонках — как они трясут друг другу руки на темной стоянке — и решил, что им плевать, чем я буду заниматься с Бонни или там с Филлис, а если и не плевать, так когда они о том узнают, я уже буду во Флориде и при машине. Ну а тогда уж пусть им Гейнсборо объясняет, что да как, а заодно почему он не получил арендной платы и платы за электричество и все прочее. И не исключено, что они его порядком помнут, прежде чем отправятся восвояси.

— А ты парень видный, — говорит Бонни. — Многие мужики жиром обросли, ты — нет. И плечищи у тебя — такие разве что у безногих, которые в креслах-каталках сами себя катят, увидишь.

Вот уж подмазалась так подмазалась. Мне стало хорошо. И такую я в себе лихость почуял, точно это я убил оленя да еще напридумывал всякого-всего, чем людей удивить.

— Я разбила чашку, — говорит Филлис; мы с Бонни уже вернулись в гостиную. — Ты небось слышал, как я ее кокнула. Но это ничего, я нашла в одном из ящиков клей, и теперь она лучше новой. Гейнсборо и не догадается.

Пока мы были в спальне, Филлис навела чистоту, расставила посуду. Но сейчас она была уже в маскировочной куртке — видать, собралась уйти. Мы стояли в темной гостиной — мне казалось, в ней яблоку негде упасть. Я еще был в халате, и что-то мне подсказывало, что надо бы попросить их остаться. Подсказывало, что со временем я свыкнусь с Филлис — и как знать, вдруг мы еще и полакомимся олениной в День благодарения. За окном все замело снегом. Слишком рано он выпал. Что-то мне подсказывало, что зима будет тяжелая.

— А почему бы вам, девчонки, не остаться у меня на ночь? — говорю и улыбнулся искательно.

— Не выйдет, Кучеряш, — говорит Филлис.

Они уже стояли у порога. И через стеклянные двери трех тамбуров было видно, как в распоротом брюхе у оленя — он лежал на траве — таял снег. Бонни и Филлис уже вскинули ружья на плечи. Бонни, похоже, и впрямь не хотелось уходить.

— Видела бы ты его плечищи, — все повторяет и подмигнула мне в

последний раз. Куртку свою суконную уже надела, рыжую подушечку к поясу приторочила. — С виду не скажешь, что он могутный. А он могутный. И еще какой. Видела б ты его плечищи.

Я стоял на пороге, смотрел на них. Они ухватили оленя за рога и поволокли по дороге к машине.

— Береги себя, Ллойд, — говорит Филлис.

А Бонни улыбнулась мне через плечо.

— Поберегу, — говорю. — Будь спок.

Я закрыл дверь, подошел к окну, смотрел, как они идут к изгороди, тащат оленя по заснеженной дороге, оставляя за собой широкую борозду. Смотрел, как они проталкивали оленя под изгородь Гейнсборо, стояли у машины, смеялись, а потом закинули оленя в багажник и крышку привязали веревкой. Но неплотно, оленью голову оставили снаружи — для инспекторов. Потом разогнулись, посмотрели на меня — я стоял у окна — и что та, что другая рукой мне помахали, широко, от души. Филлис в маскировочной, Бонни в суконной куртке. И я им помахал, но из дома не вышел. А потом они сели в машину, новый красный "понтиак", и укатили.

Я чуть не весь день проторчал в гостиной, думал: экая жалость, что у меня нет телевизора, смотрел, как падает снег, радовался, что Филлис прибралась и мне не придется наводить чистоту перед отъездом. Думал, как хорошо было бы отведать оленины.

А чуть погодя мне вошло в голову слинять прямо сейчас — чего лучше: вызвать из города такси, доехать на нем до самого вокзала, сесть на поезд во Флориду — и гори все прахом, в том числе и Тина, пусть она сейчас и катит в Финикс с парнем, у которого на уме одни борзые.

Но когда я вышел в кухоньку глянуть на билет — в бумажнике лежали лишь мелочь да спички, и тут-то до меня дошло: невезуха только начинается.

Чеслав Милош

Нобелевская премия 1980 года

Город без имени

Фрагменты поэмы

Перевод с польского С. Морейно

От редакции

"Никогда от тебя, мой город, я не мог уехать", — признался в 1963 году Чеслав Милош в стихотворении "Никогда от тебя, мой город". А в своей речи при вручении ему Нобелевской премии сказал: "...я польский, а не литовский поэт, но пейзажи, а может быть, и духи Литвы никогда меня не покидали".

Мы предлагаем вниманию читателей фрагменты поэмы Чеслава Милоша "Город без имени" — об "особом", по его же словам, городе — Вильно, Вильне, Вильнюсе.

1

Ну кто почтит безымянный город,
когда иных уж нет, а те ищут алмазы
или торгуют порохом в дальних краях?

Чей горн в пеленах из бересты
призовет с Понарских высот[1]
память об отсутствующих братьях зеленой ложи?

Ах, как было тихо той весной, за мачтой становища,
когда в пустыне под червленым щитом желтых скал
меж кустов услышал жужжание диких пчел.

© Czesław Miłosz, 1969
© С. Морейно. Перевод, 2000

Редакция благодарит Чеслава Милоша за безвозмездное предоставление прав на публикацию фрагментов поэмы.

1. Понарские высоты — Понаряй — место, где во время восстания 1794 года поляки одержали решительную, но не имевшую долговременных последствий победу над российскими войсками. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Вторили потоку голоса плотогонов,
мужчина в бейсболке и женщина в платке
в четыре руки направляли рулевое весло.

В библиотеке под башней с зодиакальным сводом
правдолюбец длинными пальцами доил табакерку,
радуясь неверной звезде Меттерниха.

И, тычась слепым кутенком в изломы трактов,
шли еврейские дрожки, а тетерев токовал,
устроившись на каске кирасира Великой армии.

4

А уж книг-то написали мы без счету.
А уж верст-то намотали до черта.
Девок-то сколько оттягали.
А уж нету ни нас, ни Хали.

5

Доброту и терпенье
почитаем и ценим —
на хрена?

Смолкнут танго и вальсы,
скукожатся пальцы —
пей до дна!

Музыканты при гаммах,
офицеры при дамах —
в ямах.

Шпаги, крестики, четки,
дуэли, пощечины...
Речи.

Спите, жаркие груди,
сон сладким будет,
вечным.

6

Солнце село над ложей опального воеводы,
И закатный луч играет на масле портретов.
Там к соснам ластится Нярис, темный мед проносит
Жеймяна,
Меречанка[1] уснула на ягодах близ Жегари.

1. Нярис (Вилия), Жеймяна, Меречанка — реки на Жмудской возвышенности.

А уж узорчатые свечи лакеи зажгли
И на окна опустили решетки, захлопнули ставни.
Стягивая перчатки, решил было, что пришёл первым,
Вижу, нет, все глаза на меня уставлены.

7

Малость подрастратил жалость,
Слава чуть подрастерялась,
Что осталось?

И несли меня на гребень
Грифы и драконы в небе,
Случай или жребий.

Становясь самим собою,
Напиваясь сам с собою,
Брал себя я с бою.

Из печенки, селезенки,
Барабанной перепонки
Чья избенка?

Ведь моя, а я в ней лишний,
Враг под собственною крышей,
Был, весь вышел.

Мой родник давно под снегом,
Дар да будет оберегом
Мне над этим брегом.

9

О вселенский свет, что постоянно изменчив.
И я стремлюсь к свету, вероятно, лишь к свету.
Высокий ты и чистый, да не по мне.
Зарозовеют, стало быть, облака, и вспомнится низкое
солнце
меж берез и сосен, покрытых хрупким наростом,
поздней осенью, под ясенем, когда последний рыжик
догнивает в бору и гончие ловят эхо,
галки же вьются над державной главой костела.

10

Несказанно, невыразимо.
Как же?
Жизнь коротка,
а годы летят,
да и когда все было — той или этой осенью?

Аксамитовые рукава камеристок,
гляделки сквозь прутья перил,
хиханьки-хаханьки,
однако у резного крыльца бренчат сани,
и входят усачи в малахаях.
Человечность женственности,
локонов и раздвиганья ног,
отроческих соплей, млечная накипь,
вонь, мерзлые ошметки навоза.
И век,
зачатый в полночь с селедочным запахом,
вековать — не в шашки играть,
не ногами дрыгать.
Тут и палисады
тут и овцы суягные
тут и коровы отельные да яловые
тут и кони, порченные разрыв-травой.

11

Не Страшный суд, но ярмарка на реке.
Бирюльки-свистульки, лакричные сердечки.
Находились-навозились в талом снегу,
покупая печатные пряники.

Ворожея кричит: “А кому удачи?”,
И чертик плывет в ладошки кузине.
Да иной в сторонке вот-вот заплачет
От жалости к Оттону и Мелюзине[1].

12

Неужели мне одному оставлен сей город доверчиво-чистый как свадебное ожерелье забытого племени?

Словно две полудюжины алых и синих зерен снизанных вместе посередь медной пустоши семь веков назад.

Где растертая в ступке охра до сей поры готова лечь на лоб и на щеку абы кому.

Чему обязан, какому сокровенному злу, какой милости я этой жертвой?

Стоит передо мной как мышь перед травой, все домы и дымы на месте, все отголоски, если перейду разделяющие нас реки.

Разве зов Анны с Доротой достиг трехсотой мили Аризоны, ибо я последний, помнящий их живыми?

И дрожат над Зверинцем две пичуги, две жемайтские дворяночки, тряся в ночи пучками поредевших волос.

1. Оттон и Мелюзина — персонажи средневековых мифов.

Здесь нету "раньше" и "позже", времена года и дня случаются одновременно.

На рассвете длинными вереницами тянутся золотарики, а мытари на заставах в кожаные сумки сбирают мзду.

Дальше и дальше от пристани гребец, что будет сбит под туманными островами[1].

У Петра и Павла ангелы смежают плотные веки, покуда монашек одолевают скоромные мысли.

С усами и в парике сидит на кассе пани Шмат Сала, шпыняя дюжину своих продавщиц.

А вся Немецкая улица подняла голубые флаги своих товаров, готовая на смерть и взятие Иерусалима.

Черные княжьи воды бьют в подземелья базилики под Казимировой усыпальницей дубовыми головнями пожарищ.

С молитвенником и корзинкой Варвара-плакальщица идет на Бокштó к дому Румеров после службы у Святого Николы.

И все затмевает сверканье снега с Таураса, что равнодушен к теплу недолговечного человека.

От большого ли ума еще раз сворачиваю на Арсенальскую полюбоваться бессмысленным концом света?

Сквозь кулисы ароматного шелка, первую, третью, десятую, проникал беспрепятственно с верой в последнюю дверь.

Лишь изгиб губ, и яблоко, и цветок, пришпиленный к платью, оказались наградой и наученьем.

Ни зла ни нежна, ни уродлива ни прекрасна, девственная земля продолжала быть ради желанья и боли.

Что мне в этом наследстве, когда при блеске бивачных огней не уменьшалась, а множилась моя горечь.

Когда не в силах избыть свою и их жизни, связуя в гармонию давний плач.

В лавке букиниста лежу, оставленный навсегда делить имя и имя.

Еле видна башня замка над курганом листвы, и едва слышна музыка, реквием Моцарта, что ли.

В недвижном свете шевеление губ, рад, кажется, что не выходит долгожданное слово.

1. Речь идет о Британских островах. Во время второй мировой войны польские летчики участвовали в боевых действиях против Германии в составе́ британских ВВС.

Сердце не камень

Роман

Перевод с французского Алсу Губайдуллиной

Два с половиной миллиарда женщин,
и я,
и я,
и я...

Действующие лица

Эмманюэль Онегин, *35 лет. Тот, кто говорит от первого лица.*
Женевьева, *55–60 лет. Рисовальщица текстов к комиксам.*
Элоди, *37 лет. Преподавательница лицея.*
Лизон, *18 лет. Лицеистка.*
Стефани, *18 лет. Лицеистка.*
Агата, *34 года. Супруга Эмманюэля (живущая с ним врозь).*
Изабель, *37 лет. Мать Лизон.*
Жозефина, *12 лет. Дочь Эмманюэля.*
Арлетт, *? Очень милая старая дама.*
Фатиха, *14 лет. Непосредственная арабская девчушка.*
Жан-Пьер Суччивор, *45 ? 65 ?.. Знаменитый писатель.*
Жан-Люк, *19 лет. Лицеист.*
Бабушка Мими. *Бабушка собак, кошек...*

Бездомные, полицейские, зеваки, племянник бакалейщика-кабила, напуганная служаночка, гарсон из кафе, друзья животных, собаки, кошки, канарейки, женщины, женщины, женщины...

Действие происходит в Париже в наше время или почти.

© Éditions Albin Michel S. A., 1995
© А. Губайдуллина. Перевод, 2000

I

ФАСАД, признаться, портит всю улицу. Именно эту мысль высказывает старший капрал Ронсар, весьма гордый сим званием, своему коллеге и подчиненному Маро:

— Надо признать, это портит весь квартал.

Он добавляет:

— Как гнилой зуб в улыбке молодой девушки.

Бригадир — поэт. А подчиненный вовсе нет.

Он бурчит:

— Это выглядит отвратительно, вот как это выглядит.

После минутного раздумья:

— И *это* отвратительно.

Обе головы в касках ритмично кивают, довольные тем, что их мнения совпадают. Хоть вы и жандарм, это вовсе не означает, что у вас совсем нет сердца, оно есть, но трудно сказать где, и так приятно смыкать ряды с коллегами, когда долг того требует, и не слышать расслабляющих подсказок этого неуместного органа. Оба, расставив ноги в мужественной позиции, предписанной инструкцией, сжимая руками за спиной длинный черный "демократор", составляют вдвоем часть темно-синего полукруга, удерживающего на расстоянии другой полукруг, концентричный по отношению к первому, но намного более плотный и более разноцветный. А также намного более шумный.

Улица из конца в конец с обеих сторон так и искрится. Колоссы из стекла и стали возносят к облакам свои чересчур новые вертикали. Когда луч солнца скользит между двумя черными грозовыми массами, улица внезапно озаряется пламенем.

Блестящий успех современной архитектуры. Гладко и антисептично, никаких выступов, совершенная гармония. Кроме этого фасада. Этой язвы. Этой дыры. Этого стыда.

Но наконец-то сделали то, что было необходимо. Аномалия скоро исчезнет. Ужасный старый дом с окнами, заложенными камнем так давно, что все покрылось мхом, этот прогнивший бомжатник, который до сегодняшнего дня нагло и упорно блокировал триумфальный взлет квартала к лучезарному будущему, доживает свои последние часы.

В полукруглом пространстве тротуара, ограниченном кордоном полиции, громоздится унылый хлам, частично вываливаясь на мостовую. Матрацы с ореолами высохшей мочи, драные покрывала, старые керосинки, спиртовки, выцветшее шерстяное бедняцкое тряпье, набитое в коробки, летние платья, сваленные кучей, с крючком проволочной вешалки, высовывающимся из ворота, — что может быть более удручающим, более мертвым, чем платье без женщины внутри? — игрушки и книжки, на упаковку которых не хватило времени и их бросили навалом на асфальт, продавленные чемоданы, рюкзаки слишком яркой расцветки и шпагат, повсюду шпагат, как попало удерживающий все это барахло... Весь нищенский скарб, вдруг оказавшийся выставленным напоказ, выглядящий непристойным при беспощадном свете дня.

Изгнанники топчутся на месте, ходят по кругу, одуревшие, застиг-

нутые врасплох. Раздаются рыдания, пронзительные крики, проклятия на всех языках третьего мира в адрес невозмутимых или ухмыляющихся полицейских. В основном это женщины и дети, смуглянки с татуировками, закутанные в шали, или совсем черные в ярких чалмах, растерявшиеся перед этим бедствием без своих мужей, которые могли бы принять какое-то решение. А те на работе или отправились ее искать.

Все это окружает толпа, без труда сдерживаемая полицией, тихонько ропщущая, время от времени отваживающаяся на осторожный протест, но сохраняющая спокойствие. Зубоскалят чистенькие пенсионеры. Дядька лет пятидесяти доверительно сообщает с осведомленным видом домохозяйке с кудряшками и с сумкой на колесиках: "Кажется, нашли наркотики. Целую кучу". Она независимо встряхивает кудряшками: "Сущее бедствие эта гадость! Ну и ну..."

Сержант полиции появляется на пороге, говорит что-то высокому типу в гражданском, явно обладающему властью. Тот кивает головой: "Можно начинать". Рабочие с орудиями разрушения на плече проскальзывают друг за другом в строение. Все они португальцы и не в восторге от предстоящей грязной работы, но детей-то надо кормить. Все же власти были настолько деликатны — или осторожны! — что не стали привлекать к этому рабочих-турок, североафриканцев и всех остальных с темным оттенком кожи.

Первые удары кувалды раздаются как гром апокалипсиса. Улица подпрыгивает. "Разрушают лестницу", — комментирует осведомленный дядька, адресуясь к тетеньке с колесиками, делая, может быть, первые шаги к интрижке. Звонкая пустота лестничной клетки усиливает грохот и делает его оглушительным. Толпа затаила дыхание. Убивали дом.

А я, что ж, я просто свидетель преступления. Зевака из этой толпы зевак. Я проходил здесь, сам не знаю по какому случаю, вообще-то я стараюсь избегать этих наводящих страх улиц, этих мрачных щелей, будто топором прорубленных между двумя мощными, зловещими, блестящими голыми громадами. Так что я здесь, с другими. И как другие, я нахожу происходящее отвратительным, ненавижу этих откормленных скотов, стоящих широко расставив свои мускулистые ноги, ненавижу их безмятежное спокойствие, ненавижу их силу, гибкость и эластичность их толстых подошв, ненавижу эти повадки хищников из семейства кошачьих, которыми, как мне кажется, они себя воображают... Я дитя мая 68-го, "Полиция=SS!". При одном только виде темно-синего мундира в моей голове начинает мигать красная лампочка: "Опасность!"

Охваченный ненавистью и жалостью, со сжатыми кулаками и перехваченным от волнения горлом, я ропщу вместе с другими. Безвольно, как другие. И бездействую, как другие. А впрочем, разве можно что-то сделать?

Вдруг над ритмичным грохотом ударов кувалды поднимается пронзительный лай, визг собачонки, давящейся черной яростью. И вот кувалда перестала грохотать, лай, совсем уже разъяренный, стал слышнее, и, наконец, как черт из табакерки, выскочил злой приземистый португалец в одной майке. Было отчего злиться: зловредная шавка неслась за ним подскакивая и пытаясь вцепиться ему в зад между двумя душераздирающими воплями. Не пес, а ублюдок, самый ублюдочный из всех уб-

людков, когда-либо зачатых на самом гнилом пустыре одного из самых заброшенных пригородов, наполовину грифон, наполовину еж для чистки дымоходов, ростом со скамейку для ног, злобный до такой степени, что глаза лезут из орбит. Португалец хватается за голову: "Да он совсем сдурел, этот пес!", пинает его ногами, но, смотри-ка, вредная зверюга проворнее, чем тридцать шесть тысяч чертей.

Толпа, поняв в чем дело, оценивает смешную сторону происшествия и начинает зубоскалить. Даже физиономии полицейских расплываются до ушей. Мне тоже смешно. Это пауза, не предусмотренная в программе, но мы ее не упустим. Только бы эта глупая шавка не вцепилась своими мелкими зубками в мягкое место одному из полицейских! Ведь это отродье вполне может вытащить пистолет и пристрелить ее, говорю я себе.

В этот момент из темной глубины коридора доносится панический зов:

Сашá! Сашá!

И в распахнутых дверях появляется маленькая женщина, круглая, как головка голландского сыра, одетая в потертые вельветовые штаны, в свитерах, надетых один на другой под эскимосской курткой-пуховиком, в цветастой вязаной шапочке, натянутой до самых глаз. В руке у нее ивовая корзинка с мяукающим от страха и царапающим прутья котом. В другой руке она держит кожаный поводок, без сомнения принадлежащий этому жуткому разрывателю-в-клочки-рабочих-эмигрантов.

— В чем дело, Саша! Что за поведение? Место, Саша! Место, немедленно!

Виновный тут же прекращает свою кровожадную атаку, не переставая, однако, ворчать и показывать клыки, а из его глаз изливается вся ярость тех диких времен, когда собаки еще были волками. Маленькая кругленькая женщина живо пристегивает карабин поводка к кольцу ошейника, рассыпаясь в извинениях перед все еще бледным португальцем, который, злоупотребляя своим положением жертвы, принимается раздувать дело, утверждая, что он тяжело ранен, вспоминает о случаях бешенства, говорит о составлении протокола и о возмещении убытков, берет полицейских в свидетели...

Дамочка сначала терпеливо сносит все это, так как сейчас занята тем, что успокаивает своего кота, а затем, решив, что хватит, она подступает прямо к жалобщику:

— Ранены? Мой Саша вас мог ранить? Вы видели его зубы?

Она открывает собаке, которая продолжает утробно ворчать, пасть, отодвигает ее черные губы и показывает маленькие беленькие клычки в розово-перламутровых деснах.

— Этим, что ли? Он вас ранил вот этими молочными зубками? Да они не смогли бы прокусить даже ваши толстые штаны!

Португалец, чувствуя себя в своем праве:

— Да, он их прокусил! У меня раны.

Пальцем он показывает несколько мест на своем заду:

— Здесь. И здесь. Больно. Я иду к врачу. Я нетрудоспособен.

Она подскакивает:

— Здесь, да? И здесь тоже? Тогда уж покажите. Давайте показывайте, не стесняйтесь! Вы не сможете сказать, что не было свидетелей!

Толпа вторит ей:

— Да! Вот именно! Покажи-ка нам, куда тебя укусили! Давай валяй, парень, спускай штаны!

Все страшно веселятся. Теперь полицейские даже не пытаются больше сохранить лицо. Они покатываются со смеху, хлопая себя по ляжкам. Даже несчастные женщины, выброшенные на улицу, забывают на время о своей беде.

Парень пожимает плечами, ворчит что-то про себя и возвращается к своей работе оплачиваемого разрушителя.

Дамочка, удерживая наконец успокоившегося Саша на коротком поводке, смотрит вокруг ищущим взглядом, оценивает одно за другим лица зевак из первого ряда и останавливает глаза на мне. Я этого ожидал. Я гожусь для всех случаев жизни. У меня то, что называют обычно "добрым лицом". Я внушаю доверие, вот что. Поди узнай почему. Я сам вовсе не чувствую себя таким уж внушающим доверие. Я точно так же, как и всякий другой, способен на низость. Ладно, согласен, у меня доброе лицо, и вот опять я удостаиваюсь ярма доверия. Она протягивает мне корзинку с котом:

— Месье, я доверяю вам Артура. На то время, пока я схожу за другими. Поговорите с ним. Он очень впечатлительный, но если с ним поговорить, он тут же успокаивается...

Она поднимает корзинку до уровня глаз, я вижу кусочек рыжей шкурки, два зеленых глаза, слышу мяуканье, скорее любопытное, чем обеспокоенное. Она говорит с ним именно так, как я бы хотел, чтобы женщина говорила со мной:

— Подожди меня, Артур. Подожди меня, мой хороший. Будь благоразумным. Я вернусь очень быстро. Ты остаешься с этим господином. Он очень добрый.

Я очень добрый? Вот как... Она нырнула в логовище, где кувалда снова начала все сотрясать. Она тянет за поводок своего ежа на лапках, лающего в такт сокрушительным ударам. Человек-облеченный-властью кидается, чтобы ее удержать. Слишком поздно.

Вскоре она появляется. Внезапно возникает в черной рамке двери, выталкиваемая серым плотным облаком пыли, которую ритмичные тяжелые сотрясения выбивают из щелей в деревянных стенах, из трещин штукатурки, из нищеты, выпавшей в осадок в течение веков, извлекаемой кувалдой одновременно со стадами обезумевших тараканов, бегущих вслепую под резким светом.

Теперь она держит три кошачьи корзинки. Две в одной руке, кривокосо, одну в другой, которой она сжимает поводок Саша. Она кашляет, жмурится, наконец находит меня глазами. Я помогаю ей поставить корзинки, на этот раз пластмассовые, современной формы. Я старательно нагромождаю их друг на друга, получается маленький многоэтажный дом с зарешеченными окнами, за каждым окошком видна кошачья голова, и как они мяукают, мамочка! Как мяукают!

Она успокаивает их одного за другим, нежно разговаривает с ними, зовет по имени: Генри, Пегги, Изольда... С каждым она говорит другим голосом, приноравливается, иными словами, к их индивидуальности. И это действует. Кошки успокаиваются, устраиваются поудобнее, сво-

рачиваются в клубочек на своих подстилках, я даже слышу мурлыканье. Я отваживаюсь на вопрос, который горят желанием задать все присутствующие:

— И это все ваше?

Она смотрит на меня, утвердительно кивает с виноватым видом:

— Многовато, не правда ли?

Я ничего не отвечаю. Вообще-то это ее проблема. Она считает нужным добавить:

— Я знаю, это неразумно.

Она растерянно разводит руками:

— Что вы хотите...

И затем снова ныряет в черную дыру, крикнув мне напоследок через плечо, прежде чем исчезнуть:

— Говорите с ними! Я рассчитываю на вас!

На этот раз начальник ничего не увидел, а полицейским наплевать.

Когда она снова появляется, нагруженная тремя новыми корзинами, толпа аплодирует ей. Устраиваю вновь прибывших наилучшим образом. Отныне я больше ничему не удивляюсь. Спрашиваю как можно более непринужденно:

— У вас еще много там осталось?

— Это были последние.

— Получается, посмотрим-ка... Всего семь.

— Нет, девять. В этой корзинке их двое: Гаспар и Тристан. В той Марго и Тамара. Понимаете, это неразлучники.

— Ясно... Значит, вы туда больше не вернетесь.

— Ну что вы! Еще остались ящики с песком, пакеты с кормом, куча всяких вещей...

И вот я слышу свой собственный голос:

— Хорошо. Я иду с вами.

Импульс, что поделаешь! Вообще-то ей никто не нужен, она очень хорошо справляется сама. Почему мужчина всегда считает, что женщина в нем нуждается? Этот проклятый инстинкт защиты, то есть господства... Ну что ж, если бы люди никогда не совершали глупостей, тогда не было бы рока, а только долгая спокойная река...

Я обращаюсь к девчушке, которая умиленно взывает "Кис-кис!":

— Вы бы не последили за ними минутку, мадемуазель?

Она соглашается, восхищенная доверием, а еще обращением "мадемуазель", которое заставляет гордо встрепенуться ее едва проклюнувшиеся грудки.

Но кошачья владелица уже исчезла в проклятом доме. Я бегу за ней следом по жалкому коридору, наполненному серой едкой пылью, которая тотчас же забивает мне нос и глотку. Мне щиплет глаза, я не вижу ни зги, к счастью, Саша, принявшийся снова гавкать, служит сиреной в тумане, я продвигаюсь на слух, наконец различаю смутный силуэт, более темный, чем окружающее, я нагоняю его, это действительно она. Она уже поставила ногу на первую ступеньку лестницы, когда я трогаю ее за плечо. Кошачья владелица оборачивается без удивления, она из тех, кто принимает все, что случается, как оно есть. Она объясняет:

— Надо действовать по-быстрому. Они начинают разрушать сверху, потом спускаются.

Я делаю тонкое замечание:

— Если бы они начинали снизу, им бы трудненько пришлось со спуском.

Она из вежливости изобразила мимолетную улыбку. Мы карабкаемся, подворачивая ноги на обломках, которые катятся каскадами и прыгают со ступеньки на ступеньку. Кувалда бьет, скрипит костыльная лапа, собака надрывается им в ритм. Сыплются тяжелые доски из цельного дуба, сильно потемневшие от времени, в те счастливые времена на товар не жалели денег.

Так мы добираемся до второго этажа. Того, что было вторым этажом. Она проскальзывает в призрак комнаты, к слову сказать, довольно большой, темной, которую едва освещает мутный свет, пробивающийся через крошечную щель, между двумя камнями, которыми заложено окно. Она показывает взмахом руки:

— Это здесь. Вообще-то тут было... Окно выходит на другую сторону, поэтому я смогла проделать небольшую щель, с улицы ее не видать. Так немножко веселее, я считаю, и потом, для здоровья лучше, надо проветривать, вы знаете.

Мешки с песком для кошек стоят в уголке рядом с несколькими картонными коробками, наполненными кошачьими и собачьими консервами, тощим походным матрацем, свернутым вместе со спальным мешком и стянутым веревочкой, ярко-красным рюкзаком, набитым до упора, из которого высовывается ручка кастрюли. Тут же аккуратно сложены стопочкой книги и тетради, скрепленные спиралью.

Я говорю:

— Надо будет сделать несколько ходок.

Она опускает голову, смотрит на меня искоса:

— Конечно, если б я была одна. Но вы же сильный.

Она не сказала “вы мужчина”. Она сказала “вы сильный”, с ударением на слове “сильный”, о, только слегка. Они знают, как за нас взяться.

Впрочем, она права. Не сказать, чтобы я был таким уж крепким, но, тщательно распределив груз, мне удается водрузить самые крупные вещи на спину, а в каждой руке у меня по большому пакету. Она взяла легкие объемные вещи, то есть постель.

При спуске она идет впереди, это я так решил, если споткнусь и полечу, то приземлюсь ей на спину, в свою очередь она упадет как раз на свою ношу, которую прижимает к груди, и это смягчит удар для обоих, по моим расчетам. Все продумано.

Несмотря на предательские обломки под ногами и на ливень из кусков цельного дуба, нам удается добраться до низа, так и не проверив на практике точность моих расчетов. Наше появление приветствуется громким коллективным “ах!”, что напоминает мне зимние вечера на деревенских посиделках, торжественный момент, когда хозяин включает свет. Девчушка испытывает облегчение при виде нас.

Официальное лицо совершенно разъярено:

— Вы не должны были туда входить. Надо было вовремя собрать вещи. А если бы с вами что-нибудь случилось, а? Мне отвечать за все!

Он брызжет слюной. Почему это ответственные лица всегда брызжут слюной? Помню одного... Она улыбается ему:

— Вы же видите, ничего не случилось. Разве не так?

— В любом случае вы туда больше не пойдете!

Чувствуется, он надеется, что наверху еще остались корзинки с кошками, бесчисленные корзинки с бесчисленными кошками, и что она заплачет и будет валяться у него в ногах и умолять.

— Ну и прекрасно, — говорит она, — я закончила.

Он резко сжимает кулаки, резко пожимает плечами, резко отворачивается. Это резкий человек. Он резко делает знак ближайшему полицейскому, который отдает честь и встает, расставив ноги, заложив руки за спину, с дубинкой наперехват, перед запретным входом. Этот безупречный солдат порядка мгновенье колеблется, спрашивая себя, должен ли он опустить прозрачное забрало своего шлема, это будет по правилам, но затем решает оставить его поднятым, так лучше видны его грозный взгляд и устрашающие брови.

Другой полицейский бросает сквозь зубы:

— Пока вы тут возитесь с кошками, ребятишки мрут с голоду.

Она услышала. Она наступает прямо на него, на этого толстого дядьку с багровой мордой:

— Вот как? А что сами вы делаете для тех ребятишек, которые мрут с голоду?

Он не отвечает. Он просто собирает тонны презрения в своих глазах и изливает сверху все это на нахалку. Она хватает его за пуговицу.

— Я занимаюсь и голодными детьми ТОЖЕ. Которые БЫЛИ БЫ голодными, если бы это зависило от таких людей, как вы. Спросите лучше у этих.

Подбородком она указывает на оставшихся без крова людей, расположившихся на своих смехотворных сокровищах. Детишки плачут, цепляясь за юбки матерей. Двое парней с нарукавными повязками раздают шоколадный напиток. Одна женщина кормит грудью.

Большой мотоцикл появляется в конце улицы и, взревев, останавливается. С него ловко спрыгивают два типа, один из них в кожаной куртке и каске. На плече он держит камеру, которую быстренько наводит на участников спектакля, одновременно покручивая объектив, чтобы настроить те штуки, которые необходимо настроить. Толпа тихонько ропщет, пока он не спеша сканирует весь театр действий. Его товарищ, бородач в куртке из шотландки в крупную клетку, протягивает микрофон в ряды кордона сил порядка. Но ответственное лицо в гражданском уже подскочило и закрывает рукой объектив. Оно орет со все возрастающей яростью:

— Тут нечего смотреть! Нечего снимать! Вас тут быть не должно! Убирайтесь, все по закону, это запланированная и объявленная операция...

Бородач, не обращая внимания, протягивает ему микрофон:

— Объявлено где? Вы говорите, что нас тут быть не должно. Как же это понимать? Если это законно, то в чем проблема? Предупреждаю вас, запись идет. Я записываю все, что вы говорите. Что вы собираетесь сде-

лать со всеми этими людьми? Вы предусмотрели другое жилье для них? Где? В каких условиях? Давайте поторапливайтесь, это для восьмичасовых новостей!

Тот уже собрался отвечать, едва сдерживая свой бешеный нрав, — телевидение, как приятно! — когда спокойное дыхание множества больших дизельных моторов по-хозяйски заполняет улицу. Раздражение сразу же исчезает с искаженного лица человека с большими полномочиями. Уже с уверенным и даже торжествующим видом он объявляет, делая широкий генеральский жест:

— Господа, вот ответ на все ваши вопросы! Эти грузовики отвезут всех незаконных жителей этих мест в Центр временного жилья, где им будет намного удобнее, а главное — я настаиваю на этом пункте, потому что надо думать о детях, господа, — они будут жить в намного более гигиенических условиях, в ожидании, когда им будет выделено жилье в соответствии с экономическим и семейным положением каждого...

Бородач с микрофоном прерывает:

— Где вы хотите их поселить? У черта на куличках? В трех часах на поезде от места работы плюс час пешком? Уже слыхали!

— Мне больше нечего вам сказать.

— Ладно. Мы поедем за грузовиками.

— Как вам угодно. Делайте вашу работу.

— Ты прав, Тото. А скажи-ка, кстати, все эти гориллы, зачем они здесь, против кого?

Но Тото уже отвернулся, чтобы командовать погрузкой разноцветных туристов и их барахла.

Тут-то и стало видно, для чего нужны были "гориллы". Бабы не хотят уезжать без своих мужичков, они начинают громко голосить, что же будет, муж придет с работы, а дома больше нет, бабы больше нет и детишек нет, а он-то голодный, он-то усталый, тогда он заплачет, он разбушуется, он плохо говорит на французском, никогда он нас не найдет, никогда, никогда... Женщины воют, рвут на себе волосы, раздирают одежды, детишки ревут от страха при виде воющих матерей, толпа чувствует себя как в кино.

Твердо, но ловко силы, называемые "силами порядка", начинают заталкивать весь этот несчастный народ в грузовики. Это не так-то легко. Тут требуются, так сказать, гуманность и милосердие. Нельзя было бы доверить такое тонкое дело любому подразделению. Эти же парни владеют навыками и манерами. Что называется, очаровательные силы порядка. Действительно, непонятно как, но бабы, детишки и скарб наконец загружены в большие фургоны и готовы к отправке.

Кошачья мамочка вместе со своим верным рыцарем, то есть со мной, терпеливо ждала завершения погрузки всех потерпевших кораблекрушение, чтобы предстать в свою очередь перед кузовом последнего грузовика, того, где еще оставалось местечко. Я протягиваю верхнюю корзинку малышу с большими газельими глазами, который, радуясь, что пригодился, тянет руки через борт. Но вдруг возникает тощий силуэт. Это высокомерный скелет гражданского-лица-который-облечен-полномочиями-и-ответственностью. Официальные мощи провозглашают:

— Не может быть и речи. Нам поручено отвезти этих людей во временный приют, а не в зверинец.

Его несгибаемость и служебное рвение плохо скрывают злобное торжество. Она этого не ожидала. Она возражает:

— Но вообще-то...

— Никаких "но" и никаких "вообще", — торжествует мрачный гад, — это предписание. Животные не допускаются в приюты. Разве что в Ноевы ковчеги, — острит он, очень довольный собой.

Он делает шаг в сторону, высоко поднимает руку, а затем опускает ее. Грузовики трогаются и через несколько минут заворачивают за угол. Мы остаемся на дороге с кучей мяукающих корзинок и со всем барахлом. Как идиоты.

Это становится уж слишком много для одного дня. У маленькой храброй дамочки, утопающей в своих многослойных одежках, в первый раз обескураженный вид. Она бочком опускается на коробку с кошачьими консервами "Шатэкски" — "Изысканная киска" — и, качая головой, блуждает растерянным взглядом по лужам, оставшимся после ливня.

А я что тут делаю, я-то при чем? Я стою с опущенными руками и так же бесполезен, как лужи на асфальте. Говорю себе, я всего лишь проходил мимо, оказал небольшую помощь, сущий пустяк, из симпатии, и в результате увяз в самом неприятнейшем деле. Мне хотелось бы потихоньку удрать, меня так и подмывает это сделать, но нет, она ведь в самом деле оказалась в абсолютном дерьме, я не могу с ней так поступить. Да, но зачем я ей? Тут нужен парень что надо, один из тех шустряков, у кого всегда наготове решение, связи, знакомые. А я как птица на ветке, настоящий разиня, живу как во сне, меня никогда нет там, где я нахожусь на самом деле. Я сочувствую, я сокрушаюсь вместе с ней, ставлю себя на ее место, переживаю, ну и что? На ее месте я оставил бы кошек, собаку и все прочее прямо здесь, прокрался бы до угла на цыпочках, а потом бы просто-напросто удрал далеко-далеко... Я знаю, потом начались бы угрызения совести и ужас перед тем, что сделано, и отвращение к себе. Но это ПОТОМ.

Однажды я сидел за рулем своей развалюхи, — да, у меня была машина, в одном из закоулков моей жизни, у меня даже есть водительское удостоверение, не знаю, куда я его дел, — так вот, драндулент сломался прямо посреди бульвара Сен-Жермен, в середине чудовищного движения, о, ничего страшного, всего-навсего отказала эта дрянь, переключатель передач хода, который заедает каждый раз при остановке, каждый раз, подлюга такая, а остановки, представьте, через каждый метр, и аккумулятор сел, а я пытаюсь перехитрить этот проклятущий двигатель, переключаюсь на нейтральную передачу и быстрее, быстрее левой ногой проскользнуть за правую, намертво прижавшую тормозную педаль, нажать на педаль акселератора, врум, врум, только бы не заглох, о черт, я запутался в собственных ногах, не успел, но все же мотор завелся, и тут моя развалюха прыгает на тачку, остановившуюся прямо перед ней, и все эти идиоты сзади, спереди, справа, слева, с мордами, перекошенными от ненависти и презрения, осыпают меня страшными проклятиями,

этого я совсем уж не могу переносить: выглядеть идиотом — самое худшее на свете, это может толкнуть вас на подвиг или на самоубийство, я уже был готов на то и на другое, все смешалось в моей голове, эта злосчастная дерьмовозка, мои дурацкие бестолковые ноги и все эти разъяренные рожи вокруг, сигналящие, изрыгающие проклятия, крутящие пальцем у виска, как будто им самим никогда не приходилось ломаться, попадать в дурацкое положение, нет, никогда они не испытывают сомнений, всегда знают, что нужно делать, и делают это тютелька в тютельку, вонючие идиоты... Ну так вот вам, я захлопнул дверцу, бросил тачку тут же, посреди бульвара, прямо напротив модного бистро, да, вот так, зажатую в океане жестянок, как изюминка в рисовом пироге, и я смылся куда глаза глядят, мне надоело, пусть сами выпутываются, а я бы помчался за утешением к мамочке, если бы она еще была жива. Вот я каков.

Вот я каков, но тут примешивается эта паршивая гордость, или жалость, или назови это как хочешь, которая высовывает свой нос именно тогда, когда не надо, и заставляет меня делать такие вещи, каких я никогда не стал бы делать по собственной воле, я хочу сказать, по своей НАСТОЯЩЕЙ собственной воле. Потом, конечно, я сожалею, называю себя дураком и пижоном... Да. А сегодня это происходит так.

Я кладу ей руку на плечо с видом старшего брата и говорю:

— Поехали ко мне. На эту ночь. Чтобы вы успели прийти в себя. Завтра вы сумеете что-то придумать.

Вот. Я это сказал.

Она поднимает голову, поворачивает ее, я стою слева от нее, она смотрит на меня снизу вверх с серьезным видом, без удивления, без облегчения, просто смотрит. Она говорит:

— К вам? А что у вас?

— Квартира.

— В муниципальной многоэтажке?

— Вот именно. Две комнаты. Там небольшой беспорядок, но я сумею освободить местечко для вас.

— А ваша жена, ваши дети ? Что они скажут?

— Я живу один.

— А как мы туда доберемся?

Да, действительно. Я об этом не подумал. Ни один таксист никогда не согласится. Еще одна проблема. Я говорю:

— Нужен будет маленький грузовичок.

— Да, действительно.

Вообще-то грузовичок можно взять напрокат. Даже наверняка. Где-нибудь здесь. О-ля-ля, как все это сложно. Я никогда этим не занимался.

— Мадам, месье...

Это та девчушка. Смотрите-ка, она все еще здесь? Полиция уехала, все уже разошлись, больше ничего интересного. Она поднимает руку, как в школе. Дама вся внимание. Я тоже.

— Вы знаете, у меня дядя, он бакалейщик, на соседней улице, тут, совсем рядом. У него есть грузовичок... Если вы хотите, я у него попрошу. Он согласится, это точно. Он всегда соглашается. Хорошо?

Кошкина мамаша ожила. Она вскочила на ноги одним движением.

Саша, которого она все еще держит на поводке, подпрыгивает, удивленный, и коротко взлаивает. Его хозяйка бросается на шею малышки, награждает ее двумя звучными поцелуями:

— Вы такая... Вы чудесная! Пошли скорее туда!

Она поворачивается ко мне, показывает на корзинки и все остальное:

— Я могу их вам доверить?.. Но может быть, вас где-то ждут?

Нет, меня не ждут. Я пожимаю плечами и говорю:

— Ладно. Не беспокойтесь.

Появляется полицейский. Не из сил порядка, один из тех, что носят плоские фуражки по теперешней форме. Это не значит, что я без ума от кепи, в нем или без него полицейский остается полицейским, то есть врагом, но кепи имело такой нашенский вид, типа народного костюма, вроде высоких касок английских полицейских, а фуражка совсем другое, она обезличивает, превращает своего владельца в стандартного полицейского-космополита, живущего на взятки и занимающегося сомнительными делишками, это подражание генералам хунты в огромных фуражках, в общем, таково мое мнение. Я предполагаю, дает о себе знать шовинистическая сторона моего характера. Что толку, подобно Брассенсу всем сердцем презирать "счастливых дураков, родившихся где-то там" [1], что толку, что толку, старые рефлексы тут как тут, поднимаются со дна болота. Ладно. Полицейский. В фуражке. Который объявляет:

— Вы не должны оставлять все это здесь. Вы загораживаете проход.

— Ох, сейчас, дайте пять минут...

— Вы все так говорите. Знаем ваши пять минут. Давайте убирайте!

Я бормочу: "Ладно, ладно...", чтобы спасти лицо — эта чертова мания спасать свое дурацкое лицо! Еще один идиотский рефлекс на уровне рептилии! Так происходит всегда, когда сдаешься по всем фронтам, кротко подставляя задницу, считая, что спасаешь его, это лицо! — и я старательно располагаю все барахло вдоль стены, чтобы ничего не выступало. Но полицейский, которому вообще-то было на все глубоко наплевать, а придрался он только для того, чтобы испробовать действие своей власти, не заржавела ли она, уже развернулся и удалился, чтобы пристать к кому-нибудь другому. А я жду, сам себе не веря. Я спрашиваю себя, что я здесь потерял, в какую многосерийную переделку еще раз вляпался. Моя дурная голова... Через дырочку в корзинке я пытаюсь пощекотать кота с бульдожьей сплющенной мордой, густо обросшей шерстью, а противная зверюга цапает меня за палец острейшими когтями, подтягивает его к клыкам, а затем, ам, кусает, сильно и глубоко. Какова дрянь!

Я сосу палец, он кровоточит, и вот о чудо! — пых-пых, фр-фр, грузовичок уже здесь! Прекрасно. А внутри, рядышком, дама, сияющая от радости, девчушка, розовая от важности, и за рулем молодой араб-бербер, самый берберистый из всех берберов: лошадиные зубы, квадратные челюсти, костистая физиономия, будто вырубленная Роденом тремя ударами резца, впадины и шишки, очень впалые впадины и очень

1. Строка из "Баллады о людях, родившихся где-то там", в которой Брассенс ополчается против местного патриотизма. *(Здесь и далее – прим. перев.).*

шишковатые шишки, выпуклые надбровные дуги, как из гранита, глубокие глазные ямы, густая курчавая грива, черная с рыжими отблесками, смеющиеся глаза, и вся физиономия, готовая к зубоскальству и шуткам. Счастливый характер.

— Это мой кузен, — объясняет малышка. — Он вызвался нас отвезти. Он классно водит, вы увидите.

Она гордится им, своим кузеном. Может быть, их обручили еще во младенчестве, кто их знает? Я читал, что у них делают подобные вещи.

Все быстренько погрузили в грузовичок через боковую раздвижную дверцу, кузен-бербер в мгновение ока освободил место среди пустой тары. Дама хочет ехать вместе со своими котами и с Саша. Она разговаривает с ними, успокаивает их, объясняет им, что мы едем к доброму господину, все устроилось, нет причин для огорчения, они смогут пообедать по приезде. Коты внимательно слушают. Аплодисментами этой речи служит приятный концерт из мурлыканья в девять голосов. Собака кажется такой же озабоченной кошачьим комфортом, как хозяйка.

Итак, я сижу в кабине водителя, а маленькая кузина посередине. Поехали.

Втроем немного тесно на старом сплющенном сиденье. Малышка сидит прямо, сжав колени, страшно гордая. Ведь это была ее идея, дядин грузовичок. На нее внезапно свалилась командная роль. Она жует жвачку, указывает водителю препятствия на пути.

— Осторожно! Держу пари, что вон тот идиот меняет ряд без мигалок, я это чувствую... А, ты видишь? Что я говорила? Вот педрила!

Кузен ошеломленно трясет головой.

— Ты не должна так говорить, эти слова не для девочек. Это слова для шлюх.

— Да что ты говоришь! Откуда он свалился, этот тип? В лицее все девочки так говорят.

— Они все шлюхи, — выносит заключение кузен.

— Шлюха, к твоему сведению, берет деньги за свою работу, — говорит малышка.

— Что ты хочешь этим сказать? Выходит, вы делаете это задаром?

Наконец она покраснела.

— Ну и тип! Даже поболтать нельзя...

— Почему же, можно. Но не как шлюха. Ведь ты не скажешь таких слов перед своим отцом.

Она понимает, что разговор становится опасным, что он дошел до той точки, когда хорошо воспитанная девица должна замолчать. Она замолкает. Смотрит прямо перед собой, яростно жует свою жвачку и больше уже ничего не скажет. Она обиделась, вот и все. Кузен с поучающим видом заключает разговор моралью:

— Те вещи, которые девочка не может произнести в присутствии своего отца, она нигде не должна произносить.

А я наслаждаюсь втихомолку, наблюдая уголком глаза. Она классная, эта крошка. Я вовсе не любитель едва вылупившихся цыплят. Острые локти и едва начавшееся созревание не волнуют меня. Но это сильнее меня,

в любом существе противоположного пола я всегда ищу повода для фантазий. Женщина — это не мужчина, черт побери! Как только в пейзаже появляется женщина, во мне что-то включается, рождается интерес, я чувствую возбуждение. Инстинкт охотника, сказал бы кое-кто, но нет, это другое. Скорее инстинкт дичи, я бы сказал. Возьмем одно только слово "женщина". Уже одно это слово высекает искру, а потом разгорается пожар. Ничего не могу с собой поделать. Женщина... Райский луч. Солнце пробивается сквозь тучи. Даже у самой некрасивой, самой старой, самой толстой, самой глупой я всегда стараюсь найти кусочек, трудно сказать чего, откуда можно было бы высечь божественную искру.

А сейчас я таю от счастья. Она здесь, под боком, касается моего бедра. Существует "она", и она тут. Рядом со мной. О, у меня нет никаких намерений, я не мечтаю ни о каком "быть может". Я дегустирую ее присутствие, и все, но уж это я делаю как следует. Я концентрируюсь на осознании этой невероятной вещи: здесь женщина. Я проникаюсь этим, пропитываюсь, хочу думать только об этом, жить только этим. "Она" — еще одно слово, запускающее восторженную фантазию. Текучее слово, такое французское, вызывающее в воображении ноги, бедра, улыбки, запахи... "Чрево твое — ворох пшеницы..." — как сказано. О да!

Я знаю, что это только рассмешит любого нормального человека. "Наслаждение, которого нельзя коснуться рукой, — всего лишь иллюзия" — что-то подобное говорил не знаю уж какой составитель изречений для альманахов. Молчи, невежда! Если тебе удается прибрать к рукам наслаждение и все остальное, тем лучше, и поверь, что я тоже не лишаю себя этого, но ведь наслаждение и во многом другом, ничем нельзя пренебречь. Женщина, на которую ты смотришь, уже твоя. Нет, не этим смехотворным, обманным образом, не в качестве утешения, которое не утоляет жажду. Ты не можешь ими всеми обладать "телесно", но смотреть на них, насытиться ими через глаза, это ты можешь! Ты устраиваешь себе пир из ее прекрасных движений, ты воображаешь то, чего ты не видишь, ты аккумулируешь в себе воспоминание, может быть такое же яркое, как если бы ты занимался с ней любовью, и этого уже никто не сможет у тебя украсть, отобрать, оспорить. Много ли выигрывают те, кто платит целое состояние за картину? Тот, кто переплывает моря, чтобы взглянуть на Джоконду? Он увидел ее, о да! Увидел... и это все. Только одно из его чувств получило удовольствие, наименее материальное из всех, может быть, менее всего "телесное", и он, простак, страшно счастлив. Но ведь этих джоконд полны улицы, они в метро, на террасах, в ресторанах, в конторах, их полно в жизни! Два с половиной миллиарда женщин на этой благословенной планете! Даже немножко больше, они более многочисленны, чем мужчины. Два с половиной миллиарда влюбленностей, очарования, восхищения, мечтаний, счастья! И все разные! Все уникальные! У каждой свой собственный способ быть женщиной! Столько же видов женственности, сколько женщин! О мамочка, я плаваю в океане женщин! Спасибо тебе, мама, спасибо за то, что родила меня на свет, и именно на этот свет!

Маленькая плутовка уже заметила впечатление, которое она производит на меня, хотя ничто в моем поведении — ни один лишний взгляд, ни

малейшее движение моего бедра, касающегося ее бедра, — не могло дать ей знать об этом. Они всегда это замечают. Я обнаруживаю по какой-то настороженности в ее хмурой невозмутимости, что она знает и не забывает о присутствии самца, совсем так, как я не забываю, что она самка. Я всегда спрашивал себя, знакомо ли женщинам это мучительное сексуальное наваждение, благодаря которому жизнь самца приобретает смысл. Обладают ли наши половые органы и все прочее такой же мощной возбуждающей силой для них, что их собственные для нас... В любом случае крошка почувствовала мой внезапный интерес к ее женственности, и, я думаю, она реагировала инстинктивно. С невозмутимым видом малышка принимает позу. Маленькая плутовка! Начинающая восхитительная маленькая плутовка!

В конце пути мне приходится оторваться от своих тайных наслаждений для того, чтобы сыграть роль штурмана. Я живу в одном из этих просторных кварталов, где все одинаково, где ничего невозможно отыскать, если ты не старожил. Наконец грузовичок останавливается перед зеленым газоном, предусмотренным по плану строительства. Крикливые подростки играют в футбол на побитой тлей зелени, а другие приканчивают нижние ветки тщедушных акаций.

II

Дом современный, функциональный, скучный и идиотский. Один из однообразных небоскребов, разукрашенных разноцветной мозаикой в целях оживления. Мой корпус местами грязно-охристый, местами грязно-синий, облицовка его отваливается большими плитами, обнажая цемент, стены выглядят изъеденными проказой. Можно застрелиться. Хуже всего, когда ты подходишь к окну: ты видишь, что окружен убогим стадом подобий твоей конуры, больше ни о чем другом ты уже не можешь думать. К счастью, есть небесная лазурь, там, наверху, когда ей случается быть лазурной. Тогда ты смотришь в небеса, ты запрещаешь себе опускать взгляд. К окну я почти никогда не подхожу. Я забываю о том, что меня окружает. У меня богатая внутренняя жизнь.

Лифт, окрашенный в коричневый цвет, не очень обильно заляпан дебильной мазней, так как сторожиха-испанка наводит страх на пачкунов, она носит огромные подбитые гвоздями башмаки с очень твердыми носками и не задумается всадить такой носок в задницу какого-нибудь живописца-любителя электромеханических устройств, и если тебе не понравилось, скажи об этом твоему папаше, я его не боюсь, твоего папаши.

Девчушка — а вообще-то, как же ее зовут? — все еще упорствуя в своем высокомерном молчании, помогает нам перенести корзинки и их содержимое в лифт. Дама благодарит кузена от всего сердца, сует ему деньги “за бензин”, которые он отталкивает с таким видом, как будто они его обжигают: “Нет, нет, мадам, ни в коем случае! Я это сделал из удовольствия и по дружбе”. Малышка молча влепляет каждому из нас по два неожиданных поцелуя в щеки, и вот мы в коричневой коробке возносимся к небесам.

Квартира на четвертом этаже. Все, что осталось мне от моей семейной жизни с Агатой. Эти четыре стены, эта жалкая мебель. Она ушла, увела с собой ребенка, ей не нужна была эта квартира, она уходила в намного лучшую. Ей также не нужны были алименты, которые, впрочем, я не смог бы выплачивать. Она к тому же не жадная, это ей случается меня выручать, когда мне приходится действительно туго. Редкая женщина: гнусно меня бросила и не в обиде на меня за это! Она продолжает издали заботиться обо мне. Просить ее нет необходимости, и я сам никогда бы этого не сделал, ни за что! Она чувствует, когда нужна ее помощь. Я не прошу. Она чует это. И тогда с неба на меня сваливается перевод. С неба по имени Агата. Я не благодарю. Я же ничего не просил.

Обычная двухкомнатная квартира: "гостиная" не слишком-то просторная, маленькая спальня, кухня, ванная, туалет. А еще ужасный кавардак. Я терпеть не могу беспорядок и грязь, но у меня не хватает пороху для наведения порядка. Потому здесь и царит бедлам. Порядок является противоестественной вещью, это победа, временно одержанная в бою, который нужно вести беспрестанно. Беспорядок — это естественно. А естественность всегда выигрывает в конце концов. В моем случае это так.

Я много читаю. Даже чересчур. И я никогда ни одной книги не выбрасываю, даже совсем идиотской. Сам предмет — книга, вне зависимости от того, что она содержит, внушает мне глубокое почтение, что-то вроде священного трепета. Книга — это совершенство формы, облекающее самую высшую концентрацию наслаждения. Все сущее воплощено в книге! И ее можно перелистывать, каждая страница — это дверь, бесшумно поворачивающаяся на своих петлях и открывающая нам другую дверь, а та — следующую, а каждая дверь — это волшебное дерево, усыпанное чудесными дарами, которые открываются уму и сердцу через глаза, какое чудо! Диски, кассеты, это тоже прекрасно, я ничего не имею против, но у них нет царственной простоты книги, они не говорят сами по себе, требуется штука, которая их крутит, и ток, чтобы привести все в действие, это производит шум...

Мне на пользу идет только прочитанное. То, что я слышу, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Напрасно я слушаю, внимаю изо всех сил, мне никогда не удается обеспечить свое полное присутствие там, где я нахожусь, и очень быстро я отключаюсь, растворяюсь в мечтаниях. Зато то, что я читаю, впечатывается твердо и глубоко, в голове срабатывает множество рычажков, мой мозг становится компьютером, я понимаю, я участвую, я воображаю, я проектирую, я строю... Этим я обязан, без сомнения, тому, что научился читать совсем маленьким, и чтение мне сразу же пришлось по вкусу. Я нашел свою стихию, вот и все. Как едва вылупившаяся черепашка, которая направляется прямиком к морю. Я даже не осмеливаюсь думать о тех временах, когда книги не были еще изобретены. Я бы тогда совсем пропал, это точно. Много молодежи, должно быть, пропало в те времена неизвестно от чего: это были такие же натуры, как я, но родившиеся слишком рано.

Мне очень повезло, что я живу в этом океане печатной продукции, каким является двадцатый век. Рекламные проспекты, набиваемые каждое утро в мой почтовый ящик, не вызывают у меня черной ярости, как

у других жильцов. Я приношу их домой, я все их внимательно прочитываю, рассматриваю красивые картинки. Я знаю все о новых замороженных продуктах, которые продаются в магазине на углу, о баснословных скидках, о мастерах-водопроводчиках-ремонтниках, которые все делают намного лучше, чем тот, чье заведение находится напротив. Я с удивлением таращу глаза на чудесные подарки: "Вы выиграли сто миллионов! Да, вы, именно вы! Спешите заполнить бланк, и т. д.". Меня забавляет старание, с которым они, эти насекомые, пытаются сбыть свой товар, расхвалить свою работу, урвать у меня толику моих денежек... выжить. Весь этот мир вокруг бурлит и кипит, давит и убивает, и все эти бумаги в моем почтовом ящике — пена большой драки за жизнь.

Короче, кавардак — это горы книжек. Которые однажды я разберу непременно, если бы я в этом не был убежден, я был бы несчастен. Однажды... Я все разберу по жанрам или по именам авторов, просто в алфавитном порядке или в научном, по тематике, я еще не знаю, но стоит мне за это взяться, как все пойдет само собой. Я заранее упиваюсь, я готов к этому. Сначала надо установить стеллажи. Везде. Ни куска стены без книг. Я сорву картинки Агаты (она называла их постерами): очень хорошо сделанные репродукции с объявлениями о выставках суперсовременного искусства, об импрессионистах, импрессионисты в очень большой моде, и даже Делакруа, романтизм является последней находкой модного китча. Она их очень любила. А также фотографии, афиши Дуано... Поди узнай, почему она их оставила.

Я не выношу никаких украшений на стенах. Ни картин, ни афиш, ни чего бы то ни было другого, даже почтового календаря. Лица, которые смотрят на тебя, пусть даже гениально написанные, всегда одни и те же, все те же физиономии набрасываются на тебя в одном и том же месте, те же пейзажи, застывшие в вечном свете... Даже будь то картины, которые я люблю, я кончил бы тем, что возненавидел их, недвижных, похожих на галлюцинации, набивших оскомину, несносных, как все застывшее. А абстракция? (Агата сказала бы: нефигуративное искусство). Того хуже. Даже удачная абстракция — это в лучшем случае узоры для галстуков. В худшем — ловушка для простаков. Единственная вещь, которую мне захотелось бы иметь, если бы у меня были средства для удовлетворения своих хотений, — это ковры. Будь я богатым, я жил бы в коконе из ковров, один восточнее другого. С женщинами, само собой разумеется. Многочисленными. Тоже восточными, как на картине Энгра "Турецкая баня". Гибкими и пышными. И покорными. Я купил бы их на рынке женщин. Я был бы с ними очень любезен. Они бы очень сильно любили меня.

Пока же самое неотложное — освободить место. Один угол. Единственный способ: схватить в охапку гору книг и поставить ее на другую гору. Я взялся за это не очень ловко, гора обрушивается, книги валятся, обложки мнутся. Она желает участвовать. Мне не хотелось бы, я так и говорю ей. Без сомнения, у нее получилось бы более ловко, чем у меня, но это мои книги. Лучше я сам буду с ними плохо обращаться, чем их будет оберегать кто-то другой. Такой уж я.

Кончается тем, что я освобождаю угол около окна. За это время она

успела распаковать целый ужин: девять маленьких пластиковых мисочек, по одной каждой кошке и еще одна большая. Для собаки, говорю я себе. Она проворно открывает консервные банки различных марок, распределяет еду по мискам, каждому свою марку. Она отмеривает порции с точностью провизора, дозирующего пилюли. На каждой миске несмываемым фломастером на фоне цветочного рисунка написано имя кошки. Она объясняет мне:

— Да, это довольно сложно. У них диеты. У некоторых очень слабое здоровье, видите ли. Почти все эти кошки найденыши, спасенные от смерти. Я должна быть очень внимательной, не давать им есть что попало и воровать чужие порции.

Она говорит с доверительным видом:

— Софи и Рагонден вырваны из рук лабораторных палачей. Их использовали для опытов вивисекции. Вы представляете? Ужас. Мне пришлось потрудиться, чтобы заставить их забыть. Они все еще полностью не оправились. Их раны плохо рубцуются.

— Вы хотите сказать, что вы их украли?

— Не я... Но молчок об этом!

Она располагает полные мисочки в ряд, как маленькие тарелочки Белоснежкиных гномов. Она открывает дверцу одной из корзинок. Появляется недоверчивый розовый носик. Я пугаюсь:

— Вы их выпускаете?

Она спокойно смотрит на меня своими правдивыми голубыми глазами. Смотри-ка, а они голубые...

— Они не будут есть взаперти. У них шок, понимаете. Это был тяжелый день. Я должна их успокоить.

Встав на четвереньки, она объясняет коту:

— Ну вот, Генри, мы и приехали. Иди же, я жду. Давай поешь, дорогой.

Старый кот тигрового окраса смотрит на нее, коротко мяукает, осторожно ступает одной лапой, другой, трется головой о ее протянутую руку, обнюхивает содержимое миски и, наконец, осмелившись поверить, поудобнее усаживается, уткнувшись носом в еду. Он подцепляет кусок, пытается перетереть его челюстями.

— У бедняжки нет зубов, — говорит дама.

Пес виляет хвостом в знак сочувствия. Он следил за ее действиями с большим интересом. А я говорю себе, что если подобная процедура повторится со всеми остальными девятью зверушками плюс с псиной, то это долгая история.

Процедура повторилась. На это уходит целый час, в течение которого я стараюсь потихоньку убрать все самое неприличное: грязные рубашки и трусы, разбросанные вперемешку с книжками на никогда не складывающемся складном диване-кровати, раз и навсегда развалившемся в положении "кровать", кучи всяких вещей такого же рода, которые обычно меня не стесняют, пока на них не упадет чужой, а значит, недоброжелательный взгляд...

Я не привожу женщин к себе. Никогда. Следовательно, замужние женщины для меня под запретом. Впрочем, я заметил, что они предпочитают встречаться у себя, в привычной обстановке. Это придает им

уверенности, я думаю, создает впечатление, что они не бросаются очертя голову в бог знает какую неизвестность. Они остаются одной ногой на твердой земле, цепляются одной рукой за перила... Я тоже предпочитаю это, и не только по причине моей позорной грязи ленивого холостяка. Проникнуть в личную жизнь женщины до того — может быть! — как проникнуть в нее самое, вот приключение, равное открытию могилы Тутанхамона. Впрочем, они все ужасно банальны, но так трогательны в своих посягательствах на оригинальность.

Эта же поймала меня на бездумном импульсе. Сказать по правде, я не видел в ней женщины, не думал о ней как о женщине. Всего-навсего шар бесполой теплой одежды, доведенный до полного отчаяния... Она покончила с кормежкой всего своего народца, это было самым срочным, и ей стало жарко, она снимает самый верхний слой, стеганый пуховик, свитер, свитер и еще свитер, с каждым снимаемым слоем из бесформенного блока появляются формы, изобильно женственные, в стиле Майоля или, скорее, в стиле этих дебелых толстозадых теток, одно время украшавших Елисейские поля, скульптора Ботро, если мне не изменяет память. Шапочка слетает в свою очередь, она встряхивает головой, слежавшаяся грива приобретает объем и жизнь. И цвет тоже. Сюрприз: я считал ее блондинкой, по крайней мере, блондинистой из-за красных щек, голубых глаз. На самом деле она почти седая, есть совсем белые пряди.

Разом я вижу морщинки в уголках глаз и очень мелкие, очень жестокие морщинки, которые расходятся лучиками вокруг губ. По живости ее движений, голоса, улыбки я дал бы ей... Вообще-то я об этом тогда не думал. Я говорю себе теперь, что, если бы мне вздумалось об этом задуматься, я дал бы ей, дайте прикинуть... не знаю, скажем, тридцать? Тридцать пять? Да, где-то так. Я об этом не думал, но что-то во мне машинально все же произвело оценку. Забавно — эта механика внутри, функционирующая сама по себе, без нашего участия и которая больше всего любит заниматься определением возраста людей. Особенно женщин. И на основании этого уже решаешь, кажутся ли они моложе или старше своего возраста... Кошатнице после корректировки я безжалостно взваливаю на плечи все пятьдесят. Может быть, даже шестьдесят. Так и есть, решено: шестьдесят лет. Что же в этом еще женственном создании шестидесяти лет могло бы вызвать во мне любовное возбуждение, в том случае, если ...? У нее обязательно должно быть что-то такое. У них у всех оно есть. Даже когда они совсем опускаются, как те мокрохвостые бродяжки, утонувшие в мерзком винище, даже тогда, даже тогда можно мечтать об искуплении, вообразить себя Пигмалионом. До тех пор, пока все остается лишь мечтой...

Эта же хорошо сохранилась. Под свитерами просматриваются выпуклости, брюки тоже не висят. Она должна быть весьма пухленькой. Маленький кругленький животик, мягонький, с приятным жирком, к нему, должно быть, так приятно прижаться щекой, изобильные и щедрые бедра, все эти складочки немного увядшие, немного оплывшие, особенно когда ничего больше не поддерживает... Тот, кто никогда не пробовал прекрасного осеннего плода, не знает, что он потерял. В пору

моего раннего созревания я безумно влюбился, не в классическую мать приятеля, тоже весьма аппетитную, а в его бабушку, которая была еще красивее и такой и осталась. Красивой по-другому, но прекрасной, прекрасной... Я посвящал ей сеансы усердной мастурбации и замирал, выкрикивая ее фамилию, и называя ее Мадам, и обращаясь к ней на вы. Я звал ее тогда с такой страстью, что она могла вот-вот появиться, материализоваться в моих руках, во всей славе этого тела, которое я представлял восхитительно нежным, которое я обожал не вопреки знакам, оставленным временем, а как раз благодаря этим ускользающим и таким волнующим изъянам. А еще седые волосы, стянутые назад в строгой прическе... Войти в седовласую даму, заставить ее безумствовать от наслаждения... А потом кислый вкус осквернения. В отрочестве легко кощунствовать.

Она выпрямляется, вытирает пот тыльной стороной ладони, вздыхает:

— Уф! Ну и работка, знаете ли.

Из-за длительного положения внаклонку кровь прилила к ее лицу, сделав ее щеки из розовых пунцовыми, и я только теперь заметил на них еще и предательскую сеточку красновато-синих склеротических прожилок.

— А у вас тепло.

— Слишком жарко?

— Вы знаете, после трущобы...

— Там не отапливалось?

— Конечно нет!

А я мерзляк. Мне никогда не хватает тепла. Я хотел бы поставить радиаторы на бóльшую мощность, но это невозможно. Они и так на максимуме. Понимаете, муниципальное отопление...

Насытившись, коты пошли в разведку. Самый хитрый или самый зябкий уже улегся на радиаторе. Четверо других обследуют кровать, пробуют мягкость перины, устраивают себе гнездышки в углублениях. Другие занимаются альпинизмом на горных кручах книг. Большой черно-белый кошак точит там свои когти. А под кроватью происходит сражение: раздается завывание, фыркание, мяуканье, хвосты хлещут во все стороны, пыль клубами вылетает оттуда, как из жерла старинной пушки, большие серые комья, веками безмятежно копившиеся, катаются теперь повсюду, выставляя меня на позор.

Должно быть, у меня на лице написано все, что я чувствую. Она украдкой смотрит на меня, как проштрафившаяся школьница в ожидании оплеухи, надеющаяся тем не менее на снисхождение. Она говорит:

— Они разминаются. Надо их понять: так долго взаперти! Они скоро успокоятся.

По мне, лучше выкинуть их всех в окно. Я притворно улыбаюсь. Должно быть, моя улыбка не очень убедительна. Я трусливо поддакиваю:

— Да, конечно, бедняжки. Им нужно размяться. Но на ночь вы посадите их обратно в корзинки?

— О... правда? Они будут так разочарованы!

На этот раз она уставилась на меня своими проклятыми светлыми глазами снизу вверх, я не такой уж высокий, но она больно уж маленькая, и вот тогда я ее действительно увидел. Это Джельсомина. Джельсомина из фильма “Дорога”.

Детское личико, оставшееся таким на всю жизнь, голова как арти-

шок, клоунская физиономия, обезоруживающая своей простодушной невинностью, незнакомая со злом, отказывающаяся признавать, что жизнь может быть грязной. Жертва. Но только не для тех, кто тронет ее кошек. Ради них способная на любой подвиг, на любую хитрость, на самый резкий отпор.

Джельсомина... "Дорога", мой отец водил меня на нее, мне было лет десять. Я плакал. Я купил видеокассету. Я смотрю ее время от времени. Каждый раз я плачу.

Одна из книжных куч обрушивается. Виновник происшествия, напуганный содеянным, спасается под шкафом из цельной норвежской пихты, который продавался в разобранном виде и собирать его надо было самим (в каталоге стояло "en kit", но я невосприимчив к модным американизмам. Да и вообще к моде). Шкаф покачивается взад-вперед, мне так и не удалось как следует разобраться в этих сборных штуках, пришлось порядком попотеть, но ничего путного не получилось. Агата была недовольна, но не помогала. Несмотря на все мои труды, шкаф оказался хромым на одну ножку. Он все еще хромает. Я кидаюсь к шкафу. Кот, охваченный паникой, должно быть, выбил картонный клин, сделанный из почтового календаря, я успеваю вовремя.

Она сдерживает смех, что может быть еще хуже, чем засмеяться. Я говорю себе, что в конце концов одна ночь быстро пройдет.

— Одна ночь быстро пройдет, — провозглашает она.

Вот фраза, приятная для слуха. Я притворяюсь заинтересованным:

— Потому что вы уже знаете, где вы будете спать завтра?

— Ну... По правде сказать, не совсем. Но я найду.

— Почему же вы не позаботились об этом заранее? Вы ведь, наверное, знали, что вас собираются выселять?

— О нет. Никто не знал. Полная неожиданность. Конечно, мы не должны были там жить. У нас на это не было никаких прав. Но вообще-то мы никому не мешали. Мы думали, что нам пришлют предупреждение и у нас будет время найти что-то. Видите ли, всегда надеешься, что люди более человечны, чем это потом оказывается на самом деле. Ну, а там мне было хорошо... Конечно, не очень-то тепло, надо было кутаться, но места сколько угодно, мои кошки могли бегать, прыгать, играть... Это так прекрасно счастливые кошки!

Ну что ж, я даже в состоянии понять это! Что творится в моем жилище, это просто фантастика. Я и мое доброе сердце... Нет, не так, ты, Простофиля, а не Доброе сердце, будь честным с самим собой: тебя поймали на затмении рассудка, на случайном жесте, такое происходит с тобой слишком часто, и потом ты кусаешь локти, каждый раз одно и то же.

Она видит мое замешательство, оно, должно быть, написано большими буквами у меня на физиономии, и начинает меня успокаивать:

— Они сейчас утихомирятся. Ночью они спят. Как ангелочки.

Она добавляет убежденным тоном:

— Это ангелы. Ведь ангелы существуют на самом деле. Просто люди не умеют их видеть, поэтому они провозгласили их невидимыми. Однако достаточно открыть глаза. Ангелы, они здесь. Вокруг нас, среди нас. Это звери. Любые. Животное — это полная, абсолютная невинность.

Оно не знает расчета, жестокости, предательства, хитрости, злобы, тщеславия. Оно прозрачно, как чистая вода. Оно не знает, что зло существует. Только загляните в глаза кошки... Или собаки, — торопится она добавить, с любовью глядя на псину, которая тычется носом ей в руку и виляет хвостом.

Она оживилась во время своей речи и закончила на лирической ноте. Я глотаю слюну, прежде чем осмелиться спросить:

— А они не будут... Ладно, тут не до церемоний, они не будут везде писать и какать?

Она не обижается. Она указывает на ряд пластмассовых бачков:

— Не бойтесь, дорогой месье. Они все очень чистоплотные. Кошка чистюля от природы, вы разве не знаете? Ну, если у нее болит живот, тогда конечно, но у моих все в порядке, будьте спокойны. Я слежу за этим. Смотрите-ка, как раз сейчас вы сможете это увидеть.

Серо-голубая грациозная штучка в роскошной шубке с озабоченной мордочкой присела на песок одного из бачков. Она выдала превосходную твердую сигару цилиндрической формы, которую тотчас же неторопливо закопала точными ударами лапки. Затем внимательно осмотрела результаты и с большим достоинством удалилась.

Теперь нужно обязательно что-то сказать. Учитывая время, было сказано следующее:

— Вы, должно быть, проголодались?

— Не беспокойтесь, у меня есть все что надо.

Она вытаскивает из одной сумки колбасу, половину головки камамбера, хлеб, три яблока, пакет супа быстрого приготовления, крошечную спиртовку, бутылку "Эвиан", наполненную уж точно не минералкой. Она наливает воду в мисочку для собаки, которая сразу же кидается и начинает шумно лакать. Затем, повернувшись ко мне:

— Если вам это понравится. Тут немного, но это от всего сердца.

Я изображаю озабоченного хозяина:

— Хорошо, а я пойду куплю пиццу.

— Мило с вашей стороны. Вы знаете, я ем мало.

Она весело хлопает себя по животу:

— У меня слишком много запасов.

— А какую пиццу купить?

— Мне нравится "Маргарита". Та, где больше всего сыра.

— Лакомка! Договорились.

Мы ужинаем. Усевшись на край кровати, мы закусываем, держа еду на коленях. К пицце я принес пива, но она пьет только воду. Я никогда не жил в трущобах. Представляю, какой это ужас, и я говорю себе с внезапной паникой, что вообще-то такое вполне могло со мной случиться.

Мне жизненно необходим свой собственный уголок, чрево-моей-матери, где я смогу свернуться комочком, как зародыш, вдали от злого мира. И еще я привязан к своим вещичкам. Это глупо, но не глупо ли все вообще? Мои книги с блошиного рынка, одна мысль о том, что они здесь, что они ждут меня, что однажды я их приведу в порядок, одно это привязывает меня к жизни. Даже навязчивые угрызения совести из-за беспорядка, из-за грязи, из-за пресловутого "однажды", без конца отклады-

ваемого, — даже это входит составной частью в мой маленький тайный мир, принадлежащий только мне одному. Я спрашиваю у нее:

— Это, наверное, нелегко — жить в трущобе со всеми этими кошками?

Я чуть было не сказал "в вашем возрасте". Но вовремя сдержался.

— Вы хотите знать, как дошла я до жизни такой или как я до сих пор так живу, в моем возрасте? Очень просто, очень банально. Мы с мужем жили в большой квартире на первом этаже в четырнадцатом округе. Эта квартира принадлежала нам. Точнее, ему. По правде, мы не были женаты по-настоящему. Он умер внезапно. Тогда только я узнала, что он погряз в долгах. Он все скрывал от меня, чтобы не расстраивать. У меня была очень спокойная жизнь, знаете ли. И вот одним махом ничего не осталось. Я оказалась на улице. Не буду вдаваться в подробности. У меня уже были Саша и пять подобранных кошек. Подруг было мало, все замужем. Я пожила немножко у одной, немножко у другой. Можете себе представить, как к этому относились мужья. Долго так продолжаться не могло.

— А... с деньгами как ?

— О, мне повезло! Один из друзей моего мужа работал в журнале комиксов. Им нужен был рисовальщик подписей. Это человек, который рисует буквы текстов в пузырях... Извините, это уже техника. Пузырь — это овал с хвостиком, который выходит изо рта говорящего персонажа. Вы понимаете, что я хочу сказать?

За кого же она меня принимает? За марсианина? Комиксы, как же, я всосал их с молоком матери! Чтобы не сбивать ее, я поддакиваю:

— Да, да. Понятно. Пузыри, конечно.

— Вообще-то хорошего рисовальщика трудно найти. Прежде всего надо иметь очень красивый почерк, похожий на типографский шрифт, но более гибкий, а также уметь одним взглядом оценить и рассчитать все, для того чтобы точно уместиться в рамках пузыря, не упираясь в края, это трудно, особенно в начале, но еще надо уметь подражать стилю письма самого художника, так чтобы графика письма не вступала в противоречие с рисунком. И конечно, необходимо овладеть определенной скоростью исполнения, потому что нам платят по количеству знаков. Это кажется нетрудным делом, но, уверяю вас, это не всем доступно. Мне повезло, что у меня есть способности к этому.

— Я даже не подозревал, что такая специальность существует. Никогда об этом не задумывался, по правде сказать. Я очень люблю комиксы, мне кажется само собой разумеющимся существование этих пузырей с надписями... А ведь их большей частью еще надо переводить! Ну а эту вашу работу, вы, вероятно, делаете ее в журнале, то есть в редакции журнала, я хотел сказать, или в типографии, простите, я в этом не разбираюсь. А в это время кошки, собака сидят одни?

— О, вовсе нет! Я работаю на дому. Забираю с собой планшеты для заполнения... Да, это называется планшетами, листы с рисунками... Я приношу их к себе и спокойно работаю, в своем темпе, подогреваю себе что-нибудь, когда проголодаюсь, прерываюсь, когда заболят глаза, разговариваю с моими кошками, вывожу Саша делать его делишки... Я сама себе хозяйка... Ну и вообще, видите ли, каждое утро в одно и то же время являться в контору, будильник, метро, нет, дело нехитрое, конечно, но я бы не смогла. Я с этим уже сталкивалась, знаете, и не выдержала.

Однажды у меня было то, что называют хорошим местом. Только вот я задыхалась, сходила с ума. Свобода для меня самое главное. Ничего с этим не могу поделать, просто такой уж уродилась. Если меня запирают, я умираю. А потом, я не переносила коллег, начальство, повседневную рутину, сборища для того, чтобы сбрызнуть чье-то продвижение, уход на пенсию, день рождения у одного, рождение ребенка у другого, чью-то новую машину... Нет, нет, я не могла! Вам кажется, что у меня слишком большие претензии, правда?

Я слушаю ее и думаю обо всех этих охламонах во цвете лет, которые безуспешно ищут работу, любую работу, и для кого условия, которые ее так отталкивают, были бы просто райскими... Я только возражаю чуть более горячо, чем хотел бы:

— Если у вас много претензий, что же тогда сказать обо мне?

— Как, и вы тоже такой?

— Я тоже такой. Это не облегчает жизни.

— Но если не можешь по-другому?

— Ну да, конечно... Скажите, если вы работаете дома, вам, наверно, нужны для этого какие-то принадлежности. Как же вы обходились в вашем углу в трущобах?

Она смеется, подмигивает. Роется в своем рюкзаке под теплой одеждой, вытаскивает оттуда деревянный прямоугольный предмет величиной с две коробки сигарет, приставленных друг к другу.

— Принадлежности? Да вот они, мои принадлежности!

Она протягивает мне предмет. Я беру его. Это пенал. Один из тех школьных пеналов из букового дерева времен галош и черных плащей с капюшоном, которых уже давно не было в те времена, когда я учился читать. На выдвижной крышке с полукруглой выемкой для ногтя полустертый букет цветов, колокольчики, маргаритки и маки. У моего отца тоже был такой, только вместо цветов там были птички, снегири, я думаю, что это был его школьный пенал, он хранил его в выдвижном ящике ночного столика, а внутри лежали ручка с жеваным концом, жестяной циркуль, огрызок карандаша, остаток ластика и маленькая коробочка с перьями "сержан-мажор". Я припоминаю еще две картинки: носорог, африканское травоядное млекопитающее, и Лавуазье, великий французский ученый. Крышка плохо скользила, ее все время заедало. Я открываю ее пенал. Он тоже древний, крышка заедает, запросто можно сломать ноготь. Они, наверное, все такие. Внутри аккуратно разложены какие-то черные ручки, маленький флакончик китайской туши, еще один с белой замазкой для исправления ошибок и маленькая тряпочка для вытирания перьев. Она ждет выражения удивления. Я ее не разочаровываю и принимаю надлежащий вид. Она смеется:

— Вот так! Все мои принадлежности. Целый завод в комплексе.

Она берет одну из ручек, снимает колпачок. Вместо пера вставлена очень тонкая трубочка. Она объясняет:

— Это нормограф. С его помощью пишется очень ровно и нет необходимости все время обмакивать ручку в чернила.

Она вынимает из пенала еще одну крошечную ручку. Я радостно восклицаю:

— А я знаю, что это. Это чертежное перо, таким пользовались когда-то.

— Им все еще пользуются. Оно даже необходимо для разных шрифтов.

— И... Вам удается сводить концы с концами? В смысле денег, я имею в виду.

— Да, удается. При условии, что я много работаю. Двенадцать часов в день, по крайней мере. Я организую свой труд, иначе я бы не справилась.

— У вас много заказов?

— Слишком. Но чтобы хватило, как раз и надо, чтобы их было слишком много. Есть пустые периоды. Так что пока мне дают, я ни от чего не отказываюсь. И работа всегда срочная, вы знаете? Мне случается проводить по двое суток без сна.

Она торопится добавить:

— Я не жалуюсь! У меня есть моя собака и мои кошки. Я сама строю свою жизнь. Я не рабыня часов. Главное, сдавать работу вовремя.

— Это счастье!

— Счастье, да.

— Можно вопрос?

— Пожалуйста.

— Трущобы — это аварийные дома. Почему вы не подыскали другую квартиру? Вы же можете платить за жилье.

— Ну, прежде всего наемные квартиры на улице не валяются, не знаю, заметили ли вы это. Тем более что мне нужно много места для моих зверушек, а я не хочу покидать Париж из-за работы. И потом, я не люблю общество, я чувствовала себя чудесно в моем уединении, среди этих... как их... маргиналов, шумноватых, конечно, но они меня великодушно оставляли в покое, и все же у меня была уверенность, что они рядом и если вдруг понадобится... У меня была комната для себя и кошек. На этажах вода была отключена, но во дворе был кран. Если мне на лестнице попадался какой-нибудь паренек, а я несла полное ведро, то он обязательно помогал мне донести его. В праздники они всегда делали мне небольшие подарки: тарелку кус-куса, кусок жареной баранины. Они давали мясные обрезки для моих кошек. Араб-бакалейщик отвечал на звонки ко мне, его дочка поднималась звать меня к телефону. Они принимали меня такой, какая я есть, не удивлялись ничему, не спрашивали ничего, не выпытывали, как дошла я до жизни такой.

Ну вот! Это в мой огород. Я говорю:

— Ну, знаете, это для поддержания разговора. Я бы обратил ваше внимание на то, что даже не спросил вашего имени.

— А я вашего. Меня зовут Женевьева.

— А меня Эмманюэль. Это имя было в моде тридцать пять лет назад.

— Оно очень мягко звучит.

Да. Ему не хватает напряжения. Текучее имя. Имя, вытекающее у вас между пальцев. И отвратительное уменьшительное: Мано. Я всегда давал в морду тем ребятам, кто меня звал Мано.

— Что за манера себя очернять?

— Я не очерняю себя. Не я выбрал это имя.

— Мне кажется, что всякий раз, вы испытываете неприятное чувство, когда речь заходит о чем-то, что касается вас. Но скорее всего, я ошибаюсь.

— Нет. То есть... Я себя очень люблю, но я себе не нравлюсь.

— Да у всех так. Уж не думаете ли вы, что я так уж себе нравлюсь? К счастью, вокруг так много интересных вещей.

— Любопытно...

— Что любопытно?

— Вы не спросили меня, чем я занимаюсь в жизни.

— Да? А должна была бы? Похоже, вы делаете в жизни то, что делаем мы все: живете.

— О, как хитро!

Она извиняется улыбкой, кладет руку мне на колено:

— Прошу прощения. Я люблю поддразнить. Но не зло. Ну ладно, чем же вы занимаетесь, чтобы добыть себе на пропитание?

Я сам вызвал вопрос, поэтому ответ у меня уже был готов:

— Ничем.

Если я рассчитывал произвести какой-то эффект, то он совершенно не удался. Она кивает головой:

— Почему бы и нет? Если у вас получается...

Если бы я ей сказал "я убиваю людей за деньги", она бы ответила так же, я в этом уверен.

Она любезно возобновляет разговор:

— У вас нет профессии?

— Есть. Я актер. Комедиант, как теперь говорят.

— Ну и как? Нет ангажементов?

— Угадали. Времена трудные... И потом, как бы выразиться поточнее? Я неудавшийся актер. Вот это правда. Не получается, и никогда не получалось так, как надо. Однако я старался. Отдавал всего себя. Работал. Но мне, похоже, чего-то не хватает. Не знаю чего, только чувствую, что не хватает. Я учился на курсах, всерьез, без дураков. Долго. Но делать нечего. Я играю фальшиво. Я получал совсем небольшие роли с помощью приятелей по курсам. И не был самым плохим. Но не был и хорошим. Тусклым. По сравнению с другими, если вы поняли. Я лез из кожи вон, был уверен, что нашел верный тон, чувствовал свой персонаж, но видел по физиономии режиссера во время репетиции, что все безнадежно. Тогда я понял. Я не актер и никогда им не стану. Я ничто. Вот. Вы опять скажете, что я очерняю себя?

И почему я ей все это рассказываю? Я никогда никому ничего не рассказываю. Что же заставило меня вывернуть наизнанку мою жизнь перед этой мамашей? Я ее даже не знаю! А может быть, как раз из-за этого?

Она ничего не говорит. Смотрит на грязные пятна на напольном ковре. Она забыла свою руку на моем колене. Я думаю, что если она похлопает меня по коленке со словами: "У вас депрессия, вы все видите в черном свете", или "Я уверена, что все не так уж плохо", или "В жизни существует не только театр", или "Вы еще молоды, соберитесь с силами"... Если она скажет мне что-либо подобное, то есть какую-нибудь глупость в этом роде, я ее вышвырну на лестницу со всем ее зоопарком. Немедленно!

Кажется, что пес проследил за моими мыслями шаг за шагом. Он становится передо мной, не сводя с меня глаз, и даже рычание вырывается из глубины его горла. Она не похлопывает меня по колену. Она поднимается, стряхивает крошки со своего свитера и говорит:

— Пора выводить Саша. А еще мне хочется выпить кофе в баре. Я заметила неплохое бистро совсем недалеко. Вы пойдете?

Я иду.

В это ее "неплохое" бистро мне никогда даже в голову не приходило заглянуть. Это банальное заведение невзрачной окраины, со столами из облупленного пластика, с темными фанерными панелями, стилизованное под английский паб, с розовыми бра в форме тюльпанов для создания интимной обстановки и электронными игрушками для молодежи в кожаных куртках, приобретенными кабатчиком, когда он понял, что любовное гнездышко, свитое им, силой эволюции нравов неумолимо скатилось к притону шпаны. В полную силу гремят децибелы, это час радостного столпотворения, какой-то подросток два раза врезается мне в спину, и добрая половина кофе выплескивается мне на рубашку. Я предлагаю прогуляться по кварталу. Она принимает мое предложение, хотя ее вовсе не смущает эта юношеская толкотня. Она выпила свой кофе маленькими глоточками с наслаждением, не пролив ни капли. Ну что ж, она везде как дома.

Мы прогуливаемся по широким авеню, как добропорядочные рантье. Она отпустила поводок Саша, который перебегает трусцой, низко опустив нос, от одного платана к другому, обнаруживая по запаху несомненно увлекательнейшие вещи, если судить по лихорадочным колебаниям жиденького плюмажа его хвостика.

Совсем не холодно. Сиреневая тень, дрожащая на верхушках голых деревьев, говорит о том, что почки готовы лопнуть. Она жадно глотает воздух, как ребенок, вышедший из школы после контрольной работы. Ее плечи расправились, груди натянули свитер грубой вязки, искреннее ликование освещает лицо. Джельсомина...

Я нарушил молчание:

— Со сценой покончено. Это решено. Но у меня есть план.

— Рассказывай.

Она обратилась ко мне на ты. Отдает ли она себе в этом отчет? Да, потому что одновременно она берет меня за руку.

— Это не воздушный замок. Я работаю.

Она ждет продолжения. Меня останавливает какая-то стыдливость. Наконец я решаюсь:

— Так вот. Я пишу пьесу.

Она ничего не отвечает, но я чувствую ее внимание.

— Я всегда любил театр, я всегда мечтал о нем. Видел в нем мое будущее. На сцене, естественно. Когда говорят о театре, думают об актере, а не об авторе. Когда наконец я понял, что это не мой путь, я не смог найти в себе силы уйти. Одновременно я осознал, что люблю текст из-за него самого, что, если меня что-то очаровывает или раздражает у какого-либо актера, то причина кроется в его умении или неумении передать достоинства текста, его красоту. Я "чувствую" текст, вы понимаете? Знаю, что не способен воплотить его, но хорошо схватываю намерения автора, нюансы его мысли, намеки, приемы... А потом, я всегда любил писать. Почти так же, как читать. В лицее меня считали одарен-

ным. В общем, я за это взялся. У меня появилась идея. Я над ней работаю. Это восхитительно, и одновременно я испытываю страх. Отчаянно трушу. Вы находите меня смешным?

— Говори мне "ты", ладно? Смешным? Почему же?

— Скажем, самонадеянным. Вы... Ты не спрашиваешь меня, каков сюжет?

— Ты мне сам скажешь, если захочешь.

— Ну, тогда нет. Я предпочитаю не говорить. Понимаешь, это меня стесняет... Пока это не закончено полностью...

— Я прекрасно понимаю. Ты прочтешь мне, когда будешь готов... Если тебе случится подумать обо мне и если ты будешь знать, где меня найти... Значит, у тебя есть план. У тебя получится. Ты слишком увлечен, чтобы не получилось... Если только ты не окажешься чересчур увлеченным для успеха...

Увлечен, я? У меня только одно увлечение и совсем иное.

Ужасная ночь! Я предложил ей уступить кровать, я бы устроился в кресле — у меня, я знаю, есть кресло где-то под печатной лавой, — в романах делается именно так. Естественно, она ничего не хотела знать, настаивала на том, чтобы самой свернуться в кресле, тоже как в романах, ну и вот, неизбежно мы закончили тем, что разделили перину, это никогда не заканчивается по-другому, у романистов решительно не имеется других запасов ухищрений, чтобы заставить лечь вместе мужчину и женщину и чтобы не закралась ни одна грязная задняя мыслишка, это уж само собой разумеется.

Что же касается меня, она вовсе не была "задней" и совсем не закрадывалась, она полностью владела мной. Грязной, да, конечно, она была именно такой. Безмятежно, великолепно грязной. Грязной со смаком и упоением. Как только встал вопрос о сне, сразу же возникла тень секса.

Пока она переодевалась, я наслаждался вовсе не украдкой, а совершенно открыто, со всем моим удовольствием, как на "пип-шоу", не торопясь сбрасывая брюки, чтобы влезть в более чем не свежую пижаму. Впрочем, она не делала из этого истории, ограничиваясь тем, что отвернулась, надевая ночную рубашку пенсионерки — или бабушки? — сшитую из чего-то вроде розовой фланели или бог его знает из чего, длинную до пят и с пуговицами на запястьях. Она делала это точными и грациозными движениями, как все, что она делала. Под прикрытием ночной рубашки, как под пляжным халатом, она избавилась от толстых брюк, подпрыгивая то на одной, то на другой ножке. Потом выпрямилась, повернулась ко мне, совсем не испытывая смущения. Широкая рубашка спадала вокруг нее большими вертикальными складками, подобно мантии императрицы Византии, подчеркивая рельефы, которые проступали на ткани. От затвердевших кончиков ее тяжелых грудей шли вниз две складки до самой земли, под которыми едва проступал скромный холмик полного животика.

Она улыбается, невинная как ягненок.

Очень аппетитная штучка, право слово. Кругленькая и пухленькая, как молочная булочка. Ночная рубашка пенсионерки покрывает это изобилие наивности, настолько необычной для бабушки, что внезапное

возбуждение охватывает мой низ живота. Меня томит желание зарыться в эту мягкость, как в какой-то крем, почувствовать в ладонях пышную округлость этих рук, которая, должно быть, мягко подается под пальцами, раскрыть эти широкие благословенные бедра, преодолев их слабое сопротивление, совсем слабое, эти бедра я представляю чуть заплывшими жирком в их верхней части, там, где кожа тонкая, как маковый лепесток, и такая белая, — о, я больше не могу! — покрытая такими нежными морщинками... Ой, куда же меня понесло? Я собираю весь свой цинизм: "Действуют чары перезрелого плода, Коко?"

Но это меня ни в коей мере не успокаивает, не дает возможности оценить комизм ситуации. Желание есть желание, черт побери! У него свои капризы, свое право, не пренебрегай порывами, здесь нет придурков, которые могут позубоскалить над тобой, только сам таковым не будь. В любом случае об этом не может быть и речи. Она твоя гостья, мой мерзавчик. Ты думаешь о ее прелестях, а она наверняка не думает о твоих. Она могла бы быть твоей бабушкой... Нет, все же, может быть, и нет... Твоей матерью... Уф... Скажем, чем-то вроде одной из двух... Она уже давно далека от таких вещей. Она будет вопить хуже, чем при изнасиловании, она подумает, что на нее напал сумасшедший! Ну ладно, помечтать-то всегда можно. Но что мне делать с этим чудовищным возбуждением?

Она легла у стенки, а я, значит, с другой стороны. Простынь нет, я раз навсегда решил не усложнять себе жизнь такими мелочами. У меня есть старое пуховое одеяло из настоящего пуха какой-то пуховой животинки, огромное, из Германии думаю, я заворачиваюсь в него, жарко, как в аду, я это обожаю. Одеяло благоухает моими собственными запахами, я обретаю себя, я впитываю себя, быстренько сворачиваюсь калачиком, большой палец в рот, ныряю в темноту, как херувимчик. Обычно бывает так. А сегодня здесь она, скрючившаяся под своим собственным одеялом, дрянным походным одеялом, подбитым жидким слоем бог знает чего. Она елозит. Ей, должно быть, холодно. Я спрашиваю:

— Все нормально?

— Да-да.

— Почему же ты елозишь? Тебе холодно?

— ... не очень тепло. Понимаешь, в трущобе было так холодно, что я спала во всех свитерах плюс куртка плюс одеяло. А здесь мне показалось очень тепло, и я побоялась, что будет жарко...

Я выпутываюсь из своего кокона, накрываю ее половиной пухового одеяла.

— Теперь лучше?

— ... лучше.

— Тогда спокойной ночи.

— ... ночи.

Ну вот, теперь мы оказались зад к заду. То есть я хочу сказать, ее зад к моему переду. Который как раз начал было думать о другом. И который внезапно снова был возвращен к реальности. К реальности этого широкого пышного зада, почти прикасающегося ко мне и даже, ай, это неизбежно, уже прикасающегося. Я отодвигаюсь насколько могу, но, скованный одеялом, блокирующим отступление, могу немногое, могу все

меньше и меньше. Невозможно, чтобы она не заметила... Она замечает.

Она спокойно откидывает одеяло. Садится. Смотрит на меня. Качает головой справа налево, как будто говоря: "Ну и ну..." Я опускаю глаза:

— Ну да, вот так, что поделаешь.

Она ничего не говорит. И продолжает смотреть на меня сверху вниз, снисходительная бабушка, знающая, что такое жизнь. Я говорю:

— Ты видишь, все же мне стоит спать в кресле.

Она еще раз качает головой, на этот раз взад-вперед, кусает губы. Вздыхает. Очень недоверчивый вздох, но ее глаза, они очень хотят верить. По крайней мере, хотя бы немножко. Они как будто говорят, ее глаза: "В конце концов..."

Она раскрывает мне объятия.

Я растроган, так происходит со мной каждый раз.

Я не могу опомниться. Это происходит. Женщина меня принимает. Открывается мне. Допускает меня ко всему, что принадлежит ей, к самому сокровенному, потаенному, к своим секретам, к своему руну, к своим запахам, к своим сокам. Она дает мне право делать все, все. Насытиться ею. Смотреть на нее. Читать в ее глазах, когда она забудет себя, что-то большее, чем наслаждение, которое я ей даю: ее согласие на то, чтобы именно я дал ей его... Я не могу прийти в себя. Каждый раз это так же ново, так же сильно. Вот оно, самое волнующее в любви, эта невероятная вещь: женщина, которая только что была для меня безразлична, теперь дает мне все права на свое тело... Подобная сила счастья может довести до того, что сделает меня неспособным перейти к самому акту. Импотенция первого раза. Сегодня будет не так.

Долгий момент я остаюсь неподвижным, лежа щекой в теплой впадине между грудями в вырезе ее целомудренной рубашки. Груди выглядят лучше всего в вырезе. Под моей щекой ее сердце бьется по крайней мере так же сильно, как мое. Я слегка двигаю головой, чтобы как следует прочувствовать этот невероятный контакт. И это я, который считал, что любит только маленькие, твердые, вызывающие и очень широко расставленные груди!

Я робко засовываю руку под бумазейную рубашку — это что, бумазея? — тихонько кладу ее ладонью на волшебную выпуклость живота. Она вздрагивает. Я упиваюсь этим мгновеньем. Долго. Моя рука спускается, обнаруживает руно, жесткое и густое, ласкает его, скользит ниже, прокладывает себе дорогу между полными бедрами, округляется и накрывает сладостную выпуклость. Я думаю: "Пухлая, как перепелка" — и тут же сержусь на себя за эти дурацкие мысли в момент, когда вся моя жизнь подвешена к моей руке. Она не мешает мне, оставаясь пассивной, лишь вздрагивает иногда.

Ее холмик заполняет мою ладонь. Огромный. Две дольки, переполненные соком, притаившиеся под ласкающей их рукой, ждут... Я спрашиваю ее взглядом. Только тогда я вижу ее глаза: они полны слез. Смутившись, я убираю руку. Она отрицательно трясет головой, берет мою руку, подносит к губам, страстно целует. Она поняла, чего я хочу, и чуть заметно подбадривает меня. Я целую оба ее глаза, слезы ее солоны, я таю от нежности и от желания.

Я отбрасываю одеяло, медленными движениями задираю розовую рубашку и наконец-то, наконец-то погружаюсь всем своим существом, всей душой в это огромное и чудесное лоно, черное, как ад, красное, как кровь, широкое, как мир, это ужасное лоно, это лоно-убежище, это лоно-мать, меня поглощает бездонная пропасть, я погружаюсь в женственное, я лижу, я ем, я пожираю, ненасытный обжора, я купаюсь в нем, обливаюсь его соками, я похрюкиваю, как поросенок в своем корыте.

Она сдержанно постанывает, потом стонет громче, сжимает мою голову между своими нежными ляжками, трясет меня из стороны в сторону как будто для того, чтобы заставить отпустить добычу, наконец отталкивает меня обеими руками, зовет:

— Иди ко мне!

Я с трудом отрываюсь от своего каннибальского пира. Даже если бы я продолжал пожирать ее в продолжение всей жизни, мне не надоело бы никогда, никогда... Но в то же время я хочу того же, что и она. Проникнуть в ее лоно, медленно, в самую глубину ее естества. Чувствовать себя в ее живом тепле, всего себя целиком, сосредоточенного в одном только члене, и смотреть ей в глаза в то время, пока будет возрастать наслаждение, мало-помалу становящееся исступлением, становящееся безумием, становящееся воплем, способным сотрясти небеса... Я нависаю над ней. Ее глаза умоляют, она уже хрипло дышит, я устраиваюсь между ее широко раскрытыми бедрами... Бешеный лай разрывает мне уши, клыки вонзаются в затылок. Я воплю, но не от наслаждения.

Сбит на лету! Наше фантастическое восхождение к вершинам экстаза превращается в грубую шутку времен немого кино. Она успокоила собаку, не причинившую мне большого вреда. Но очарование погибло. Можно ли возобновить подобное! "Так, на чем мы остановились, дорогая?"... Я стараюсь не злиться, не принимать происшедшее всерьез, изобразить саркастического джентльмена. Спасти лицо, в общем. Я делаю усилие, строю соответствующую мину, но вдруг замечаю, что ей-то не приходится прикидываться философски отстраненной. Она не изображает улыбку: она едва сдерживает смех. И даже, смотрите-ка, она уже просто-напросто фыркает. Больше не сдерживается. Ее славная круглая физиономия уже не искажена желанием, она веселится от души. Вот она уже хохочет, икает, по щекам ее струятся слезы, но на этот раз слезы от смеха.

Это меня доканывает. Я молчу как дурак, неспособный последовать ее примеру, слишком уж внезапным было падение. Я обижен на нее. Я жестко и трезво разглядываю это мясо, которое меня так сильно возбудило, эти толстые дряблые руки, толстые титьки, это пузо, эти старушечьи космы. Где тут я нашел очарованье, идиот? Но что же со мной случилось, боже мой? Со мной случилось то, что женщина и что любая женщина прежде всего женщина, и успокойся, и не будь грязным дураком, ты не пренебрег своим желанием, может быть, ты не знал желания более опустошающего, так что будь достойным игроком. Я говорю себе все это, и это успокаивает меня.

III

Смех убивает желание. Если Конфуций, Ларошфуко или какой-нибудь другой сочинитель мудрых мыслей, гравируемых на мраморе, еще не сказал этого где-нибудь, то, значит, я делаю сейчас открытие. Женевьева умолкла, волна веселья схлынула, она натягивает шерстяное трико прямо на свитер до восстановления силуэта надувного человечка фирмы "Мишлен", затем заворачивается в свое тощее одеяло и, скорчившись на самом краю матраца, со свисающими коленками, поворачивается ко мне с жалкой улыбкой и шепчет: "Ну, спокойной ночи..." — с видом виноватой маленькой девочки, тщетно ожидающей прощения за то, что описалась в постели.

Я сам чувствую себя не очень-то в своей тарелке. Внезапно мне мерещится, что она должна была подумать, что я заставлял ее расплачиваться натурой за свое гостеприимство, и теперь считает себя, может быть, моей должницей. Это для меня совсем уж невыносимо. Я хочу, чтобы она знала, что с моей стороны не было никаких грязных расчетов, что тут говорили только чувства, что голод, случай, свежая трава... Короче, что она способна вызывать желание — и какое! Я чувствительный, да, со мной это случается... Я протягиваю руку, тихонько глажу ее по волосам. Говорю, очень тихо:

— Спокойной ночи, Женевьева. Я рад, что ты здесь.

Она трется своей гривой о мою ладонь, издает глухое заговорщическое мурлыкание: я прощен.

Забавно, сам не знаю, как это получается, но, что бы ни случилось, в конце концов именно я оказываюсь в положении виноватого и вымаливаю прощение. "Твой застарелый мазохизм", — говорила Агата. В конце концов, что бы там ни было, все утряслось, и я засыпаю.

И я просыпаюсь! Я задыхаюсь. Что-то преграждает доступ воздуха ко мне, давит на лицо. Я трогаю это рукой. Оно шелковистое и теплое, оно чувственно изгибается под тем, что оно принимает за ласку, оно мурлычет... Кошка! Другая осторожно обследует меня со стороны бока, находит место подходящим и сворачивается там клубочком. Я проверяю кончиками пальцев. Она мяукает от счастья. Я протягиваю руку к Женевьеве. Их у нее трое вокруг головы, они обложили ее своим мехом и мурлычут в унисон. А вот одна прыгает мне на ноги, а другая оккупирует живот. Я связан по рукам и ногам, я раздавлен... Ну нет, так не пойдет! У меня очень чуткий сон. Мне надо быть свободным в движениях, случается, что меня во сне одолеет желание вытянуть ноги, я не выношу ни малейших помех, ни малейшего неудобства. Спать с любимой женщиной, которая обвивается вокруг меня, сплетает свои ноги с моими и давит на меня бедром, вес которого умножается сном, — даже этого я не выношу. А что же говорить о кошках!

Хорошо. Я их сейчас тихонько сгоню, только бы не потревожить Женевьеву, которая уже заснула и спит как младенец, как храпящий младенец. Потому что она храпит. Тихий храп, довольно мелодичный, скорее умиляющий. Я не знал, что женщины храпят. Может быть, с какого-то определенного возраста? Климакс? Короче, она спит. Я пытаюсь, не применяя насилия, столкнуть кошку с лица. Но как она сопро-

тивляется! Намертво прилипла! Тяжесть мешка с мукой. Я продолжаю добиваться своего, нажимаю еще, кошка понимает, что я вовсе не играю, и уступает с недовольным ворчанием. Мой фонарик валяется недалеко. Я включаю его. Пять кошек устроились на Женевьеве или вокруг нее. Четыре на мне. Девять пар глаз уставились на меня, круглые, зеленые, фосфоресцирующие. Совсем не встревоженные. Заинтересованные. Я бы сказал, дружеские или настроенные на дружбу. Что она говорила? Ах да: "Они не знают, что зло существует", что-то в этом роде. Да, конечно, но мне все же надо поспать. Меня страшит бессонница. В бессонные ночи все уродство жизни наседает на меня. И боль в черепе все нарастает...

Мне обязательно надо поспать. Может быть, кресло? Я осторожно встаю, осторожно подкрадываюсь к нему, кое-как устраиваюсь. Только я смежил веки, и тридцати секунд не прошло, как одна из кошек вскарабкивается мне на колени, растягивается у меня на животе и сладострастно вытягивает лапы, ритмично вонзая выпущенные когти в мое пуховое одеяло... И еще одна! Она вспрыгнула на подлокотник старого кресла, оттуда на его спинку, а теперь давит на мой затылок всем весом своего мягкого и теплого живота, слишком теплого, невыносимо теплого... Третья взбирается на кресло с западной стороны и устраивается у меня на ляжках. Я прогоняю их, уже намного менее деликатно, чем в прошлый раз. Закрываю глаза, заставляю себя думать обо всех этих идиотских и успокаивающих вещах, которые способствуют приходу сна. Он приходит. Они тоже! Одна, потом другая. Я не знал, что кошки такие упорные. Решительно, эта ночь многое для меня открыла. На этот раз я отшвыриваю их к черту, со всего размаха. Испуганное мяуканье. Саша подпрыгивает и взлаивает, давая сигнал приготовиться к бою. Всех свистать наверх!

В темноте Женевьева пугается: "Что вы с ними сделали?" — забывая в тревоге, что мы на ты. Она запутывается ногами не знаю в чем и падает с отчаянным криком. Я включаю свет. Она уже встала, растерянная, держа в руках кучу кошек, успокаивая их, утешая:

— Ничего, мои дорогие. Он не злой. Просто он не переносит кошек. Он не привык. А вы слишком фамильярны, маленькие плутишки.

Она смотрит на меня с расстроенным видом:

— Надо их понять. Для них тесный контакт с нами — это самое большое счастье.

— Да, конечно, но мне ведь надо спать. Я хочу их понимать, я их даже очень хорошо понимаю, но, может, кто-нибудь даст себе труд понять меня? Мне осточертели, страшно осточертели ваши проклятые коты! Вы это понимаете?

Смотри-ка, я тоже больше не говорю ей ты. И я уверен, что кричал.

Ее глаза расширяются, она смотрит на меня так, будто наконец прозрела. Она как бы сжимается, внезапно обнаружив во мне столько злости. Потом начинает двигаться. Не спеша сворачивает свое тонкое одеяло, укладывает его в рюкзак, собирает миски и бачки с песком... Неожиданно мой гнев утихает. Я чувствую себя полным дураком. Беру ее за плечи:

— Ладно, Женевьева! Ну, хорошо, я понервничал. Наговорил глупостей. Я ведь так не думаю... Куда ты пойдешь в такое время ? Ты даже не сможешь унести всю свою поклажу.

Она освобождается, упрямо смотрит в пол.

— Я сложу все на тротуаре. Подожду, пока рассветет. Найму грузовичок. У меня есть на что, знаете ли. И потом, это моя проблема. Это вас не касается. Извините за беспокойство.

— Но это же глупость! Останься хотя бы до утра. Ладно, я тебе оставляю квартиру. Я знаю, где могу переночевать сегодня. И потом оставайся до тех пор, пока не найдешь жилья. Завтра мы все устроим. Согласна? Мир?

Она поднимает глаза и смотрит мне прямо в лицо. У нее упрямый взгляд ребенка, которого трудно переубедить. Я забываю о ее морщинах, о седых волосах. Это действительно ребенок, ребенок, нашедший свою правду и он не изменит ей никогда, никогда не станет взрослым, если за это приходится платить своей правдой. Она выпаливает залпом, с очень серьезным видом:

— Не надо пугать моих кошек, не надо говорить плохого про них. Они невинны. Они не виноваты в том, что произошло. Они никогда ни в чем не виноваты. Не надо меня обижать. Это слишком легко. Если меня обижать, грубо разговаривать со мной, я буду плакать и, может быть, умру.

Она стоит передо мной безоружная, бесхитростная, беззащитная. И это наилучшая защита. Ее широко распахнутые глаза обезоруживают палачей и насмешников. Глаза говорят о ней все, ничего не утаивая. Кто мог бы ее обидеть? Она сама сказала об этом: “Это слишком легко”.

Я целую ее в обе щеки. Она не уклоняется, но и не возвращает мне поцелуев. Я говорю:

— Хорошо. Я ухожу. Не открывай окон, твои кошки могут выпасть, тут высоко. До завтра!

Она смотрит, как я ухожу, не двигаясь, не моргая, с целой кучей кошек в руках, все еще с подозрительным видом собаки, любовные порывы которой были встречены палкой. Теперь она знает, что я способен на жестокость, ее доверие надо снова завоевывать, терпеливо, осторожно, она подстерегает малейшую фальшь, готовая замкнуться навсегда.

Ну, а я, куда же я иду сейчас? Встряхнись, Дурачина! Какое тебе дело до того, что может подумать эта тетка? Кончено, я ее никогда больше не увижу, ни ее, ни ее зверушек, я и так был настолько добр, что оставил ей мою хибару !

Если бы на тротуаре валялась пустая консервная банка, я бы здорово поддал ее ногой, но ее нет. Консервных банок никогда нет там, где в них нуждаются, это великий закон природы... Вообще-то я должен был бы позвонить. Я замечаю кабинку, аппарат висит на одном винте, я надеюсь, не очень-то в это веря, что он работает, выуживаю мятую телефонкарту в одном из кармашков моего мятого бумажника, там застряли несколько талончиков. Чудо: есть сигнал. Еще одно чудо: Агата на другом конце провода.

— Ты можешь приютить меня? Только на эту ночь. В уголке стенного шкафа, мне плевать, я не хочу никого беспокоить.

— Что с тобой случилось? Тебя выбросили на улицу? Ты не заплатил за квартиру? Тебя преследует мафия?

— Прошу тебя, не надо вопросов. Так да или нет? Если не можешь, то не можешь. Я способен понять.

— Да. Но без твоей несчастной мины, пожалуйста.

— Постараюсь. Я иду.

Это не очень далеко. Я иду пешком, прогулка по холоду успокаивает меня, когда я прихожу, моя "несчастная мина" почти исчезла.

Агата встречает меня в ночнушке, сверху она накинула халат, переделанный из бурнуса, который мне так хорошо знаком. Ее вид волнует меня, но я ожидал этого и приготовился. Агата будет волновать меня до самой смерти. И сколько Агат... Я очень люблю, я часто люблю, я никогда не разлюблю.

Считаю себя обязанным объясниться:

— Я уступил хибару.

— Я у тебя ничего не спрашиваю.

И все же с веселым возбуждением:

— Парочке, состоящей в браке каждый со своей стороны?

— Вовсе нет. Что-то вроде доброго дела.

— Ну, если тебе случается совершить доброе дело, это всегда против твоей воли. А потом ты из-за этого не в духе.

— Точно. Я не в духе. Но этого не видно. У меня мощный самоконтроль.

Она смеется:

— Ты хочешь сказать, что ты король лицемеров! Не шуми. Малышка спит.

— У нее все в порядке?

— Это тебя интересует?

— Ну, просто так.

— У нее все хорошо. Вот так.

Малышка — это Жозефина, дочка Агаты. Вообще-то моя тоже. Мы сделали ее вместе, в радости и предательстве. Радость — это мой вклад: радость потеряться душой и телом в лоне женщины, которую я любил до безумия. Предательством был вклад Агаты: она не стала принимать противозачаточную пилюлю нарочно, не поставив меня в известность, подлая. Когда она призналась, что беременна, к тому же с вызовом, я, конечно, рассердился, был налицо односторонний разрыв контракта, я чувствовал себя в каком-то смысле рогатым. Я давно уже инстинктивно предчувствовал, что я не из того материала, из которого делаются отцы семейств. Ребятишки сами по себе внушали мне ужас, не считая всех тех проблем, которые их сопровождают... Повеяло бедой, но мог ли я обижаться за это на Агату?

До какой же степени мы ненавидим своих детей после того, как их сделаем. Просто обидно. Особенно за них. Я честно старался. Менял пеленки по ночам, кормил из бутылочки, носил в ясли, в садик, в общем, делал все, что полагается. Причем не жалуясь, это был мой долг, не правда ли, я выискивал то там, то здесь приятные моменты, это так мило, лапушка-дочка, она улыбается, она называет тебя "папа". И все же я предпочел бы, чтобы она оставалась, где была, в раю небытия, впитанного "тампаксом"... Я ненавижу принуждение, а принуждение "естественное" более, чем какое бы то ни было другое.

Агата, хотя ей и не в чем было меня упрекнуть, чувствовала отсутствие энтузиазма с моей стороны и смутно обижалась на меня за это. Самка, ставшая матерью, становится более матерью, чем самкой, она мать прежде всего. Настоящая тигрица. Отец теперь просто приложение, отныне вышедшее из употребления в качестве поставщика сперматозоидов, годный лишь на то, чтобы поставлять содержимое ежедневных бутылочек.

А меня по-прежнему сводили с ума попка Агаты и все остальное. Правда, был неприятный момент, когда ее беременность приобрела такие чудовищные размеры, что, казалось, дальше некуда. Я испытываю глубокую неприязнь к беременным женщинам, отвращение до рвоты. Но ее я так любил, так... Я все еще люблю ее так же сильно. Я ждал, чтобы все утряслось. Говорил себе, что, как только состоится изгнание этого чудовища, я вновь обрету мою Агату, нетронутый рай ее бедер, ее обновленную любовь ко мне... Она же, со своей стороны, говорила себе, что будучи поставленным перед свершившимся фактом, при первом крике маленького чуда самец, одержимый похотью, превратится в очарованного отца, более того, в пеликана, готового растерзать собственные внутренности, чтобы накормить плоть от плоти своей. Именно так они рассуждают своими воробьиными мозгами.

Нельзя сказать, что Агата стала более равнодушна к сексу, но теперь это больше не было главным, единственным, солнцем. Отныне у нее было другое средоточие интересов, которого у меня не было. Наличие младенца было для меня потусторонним явлением, как бы выходящим за рамки существования, скорее раздражающим, но ни в коей мере не уменьшающим моей сумасшедшей страсти к Агате, страсти, где секс, сердце и ум были перемешаны до такой степени, что я возбуждался при одном звуке ее голоса, от того, что говорил этот голос, так же как от ее улыбки или от ее чудного лона. Она умница, Агата. Когда забывает, что она мать.

О, Агата, мне вовсе нет необходимости ее видеть, чтобы поддерживать пожирающий меня огонь. Но когда я ее вижу! Да еще, как теперь, закутанную в этот толстый халат, из которого возвышается ее шея, такая длинная, такая круглая... Боже мой, ее шея!.. Ее плечи... Это сильнее меня, мое твердое решение держаться с пресыщенным достоинством рассыпается в прах. Я обнимаю ее, мне необходимо еще раз, в последний раз прикоснуться к ее телу, такому родному, такому знакомому. Она не сердится, высвобождается, гибкая, как змея, улыбается:

— Завтрак включительно. Дополнительные услуги по выбору.

— Знаю его, этот выбор. Мне не по средствам.

— Тогда обслуживание будет минимальным.

Она ведет меня в спальню в глубине коридора. У нее хорошая квартира. Ковры, на стенах разные современные штучки авангардистского толка. Скромно и со вкусом. Хороший вкус папенькиного сынка, окончившего Высшую национальную школу, читающего "Монд" и здравомыслящего. Смел именно настолько, насколько нужно. Шлюха!

Спальня для гостей в хорошем стиле. Почему бы и нет?

— Ты принес пижаму?

— Да... нет... Буду спать так.

— И не вздумай. Я тебе принесу.

— Пижаму этого ...? Ты сама не вздумай!

Грубо, для того чтобы причинить ей боль, чтобы причинить боль себе самому, я выпаливаю:

— С его спермой, оставшейся на ширинке!

Она улыбается:

— Обычно перед этим он снимает пижаму.

Все они шлюхи.

В конце концов я замечаю, что дома, одеваясь в расстроенных чувствах, не снял пижаму. Это разрешает проблему.

Она складывает покрывало, откидывает простыню, похлопывает по матрацу, зажигает ночник. Соответствующие ситуации жесты, движения дамы, которая умеет принимать гостей.

— У тебя есть все, что нужно? Да, ванная справа по коридору, но я тебе не советую пользоваться ею, потому что спальня малышки прямо напротив, ты ее разбудишь. Впрочем, у тебя есть раковина, вот здесь.

Она показывает мне раковину, вот здесь. Раковина изящная, с позолотой на кранах, но в меру, как раз столько, сколько нужно.

— Ладно, спокойной ночи.

Я корчу ей тигриную улыбку:

— Иди трахайся со своим!

— Сегодня как раз нет. Не тот день.

Она смеется. Ее смех...

Она ушла.

О, боже, я опять адски возбудился! Совершенно диким образом оторвали от дела в самом пылу, а теперь Агата, моя негасимая любовь, которая пронесла свои прелести у меня под самым носом и спокойно удалилась с ними, поди узнай куда, поди узнай к кому... И чувствовать ее присутствие здесь, совсем рядом, за одной или двумя тоненькими перегородками... Что за дурацкая идея прийти сюда! Собственно говоря, у меня не было никаких определенных намерений, я был невинен как ягненок, но все же в самой глубине души, в самой глубине... Так мне и надо! Ладно, хватит об этом.

Я споласкиваю лицо холодной водой, ковер тоже получает свою долю, а мне наплевать, я становлюсь хамом, когда у меня сексуальная фрустрация, я вытираюсь, и затем самое важное: найти для себя какую-нибудь книжку. Я не способен заснуть, если не почитаю. И вовсе не что попало. Главное, чтобы мне было интересно. Я замечаю маленький шкафчик из желтого полированного дерева, должно быть дикой вишни или что-то вроде, с зарешеченными дверцами, за которыми мне подмигивают потускневшей позолотой корешки старых переплетов. Удивительно будет найти там Сан-Антонио, например. Я открываю, шкафчик не заперт. Сан-Антонио нет, но зато между проповедями Флешье и речами Боссюэ — иди сюда, старина, — я вылавливаю роскошного Монтеня издания восемнадцатого века, не знаю, раритет это или нет, презираю собирание книг, как любое коллекционирование, но люблю запах старой бумаги, четкие черные буквы, набранные вручную...

Я, должно быть, отключился, уронив Монтеня на живот.

Уж и не знаю, в каком беспокойном сне я барахтался, я забываю свои сны сразу же по пробуждении, но в самом конце дело происходило в каком-то месте, где жарили кофе, в этом я уверен. Я открываю глаза, кофе здесь, у меня под носом, в старой чашке, разрисованной крупными цветами, времен детства Агаты, на подносе с ножками, по соседству с двумя хрустящими тостами, обильно намазанными маслом. Она такая, Агата. Вот и она сама.

— Так и знала, что запах тебя разбудит! Поторопись, пожалуйста. Я почти опоздала.

Она врач квартала. "Генералист", как надо говорить сейчас, если не хочешь, чтобы тебя засмеяли. Ей надоела больница, она открыла многопрофильный кабинет вместе с друзьями. Она работает как лошадь, а здоровье у нее как у быка. Дела идут хорошо.

Она выходит из спальни этой своей походкой животом вперед, прогнувшись назад, как манекенщицы, представляющие коллекции по телевизору, или как владелицы замков в высоких головных уборах на миниатюрах пятнадцатого века. Но ее случай — последствие рахита, и это восхитительно. Только Агата может из рахита сделать что-то восхитительное.

Как же я проголодался! Я заглатываю тартинки как волк. Агата возвращается, когда я ставлю чашку обратно. Она нагибается, чтобы убрать поднос. О боже мой, этот запах свежевымытой Агаты! Эта легкая испарина, появляющаяся после душа и вытирания, невинный аромат которой поднимается невидимым облачком, зовущим к насилию, из открытого ворота ее скромной блузки... Агата терпеть не может духи, это весьма кстати: я тоже их не переношу. Агата хорошо пахнет. Духи, это для тех, кто воняет и не знает при этом, что духи заставляют их вонять по-другому и намного сильнее. Ну вот, я опять разволновался, как накануне вечером. Мелкий пушок на затылке доканывает меня: я жадно целую ее в белую шею. Она ожидала этого и даже не вздрагивает, распрямляется, унося поднос, смотрит на меня, качает головой, цокает языком, снисходительная, несгибаемая. Говорит мне:

— Слишком поздно для душа. Только умойся под краном. Поторопись.

Даже под краном не буду умываться, нет! Я одеваюсь без умывания, прямо на пижаму. Я дуюсь. Она предлагает подвезти. Я говорю "нет!". Мы спускаемся вместе. Внизу я спрашиваю:

— Малышка уже ушла?

— Давно уже.

— Ты должна была меня разбудить. Я бы хоть поцеловал ее.

— Только не говори мне, что этого тебе так не хватает!

— Превосходно! Я все-таки не совсем чудовище, к твоему сведению.

— Чудовище, нет. Скажем так, ты к ней безразличен. Тебе все реже и реже хочется ее видеть...

— Чтобы она не путалась у меня под ногами, совершенно согласен. Но это не мешает испытывать чувства.

Она встряхивает головой, хочет ответить, пожимает плечами, улыбается:

— Пока, до того дня, когда тебе опять придется туго. Только постарайся попасть так же удачно, как вчера.

— Да. Мне повезло. Мне всегда везет. Привет!

— Привет!

Она не сказала "бай!". Агата знает, что надо сказать и чего не надо говорить и кому.

Когда я выхожу из лифта, где-то надрываясь, лает собака. Я вставляю ключ в замок, лай превращается в истерику. Наконец до меня доходит: ее пес, черт побери! Значит, она все еще здесь. И кошки. Я толкаю дверь. Она там, вцепилась в ошейник Саша, который давится от ярости и хочет наброситься на меня.

Она потрудилась. Сделала то, что я, честно говоря, считал невозможным, то, что обещал себе сделать однажды, сам не очень-то в это веря. Она прибрала горы книг, составила их в ровные стопки, освободила проходы, перекрестки и даже площади! Диван-кровать установлен в положение "диван"; этого не случалось с тех пор, как... черт побери, с тех пор как здесь нет Агаты, чтобы это делать. Она извиняется:

— Ты не сердишься? Я поняла, что в твоем кажущемся беспорядке есть намек на классификацию. Эти кучи книг не были собраны как попало. Ну, я и попыталась продолжать в этом духе. Старалась сделать так, как ты сам сделал бы. Конечно, если я правильно тебя поняла. Я все это сжала, сделала повыше, чтобы выиграть место, видишь?

Вижу. Я мычу:

— Угумм...

Она идет впереди меня в маленькую спальню. Раньше в нее нельзя было даже войти. А теперь можно. Ей удалось устроить свободный уголок примерно два метра на два. Там она развернула свой тонкий туристический матрасик. Ее кошки лежат на нем, уставив на меня изумрудные глаза... "Изумрудные глаза"! Приехали! Я начинаю думать выражениями из дешевых романов! А ведь кошачьи глаза намного красивее изумрудов. Их нельзя сравнить ни с чем. Именно они должны были бы быть универсальным эталоном сравнения... Утонуть в кошачьих глазах... Ах, если бы у женщин были кошачьи глаза! Хотя тонуть в женских глазах тоже неплохо.

Еще три кошки блуждают по квартире, рассеянно разведывая все ходы и выходы. Я раздражен. Не люблю, когда трогают мои вещи, не люблю, когда мне кажется, что меня учат. Это все выливается в дурацкий вопрос:

— Если я правильно понял, ты устраиваешься надолго?

Она получила злонамеренный удар прямо в лицо. Ее глаза еще не хотят верить нанесенному оскорблению, но она опускает плечи.

— Ты сказал мне, что я могу оставаться до тех пор, пока не найду жилья. Знаешь, я искала. У меня уже есть кое-что на примете, но это только через неделю. Если хочешь, я уйду сейчас же.

Я уже успокоился. Теперь мне стыдно. Я изображаю ворчуна с золотым сердцем:

— Не дури! Оставайся сколько захочешь, ты меня не стесняешь. Ты даже полезна.

Раскинув руки, я как бы заключаю в объятья обновленное жилище.

— Представляешь, а если бы мне пришлось платить уборщице!

К ней вернулась ее улыбка Джельсомины. Она говорит:

— Надеюсь, ты меня простишь, мне надо работать. Я ходила в редакцию, у меня целая куча пузырей для заполнения.

Она откопала неизвестно под какой кучей кусок доски из прессованных опилок и козлы, я даже не знал, что обладаю всем этим; она выгрузила все свои рабочие приспособления и занялась заполнением пузырей.

Начинает она с нанесения твердым карандашом едва заметных легких прямых линий, затем смело атакует лист, твердой рукой вырисовывая буквы почти со скоростью беглого письма. Под седой шевелюрой очки в черной тяжелой оправе оседлали маленький круглый нос с нашлепкой на конце. В углу рта виднеется кончик розового языка. Она старается, вот это точное слово. Старается. Прилежная маленькая ученица, которая со всей серьезностью трудится над своим заданием по чистописанию. Она совершенно забывает обо мне.

Ну вот, у меня больше нет никаких предлогов, чтобы увильнуть от работы. Работать я люблю. Самая большая проблема — начать. Мне ужасно трудно сконцентрироваться, решиться нарушить девственную белизну первого листа, того, что находится сверху, самого вредного. Я упираюсь, как осел перед препятствием, отвлекаюсь, теряюсь в мечтаниях, рискую начать, сам не веря в это, первую фразу, зачеркиваю написанное, сержусь на самого себя, я очень несчастен. Возможно, все те, кто занимается ремеслом писателя, должны пройти через это. Но это не помогает и не утешает.

Раз начав — если мне это удается! — я забываю обо всем. Мира больше не существует, даже моего тела больше нет. Круг света от лампы на бумаге, вся вселенная тут сконцентрировалась. Вокруг ничего не существует: ни времени, ни пространства, ни голода, ни жажды, ни желания справить малую нужду, почесаться или размять ноги. Я даже больше не дышу, разве что едва-едва. Только один мозг живет, но на всю мощь, найдя свое продолжение в руке, которая в свою очередь продолжается быстрым пером. Я весь превратился в мозг, ничего другого, кроме мозга, сверхвозбужденного, торжествующего, следующего идее, оттачивающего фразу, которая лучше всего ее передаст, живущего жизнью персонажей, которых он создает и заставляет действовать в соответствии со своей фантазией... Что на свете может быть более вдохновляющим, более чарующим? Более изнуряющим... Когда наконец я прихожу в себя, иногда по прошествии часов и часов, а иногда дней, я оказываюсь одуревшим, опустошенным, с воспаленным лицом, все мышцы болят, словно я только что пробежал марафонскую дистанцию. Утомленный, шатающийся, торжествующий. И голодный. И с готовым лопнуть мочевым пузырем. Даже если потом, впоследствии, а это случается частенько, моя работа мне кажется чушью и я выбрасываю все в мусорную корзину, — в тот момент завершения меня обуревает мощное чувство победы. Я победитель, черт побери! Смотрю на пачку исписанной бумаги и не могу опомниться, мне хочется поставить на нее ногу, подобно тому как на старых фотографиях усатый путешественник в колониальном шлеме попирает сапогом голову только что убитого им тигра, бедный зверь, мерзкий убийца.

Было предначертано, что сегодня мне не суждено преодолеть проклятый этап начала. Это потому, что кроме всего прочего мне необходима полная тишина для преодоления гибельного порога, за пределами которого я отключаюсь от зловония реальности, для того чтобы погрузиться в интимную феерию творчества. Немного напоминает погружение в сон до самого дна, только, вместо того чтобы переключиться на режим торможения, машина фантазии принимается функционировать мощно и целенаправленно. Но, проклятие! — с другой стороны тонкой перегородки доносятся шумы, довольно глухие по правде сказать, но вполне достаточные для того, чтобы я опустил руки и потерял счастливую дорогу к золотым дверям вдохновения.

Подразумевается, что рисовальщица подписей трудится в келейной тишине. Не раздается даже скрипа пера: ее усовершенствованные орудия труда скользят, оставляя после себя тонкую чернильную линию, кажется, они даже не касаются бумаги. Да, но ведь есть кошки. "Могучие и нежные кошки..."

Кошка в одиночестве не производит шума, осмелюсь предположить. Но не банда кошек. Не эта банда, во всяком случае. Особенно две из них, я уже узнаю их по голосам. Они изрыгают убийственные проклятия, гоняются друг за другом, вцепляются друг в друга, роняют в своей бешеной гонке грохочущие предметы, урчат, конечно не так уж и громко, но мои джунгли невелики, эти глухие урчания их переполняют. Хуже всего то, что она пытается успокоить хулиганов. Негромко, "чтобы не мешать":

— Ну же, Эрнест, не будь таким! Я запрещаю тебе! Оставь в покое Генри, будь добр! Оставь, кому говорят!

Я считаю до двенадцати, медленно, пока не схлынет жажда убийства, затем, старательно притворяясь спокойным и с гримасой на устах, которой надеюсь заменить улыбку, предлагаю ей, очень любезный джентльмен, разлучить разбойников. Если я возьму одного из них к себе, не правда ли? — и бой кончается, затем что нет бойцов[1]. Она не улыбается. Видимо, в тот год в программе не было Корнеля. Она недоверчиво оценивает мое предложение. Наконец соглашается:

— Ладно. Я отдаю вам Генри. Он очень тихий, очень ласковый. Не знаю даже, почему этот разбойник Эрнест вечно к нему липнет. Он сделал из него козла отпущения. Бедняжка Генри! Иди, мой дорогой, тебе там будет хорошо.

Таким образом, Генри получает привилегию разделять логовище владетеля этих мест. Это молодой кот с большими черными и белыми пятнами, не очень бойкий, с большими умными глазами, как у болезненных и рано повзрослевших ребятишек.

— Он был, — говорит она мне доверительно, — в ужасном состоянии. Я уж думала, что он не выживет. Ветеринар совсем поставил на нем крест. И вот видите, тщательным уходом я его спасла. Но он остался ослабленным. Он такой очаровательный! Его все интересует, представляете? Он хочет все знать.

Он действительно очень ласковый, этот Генри. С подушки, где он

1. Ставшая крылатой фраза из трагедии Пьера Корнеля "Сид" (акт IV, явление 3) — перевод М. Лозинского.

свернулся калачиком, он обволакивает меня взглядом, светящимся любовью. Я буквально чувствую этот взгляд на себе, и тогда что-то во мне успокаивается. Как будто мне чего-то не хватало, а теперь я это получил. Никогда бы не подумал, что одним только своим присутствием кошка заставит меня ощутить себя более... как бы это сказать... более завершенным, что ли... Цельным, одним словом.

До такой степени, что это сократило все ужасы начала. Я с ходу полностью врубаюсь в текст, точные реплики так и летят, диалог несется галопом, я далеко от этого мира, когда... Ну да, когда ласковый Генри с влюбленным "мрру" вспрыгивает на мою работу, проводит хвостом прямо под моим носом, наконец, непринужденно устраивается на рукописи, сложив лапки под собой, как монах руки в рукавах своей рясы, и вперяет в меня глаза, исполненные любви, громко мурлыкая в полном экстазе.

Такое количество страсти не оставляет меня равнодушным, я очень ласково глажу его по спинке, но мне все же хотелось бы получить доступ к бумаге и, более того, вернуться в то счастливое расположение духа, когда все шло так превосходно. Я беру кота обеими руками, осторожно поднимаю и возвращаю на подушку, приговаривая при этом что-то любезное. Десять секунд спустя он возвращается, снова устраивается на моей работе у меня под носом, мурлыкает и дарит мне свой обожающий взгляд. И так шесть раз. Я отказываюсь от борьбы.

"Если ты упал, ушибся и тебе больно; если ты получил моральный удар или когда чувствуешь, что тобой овладевает ярость, сделай очень глубокий вздох два или три раза, а еще обязательно сходи пописай". Так советовал нам учитель по гимнастике, когда мы были еще подростками. Это был старый вояка. Я всегда следовал его совету; не рискну поклясться честью, что это действовало, но в любом случае уверен, что если бы я ему не следовал, все было бы намного хуже. Так что я дышу, как предписано, затем решаю сходить опорожнить мочевой пузырь в раковину в ванной. Это не из-за того, что в моей квартире нет отдельного туалета, он есть, крошечный, но исправно выполняющий свои функции, просто именно в раковину мне удобнее всего выпускать мою струйку. Агата этого вовсе не одобряла. Агата женщина — о, что за женщина! — и в этом вопросе рассуждает как женщина. Она находит совершенно естественным, что, если не учитывать справление *другой* жизненно необходимой нужды, при которой оба пола почти присаживаются на корточки, унитаз был разработан скорее как удобное сиденье для дам, чем надлежащий приемный сосуд для мужской струйки. Мужчина писает стоя, это его привилегия и гордость, а так как унитаз гораздо ниже, то, если не проделывать эту операцию с предельным вниманием — почти невозможным в случае крайней надобности, — брызги неизбежны и с этим ничего не поделаешь. И если вы не хотите прослыть грязной свиньей, приходится подтирать, недовольно ворча, случайные капли на стенах, на полу с помощью квадратиков туалетной бумаги, расползающихся в руках... Короче, идеальным и дружественным сосудом для мужской струйки является раковина, находящаяся как раз на нужной высоте, вы выкладываете свой драгоценный багаж на приветливый фаянс с приятными контурами, это удобно, это счастье, облегчившийся самец может

снова застегнуться, просветленный, раскованный, переполненный сокровищами доброжелательности ко всему людскому роду.

Так что раковина в ванной. Я расстегиваюсь на ходу, старая привычка одинокого мужчины, встаю перед раковиной, кладу туда то, чем единолично владею, даю разрешение сфинктеру открыть клапана, выдыхаю счастливое "ах!", когда струя брызнула... И почти сразу же испуганное "ох!". В раковине кто-то есть! Создание в шубке и с когтями, которое не оценило орошения. И которое мгновенно среагировало, вонзив когти в то, что находилось прямо перед ним, то есть в мой амбивалентный орган, одновременно служащий для размножения и удаления, такой нежный в спокойном состоянии, но самое главное, такой жутко чувствительный.

Она уже здесь, совсем растерянная, а я подпрыгиваю на месте и проклинаю все на свете, сжимая обеими руками свой изувеченный член, не смея взглянуть на него из страха обнаружить бесповоротную кастрацию или, по меньшей мере, невозможность дальнейшего его использования из-за деформации и шрамов. Боль невыносимая!

А она? Она кидается к проклятому коту, у которого шерсть стоит дыбом от ярости, она качает его на своей груди, шепча слова утешения и пытаясь успокоить... Эй, но тут ошибочка вышла! Пострадал-то я! Я истекаю кровью, я страдаю и прикидываю, как же объяснить происшедшее служащей аптеки на углу.

Собираю все остатки своего достоинства и напоминаю ей:

— Он-то не пострадал, твой злополучный кот! А я вот как раз да. Он меня поранил, посмотри, я истекаю кровью... И что ему понадобилось в раковине?

Теперь она собирает все свое терпение, чтобы объяснить мне:

— Это Эрнест.

Догадываюсь, что этим, по ее мнению, все сказано. Я бормочу:

— Так... Это Эрнест.

Поскольку я все еще ожидаю ответа, она старается объяснить более подробно:

— Понимаешь, как только Генри убрали, Эрнест принялся за Артура. А Артур совсем беззащитен.

— Как Генри.

— Да, вот именно. Как Генри, точно. Эрнест издевался над бедняжкой Артуром, поэтому я заперла его в ванной.

— Могла бы меня предупредить.

— Я не хотела тебя беспокоить...

Она не хотела беспокоить!

— Очень трогательно. Результаты налицо!

Она ужасно смущена, настоящая Джельсомина. Опустив глаза, она шепчет:

— Но я же не могла знать, что ты... ну... в раковину... Это не должно быть так уж серьезно. Дай посмотреть. Ох, но так нельзя оставлять, знаешь, это может воспалиться. Надо промыть спиртом. У тебя есть спирт?

— Да, есть. Ты видела, какие царапины? О-ля-ля...

Я наконец осмелился сам посмотреть. Впечатляюще. Три параллельные борозды, как будто сделанные бритвой, головокружительно глубо-

кие. "До костей!" — как мы говорили в детстве, порезав палец. Но здесь нет костей, это научно доказано, я еще легко отделался, этот злодей мог бы мне совсем его ампутировать! Я говорю ей:

— Он мог мне его совсем ампутировать!

Она суетится, преисполненная чувством вины. Нашла спирт, вату — я даже не знал, что она у меня есть, — наклоняется над моим бедным кровоточащим членом, внимательная и заботливая, но ее плечи вздрагивают, она сдерживается, чтобы не фыркнуть, вот лицемерка, потом громко фыркает. Вместе с судорогой сумасшедшего смеха прямо на мои раны попадает тампон, пропитанный спиртом, и я подпрыгиваю до потолка. Она говорит:

— Немного щиплет.

И продолжает корчиться от хохота.

От жжения спирта у меня выступают слезы на глазах. Через эти толстые жидкие линзы я вижу, что она бог знает откуда вытащила маленький пластмассовый флакончик и, делая им "пш-пш", наносит на мои раны белый порошок. Между двумя всхлипами смеха ей удается принять ученый вид, чтобы сказать:

— Сульфамиды.

Затем она вскрывает пакет салфеток "клинекс", заворачивает мое несчастье в тройной слой салфеток и закрепляет их липкой лентой. Она любуется результатом своих трудов, весьма довольная собой. Остатки плохо сдерживаемого смеха блестят в ее глазах, прячутся в ямочках в уголках губ. Ямочки? Да это морщины. Она с видом доктора успокаивает меня:

— Ничего страшного. В этом месте, — она фыркает, — как на голове, раны быстро заживают.

Мне не удается настроиться на ее тон. Потому что чертовски жжет! Я говорю:

— Откуда ты знаешь? Может, твои звери обучены приносить тебе члены твоих любовников? Как трофеи?

Ее смех сразу обрывается. Она пожимает плечами, протягивает мне фляжку:

— Ты дурак. Выпей глоток, это тебе не повредит.

Я не слишком хорошо знал, что буду делать сегодня вечером, то есть у кого (и с кем) буду спать. Теперь проблема разрешилась. Лягу на диване, который отныне останется диваном, для одного человека места вполне достаточно. И так как желание работать совсем улетучилось, я лягу сейчас же.

— Доброй ночи, Женевьева.

— ... ночи.

Я люблю валяться в постели. Выныривать из сна без спешки, попробовать реальность ногой, прежде чем рискнуть окунуться в нее... Я поднимаюсь со своего ложа только тогда, когда от голода начинает сводить кишки. Тогда, с трудом разлепив глаза, я ставлю на огонь воду, наливаю ее в чашку, это моя последняя, сыплю две ложки "Нескафе" и макаю туда две щедро намазанные маслом тартинки, если масло, оставшееся в хо-

лодильнике, еще не очень противное, а если оно прогоркло, то без масла, мне плевать, лишь бы набить чем-то желудок и проснуться. Я изумительный лентяй до тех пор, пока не наполню желудок. "Утомленный бездельник", говорила Агата.

Этим утром моему неспешному всплыванию из глубин сна помешало постукивание мисок и мяуканье, перемежаемое восклицаниями "тшш!"... И вот я одним махом безжалостно выброшен прямо в будни.

В голове мелькает подлая мыслишка: "Завтрак на двоих? Дороговато получится..." Я стучу в дверь спальни.

— Да?

— Доброе утро. Что ты будешь на завтрак?

— Доброе утро! Спасибо! Как это мило с твоей стороны! Но знаешь, я уже позавтракала.

Она считает себя обязанной добавить, словно бы для того, чтобы заставить меня почувствовать, что я живу как рантье:

— Я уже давно встала!

Быть может, осознав, что получился нескромный намек, она спешит заявить:

— Кошачий аппетит просыпается очень рано. Если я запаздываю, они устраивают кавардак. И еще я должна вывести Саша... У тебя все есть? Я купила очень свежий хлеб, а еще масло. У меня даже есть кофе, настоящий, остается только подогреть.

Не исключено, что она провела инспекцию холодильника: я знаю, что у меня там нет ни грамма масла, нет даже маргарина. Я говорю, хорошо воспитанный притворщик:

— Спасибо. Ты молодчина. У меня есть все, что нужно.

Но она уже приоткрыла дверь:

— Быстро входи, Эрнест! Делай, что тебе говорят!

Не хватает только, чтобы она добавила: "Будь как дома!"

В мгновение ока кружка горячего кофе дымится передо мной, две хорошенькие тартинки завлекают меня. Пока я пожираю все это, отбросив всякий ложный стыд, она изображает медсестру. Перед ней выстроилась целая куча пузырьков, тюбиков с мазями, плакеток с таблетками, ампулами, компрессами. Можно подумать, что они все больны.

— Не все, — уточняет она, — но, увы, многие. Некоторым из них, потерявшимся, брошенным, пришлось слишком долго скитаться по улицам, подыхая от голода и холода, питаясь бог весть чем, страдая от мальчишек, ночуя под машинами, в кустах скверов... Саша их находит. Он обожает кошек! Если он делает стойку перед машиной, я уже знаю, что под ней сидит кошка. Он не сдвинется с места до тех пор, пока я ее не схвачу, и иногда это занимает много времени! Они запуганы, очень недоверчивы, они защищают себя. У меня совершенно расцарапаны руки! И когда мне удается ее поймать, начинается самое тяжелое. Надо их успокоить, вылечить, нанести метку и стерилизовать... Все, что я зарабатываю, переходит к ветеринару.

Конечно же, я, дурак, опять говорю то, что не надо говорить, то, что такие же дураки, должно быть, много раз повторяли ей:

— Я понимаю, что можно любить животных, но не до такой же степени, не чересчур ли это?

Она не возмущается, не раздражается. Она привыкла. Терпеливо она устраивается поудобнее, чтобы произнести свою маленькую привычную речь:

— Я ничего с этим поделать не могу. Так уж я устроена. Не могу выносить, когда страдает живое существо, человек или животное. Я заболеваю от этого, это портит мне жизнь. Природа в общем-то не отличается добротой. Сострадание — это штука, которой обладаем мы, люди, и у некоторых его больше, чем у других, к их собственному несчастью. Как раз мой случай. Природа без людей — вовсе не рай, но природа с людьми — это ужас. Войны, убийства, депортации, социальная несправедливость — все это дело рук людей, их глупости, их алчности, их гордыни, их шовинизма, их расизма... Они облекают все это в благородные слова: стремление к благоденствию, патриотизм, честь, мужество... А истина в том, что они хотят получать все больше и больше... У них есть одна ужасная, смертельная особенность, которой нет у животных: грязный дух соревнования, который на деле является не чем иным, как желанием погубить другого, быть первым, быть единственным... Они готовы разрушить планету для того, чтобы последнее слово осталось за ними, быть победителями... В погоне за деньгами они сводят леса, распахивают целину, загрязняют, заливают бетоном, уничтожают любую жизнь, которая не есть человеческая. Они убивают ради удовольствия на охоте, на корриде, устраивают собачьи бои... Для удовольствия, ты понимаешь? Чтобы поиграть! Чтобы получить чувственное удовлетворение! Не приводит ли в бешенство одна мысль об этом? Власть имущие, политики, промышленники, деловые люди — это всего лишь маньяки, до одурения играющие в увлекательную игру, готовые рисковать своей собственной жизнью и, более того, жизнью других. Что же касается животных, об этом даже говорить не стоит! Я сострадаю, понимаешь, сострадаю всем страждущим, всем искалеченным жизням, тем несчастным, которых заставляют надрываться ради куска хлеба, всем тем, кого мучают, кого расстреливают, на кого бросают бомбы, кого уничтожают, женщинам, которых насилуют, детям, рождающимся в грязи... Но за них борются многие, без надежды, потому что этому нет конца, но что делать, они, вроде меня, чужих страданий не переносят, не могут бездействовать. Я их поддерживаю, я участвую. Гораздо меньше людей защищают животных. Это не так сильно трогает. Человек интересуется только человеком, жалеет — если он на это способен! — лишь себе подобного, он равнодушен к страданиям иных существ. К спасению бродячих собак и кошек относятся скорее недоброжелательно. И когда ради них лишаешь чего-то себя самого, тебя начинают считать сумасшедшим, опасным для общества. Есть старики, которых нетерпеливым наследникам удалось упрятать в психушки лишь потому, что они "растрачивали" средства, которые, по расчетам этих хищников, законно принадлежали им!

Она вся разгорелась от своей речи, она хочет быть убедительной, как те пророки с горящими глазами, насылающие анафему на еврейский народ. Славная бабенка, раскрасневшаяся, кругленькая, вынужденная метать свои молнии снизу вверх! Она разоряется совершенно напрасно, я уже заранее убежден, я совершенно согласен с ее точкой зре-

ния. Только дело в том, что все это не мешает мне спать. Когда я обо всем этом размышляю, меня одолевают негодование и жалость, но вот я отвлекся и думаю совсем о другом. Я не чувствую в себе призвания апостола или борца, еще менее мученика за идею. Моя прирожденная пассивность более-менее приспособилась к выживанию в этом мире подлости, страдания и абсурда, которым является любое человеческое общество. Я говорю, только чтобы что-то сказать:

— Но тебе никогда не удастся спасти всех парижских бродячих кошек и собак! Даже десятитысячную часть!

Я не должен был этого говорить. Ее глаза полны слез. Она вздыхает:

— Я знаю. Но что ты хочешь, спасенный — это всегда спасенный. Значит, ровно настолько уменьшились боль и страх. Они так счастливы потом! Такие ласковые. Заметь, я от них ничего не требую. Я не мамаша этим котам. Мне только надо, чтобы они жили своей кошачьей жизнью, беззаботно, радостно. Нормальной жизнью, в общем. И потом, я не одинока. В Париже несколько таких сумасшедших, как я. А еще есть SPA[1], есть Кошачья школа, другие ассоциации... Мы боремся за две главные вещи: нанесение меток, стерилизацию. Но люди так невнимательны. И потом, стерилизация, само это слово их пугает. Как будто им самим отрезают яйца. Они сразу же вспоминают Гитлера, начинают кричать о покушении на природу... Но ведь известно, что одна кошка может приносить каждый год два или три помета от четырех до восьми котят в каждом...

IV

Вот так я оставил ей мою хибару. На день. Я ушел на рассвете, то есть ближе к полудню, с пачкой бумаги в руках, с ручкой в кармане, словно добропорядочный работяга на свою ежедневную службу. Я совершенно вошел в роль. Даже спустился в метро. Именно там, на перроне, оказалось, что я не знаю, куда иду. К приятелю? Да-а... Так делают. Только вот приятелей у меня нет. Достаточно близких. Я не смог бы даже назвать адрес кого-нибудь из них.

Забавно. Я никогда об этом не думал. Нет настоящего приятеля! До сих пор это мне не так уж и мешало. Разумеется, оттого, что я не чувствовал в этом потребности. В приятеле-мужчине, я имею в виду. Встретиться с мужчиной, поболтать с мужчиной, устраивать всякие потехи... Это меня не вдохновляет... Приятельницы же, наоборот! Ах, приятельницы, кучи приятельниц. Нет, не "приятельницы". Какое дурацкое слово! Оно лишено женственности. Это значит своя в доску, туристический лагерь, губная гармоника у костра. Не "приятельницы". Женщины. Настоящие женщины, женственные каждую секунду, всегда и во всем. Мои женщины. С которыми, может быть, я больше не встречаюсь, которые, может, давно уже замужем и наплодили кучу младенцев, мне все равно. Если мы любили друг друга хотя бы один раз, это уже навсегда. Если я любил, я никогда не разлюблю. Я спрягаю глагол "любить" в непрерывном настоящем. Заскок чокнутого? Не говорю нет. В психиатрии это наверняка должно иметь свое название. Ну и что же? Такой уж я есть, как говорит Женевьева по поводу своих котов, ничего не поделаешь.

1. SPA — Société protectrice des animaux — Общество защиты животных (*франц.*).

Впрочем, есть и преимущества. Я счастливый султан своего гарема, скорее всего воображаемого, но который превращает мою жизни в нечто волшебное. Сказки "Тысячи и одной ночи!" Впрочем, не такой уж и воображаемый этот гарем. Есть такие встречи и примирения, которые как раз подтверждают, что я не одинок в своих фантазиях.

Так что у меня есть жены, правда не в каждом порту, как у покрытого татуировкой моряка, но в каждом квартале Парижа. По крайней мере одна. Часто больше. За пределами Парижа? А разве там что-то есть? Тогда об этом было бы известно. За окружной дорогой — это уже межгалактическая пустота, полное ничто, ты высовываешь руку, она исчезает, поглощенная тьмой. Ну ладно, хватит шутить... Женщины, кого я любил, те женщины, которые любили меня, принадлежат мне, а я им навечно, но не только они. Все женщины принадлежат мне, я так решил однажды, когда понял, что все женщины вызывают во мне желание обнять их, и приласкать, и слушать их милый лепет, и вдыхать их приятный запах, и читать в них как в книге, и обмениваться мыслями, и чтобы они были моими сестренками, и чтобы моя рука тихонько скользила к ним под юбку вдоль их белых бедер, и чтобы они были моими мамочками, и чтобы зарываться носом в их влажные складочки, и находить вместе чудесный цветок или просто смотреть, как они идут, говорить себе, что все возможно... Против судьбы не пойдешь. Мои курочки, мои дорогие, в этот день я решил для себя, что вы принадлежите мне. Вы любите меня, если я решаю, что вы меня полюбите, и если вы не находитесь наедине со мной в какой-нибудь спаленке, это просто означает, что я отпустил вас на время. У вас вроде выходного. Вы отдаетесь другим мужчинам? Почему бы и нет? Я вам разрешаю. Будьте счастливы!

Я очень хорошо знаю, что не так уж привлекателен, ни ростом, ни сложением не вышел, что я не первой молодости — тридцать пять лет, в наше время это уже начало сумерек жизни, что начинаю терять волосы спереди — по правде сказать, я не очень-то себе нравлюсь, — но ведь не в этом суть. Любая женщина принадлежит тому, кто решил, что она будет его, решил бесповоротно. Именно по этой причине, к удивлению толпы и под зубовный скрежет проигравших, мы наблюдаем, что царицы Савские отдаются отвратительным уродам, у которых нет даже богатства, по этой причине красавицы-богини прислуживают недоноскам, к тому же одноглазым. Именно по этой причине столько женщин — и простушки, и умницы, и невежественные, и образованные, и даже женщины с прошлым — любили меня, и все еще любят меня, и будут любить всегда, и это очень хорошо, это прекрасно, я так люблю их, так люблю, так люблю! О, как я вас люблю! Я живу только для вас, потому что вы существуете на свете, я живу для каждой из вас и для всех вас, "всех" — это только головокружительное кратное к "каждой".

Да, но в это время женщины на работе. То есть одинокие женщины. Одинокой женщине приходится пахать. К тому же "одинокая" — это означает, что у нее на шее ребенок, а бывший муж платит алименты только тогда, когда полиции удается его поймать, но только полиция в таких случаях не торопится...

Вдруг меня осенило! Я устроюсь в каком-нибудь бистро. Как это делали Сартр, Бовуар, Альфонс Алле и все эти знаменитости, которые, как

нам внушают по телевизору, подтверждая это старыми фотографиями, могли родить свои шедевры только в своем привычном кафе, сидя за своим привычным столом, вдохновенье посещало их только здесь, среди шумных разговоров и снующих туда-сюда гарсонов. Это вызывает восхищение, это доказывает, что они были общительными, человечными и жили в гуще настоящей живой жизни. Что они любили людей, иными словами. А это публике нравится.

Но у меня нет на примете ни одного бистро. Ни одного бара во всем Париже, где бармен был бы со мной на "ты" и называл меня по имени. Я не любитель кабаков к тому же. В бистро бегут от баб, в первую очередь от своей, чтобы оказаться среди мужиков, бесконечно трепаться о гнилом лете и о такой же политике, зная, что все это ерунда и обсуждается только для создания шума, приятного шума голосов мужчин, чувствующих себя в безопасности вдалеке от жен, от ребятишек и от всех этих проблем, пахнущих луковым супом... А я захожу в забегаловку, в любую, в любое время, там, где настигнет меня жажда, или малая нужда, или же необходимость позвонить. Не для того, чтобы сбежать от женщин, это уж точно! Если бы существовали бистро только с женщинами, уж там бы я, будьте спокойны, стал бы самым заядлым завсегдатаем!

Когда я читаю рассказы о борделях былых времен, славных маленьких семейных борделях с салоном-кафе, с механическим пианино, красной плюшевой мебелью и маленькими кружевными салфетками, чтобы бриллиантин не пачкал плюша, и с этими славными шлюхами в нижнем белье, в черных чулках, подвязках и во всей прочей сбруе, с роскошным запахом самки, смешанным с запахом пачулей и пота подмышек (тогда не брили подмышек)... Я почти завидую сифилису Мопассана.

"Литературные" кафе находятся где-то в Сен-Жермен-де-Пре, это всем известно. Но такие места не для меня. Я слишком робок. Нужна непринужденность. Надо иметь к этому вкус. Они все знают друг друга, а как же иначе, все лауреаты Гонкуровской премии или премии Французской академии, по крайней мере, или журналисты типа Пиво, Гарсена, Пуаро... Семья. Одни только знаменитые физиономии, которые видишь по телику, а ты как дурак, тебя никто не знает, ты никого не знаешь, у тебя нет никого, кому бы ты мог небрежно махнуть рукой. Ты говоришь себе: "Ну и что!", берешь самого себя за шкирку, входишь с самым естественным, непринужденным видом, садишься за столик, первый попавшийся, пересечь всю арену у тебя не хватит духу, откуда тебе знать, что это столик, скажем, мадам Режин Дефорж, только ты сел, как тут же возникает гарсон и высокомерно роняет, что столик занят, я очень сожалею, месье, ты чувствуешь себя ничтожеством, ты чувствуешь себя дерьмом собачьим, ты мямлишь что-то, тебе даже не приходит в голову попросить указать свободный столик, ты уходишь как оплеванный, японские туристы, расположившиеся на террасе, вежливо подсмеиваются над твоей рожей деревенщины (эта пресловутая японская вежливость, так бы и вбил улыбочку им в глотку)... К тому же стоимость напитков в этих аквариумах – только для редких рыбок!

Так что никаких литературных кафе. Но и никаких музыкальных баров для дебилов в кожаных куртках, как в моем квартале... Ага, я знаю. Это будет просто-напросто настоящее парижское бистро, то есть одно

из этих больших безличных заведений, претенциозных, всегда запаздывающих на один "модернизм", изобилующих неоном и золоченым алюминием, которые даже нет нужды искать, они есть около каждого входа в метро. У стойки страшная толчея, развозчики товаров, заскочившие пропустить стаканчик на скорую руку не спуская глаз со своего грузовичка на улице, каменщики, маляры, почтальон... Но если пройти дальше внутрь, то можно обнаружить заднюю комнату, затененную, романтичную, с прячущимися там влюбленными парочками, прижавшимися друг к другу, словно озябшие птички... Вот что мне нужно.

Напрасно я слежу за собой и сдерживаюсь как могу, стакан, стоящий передо мной, пустеет быстрее, чем заполняется лист бумаги. Хорошо еще, что гарсон не принуждает к выпивке. Просто, когда ему случается проходить, он бросает профессиональный взгляд на мой стакан. Если он пуст, он подходит по своей инициативе и, опершись одной рукой на стол, ждет возобновления заказа. Но пока на дне остается тепловатая жидкость, он возвращается бездельничать за стойку, не позволяя себе никаких неодобрительных гримас. Правила игры таковы: растянуть свой стакан как можно дольше. Похоже на замедленные велосипедные гонки. Не так-то легко. О, я вовсе не хочу пить, но когда мысль начинает ускользать, а фраза становится вялой, в раздражении я забываюсь и делаю глоток. А значит, незаметно для меня самого стакан пустеет. И я считаю монетки, оставшиеся в кармане.

На лице девушки, сидящей напротив и немного левее меня, проскальзывает тень улыбки. Или, может, я это себе просто вообразил. Спорю на что угодно — у нее тоже гонки на замедление. Ее болид другой — это большая белая фаянсовая чашка. С застывшим шоколадом на дне, с противной лужицей коричневой грязи, которую надо растянуть до... может быть, до вечера? Она здесь уже около часа. Думаете, я не видел, как она пришла! Это очень просто, я еще не посмотрел на нее, а мое сердце уже трепетало. Именно так я узнал, что только что вошла женщина. Мое сердце — это очень чувствительный детектор женского присутствия. Приличная дамочка, выглядит молодо, элегантна в пределах разумного, видно, бегает по дешевым распродажам, большое зеленое каше, бесцветные волосы, то есть цвета сумерек в глубине бистро, где мы сидим. Она прямо подошла к одному из столиков. К своему столику, стало быть, завсегдатайка. Начиная с сегодняшнего дня, я тоже завсегдатай. Она этого еще не знает. Завтра, когда она меня увидит, она сделает какой-нибудь маленький заговорщицкий жест, кивнет головой, поднимет бровь, еще немного неуверенно, конечно, но уже обращаясь как к знакомому, к завсегдатаю, одним словом.

Перед ней на столе лежат две стопки листков в клеточку. Слева еще толстая, справа уже не такая тонкая. Листок к листку, левая стопка перемещается вправо, и, подчиняясь принципу сообщающихся сосудов, мало-помалу правая стопка растет, в то время как другая тает. Училка. Проверяющая контрольные. Красной ручкой. И которая курит, как курят женщины: затяжками, втягивая щеки, будто вдыхая смерть большими жадными глотками. Левый локоть на столе, кисть висит, согнутая в запястье, сигарета удерживается между указательным и средним паль-

цами, этим в наивысшей степени грациозным жестом профессиональной курильщицы, которой достаточно только откинуть голову назад, чтобы сигарета оказалась во рту.

Они восхитительны, эти женщины. Они завладели этой грубой мужской привилегией, табаком, утрированным символом грубости и высокомерия, чтобы не сказать хамства, они не пытались подражать фанфаронским повадкам изрыгателей дыма, вовсе нет, они просто заново изобрели искусство курения, подчинили его своим правилам, раскрыли все возможности достижения высшей степени грациозности и чувственности, таившиеся в нем, ввели его в свой арсенал обольщения, соткали вокруг него нежное кружево изысканных и сугубо ритуальных жестов. Короче, они показали мужчинам, что можно сделать с простой сигаретой. А потом, после этого, они бросились в этот дьявольский дым, как бросаются в Везувий: очертя голову.

Попробуй поработай, когда на расстоянии вытянутой руки от тебя сидит женщина! И вполне доступная женщина, насколько я могу судить. Нет, не "доступная": очаровательная. Не строй из себя циника, ты никого не обманешь. Одна только эта манера поправлять челку... Вся женщина в одном только жесте. Но боже мой, как же тяжело приходится студентам в библиотеке! А лицеистам? Удается ли им думать о чем-либо другом? Или, может быть, это их стимулирует? Подвигает на блестящую учебу? Меня, во всяком случае, парализует, поляризует, аннигилирует, я представляю собой не более чем добычу, жаждущую только одного — быть проглоченной, я вижу только ее, я представляю ее себе, я вновь создаю ее, я смакую ее, я люблю ее!

Вот эту самую, да, эту, которую я едва успел увидеть, кто, вполне может быть, прячет за своими большими очками физиономию копченой селедки, почему бы и нет, все равно эту самую я и люблю, черт побери! А она может оказаться и кривоногой. А что ты имеешь против кривоногих?

Я снова склоняюсь над своей писаниной, не питая никаких надежд. Дело в том, что мое дело плохо продвигается. Я споткнулся на третьей сцене второго акта, мне необходима зацепка, какая-нибудь пружинка, но у меня не получается, я ее не чую... Предложить ей свежего шоколаду? Вот так, с ходу, без церемоний? Словно допотопный волокита. Тогда почему бы не букетик фиалок, например? Впрочем, главное, не форсировать события. Я всегда оставлял возможность случаю, и он всегда приходил, полновесный удобный случай. Достаточно пошире открыть глаза. И смотри-ка, может быть, он уже и подвернулся, этот удобный случай.

Входят два подростка, за ними две девчонки. Жизнерадостная маленькая компания. Они тащат с собой спортивные сумки, книжки и разнообразные школьные аксессуары. Должно быть, тут совсем рядом расположен какой-то лицей или колледж, откуда как раз и явилась эта училка со своими контрольными. Детишки ведут себя как дома, перешучиваются, толкаются, наконец рассаживаются. Девчонки хорошенькие, мальчишки как мальчишки.

Сигареты и разноцветная содовая. Они не разбились на парочки, хотя видно, что у каждого мальчика своя девочка. Уже в мое время так

было принято. Равный с равным, бесполая одежда и джинсы для всех, это вам не благословенное время хиппи, это следующее поколение, приятельская любовь и все такое.

– Одна лягушка на шестерых, дерьмо, они трясутся над ними, над своими лягушками!

– Я просто-напросто практически ничего не увидел.

– Одна на двоих, я еще понимаю. Вдвоем хорошо посоревноваться.

– А я, – говорит хорошенькая брюнетка, – только делаю вид. Мне противно. При первой же попытке меня вырвет.

– Просто у тебя кишка тонка, – ржет мальчишка с широкими плечами.

Мне невольно приходится все это слушать. Затем я начинаю прислушиваться. И понимать, о чем идет речь.

– А со мной, – говорит другая девчонка – она тоже брюнетка, но повыше ростом, – все нормально, это на меня не действует, по-моему, очень интересно, просто здорово. Можно потрогать пальцем. Совсем не то, что теория, это на самом деле.

– Видеть, как функционирует жизнь у тебя перед глазами, в этом что-то есть, черт подери!

А меня что за муха укусила? Со своего столика – расположенного совсем рядом – я вмешиваюсь:

– Простите, если помешаю. Вы обсуждаете урок по естествознанию?

Они переглядываются. Высокий наконец снисходит и поправляет:

– По биологии.

– Сравнительная физиология лягушки?

– Ну да.

– На живой лягушке?

Он пожимает плечами:

– Ну конечно. Не на мультяшках же!

Я продолжаю уточнять:

– Значит, вам раздали лягушек, живых лягушек, остановите меня, если я ошибаюсь, вам велели их распластать и закрепить на планшетках, разрезать им живот с помощью скальпеля, и вы все это сделали?

Они спокойно дожидались, пока я закончу. Переглядываясь между собой, посмеиваясь. Ждали своего часа. Во всеоружии. Я был простаком, любезно подставившим себя им на растерзание. Они даже не надеялись на такое везение. И правда, во что я впутываюсь? Откуда во мне это назидательное рвение проповедника против вивисекции? Слышу, как я заявляю:

– Не хватило духу отказаться? А вот если бы весь класс сказал "нет", это был бы поступок!

– Ох, папаша, теперь ты будешь разглагольствовать о том, что жизнь священна!

Я подпрыгиваю:

– Священна? О нет! Я не пользуюсь такими словами, как "священный". Просто я ненавижу страдание, любая боль становится моей, это называется состраданием, и необязательно только человеческие страдания волнуют меня. Я не выношу, когда причиняют боль, и я не понимаю, как молодежь в возрасте бунтарства, протеста, вызова, безропотно дает навязывать себе роль мучителей живых существ, пусть и живот-

ных. Я бы сказал даже: особенно животных! Так как животные невинны. Они само воплощение невинности, полной, абсолютной невинности! Они не знают, что зло существует...

Ну а я-то откуда взял все это? Черт побери, да у Женевьевы, разумеется! Я внезапно осознаю, что слово в слово излагаю ее концепцию... Она уже оставила след в моей душе, в таких темных ее глубинах, что даже я сам не подозревал об этом. И я ведь повторяю это все вовсе не машинально, нет! Я совершенно согласен со всем сказанным, я разбушевался, я вещаю как один из столпов дела защиты животных, волнение перехватило горло, мне кажется, что мои глаза мечут молнии.

Юнцы слушают меня и помалкивают. Однако стоило мне сделать паузу, чтобы перевести дух, как самый смышленый подает реплику:

— Вот увидите, он еще вспомнит про Освенцим и обзовет нас садистами!

— Ты говоришь, Освенцим? Там делали опыты такого рода, ты прав. На мужчинах, на женщинах, на детях. Кто не жалеет животное, тот не пожалеет и человека... Садисты, вы? Вовсе нет. И это хуже всего. Просто вы поступаете, как глупцы, которые выполняют то, что принято, то, что требуется, с послушной готовностью. Даже если у них не атрофирована чувствительность, они делают над собой усилие и все равно становятся мучителями!

В порыве негодования я чуть было не добавил "чтобы они сдохли", как в "Чарли Эбдо"[1], но по размышлении решил, что это было бы уж слишком... Кроме того, я почувствовал себя несколько не в своей тарелке... Не в моих привычках выступать перед толпой, это был предательский порыв, взбитая пена майонеза не способна долго продержаться, я останавливаюсь на полуслове с единственным желанием бросить все это. Я говорю: "Ну ладно" — с недовольным видом человека, которому предложили приподнять гору, и снова возвращаюсь к своему тошнотворному второму акту.

Подростки уже не думают обо мне. Они вовремя вспомнили, что у них еще "остался" бассейн, и упорхнули, как стайка воробьев.

А как там дамочка-училка... Скажи-ка, Дурачина, не ради ли нее ты устроил все это кино? Будь честным. Через ребятишек не ее ли ты хотел поразить? Разве не может быть, что твое самое потаенное, самое скрытное, подсознательное и всегда настороженное "я" не покидало ни на минуту стимулирующее ощущение женского присутствия, здесь, в нескольких метрах? Это твое "я", работающее как приемник, настроенный раз навсегда на одну-единственную волну: женскую...

Согласен, это правда. Сознание того, что она рядом, действует на меня. Если бы ее здесь не было, я бы просто назвал этих дурачков дурачками про себя, в глубине души, запертой на ключ. Я бы держал пасть тщательно закрытой. И потом, довели ли бы меня мучения лягушек до такого бешенства, не будь разговора с Женевьевой? Не то чтобы Женевьева открыла мне глаза на нашу человеческую подлость по отношению к животным, но она, и я признаю это, растормошила меня, заставила встряхнуться и забыть про малодушие. Не есть ли я лишь то, что из меня делают женщины? К счас-

1. Юмористический еженедельник, основанный Каванна в 1970 г., в котором он часто печатается.

тью, я привлекаю только порядочных женщин. Или мне просто везет?

Уж не думаешь ли ты, что они не понимают, какое впечатление на нас производят? Какое впечатление производят они на меня?.. У них тоже есть приемник, и очень чувствительный, уж поверь! Их приемник скорее похож на радар или, продолжая звериную тему, на пуделя, который ловит волну призыва самца и передает ее хозяйке. Эффект бумеранга. Даже если ей это ни к чему, все равно всегда приятно услышать одобрительный свист за спиной.

Наклонившись над своими бумагами, я потихоньку бросаю взгляд в ее направлении. Так как она как раз делает то же самое, оба луча пересекаются на полдороге, и покров тайны тут же исчезает. Ну и видик же у нас. Она улыбается. Я улыбаюсь. Она смеется. Я смеюсь. Кто заговорит первым? Наконец я отваживаюсь:

— Я не всегда такой, поверьте. Они действительно вывели меня из себя... Я помешал вам работать, прошу прощения.

— Ничего. Вы очень хорошо сделали. Они немножко играли. Они не такие уж циничные. Я их хорошо знаю. Они делают вид, что крутые, это у них возраст такой.

— Но ведь лягушек они все-таки разделали! И раз их приучают к жестокости, они станут жестокими.

— Лягушек обезболивают.

— В принципе... Все же это недостаточно веский довод. Они действительно не могут ограничиться картинками в учебниках? Диапозитивами, фильмами, которые им показывают?

— Мы стараемся приобщить их к искусству наблюдения, научить методике экспериментирования,..

— Совершенно согласен. Но не за счет живых страдающих существ. Когда вы им объявляете, что окружность Земли составляет сорок тысяч километров, вы что, даете им складной метр, чтобы они пошли и проверили?

Она смеется. Это мило с ее стороны. Она говорит:

— Я пошутила. На самом деле я совершенно с вами согласна. Я сама выступаю против охоты, корриды, петушиных боев...

Она кладет свой красный карандаш, закуривает сигарету, опираясь на широко расставленные локти, кладет подбородок на скрещенные руки. Это означает, что она выделяет себе для отдыха небольшой перерыв, как землекоп, опирающийся на черенок лопаты. Это как раз, говорю я себе, подходящий момент подобраться поближе, не можем же мы разговаривать чуть ли не через весь зал, то есть никакой задней мысли, я невинен как ягненок... Подбираю свои немногочисленные манатки и усаживаюсь за ее стол. Я не нахожу ничего лучше, как сказать:

— Может, хотите чего-нибудь выпить? Шоколаду?

— Спасибо. Один шоколад согревает. Два уже приторно.

— Может, перье?

— Вы непременно хотите заставить меня выпить что-нибудь? Можно разговаривать без соблюдения этого ритуала. Здесь не заставляют обязательно что-то заказывать. Но может, вы хотите пить?

Если я скажу нет, то буду выглядеть скупердяем, довольным подвер-

нувшимся случаем сэкономить. "Тебе не хватает естественности, — говорила Агата. — Будь самим собой, ты не на сцене, ты ничего не должен доказывать". Она была права, это так. В результате я говорю:

— Да, я хочу пить. Возьму еще пива. А вы?

— Ничего, спасибо.

Значит, я буду пить пиво, которого мне не хочется, а она ничего. Я опять в дураках. Ох уж эти женщины. Они всегда берут верх.

Она ждет. Я уселся за ее стол, навязал свое общество, значит, мне есть что ей сказать, есть тема, требующая своего развития. Она ждет. А я стараюсь вспомнить, о чем же мы говорили. Однако я смотрю на нее, и это настолько меня занимает, что для другого просто не остается места. Я смотрю на нее. У нее маленькое серьезное лицо, я бы сказал, худенькое, прячущееся за стеклами огромных очков. Почему она их не снимет, эти свои очки, ведь она же сейчас не читает? Очки для чтения, она, должно быть, сейчас меня почти не видит. Может, она их не снимает, чтобы лицо у нее оставалось маленьким и худеньким? Но тогда получается, что она делает это ради меня? Для того чтобы предстать передо мной в своем наилучшем виде, скажем, самом эффектном с точки зрения приманки? В общем, она старается показать себя в выгодном свете? Ну тогда живем!

Ладно. Надо говорить. Сказать что-нибудь. Уф... Начало просто блестящее:

— Вы преподаватель?

Она смеется, показывает на стопки листочков:

— Как вы догадались?

Смейся. Мне плевать. Смейся. Веселись за мой счет. Я пью твой смех. Вдыхаю носом твой дым. Стараюсь не потерять ни капли твоего драгоценного дыхания... Словно испугавшись того, что обидела меня, она добавляет, а ее смех сменяется улыбкой, почти извиняющейся:

— Ну да! Я преподаватель. Преподаватель французской литературы.

Она не спрашивает: "А вы?", но ведь это следующая реплика в тексте, зачем же ее произносить? Достаточно маленькой паузы с вопросительным оттенком. Мой черед. Я посылаю свою реплику:

— А я пишу пьесы. Вернее, пьесу.

Так как она ничего не говорит, а только слегка поднимает брови, я уточняю:

— Театральную пьесу.

Она кивает головой. Затем глубоко вдыхает, втягивает щеки, горящий конец одним махом пожирает добрую треть сигареты, она наполняет легкие дымом, долго, сладострастно, с закрытыми глазами, наконец выдыхает через нос, через губы, полуоткрытые в форме совершенной окружности... Еще одна умеющая пользоваться приятными вещами! А я до краев заполняю свою душу каждым из ее жестов. Она говорит:

— Конечно, это меня не касается, и вы не обязаны отвечать, но я предполагаю, что вы пока не обладаете правами на еще не написанную пьесу. Или вы получили за нее аванс? Тогда вы, вероятно, уже известны как автор?

Она не вкладывает в свои слова ни малейшей иронии, но я способен сам ее туда вложить. Само собой разумеется, что "известный автор"

имел бы свою штаб-квартиру в кафе "Дё маго" или где-нибудь в тех краях, и на нем было бы что-нибудь более приятное на вид, чем эта грязная парка, лопающаяся по швам... Делать нечего, придется снабдить биографию небольшими жизненными подробностями. Так всегда происходит с признаниями: стоит потянуть за свободный конец, как распускается все вязание. Ну да ладно, я сообщаю:

— Я приканчиваю кое-какие гонорары за выступления...

Не стоит упоминать, что речь шла о спасательных кругах Агаты...

— Вы еще и актер?

— Да, в качестве дополнения. По случаю. Гонорары за маленькие роли, которые достаются благодаря приятелям, дублирование на телевидении... Я считал себя актером. Оказалось, что это не мое.

— Ваше, это писательство?

— Да. В общем, я так думаю. Я в это верю.

Она делает глубокую затяжку, раздавливает окурок в пепельнице, сдвигает свои иллюминаторы на лоб. Скорее, ее глаза. Я вижу взгляд. Я ожидал увидеть цвет, а вижу взгляд. Такой взгляд, что забываю о цвете. И что такое цвет? Самое главное, это взгляд. Что говорит взгляд. А в ее взгляде столько всего! Боже мой, она преподает? Но все ее ученики должны быть влюблены в нее до безумия! Если только она когда-нибудь снимает свои абажуры. Обычно увлекаются ногами училки. Я, во всяком случае, таким был. Даже будучи некрасивыми, они все равно кажутся божественными, ноги училки. Смотришь, как они уходят вверх, к опьяняющим тайнам... Крайне возбуждающий контраст: и у училки есть ляжки, груди, бедра, попа, щель и волосы, полно мохнатых волос и запах... Невообразимо. Кощунство. И тем более возбуждает. Более, чем проститутка во всех своих доспехах, с прелестями наружу.

У такого взгляда могут быть только соответствующие ноги. Как описать его?.. Пристальный? Не правда ли, дурацкое слово? Я не могу найти лучшего. Скажем, пристальный. Глубокий? Скажем, глубокий. Заранее понимающий все. А также немного грустный. Чуть-чуть. Тень... Ах, эти глаза, которые много повидали! Я благословляю того подлеца, который заставил страдать эти глаза, и в конце концов именно мне дано их утешить... Ну вот, я возбудился.

Тогда я говорю ей то, чего не сказал бы никому:

— Если хотите, я вам прочту начало.

Она бросает взгляд на свои часы-браслет, смотрит на пачку еще не проверенных работ. Я тороплюсь дать задний ход:

— Извините меня. Я злоупотребляю... Вы торопитесь. В другой раз...

Она улыбается губами и глазами:

— Все нормально. У меня есть еще четверть часа.

— О, спасибо. Вы так великодушны.

Она вытаскивает сигарету из пачки, откидывается на спинку поудобнее, делает глубокую затяжку. Готова слушать. Я готов начать, но передумываю:

— Я не очень хороший актер, я вам уже говорил. Я убью текст. Может, прочтете сами?

Она протягивает руку, берет пачку листов, толчком указательного

пальца возвращает очки на нос. Читает. Я слежу за выражением ее лица. Ее губы чуть шевелятся, она читает приглушенным голосом, она не удовлетворяется тем, чтобы только пробежать глазами, она произносит реплики, изображает их мимикой, проигрывает про себя. Именно так надо читать театральные пьесы. По тончайшим, но красноречивым нюансам мимики я знаю, когда она меняет роль. Я вижу, как мои персонажи живут на ее лице.

Она откладывает листки. Снова поднимает очки. Серьезно смотрит на меня. Пауза. Я спрашиваю:

— Ну как?

— Честно?

— Увы! Это уже ответ.

— Ну если вам этого достаточно...

— Нет, нет! Скажите. Я хочу знать. Это никуда не годится?

— Я этого не говорю.

Она ищет надлежащие слова. Жадно делает затяжку и наконец говорит:

— Я привыкла говорить с учениками. Мне не приходится их щадить, скорее наоборот. Я думаю, что они меня считают врединой. Так что прошу прощения, если то, что я вам собираюсь сказать, не будет отличаться мягкостью.

— Вам не за что извиняться. Я ожидаю худшего.

— Вы не правы. Начнем. Сначала критические замечания.

— А потом будут комплименты?

— Ваша история не выдерживает критики.

— Да?

— Она неправдоподобна. Вы сразу же переходите к чрезвычайной ситуации, не подготовив к этому зрителя.

— Это как раз то, чего я добивался.

— Может быть. Но вам этот эффект не удался. И потом, вашим персонажам не хватает выпуклости... Как бы это сказать? Жизни. Это ходячие манекены. Мы ничего о них не знаем, и вы не побуждаете нас к тому, чтобы узнать о них что-то.

Я опускаю голову. Она права, я хорошо это понимаю. Я стараюсь объяснить:

— Ладно, я неправильно начал... Я вам объясню. Я хотел показать типа, который живет женщинами и для женщин, если вам понятно. Не Дон Жуан, не Казанова, нет, вовсе нет. Что-то вроде сексуально озабоченного, но не только. Конечно, не без секса, без него любви нет, но секс без любви, гм... Мой парень скорее озабочен любовью. Он любит женщину как таковую. Он любит ее во всех женщинах, даже в тех, кого он никогда не видел, он любит ее очень сильно, и для него женщина — это все: душа, ум, сердце, секс. Все связано, понимаете, или, точнее, составляет одно целое. Например, он читает что-то о мадам Кюри, и он тем больше будет восхищаться огромным умом и упорством мадам Кюри, чем больше он будет уверен в совершенстве ее благоухающих женских прелестей...

Я вдруг осознаю то, что сказал. И бормочу:

— Прошу прощения. Я позволил себе увлечься.

Она улыбается, спрятавшись за своими иллюминаторами. Может, ее губы дрожат. Может быть. Она говорит немного охрипшим голосом:

— Вы пытаетесь вывести на сцену персонаж, который вам очень близок, не правда ли? Уж не изображаете ли вы самого себя?

— Ну...

— В таком случае вы рискуете провалиться. Из-за того, что вы пишете о себе самом, вам будет очень трудно выстроить это сложное сооружение, требующее точности, которое называется театральной пьесой. Не считайте публику своим психоаналитиком.

— Но я не могу писать о другом! Этот сюжет переполняет меня, преследует, я уверен, что множество людей узна́ют здесь себя, потому что они такие же, как я, но не осмеливаются в этом признаться...

— Если они такие же, как вы, они об этом очень даже громко заявляют! И способом, прямо скажем, очень опасным для наивных душ.

Она бросает взгляд на свои часы.

— Мне надо бежать. С критикой покончено. Теперь комплименты. Стиль ваш более чем интересен. Чувство языка, сейчас очень редко встречающееся, а также ясность выражения, стройность фразы, ритм... Короче, красота. Этим нельзя пренебречь. Ладно, мне действительно надо уходить. Продолжим разговор об этом завтра. Может быть, у меня будет кое-что вам предложить.

Этой ночью я был в таком приподнятом настроении, что ничего не сказал Женевьеве, когда огромный пушистый кот — я думаю, ангорский, — ускользнув от ее бдительности, пробрался ко мне и свернулся, прижавшись к моей щеке, мурлыкая, как турбинный двигатель. Я купил вишневый пирог, его легче всего донести, его кладут в плоскую коробку, как пиццу, я не выношу, когда мне приходится тащить пирамиды бумаги с бантиком наверху, которые считается обязательным сооружать вокруг тортов, — хоть сейчас иди поздравляй с именинами тетю Жюли, в общем, вы понимаете.

Вишневый пирог и еще бутылка какого-то игристого вина — для того, чтобы отпраздновать мою радость. Я не сказал Женевьеве, чему рад, а она ничего не спросила, она тоже была рада, наверное из солидарности. И мы съели пирог и выпили вино.

Улегшись на диване, я предался мыслям об училке, я повторил себе три миллиона раз, что мне назначили свидание — а иначе что могло означать это "поговорим об этом завтра"? Если это не свидание, то... и она хотела что-то мне предложить, в общем, ладно, я скоро вновь ее увижу, с ее ужасными очками и этим невероятным взглядом, прячущимся за ними. Я пытался представить себе ее, мне это почти удавалось, но образ сразу же улетучивался, я помнил только о впечатлении, которое она произвела на меня, а оно было очень сильным, как будто сама она была здесь, и я начинал возбуждаться, что не могло долго продолжаться, так как расширение этой пещеристой штуки, которая там, внутри, натягивало кожу и раздвигало края царапин, оставленных когтями проклятого кота, и, естественно, острая боль прекращала эрекцию на корню. Я выкопал старый мрачный детектив, для того чтобы заставить себя думать о другом, и с этим чтивом заснул.

Она здесь. С бьющимся сердцем, я заставил себя обойти квартал кругом, чтобы избежать риска прийти раньше ее. Если бы увидел ее место пустым, я бы не перенес этого. Пустое место приводит меня в ужас: я не могу себе представить, что совсем скоро оно не будет больше пустым, что та, которая должна была бы быть здесь, здесь и окажется, это невозможно, думаю я, нормальным состоянием этого места является пустота, оно будет пустым до скончания времен. Вот как сходит с ума пугливое животное, которое я прячу в глубинах моего существа... Я даже не знал, во сколько она придет. У преподавателей нет времени, они проверяют работы между двумя лекциями, в зависимости от окон в расписании... Вообще-то они делают это в учительской. Почему же она не идет в учительскую? Из-за шоколада? Чтобы согреться? А если сегодня ей не будет холодно и не захочется шоколада?

Я решаю толкнуть дверь забегаловки в то же время, что и вчера, тютелька в тютельку, этот час принес мне удачу, говорю я себе. Она здесь, за своим столом, со своими иллюминаторами, погружена в контрольные работы, вдыхает-выдыхает синий дым. Я усаживаюсь там, где сидел вчера, стараясь не потревожить, она не подняла голову, я чуть заметно приветствовал ее взмахом руки. Эта уж если работает, то работает.

Открываю свой блокнот, снимаю колпачок с ручки, скорее всего, для того, чтобы принять рабочий вид. Честно говоря, то, что она сказала вчера, ошеломило меня. Особенно потому, что она права, и я это хорошо знаю. Я не могу сочинять. Начинаю рисовать неуклюжих человечков. По части рисования у меня тоже нет способностей. Гарсон приносит мне кружку пива. У меня такое впечатление, словно я жду в прихожей у какого-то импресарио получения роли в массовке. Но она здесь, и я смотрю на нее и заполняю душу ее образом. Я не обратил вчера внимания на ее ноги, я смотрел исключительно на верхнюю половину. Может, она носит брюки? Во всяком случае, не сегодня. И я вижу их под столом, ее молочно отсвечивающие в полутьме ноги. Ноги что надо. Эти глаза не могли соврать.

Я рассматриваю ее ноги и, когда поднимаю глаза, вижу, что она смотрит на меня. Она смотрит, как я рассматриваю ее ноги. Я краснею. Она улыбается. Она подняла свои очки наверх и улыбается милой, чуть ироничной улыбкой. Любой женщине нравится, когда разглядывают ее ноги, именно для этого она их и показывает. Даже училки? Еще бы!

Я делаю ей рукой бодрое "хелло!", она отвечает мне и указывает стул напротив себя. Я покорно переползаю со своим пивом. Она кажется немного смущенной. Она опускает голову и говорит мне:

— Вы знаете, меня мучают угрызения совести.

— Угрызения совести?

Я действительно не понимаю, о чем речь.

— Вчера я была с вами резка. Я выплеснула все на вас без церемоний, будто это контрольная работа, от которой ждешь лучшего, а приходится сердито писать внизу четыре из двадцати.

— О... Но право, не стоит! Мучиться угрызениями совести, я хочу сказать. Вы дали мне возможность избежать больших разочарований. Я все перечитал. Вы совершенно правы.

— Ну, я могла бы облечь все это в более подходящую форму... Ладно,

оставим это. Я говорила вам об одной возможности. Я позвонила. Можете ли вы прийти завтра утром к одиннадцати часам по этому адресу?

Она копается в своей сумке, вытаскивает оттуда кусочек бристольского картона, царапает там несколько слов — красным карандашом! — и протягивает мне. Я читаю: "Жан-Пьер Суччивор", а еще адрес в квартале, где размещаются посольства. Я спрашиваю:

— Суччивор... Писатель?

— Да. Это мой друг... Вернее, знакомый. Мне пришлось как-то оказать ему услугу. Он ждет вас.

— И... Что же он хочет от меня?

— Вы все сами узнаете.

У меня, должно быть, обеспокоенный вид. Она кладет свою руку на мою. Ее улыбка становится успокаивающей, а голос — материнским:

— Он хочет вам только хорошего.

Ее рука на моей руке... Хе! Ее рука на моей руке, боже мой! Ее нежная твердая дружеская рука...

Мне надо что-то сказать. Спасибо, например. Я и говорю:

— Спасибо.

— Вы скажете мне спасибо, когда дело пойдет.

Когда дело пойдет... Значит, я ее снова увижу! Даже если дело не пойдет, я приду, чтобы сказать ей об этом, можешь на это рассчитывать, старина! Так или иначе, я все равно ее увижу, тра-ля-ля!

— Завтра в это же время я приду сюда, чтобы сообщить, что и как.

— Завтра среда. Меня здесь не будет.

А об этом я не подумал! Среда... И правда. Должно быть, мое разочарование было слишком явным. Она бросает мне спасательный круг:

— Вы расскажете мне обо всем в четверг.

Значит, она будет здесь в четверг! Мне остается только надеяться, что конец света не наступит в среду вечером.

V

Я выныриваю из метро на станции "Сегюр". Именно здесь он проживает, этот знаменитый писатель, на одной из этих торжественных авеню, широких, как морские проливы, простирающих от горизонта до горизонта свою респектабельность и свои платаны в четыре ряда.

Тесаный камень и кружево кованого железа, широкий холл, украшенный имитацией византийской мозаики, — эта сдержанная роскошь, какую умели создавать в те времена, когда деньги переходили от отца к сыну. Я объявляю о себе в домофон. Лепетание райской птицы приглашает меня подняться. Лифт из сердцевины дуба с резьбой и прожилками, с бархатным гранатовым сиденьем, словно в театре в предвоенные времена, неторопливо поднимает меня. Вот я и на месте. Дверь уже открыта, и райская птица стоит высунувшись на три четверти, удерживая створку двери рукой, хорошенькая, как на рекламном проспекте Багамских островов, с ровно настолько приветливой улыбкой, насколько нужно, почтительная, но ничего лишнего. Класс.

Субретка — я обожаю это слово — идет впереди меня в вестибюль, похожий на все другие, с коврами на полу и развешанными на стенах картинами и украшениями, свидетельствующими о деньгах и хорошем

вкусе и сильно отдающими музейным стилем, — о, Агата! — и открывает передо мной, посторонившись, дверь, в которую я и вхожу.

Я ожидал, что это будет рабочий кабинет, просторный и набитый книгами от пола до потолка, с письменным столом в стиле Людовика XV или ампир, нет, ампир — это излюбленный стиль врачей, из всех богачей именно богатые врачи имеют самый плохой вкус, как это можно увидеть в журнале "Лир". Короче, я вхожу в гимнастический зал. Надо было видеть, как он оснащен. Какой-то тип идет ко мне протянув руку, в спортивном халате, с полотенцем на плечах. Я ожидал увидеть домашний халат из альпаги, шелковый карманный платочек и изящные домашние туфли из дорогой кожи в стиле Саша Гитри у себя дома... Быстренько перестраиваюсь, пожимаю протянутую мне пятерню. В присутствии представителей высшего света меня так и тянет думать на арго.

— Жан-Пьер Суччивор. Как дела?

— Эмманюэль Онегин. Очень хорошо, а у вас?

Он выдал ожидаемую реакцию. Это начитанный тип. Моя фамилия — это почти что тест. Я объясняю:

— Нет, увы. Ничего общего с героем Пушкина. Это русская фамилия, вот и все. Онегиных немало в России и по всему свету. Мой дед эмигрировал. Счастье еще, что мои родители не догадались назвать меня Эженом.

Он приспускает халат, энергично растирает себе полотенцем спину по диагонали, потом грудь, восклицает: "Ах... Хорошо!" — с видом крайнего удовольствия, я говорю себе, что тут наверняка замешано еще и удовлетворение от игры перед робким зрителем своими бицепсами и брюшными мышцами, поддерживаемыми ценой стольких страданий на этих хромированных штуковинах. Он действительно мускулистый, короче, еще мускулистый, но уже намечается неприметное дряблое подрагивание кожи вокруг мускулов, и талия явно начинает терять стройность... Ну и ладно, себе он очень нравится и думает, что приводит всех в экстаз, мне-то на это...

Теперь в комнате запахло потом богача, потом, который методично вытапливают, чтобы избавиться от последствий гусиного паштета и выдержанных вин. Его запах отличается от запаха пота, проливаемого во имя куска хлеба насущного.

Но вот, не прекращая разговора, он освобождается от халата, сбрасывает трусы и направляется к двери, за которой оказывается ванная комната. Работает под американца, этот мужик. Можно подумать, это шестой канал телевидения в час, когда идет фильм. Я предполагаю, что должен млеть от восхищения, и стараюсь изо всех сил не подкачать. Я принимаю вид, соответствующей моей роли, я надеюсь, что убедителен. Тем не менее ему не хватает сигары, я считаю. Я уверен, что знаменитости из Беверли-хиллс даже под душем курят сигару. Быть американцем — это дар.

— Мадам Брантом рассказывала мне про вас интересные вещи. Она страстно уверяет меня, что вы как раз тот человек, что мне нужен. Я абсолютно доверяю ее мнению.

Он делает паузу, может быть, для того, чтобы дать мне время хорошенько проникнуться внушаемой им мыслью о том, что, даже будучи безумно влюбленной в мою персону и рабски млея от моей сексуальной

техники, мадам Брантом все равно — смотри-ка, ее фамилия Брантом! я вдруг обнаруживаю, что не знал ни ее имени, ни фамилии, — что, значит, мадам Брантом никогда не позволит себе рекомендовать ему кого-либо — меня, в данном случае, — кто не являл бы собою истинное чудо, единственно соответствующее его взыскательным замыслам... Что это за замыслы, на самом деле?

Здесь включается душ, его водопад спасает меня от ответной реплики, даже не знаю, какой фальшивой скромностью она бы прозвучала. Эта длительная пауза в диалоге дает мне время для того, чтобы обнаружить в маленькой речи Суччивора намеки, которых, кажется, там полным-полно, например, вот это: Суччивор предполагает, что я способен оказаться счастливым любовником мадам Брантом, что лестно, но неправда или, скорее, я надеюсь, преждевременно. Второе: этот намек предполагает в свою очередь, что мадам Брантом — как раздражает, что не можешь назвать ее по имени! — известна своими сердечными увлечениями. Слезы выступают у меня на глазах. Я предпочитаю придерживаться третьего вывода, а именно того, что Ж.-П. Суччивор произвольно манипулирует лукавыми намеками, совершенно наугад. Пусть только закончит мыть свою задницу, ему приходится кричать, чтобы быть услышанным из-под своей карманной Ниагары, а я не собираюсь срывать себе глотку, чтобы отвечать ему.

Когда внезапно поворот крана резко останавливает ливень, я слышу:

— ... полностью по вашей части. Значит, о'кей?

Первой мыслью застигнутого врасплох дурака является страх выглядеть дураком. Поэтому я с жаром соглашаюсь:

— О'кей, босс.

Я прицепил "босс" в конце, чтобы придать ответу оттенок иронии, спасающей честь, но он, кажется, все принял за чистую монету. И правда, на что же я сейчас ответил "о'кей"? Ладно, увидим, потом всегда найдется способ выпутаться. И действительно:

— Вам еще не приходилось так работать?

— По правде сказать...

— Да, я вижу. Хорошо, прекрасно. Я ищу сейчас свежие таланты. Девственные, если позволите. Еще один частный вопрос...

— Какой?

— Предпочитаете ли вы работать здесь, под этой крышей, в удобном кабинете, где вы будете один, само собой разумеется, имея под рукой все те удобства, которые может предоставить вам мой дом?

— Ну...

— Я знал это! Вы гордый и независимый человек, как все настоящие творцы. Вы не можете изменить вашим милым привычкам. Старый халат Вольтера...

— Не Вольтера.

— Простите?

— Не Вольтера. Дидро. "Сожаления о моем старом халате", это Дидро.

— Ну да, конечно! Вот видите, до какой степени вы мне драгоценны.

Драгоценен, да-а... А пока что я его рассердил. Я всегда слишком поздно понимаю, что не должен был ее открывать, мою большую пасть...

Все же я хотел бы узнать, в какой иностранный легион я записался. Нащупываю почву осторожной ногой:

— А теперь хотелось бы поговорить поконкретнее. Определить основные линии. Разобраться...

— Конечно же! Вы полностью располагаете вашим временем, я знаю. Начнем сразу же, пока я завтракаю. Я никогда ничего не ем перед пробежкой и построением тела.

Я так искренне вытаращился, что он расхохотался, довольный произведенным эффектом.

— Я офранцуживаю все, мой дорогой. Постоянно. Нельзя допустить, чтобы они нас оккупировали со своими "джоггингами" и "бодибилдингами". Надо реагировать. Я реагирую. Ни одного англо-американизма в моих произведениях. Вот ваше первое правило. О'кей?

Правило? Я, кажется, начинаю что-то понимать.

Это настоящий энтузиаст. Златоуст. Он жует, он пьет, он глотает, рукава его купального халата так и взлетают, как крылья ангела, занявшегося вдруг хозяйством. И, главное, чуть не забыл, он без устали говорит:

— Подытожим. Я даю основную идею, промежуточные эпизоды, пикантные анекдоты, чтобы вставить их в текст по ходу: эротика, насилие, трогательные истории, короче, сюжет. А вы придаете всему этому форму. Видите ли, у меня не хватает терпения. Идеи — сколько угодно! У меня их навалом, даже слишком много! Фразы слишком быстро рождаются у меня в голове, они наступают друг другу на пятки, толкаются, мне не удается удержать их на лету. Именно вы будете ловить и приковывать их к бумаге. Вы пишете лучше, чем очень хорошо, нет, нет, не спорьте, это факт, у вас несомненный дар. Я повторяю, что я полностью доверяю суждению нашего общего друга мадам Брантом. Вы молоды, а значит, у вас гибкий ум, вы уловите мой стиль без проблем. Впрочем, у нас такие сходные темпераменты, у вас и у меня... Это будет блестящее сотрудничество, я это чувствую.

Он говорит, жуя свои тосты — пардон: свои поджаренные тартинки — звук отвратительный, как будто мышь грызет стропила. Уткнувшись носом в чашку кофе, я задумчиво киваю головой, как бы в изумлении перед столь огромным везением и одновременно перед трудностями священной задачи, предложенной мне. Не поднимая глаз, я говорю то, чего не следовало бы говорить:

— Понятно. В общем, я ваш негр.

Он делает то, что должен был сделать: принимает страшно шокированный вид.

— Я знал, что это отвратительное слово придет вам на ум. Я надеялся, что вы его не произнесете.

Он делает большой глоток чая с молоком, не торопясь вытирает рот и говорит мне, глядя прямо в глаза, как мужчина мужчине:

— Ладно. Раскроем карты.

Когда тип напротив говорит тебе "раскроем карты", это значит, что надо быть начеку. Я жду продолжения. Оно не заставляет себя ждать:

— Не будем лукавить, не будем играть словами. Конечно, это можно назвать так, как вы только что сказали. Если не веришь в добрые наме-

рения и особенно если не осознаешь ход вещей. Видите ли, я убежденный сторонник разделения труда. Будущее за ним, в литературе, как и во всем прочем. Мы живем на заре двадцать первого века. Все виды человеческой деятельности достигли такой степени сложности, что одному никак не справиться. Стало необходимостью распределение разных этапов работы между разными исполнителями, между, скажем это слово, специалистами, каждый из которых трудится на своем участке под эгидой мастера, созидателя, который представляет собой главную пружину всего и скрепляет общее дело, придает ему стиль, определяет его цель...

— И дарит ему свою подпись.

И опять мне лучше было промолчать, потому что в глубине души я уже знаю, что дам свое согласие. Впрочем, он предвидел мою реплику, должно быть, он слышит такое не в первый раз. Вот и отпор:

— И престиж своего имени! Добрая слава, этого не получить за один день! Моя подпись на последней странице контракта стоит миллионы. Моя фамилия на обложках книг печатается в три раза более жирным шрифтом, чем название. Телевизионные ведущие стелют для меня красную дорожку. Именно ее покупают издатели.

Хорошо. Я дал свой маленький бой чести. Боец складывает оружие. Этот Суччивор хорошо знает, что мое положение не позволит мне отказаться. Я чую, что очаровательная маленькая мадам Брантом не ограничилась похвалами в адрес моего стиля и орфографии. Она наверняка не упустила возможности намекнуть на мое ускоренное падение в пропасть полнейшей нищеты. Мне остается только пасть ниц и облобызать августейшие ноги того, кто собрался наполнить мою кормушку. Что я и делаю:

— А как с оплатой?

Суччивор не из породы торговцев коврами. Он величественно провозглашает:

— Вы будете получать долю с дохода, которое принесет произведение. Это, впрочем, само собой разумеется: разве вы не являетесь соавтором? Будет справедливо, если вы будете получать причитающуюся вам часть.

— Ну... Вы можете назвать какую-нибудь цифру? Приблизительно, конечно.

— Разумеется. Я даю ноль целых шесть десятых процента от моего собственного процента.

— Который сам по себе составляет ...?

— Пятнадцать процентов от продажной цены.

Я не силен в подсчетах в уме. Моя доля в этом водопаде процентов кажется мне тем не менее мизерной, это видно и дураку. Суччивор замечает отсутствие энтузиазма с моей стороны. Он торопится добавить:

— Обычно издатель выдает аванс при подписании контракта, то, что мы называем "задатком". Я его уже получил, так что могу заплатить сразу же.

Так как я молчу, невесть откуда появляется чековая книжка, раскрывается среди крошек на столе, ручка с настоящими чернилами и золотым пером оказывается в руке хозяина, и затем должным образом офор-

мленный чек опускается в мою руку. Я удерживаюсь от того, чтобы посмотреть на сумму, мне это кажется неприличным.

Она здесь, за бруствером своих контрольных работ. Улыбка, очки, ноги, все на месте.

— Ну и как? Дело сделано? Я спрашиваю, хотя уже знаю ответ. Он мне позвонил. Он восхищен, знаете ли. Он так вас превозносит!

Я полагаю, что должен был бы броситься ей в ноги, обвить ее колени руками вне себя от благодарности и вскричать, обливая ее маленькие ступни изобильными слезами: "Спасибо, о, спасибо, моя дорогая, моя добрейшая благодетельница!"

Да, но, с одной стороны, мы не в романе графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной, с другой стороны, моя благодарность сильно остыла из-за изнурительного рабочего заседания у Суччивора, а также из-за умеренности суммы, обозначенной на чеке... Если я брошусь в ноги мадам Брантом — право, я не уйду отсюда, пока не узнаю ее имени, — то только для того, чтобы покрыть их жадными поцелуями снизу доверху и прокричать ей из-под стола, что я ее люблю и что я готов потратить свои дни, свои ночи, свои таланты и свои глаза во имя вящей славы Суччивора, так как именно она послала меня к нему.

Вместо этого я усаживаюсь или, скорее, обрушиваюсь на стул и очень вежливо говорю:

— Здравствуйте, мадам Брантом.

— Называйте меня Элоди, пожалуйста.

— Элоди? Почему Элоди?

— Потому что это мое имя. Оно вам не нравится?

Ну вот. Это случилось само собой... Элоди. Как красиво! Я тороплюсь ответить:

— О нет! Напротив... Чудесное имя...

И как будто желая его затвердить, я говорю:

— Элоди, Элоди, я должен вас поцеловать! Можно?

Она смеется, снимает очки, подставляет щеку. Какой предлог для поцелуев может быть лучше признательности? Я предаюсь этому от души, четыре раза — два справа, два слева — я ласкаю ее своей щекой, я вдыхаю ее запах, как она хорошо пахнет, как хорошо! Нежная кожа манящей впадинки и высокой скулы над ней, точно как я себе представлял. Я, кажется, слишком увлекся, она высвобождается, снова надевает очки, занавес закрывается.

Вот мы опять лицом к лицу. Она изучающе смотрит на меня:

— У вас измученный вид.

— Это довольно тяжело на первых порах.

— Представляю. Но вы не только устали. Тут что-то еще.

— О, это пройдет. Я думаю, мне просто надо привыкнуть.

— Суччивор — обаятельнейший человек. Как, должно быть, восхитительно работать с ним. Видеть в действии это неисчерпаемое воображение, эту чувствительность, эту фантазию, видеть, как рождаются его бесценные находки...

— Да-а. Конечно, на это стоит посмотреть.

— У вас не такой уж убежденный вид.

— Нет-нет. Я немного... сбит с толку, скажем так.

— Сбит с толку? Давайте скажите мне все. Ведь это я устроила вашу встречу. Я чувствую себя ответственной.

Какое-то мгновенье я колеблюсь. Однако, черт побери, если не довериться ей, то кому же тогда? Я беру ее руку, чтобы было легче говорить, — главное, взять ее руку! — и начинаю:

— Элоди...

— Да?

— Элоди, Суччивор просто разбойник.

Она вырывает у меня руку.

— Что?!

— Разбойник. Жулик. Вор. Обманщик. Рабовладелец.

— Вы не думаете, что немного увлеклись?

— Вовсе нет! Рабовладелец. Эксплуататор чужого таланта и труда. Его "сотрудничество" ограничивается весьма приблизительной общей схемой, очень смутной "идеей", едва намеченной, а "сотруднику" остается вся работа, "блистательные находки", ошеломительно неожиданные развязки, трогательные пассажи, поэзия, страсть, диалоги — короче, все, все, абсолютно все! О, у него есть вкус. Чутье на увлекательное, на эффектное. Чувство языка... Но самое большое чутье у него на рецепты успеха. Он просматривает все, корректирует все, но у него самого не рождается ничего. Ничего! А в день надо родить двадцать стандартных страниц, это норма... К тому же я не один, другие рабы пишут другие главы, он склеивает все это вместе, объединяет в кажущемся единстве, наносит последние штрихи...

Она поднимает очки вверх, глаза ее выражают бешенство и возмущение. Я быстро выпаливаю:

— Я уверен, что вы были не в курсе.

— Конечно нет! Как вы могли подумать! Вы меня огорчаете. Он говорил мне, что ему необходим очень одаренный молодой человек, чтобы помочь довести его тексты до совершенства, сделать некоторые улучшения... Он говорил, что он так занят и такой путаник... Одновременно он обязуется обучить того писательскому делу. И так как он предлагал приличную оплату...

— Но только не подумайте, что я сожалею, что я жалуюсь! Вы заставили меня признаться, я признаюсь. Суччивор требует многого, я могу с этим справиться. Он платит мало, но у меня мало потребностей. А потом, я учусь. Это не входит в его планы, но я учусь. За два дня я узнал столько нового, вы и представить себе не можете!

Она молчит. Задумчиво смотрит на меня. В ее глазах гнев уступил место чему-то более мирному. Теперь они скорее печальные, чем возмущенные. Я делаю из этого вывод, что она меньше думает о подлом Суччиворе и больше обо мне, несчастном.

Я посылаю ей улыбку, полную мужества, решительности и веры в будущее, в которую я стараюсь вложить, на оставшееся место, солидную порцию безумного обожания. Это не так легко, но результат стоит того. Я вижу, как в ее взгляде досада сменяется едва заметным чувством вины, затем все это быстро превращается в жалость, затем жалость растворяется в растроганности, которая, по причине того что мы принадлежим

к двум совершенно противоположным, хотя и дополняющим друг друга полам, в конце концов обогащается чувственной ноткой, еще больше разжигающей эмоциональный заряд этого мгновения. Заблестела слеза. Теперь дело за мной.

Я кладу руку на ее руку. На этот раз она не уклоняется. Из-за нее я попал в дерьмо, и я же ее утешаю... Превосходная тактика.

— Элоди, вы хотели мне помочь. Это главное. И этого я не забуду. Никогда. Никто еще не побуждал меня писать. Вы сделали больше, намного больше, чем просто помогли мне. Вы открыли мне мой путь, вы сумели вызвать во мне желание проявить свои скрытые возможности, о которых я сам не знал и которые вы обнаружили с первого же взгляда. Вы фея, Элоди! Вы моя добрая фея!

Неплохо сказано, думается мне! Я остановился как раз вовремя, чтобы не воскликнуть в порыве: "Само небо послало вас мне!" Страсть невольно выражается языком романов прошлого столетия... Да, я становлюсь циничным, но мне не удается обмануть самого себя. Я абсолютно искренен. Я так хотел бы, чтобы она это знала!

Уже две недели... Никогда бы не подумал, что смогу продержаться так долго. И потом, я стал более организованным. Я открыл, что люблю работать. Только бы моя работа "где-то, в чем-то", как говорят ученики Элоди, интересовала меня — я вижу некоторых из них, всегда одних и тех же, когда они приходят в кафе спросить у нее совета... или подлизаться. Я раскладываю вокруг себя кучи того, что Суччивор называет своими "записями", которые в действительности являются предложениями, сделанными мной, потом перепредложенными им якобы в порыве внезапного вдохновения, молнией озарившего его неисчерпаемый гений. Мне даже пришлось придвинуть соседний столик.

Я люблю писать, ловить точное выражение, играть с синтаксисом до пределов возможного и даже за его пределами, совмещать тривиальность и изыск, заставлять персонажей говорить, играть роль бога, решающего их судьбу... И потом, отдаться ритму. Писать — это музыка. Писать — это волшебная игра. Я забываю, что выгоду и славу получит другой, в душе мне на это глубоко наплевать. Я отрезан от действительности, погружен в воображаемый мир. Но все же я ни на секунду не забываю, что скоро она будет сидеть здесь, напротив меня, и когда она наконец приходит, это столько счастья, что я ничего больше и не желал бы... Да, но только мое счастье включает надежду на еще большее счастье — заключить Элоди в объятья, Элоди покорную, Элоди, охваченную желанием...

Я прихожу домой лишь спать. Женевьева, как было договорено, занимает со своими котами маленькую комнату. По некоторым признакам я догадываюсь, что она потихоньку разрешает им пользоваться в мое отсутствие другой комнатой — моей, но у меня нет претензий, когда я прихожу, все чисто, во всяком случае, намного чище, чем было после того, как... Ох, Агата!

Я подготовился к мощной кошачьей вони, вони кошачьей мочи, кошачьего дерьма, но нет. Ничего. Пахнет скорее приятно. Я предпо-

лагаю, что она проветривает, чтобы избавиться от пыли, в то время как я не открывал окон с тех времен, как... Да, уф.

За исключением священных часов кормления кошек и обработки их бачков с песком, Женевьева живет вне времени. Когда она вкалывает, как она выражается, она может оставаться прикованной к бумаге подряд три дня и три ночи, зато потом она отсыпается сутки, вставая на пронзительный звон будильника с опухшими глазами, взъерошенной шевелюрой только для того, чтобы заняться своими маленькими обжорами, и затем снова нырнуть в сон.

Когда я возвращаюсь вечером, я всегда нахожу в микроволновке что-нибудь, поджидающее меня: большой кусок пиццы, чашку с рисом по-кантонски с кусочком мяса, сосиску с лапшой, яблоко, два йогурта... Сюрприз. Если я вижу свет под дверью, я кричу ей: "Спасибо, Женевьева!" Она бурчит "гррр". Если она спит, я пробираюсь в темноте между кошками, говорю "шют" Саша, который готовится загавкать, отодвигаю двух или трех котов, свернувшихся почти на ее щеках, и чмокаю ее звонким семейным поцелуем. Она бурчит "гррр" и вытирает щеку. Надо будет на днях купить ей цветов.

Не знаю, какой знаменитый мыслитель сказал, что человек — это подлец. Как же он был прав, этот тип!

Судите сами. Я безумно влюблен в Элоди. Я мечтаю о ней, я плачу, я дрожу, я внезапно просыпаюсь по ночам как от толчка, я мысленно ее раздеваю, воссоздаю ее голос, представляю ее прикосновение, запах, дело доходит до наваждения. Ничто не помешает мне послать все к чертям, если понадобится, только бы обладать ею. У меня хватит терпения, я способен на любую хитрость, на любое насилие. Я погублю чужие жизни, я буду сеять позор и отчаяние... Я получу ее!

И при всем том присутствие Женевьевы по другую сторону двери вызывает во мне не менее дикие порывы, наполняет мою голову не менее живыми картинами. Которые не прогоняют первых, напротив, все это братски сосуществует и взаимно усиливается. Воспоминание о тяжелом и полном теле Женевьевы, о ее руках фермерши, о ее белом обширном животе, о ее мясистом лоне, жадном, открытом, сочном... О бесконечной доброте, исходящей от всего этого... Знать, что она здесь, так близко, стоит только лечь рядом с ней и взять за руку... Она отрицательно качнет головой, а потом растает и раскроет объятия, и я брошусь на ее груди богини-матери, и мы перемажемся нашими соками, и нам будет очень сладко.

И после всего этого, скажете, я не подлец?

Не говоря уж об улице, не говоря о метро... Нет, не маленькие высокомерные неряхи в джинсах, врезающихся в попу, с глазами гиены, уставленными в пустоту над жующей жвачку челюстью... Но еще молодые мамаши, не утерявшие живости, такие волнующие, с морщинками от улыбки в уголках рта, с грудью, уже нуждающейся в поддержке, но с еще бодрыми ягодицами и резвыми ногами, потому что все это движется, да, мадам, все это шагает, спешит, бежит. И все это ради какого-нибудь красномордого типа, который трахает их на радостях, когда выигрывает на бегах, о да, моя бедная дамочка, каким можно быть глупым в молодости, я сам это знаю!

И все остальные, все остальные...

Весь мир — лавочка кондитера, а я, и ты, и они, все мы — жалкие бедняки, прилепившиеся к витрине с другой стороны стекла и исходящие слюной при виде пирожных, которые нам не достанутся. Пять миллиардов человек на этой подлой планете, из них два с половиной миллиарда женщин...

Два с половиной миллиарда женщин! Два с половиной миллиарда яблочных пирогов, ромовых баб, слоеных пирожных, эклеров... И наши несчастные физиономии бедняков за стеклом витрины! Наши несчастные рожи хороших парнишек, которые и рады бы не быть подлецами, но существуют они, все эти существа с щелью между ногами, богини, лукавые, нежные, ласковые, сказочные... Попробуй-ка устоять!

Всех, всех, я жажду всех их любить. Я не говорю "трахнуть их", а именно любить. Узнать их до самых потаенных глубин души, войти во все их привычки, разделять их маленькие мании, радоваться их приятному нраву или страдать от их плохого характера. Все эти женщины, эти два миллиарда и более женщин для меня — одна женщина. ЖЕНЩИНА, которая меняет тело, лицо, даже душу, как меняют платье, чулки, прическу... Мои "истории" с женщинами никогда не были простым делом похоти. Каждый раз я люблю, люблю навсегда. Этого-то Агата, которая все прекрасно понимала, как раз и не смогла вынести.

Когда я говорю "за стеклом"... Но нет! Намного хуже! Мы погружены во все это. Они проходят у нас под рукой, касаются нас, стреляют в нас глазами, покачивают задом везде: на работе, в ресторане, за окошечком, в больнице, — ах, медсестрички, без ничего под белым халатом! — в метро, в самолете, — ах, стюардессы! — по телику... Попробуй подумай о чем-либо другом! А тот, кто утверждает обратное, просто великий лицемер. Это танталовы муки, это ад.

И это рай. Мечты, расцветающие благодаря им. Атмосфера вокруг. Ощущение, что "все возможно", даже если это неправда! Непрерывная готовность к эрекции, которая делает из нас султанов в гареме, огромном как мир! Есть фрустрация, но также есть и экстаз, который торжествует победу! Я уверен, что каждая знает, что мы раздеваем ее мысленно, и это волнует их в соответствующем месте в виде эха на нашу эмоцию. Вагон метро в час пик — какой превосходный концентрат перекрестных желаний!

Но в таком случае, спрашиваю я себя, почему именно Элоди? Всего лишь одна из двух (с половиной!) миллиардов. Почему? Поди знай... Она оказалась здесь. Как раз одна из двух с чем-то миллиардов оказалась здесь. Я ее заметил, я замечаю их всех. То, чем обладала она, у другой было бы тоже, но по-другому. Но дело в том, что у Элоди оно именно такое, и на этом я построил свою химеру. Конечно, тут сыграл свою роль полумрак, скулы под огромными очками, — я без ума от интеллектуалок в очках! — ноги, смутная белизна которых намекала на прекрасные очертания, которые я продолжил в своем воображении и завершил стройным силуэтом, снабженным всем необходимым... Конечно, чем меньше видишь, тем больше представляешь... Я дал волю воображению, подобно ученику колледжа, мечтающему о своей преподавательнице, как ее собственные ученики мечтают о ней, я возвысил ее, я построил недоступный миф на основании мечты, но не покоится ли всякая любовь на иллюзии, ставшей наваждением?

Итак, свершилось. Элоди и я, да. Мне не пришлось губить чужие жизни, я не посеял ни позора, ни отчаяния.

Однажды во вторник, когда она уже уходила, я спросил у нее:

— Что вы делаете по средам?

— О, кучу всего! Я посещаю выставки. К вашему сведению, я записалась в Общество друзей Лувра. Хожу в кино, к букинистам, на блошиный рынок. Обожаю рыться в вещах. Я готовлюсь к занятиям. Делаю покупки на неделю. Убираю квартиру... Куча всего.

— Убиваете время, в общем.

— Вовсе нет! Мне нравится то, что я делаю, по одной причине: я делаю только то, что мне нравится. Я ужасно боюсь скуки, когда мне скучно, меня охватывает паника. К счастью, меня многое интересует, даже увлекает. Еще совсем недавно я водила сына гулять в лес, или в поход, или на прогулку верхом. А теперь он вырос. Он занимается спортом со своими друзьями.

— Значит, с прогулками в лес покончено?

— Вовсе нет. Я нуждаюсь в ходьбе, в движении, в чистом воздухе. А потом, я люблю деревья, траву, воду, птиц, все это... Правда, это случается все реже и реже.

— Одной не так интересно.

— Да. Надо себя заставлять оторваться от рутины, преодолеть искушение ничегонеделания...

Разговор угасает. Я не знаю, что еще сказать. Или, скорее, я не знаю, какую еще банальность изречь, чтобы умолчать о том, о чем мне смертельно хочется сказать. При одной мысли отважиться на это у меня начинает колотиться сердце... Она тоже молчит, вполне возможно, она тоже понимает, какой могла бы оказаться следующая реплика, и, может быть, она ее и ждет, эту реплику, и, может быть, черт подери, у нее тоже сердце колотится... Когда молчание становится тягостным, она протягивает мне руку и говорит:

— Ну что ж...

Я прерываю ее:

— Нет!

— Простите?

— Нет, Элоди! Только не "до свидания, всего хорошего, до четверга" и все остальное.

Она смотрит мне прямо в глаза. Она улыбается. Она говорит:

— Тогда что же?

Будь что будет, я выпаливаю:

— Элоди, сводите меня в лес погулять.

Она продолжает смотреть на меня покусывая губу, встряхивает головой, решается:

— Хорошо.

Ее голос дрогнул, о, едва заметно. Губы тоже слегка дрожат...

Что бы ни произошло потом, ни одно из наших мгновений не будет драгоценнее этой минуты. Само напряжение любви сконцентрировано в этом невероятном моменте, когда ты решился, а она согласилась, когда ты узнал наконец, что тебя ждали так же сильно, как ждал ты сам.

Я зашел за ней домой. Она назначила ровно на девять часов и попросила не опаздывать. Для меня это совсем нетрудно, я совсем не спал, это можно было предвидеть. Я решился, решился. И получилось... Короче, все, что себе говорят в таких случаях. Я был так возбужден, что хотел поведать обо всем Женевьеве, но она вернулась очень поздно, уже ночью, и принесла что-то, пронзительно мяукающее в два голоса, а она отвечала с такой любовью, что я не посмел нарушить церемонию усыновления. Два брошенных котенка — это не совпадало с моей темой. Поэтому о своем счастье я рассказывал сам себе.

Старинный дом скромного-стиля-хорошего-вкуса на относительно спокойной улице квартала дез Эколь. Легко вообразить, что в доме именно такого типа живут один над другим, горизонтальными слоями преподаватели, окруженные полками, прогибающимися под грузом книг. Она как раз вышла, когда я переходил улицу. Можно подумать, что она меня подстерегала у окна. Она сразу же объяснила:

— Мой сын уйдет позже, чем я предполагала: за ним должен зайти приятель. Я думаю, вы не стремитесь обязательно с ним познакомиться?

По правде сказать, я не знал, что ответить. Я совершенно забыл, что у нее есть сын. Она мне сказала "будьте здесь", и я здесь. Ее сын? Ах да, конечно. Почему бы и не поздороваться с ним? Ох, пусть сама решает. Наше приключение принимало довольно пикантный нелегальный оборот.

Она не взяла меня под руку и не проявила видимого желания, чтобы я сделал это. Так что я следовал за ней опустив руки. Она сказала:

— Моя машина стоит там.

У нее есть машина? Что ж, неплохо. Я не задумывался, на чем мы поедем, мне смутно представлялся поезд. Она остановилась перед красно-коралловой малышкой, с пятнами ржавчины там и сям. "Фиат", в общем. Она открывает передо мной дверцу, и вот мы едем.

Усевшись за руль, она становится более раскованной. Она улыбается мне. У меня на физиономии улыбка застыла, как приклеенная. Я в раю и не намерен оттуда спускаться.

Вдруг осознаю, что она мне что-то сказала. Поспешно слетаю со своего седьмого неба:

— Прошу прощенья?

— Я спросила у вас, любите ли вы крутые яйца.

Спуститься из рая, чтобы услышать от прекраснейшего из ангелов вопрос о крутых яйцах, — это здорово сбивает с толку. У меня хватает присутствия духа, чтобы пробормотать:

— Крутые яйца? Люблю ли я их? О, я их боготворю.

Она грозит мне пальцем:

— Оставим Богово Богу. От крутых яиц достаточно быть без ума.

— Тогда я без ума от них. Особенно с большим количеством соли.

— Очень кстати. Я сварила кучу крутых яиц для пикника. Это почти единственное блюдо, которое мне удается.

Я парю. Ничто не сможет испортить моего блаженства, его можно только еще больше разжечь. Я с восторгом восклицаю:

— Прекрасно! Мы объедимся крутыми яйцами... Оказывается, вы задумали пикник?

— Если бы я рассчитывала только на вас...

— То есть... Я думал о маленьком трактире в цветах, со скатертями в клеточку, что-то вроде этого...

Лжец! Я совсем ни о чем таком не думал! В голове у меня было совсем другое. Эта Элоди меня зомбирует.

— Будет намного приятнее на мху. Я вас утешу: есть также ветчина, салат, сыр и яблоки.

— Сыр? И десерт? Это слишком!

— Ходьба по лесу возбуждает аппетит, вы увидите сами. Потому что когда я хожу, то я хожу как следует.

А я, когда она идет, бегу. Какая женщина! О том, чтобы перевести разговор на сентиментальные темы, нет и речи, вообще нет речи о каком-либо разговоре, мои дыхательные органы заняты ловлей кислорода.

Но всему свое время, даже передышке для чемпионок по пешей ходьбе. Наш маршрут привел нас к машине и провизии. Укрывшись одним одеялом, так как погода не очень теплая, мы перекусываем, запивая сидром. Движение нарисовало, как сказал бы поэт, розы на ее щеках. Ветерок играет ее челкой. Это очень красиво. Я люблю ее. Я говорю ей это. Это получилось само собой в то время, как она грызла яблоко своими красивыми белыми зубами.

Да, я это сказал. Вот так — гоп! — "Элоди, я вас люблю". А что теперь? Я все испортил, нет сомнений. Я слишком поспешил, настоящее животное. Но зачем же она до такой степени прелестна? Она не говорит ничего. Продолжает грызть яблоко. Только она делает это, прижавшись ко мне, ее щека покоится на моей груди и поди узнай, как это случилось, но моя рука обнимает ее за плечи.

Ну и вот. Огромный лес окружает нас со всех сторон, мы как два птенчика в гнезде, ее грудь в моей ладони пульсирует в такт с ее сердцем и невпопад с моим. Я не смею двинуться. Это может убить очарование мгновенья.

Она держит огрызок яблока за хвостик и раскачивает его. Я не знаю, что выражают ее глаза, я вижу ее сверху, мой горизонт ограничен большим помпоном ее шерстяной шапочки. Она выбрасывает огрызок, откидывает голову, ее глаза передо мной, ее рот тоже.

Она говорит "Нет, не здесь." Я говорю:

— У вас?

— А мой сын?

Мы еще погуляли, но как влюбленные на этот раз. Молча. Задумчиво. И это было чудесно. Она озябла, захотела согреться в машине. Вечер подкрался тихо. Она говорит:

— Давайте пообедаем.

— Маленький трактир со скатертями в клеточку?

Она смеется:

— И со свечами на столах!

Он существует, этот маленький трактир. Он ждал нас в деревне на

опушке леса. Под старину, старая медь и настоящие, даже слишком, стропила под потолком, но как раз это нас и восхищает: крестьянский стиль для босса с секретаршей на выходных. Мы не босс с секретаршей, мы упиваемся вторым классом с утонченным удовольствием развитых существ.

Устраиваемся в уголке. Здесь действительно имеются в наличии скатерть в красно-белую клеточку и свеча в стеклянном подсвечнике в виде тюльпана. Мы едим что-то, мы смотрим друг на друга, смеемся по пустякам, мы думаем о том, что скоро произойдет.

Я мужчина и должен все организовать. Поднимаюсь, чтобы уплатить по счету у стойки. Спрашиваю у хозяйки:

— Мы не собираемся возвращаться в Париж до завтра. У вас найдется комната?

— Конечно. Сегодня у нас спокойно. Обычно здесь останавливаются коммивояжеры. Можно сказать, что дела у них сейчас идут не очень хорошо. На втором этаже, шестой номер. Что дамы-господа будут на завтрак?

Я отвечаю наугад: "Два кофе". Я боялся сообщнического взгляда, сальной улыбки. Но нет. Это женщина не замечает порока. Для нее мы — господин из Парижа и его дама, приехавшие подышать свежим воздухом. Она зовет:

— Жанетта!

Прибегает маленькая круглощекая служанка, которая обслуживала наш столик.

— Отнеси чистые простыни и полотенца в шестой номер.

— Хорошо, мадам.

Я возвращаюсь к Элоди, я кладу ключ перед ней. Это тоже восхитительный миг!

Когда женщина и мужчина оказываются наконец одни и готовы сделать то, к чему они оба стремятся уже давно, когда они достигли наконец этого сладкого и страшного мгновенья, они испытывают такое чувство, как будто это с ними в первый раз. Не только первый раз для них двоих, а первый раз в жизни для каждого из них. Как будто никогда раньше подобного с ними не случалось. Они неловки, они стесняются, они пытаются вести себя естественно, они хотели бы соответствовать возвышенности этого мгновенья, но они натыкаются на банальную проблему снятия одежды — мужчине переступить через брюки, например... Новая любовь — это две свежие девственности.

Дверь закрыта на замок, я обнимаю Элоди.

Я продлеваю мгновенье. Я вдыхаю запах ее волос, меня опьяняет роскошный дух самки, поднимающийся из ее кофточки... И я возбуждаюсь как осел. До боли. Я знаю, что это произойдет, однако мне трудно себе представить, что через несколько секунд эта женщина, которую я ставлю так высоко, забудется, обнаженная и блаженствующая, примет меня в самые свои глубины, смешает свои конечности и свои крики с моими в желании таком же диком, как мое. От этих мыслей я еще больше возбуждаюсь, умственно и везде.

Она не подставляет мне губы. Она покрывает мой рот мелкими влаж-

ными поцелуями, касаясь порой кончиком пугливого языка. Она дрожит. Что-то подсказывает мне, что надо предоставить ей инициативу. Ее руки касаются моих боков, скользят вдоль ремня, встречаются на большой металлической пряжке, расстегивают ее, брюки падают. Я перешагиваю через них одной ногой, потом другой. Должен ли я одновременно снять брюки с нее? Мы можем запутаться руками, это не тот момент, чтобы играть комедию. В это время ее рот отрывается от моих губ, вот она целует мне подбородок, шею, грудь... Но здесь она натыкается на ткань рубашки, вот что я должен был бы сделать: снять рубашку, вместо того чтобы млеть под ее поцелуями, как юнец. Она обходит препятствие, игнорирует бесплодную зону, падает на колени, срывает трусы, покрывает мелкими поцелуями пульсирующую головку и затем вдруг вбирает ее в рот.

О, лакомка! О, как ей это нравится! Но как же она неудачно взялась за дело! Ее мелкие острые зубки впиваются в сверхчувствительную кожицу, она причиняет мне адскую боль, как ей дать понять это? Похоже, она никогда такого не делала, очевидно, ею руководит безумное желание, импульс, потребность погрузиться в само сладострастье... Я больше не в силах терпеть, тем хуже, высвобождаюсь одним рывком... После я уже не контролирую события. Я бросаю ее на кровать, срываю с нее все как попало, вытряхиваю ее из брюк, плевать на церемонии и предварительные ласки, которыми я наслаждался, я раздвигаю ее бедра так, как будто собрался их разорвать, обрушиваюсь на нее и веду себя как свинья, которой наплевать на удовольствие партнерши, тем хуже для тебя, а я больше не могу, и я испускаю громкое мычание зубра, достигшего своей цели. И когда, много времени спустя, успокаиваюсь, я осознаю, что мычание было в два голоса, один из которых звучал пронзительно и еще не умолк, и все продолжается и продолжается, и вынуждает меня галантно длить подобие действий до полного обмякания, временно необратимого.

Мы лежим распластавшись, как лягушки на солнце, восстанавливая дыхание и держась за руки. Я люблю ее еще больше, чем раньше, и хочу ей об этом сказать. И вдруг чувствую, как какое-то мягкое и влажное существо шевелится у моего бедра. Что-то вроде теплого слизняка. Мне приходит ужасная мысль: "Я ее продырявил! Она теряет свои органы..." Меня сковывает страх. Я протягиваю к противной штуке дрожащую руку, хватаю двумя пальцами то, что предположительно является шеей животного, и, несмотря на отвращение, заставляю себя посмотреть. Мне трудно понять что-либо. Меня успокаивает взрыв смеха Элоди. Я гляжу на нее. Она вся покраснела, но, может быть, это вызвано только необузданностью наших забав. Она объясняет:

— Извините меня. Я не знала, как спросить у вас, есть ли у вас то, что необходимо. Это деликатный вопрос. Это... ну, я подумала, что поступлю более романтично, ничего вам не сказав. Я воспользовалась вашим... энтузиазмом, для того чтобы незаметно вас облачить. Вы ничего не заметили, и это очень хорошо.

Наконец я понял. Презерватив! Черт побери... Еще одна вещь, о которой именно я должен был позаботиться. Между нами появляется неловкость.

Она говорит:

— Вы не обиделись на меня?

Она не сказала: "Все же было хорошо?" Я за это ей благодарен. Она добавляет, внезапно встревожившись:

— Только не думайте о том, о чем вы готовы подумать... Я вижу это по вашим глазам.

— Я? О чем же?

На самом деле я об этом готов подумать и даже уже думаю.

— Ну, о том, что женщина, у которой при себе такие вещи, находится в постоянном ожидании приключения. Что она обыкновенная шлюха, как обычно говорят мужчины.

— У меня и мысли такой не было...

— Давайте, давайте, посмейте мне только сказать, что вы не пришли только что к такому выводу, посмейте только!

Она сейчас заплачет, тогда я ее обнимаю, я молчу, и это лучше всего.

— Верите вы мне или нет, но правда в том, что я очень хорошо знала, что произойдет, если я приму ваше предложение о прогулке. И что я не собиралась отказываться. Мне этого хотелось так же, как вам... Как тебе, глупый. Ты думаешь, я не видела какими голодными глазами ты смотрел? Но ты, переполненный самим собой и своими собственными эмоциями, не замечал моих чувств, моих глаз, согласных на все, зовущих... Я стащила эту штуку у сына, перед тем как уехать, вот и все.

Не нахожу ничего лучшего, как сказать:

— Я здоров, вы знаете... хм... ты знаешь.

— Но я тоже! Я совсем недавно делала анализы, когда сдавала кровь по совсем другому поводу. Все равно. Надо к этому привыкнуть, эта болезнь такой ужас!

— Ну, если ты так настаиваешь...

По правде сказать, в результате некоторого опыта я понял, что терпеть не могу заниматься любовью в резинке. Настоящее счастье — это прикосновение кожи к коже, чувствовать, как скользишь в соке выделений... Спускать в резиновый пузырь — это, по моему, просто гадкая мастурбация. Как будто занятие любовью сводится к получению любой ценой заключительного содроганья. На этот раз я ничего не понял, потому что был в пароксизме перевозбужденного состояния. А что же будет, когда мы сможем наслаждаться друг другом не торопясь? Эта перегородка из латекса между нами, не вырастет ли она до толщины автомобильной шины?

Упрямица, она говорит мне:

— У меня еще есть. Целая куча.

Теперь она краснеет всерьез.

Мы задремали ненадолго. Мы проснулись вместе. Или, может быть, она проснулась раньше и смотрела на меня какое-то время, пока я не открыл глаза? Может, она и вовсе не спала? Я на нее тоже смотрел в свое удовольствие. Наконец-то. Она опиралась на локоть, в первый раз я видел ее без учительской маски, с растрепанными, как у девчонки, волосами, с хрупкими и все же округлыми плечами, маленькими задорными грудями с большими лиловыми сосками... Чуть уловимое смущение в улыбке,

бесконечная нежность во взгляде. От нее очень приятно пахло. Ее рука легла на мой живот, а потом спустилась ниже.

Мы начали снова, стараясь сдерживать эту опустошающую страсть и до дна испить сладость каждой секунды, каждого мгновенья... Я сдерживался и не трубил на все четыре стороны, я подозревал, что, должно быть, настала уже поздняя ночь, я только позволил себе в наивысший миг наслаждения испустить сдержанное рычание, но Элоди забылась больше, чем в первый раз, она пронзительно кричала, будто ее резали, и так до бесконечности...

Она спрашивает:

— Который час?

Наши часы валяются на ночном столике в розовом свете ночной лампы. Я протягиваю руку:

— Два десять.

— Боже мой!

Она испуганно смотрит на меня. Я удивлен:

— Что случилось? Разве мы не должны были остаться до утра?

— До утра? Но в девять часов я должна быть в лицее, а до этого мне надо разбудить Бенжамена, накормить его завтраком, уплатить уборщице... И что подумает Бенжамен, если не увидит меня при пробуждении? Уже одно то, что он не видел меня вчера вечером... Но тогда я могла просто уйти куда-нибудь, на собрание например, я оставила ему ужин...

Она уже натянула брюки, она засовывает волосы под свою шапочку с помпоном, живо зашнуровывает кроссовки.

— Чего вы ждете? Скорее! Поторапливайтесь!

Она совсем забыла, что мы уже перешли на ты. Куда она делась, наша нежная близость?

Вот мы и на площадке. Мы спускаемся на два этажа. Касса гостиницы занимает уголок стойки бара в зале ресторана. Только вот дверь, ведущая туда, заперта. Через матовое стекло взгляд натыкается на полную темноту. Кому платить? Ведь мы не собираемся сбежать не заплатив! Тогда я вспоминаю, что хозяйка сказала мне, что они с мужем живут не в гостинице, а в хорошеньком домике на другом конце деревни. Она еще сказала, что мы были единственными клиентами вчера. Я повторяю это все Элоди. Она кусает губы, потом решается:

— Тем хуже. Я позвоню днем, чтобы узнать, сколько мы им должны, включая ужин, и пошлю чек. Нам нужно уезжать.

Кроме выхода через ресторан, в гостинице есть отдельная дверь, выходящая в переулок. Элоди, идущая впереди, оборачивается ко мне с внезапным испугом:

— Заперто на ключ!

— Но это невозможно. Гостиница не может быть заперта на ключ ночью. Предположим, клиенту захотелось пройтись, и, вернувшись, он находит дверь запертой...

Я кручу ручку, трясу дверь. Она действительно заперта. Элоди начинает паниковать:

— Боже мой, боже мой! Что же нам делать?

Я вспоминаю еще кое-что. Провожая нас до номера, служанка по-

казала мне дверь на первом этаже и сказала: "Моя спальня здесь. Если вам что-нибудь понадобится, вы только постучите. В номерах нет телефона".

Элоди сразу же подбежала к двери и начала стучать в нее. Она стучит и стучит и зовет:

— Мадемуазель! Мадемуазель!

Я зову в свою очередь:

— Жанетта! Жанетта!

Я только что вспомнил. Жанетта, так ее зовут.

Жанетта не отвечает. Ночует ли она дома, плутовка? Тут я слышу за дверью шум, как будто что-то тяжелое тащат по полу и оно, бум, натыкается на дверь. Что это означает? Она строит баррикаду?

— Жанетта! — кричит Элоди, барабаня изо всех сил.

— Жанетта! — кричу я, стуча ногой в дверь.

— Оставьте меня в покое, или я буду звать на помощь через окно, — лепечет с другой стороны двери испуганный голосок.

Это меня сразу же успокаивает. Я зажимаю рот Элоди ладонью. Я вспомнил о другой детали. Я шепчу ей:

— Перестаньте. Я не знаю, что с ней, но девчушка сошла с ума от страха. Пошли, я кое-что придумал.

Это то, что надо. Над неприступной дверью имеется приоткрытая форточка. Она как раз достаточно большая для того, чтобы в нее могло проскользнуть, оставив несколько лоскутков одежды и, может быть, кожи, не очень полное человеческое существо. Я тяну шнур, форточка широко открывается. Но надо еще вскарабкаться вверх.

Я бросаю взгляд вокруг себя. Кресло в псевдокрестьянском стиле, обитое тканью в мелкий цветочек, красуется возле кадки с комнатным растением. Я притаскиваю его под форточку, карабкаюсь на него, пружины стонут, я опираюсь спиной о дверь и скрещиваю руки перед животом в классической позиции подсадки. Элоди не колеблется. Живо взобравшись на мои руки, она достает пальцами до края проема. Я толкаю, толкаю, наконец ее голова оказывается в проеме. Она пытается лечь животом на стену, извернуться, чтобы не спикировать головой о землю, за что-то цепляется, повисает на руках, приземляется. Я слышу ее шепот:

— Все нормально. Теперь вы.

Да, но кто же меня самого подсадит? Кресла недостаточно. Я ищу, что бы еще подставить. Элоди в нетерпении:

— Что вы там мешкаете? Поторопитесь же!

Ах, женщины, женщины!

Наконец я нахожу что-то вроде хрупкой подставки, откуда свешивается зелень ползучего растения, похожего на плакучую иву. Ставлю горшок на землю, висячие ветки расстилаются на полу кругом, как вялые щупальца зеленого спрута. Водружаю ненадежное подспорье на кресло с очень слабыми пружинами, это ужасно шаткое сооружение, у меня все шансы сломать шею. Пытаюсь схватиться за шнур форточки, но эта дурацкая веревка лопается у меня в руке, форточка захлопывается с сухим стуком.

— Ну что вы там делаете? — нервничает Элоди.

С трудом сдерживаюсь, чтобы не ответить грубо и не бросить досадную тень на наше райское счастье. Спрыгиваю наконец на землю, не без того чтобы не разорвать кое-что из одежды, потом посмотрю что. Элоди берет меня за руку:

— Вы не ушиблись?

То-то же! Мое сердце смягчается. Но все-таки мне больше нравилось, когда мы говорили друг другу "ты". Она добавляет:

— Бежим!

Как будто мне надо это говорить!

Мы бежим. Недалеко. Пять метров. До ворот из кованого железа, очень красивых. Но запертых на ключ. И, черт побери, все придется проделать заново!

На улице через художественные кованые завитки я вижу маленькую красную машину, совсем печальную в лунном свете. Хорошо, раз надо, то...

Я изучаю обстановку. В конце концов все не так уж и сложно. После рискованной акробатики перелезания через форточку взобраться по узорам кованого железа — сущая ерунда. Все эти стильные завитки можно использовать как ступеньки. Только вот заостренные пики наверху составляют проблему. Я перелезаю первым, оставляя лоскут от брюк, служа таким образом, моей возлюбленной наглядным примером того, чего не следует делать.

Наконец, уф, мы в маленьком "фиате" — это "фиат"? — в изоляции от злого мира. Элоди плачет и смеется, смеется и плачет — это реакция, потом падает мне на плечо. Значит, я существую? Я целую ее волосы, я говорю ей: "Это будет нашим воспоминанием!" Она смеется: "Ты дурачок!" Смотри-ка, мы опять на ты?

И мы едем и снова возвращаемся в Город Света и расходимся по домам.

VI

Только на другой день вечером я узнаю разгадку. Элоди не оказалось за ее столиком в привычный час. Она приходит намного позже, в тот момент, когда я уже начал собирать свои бумаги перед уходом. Она рассказывает мне забавную историю.

— Кажется, я кричала очень громко. Я громко кричала?

— Как резаная.

Она краснеет, ее глаза загораются. Она кладет руку на мою, это единственный нежный жест, который она может позволить себе здесь.

— Малышка подумала что-то ужасное. А точнее, что ты мне перерезал горло. Что ты меня убивал, мучил, что ты садист, сумасшедший преступник, представляешь? Ужас! Она еще ребенок. Совсем одна в доме ночью. И когда мы начали стучать в ее дверь, она впала в безумную панику. Забаррикадировалась и действительно была готова звать на помощь через окно, если бы мы продолжали стучать... Когда она меня увидела сегодня, я думала, ей станет плохо. Она кинулась прятаться за стойку к хозяйке. Можешь себе представить, с каким видом та меня встретила. Я все объяснила, отбросив всякий стыд. Мне было очень неудобно, можешь мне поверить... Добрая женщина ограничилась тем, что молча подала мне счет. Я расплатилась, оставила солидные чаевые для малыш-

ки. И еще подарила ей большую коробку шоколадных конфет, которую специально захватила с собой. Она бросилась мне на шею и призналась, что если бы в ее комнате был телефон, то она вызвала бы полицию.

— Уф! Все хорошо, что не кончается в полицейском участке.

— Но зато какое приключение!

Право, она готова начать все сначала!

Женевьева уходит. Она нашла то, что невозможно найти: домик с садом. Встретила на одном из собраний друзей животных, борцов против корриды, охоты и вивисекции, очень старую даму, имеющую в близком пригороде крошечный домик из песчаника с крыльцом, навесом, мощеным двором, садом позади и тремя вишнями в саду. Дама собирает там брошенных кошек и собак, лечит их и кормит, тратя на это всю свою пенсию. Двадцать пять кошек и восемь собак резвятся в этом миниатюрном раю, но население его не перестает расти, постоянно пополняемое брошенными котятами и щенками, такими милыми, когда их покупали шестью месяцами ранее в подарок ребенку на Рождество, и ставшими, противные животные, просто помехой, когда пришла пора уезжать на летний отдых.

Для ухода за ними недостаточно самоотверженности и преданности. Еще нужны силы и здоровье. У Женевьевы есть все это вдобавок к неиссякаемой любви ко всему живому. Таким вот образом она, Саша и коты оказались в этом домике. Он находится почти в Париже, она рассчитывает купить подержанный мопед для поездок на работу, с корзинкой для Саша, закрепленной на багажнике.

Хорошо, а как же я? У меня больше не будет Женевьевы по другую сторону двери? У меня больше не будет этого огромного желания обладать Женевьевой, и искушения, и победы над искушением? Я не буду больше кусать кулак, думая о больших грудях Женевьевы, распластавшихся в сонном забытьи тут, совсем рядом, совсем близко от рук, совсем близко от губ, — она спит на спине? Я больше не буду засыпать, убаюканный мощным мурлыканьем двух кошек, прижавшихся к моей щеке?.. Внезапно я чувствую себя совсем несчастным. Брошенным. Никогда бы не подумал.

Женевьева объявляет мне об этом вовсе не так уж радостно, как должна была бы. Она сама чувствует, что бросает меня. Женевьева чувствует все, видит все, понимает все. Она знает, какое место заняла если не в моей жизни, то в моих привычках. Она знает, что причиняет мне горе, может быть, и не такое уж большое, но все же горе, и она совершенно удручена этим.

И затем приходит день, когда она уезжает, и я смотрю, как грузовичок бакалейщика-кабила увозит Женевьеву, сидящую сзади меж мяукающих корзинок, с Саша на коленях. Ну и вот, все кончено.

У меня больше нет повода не работать дома. Кошек больше нет. Прежде чем уехать, Женевьева произвела генеральную уборку. Она даже оставила мне еды, по крайней мере дня на три.

Я просил ее оставить мне одного кота, Эрнеста, того, что любил спать со мной. Он тоже пострадавший, Эрнест, у него больше не будет

моей щеки. И может быть, еще и Софи, которая последнее время делила мою подушку с Эрнестом. Женевьева ничего не хотела знать. Отдать своих кошек? Никогда! Достаточно обратиться в приют SPA, там их дюжинами спасают от крематория, они с удовольствием отдадут мне одну или двух... Действительно, нужно подумать. И потом, сказала Женевьева, так как ты всегда паришь в облаках, то, по крайней мере через раз, будешь забывать их кормить. Но берегись, время от времени я буду заскакивать к тебе без предупреждения, и, если кошки окажутся неухоженными, клянусь, тебе не поздоровится!... Ладно, хорошо. Я подумаю над этим.

Я переношу подлого Суччивора, его претензии и капризы намного легче, чем можно было бы ожидать после наших первых контактов. Как только улеглось возмущение от первой встречи, я сказал себе, что, уж коли ты согласился на такой род деятельности, должен подавить свое отвращение, без лишних церемоний натянуть ливрею негра и заткнуться.

Я был очень удивлен страстью, с которой отдавался этой работе. И потом, мне совсем не приходится пресмыкаться. Мне все большее удовольствие доставляет сам процесс писания. Я забываю, что это будет подписано другим, увлекаюсь, радостно изобретаю ситуации, развязываю кучу узлов, безумно развлекаюсь. Конечно, я обязан придерживаться, хотя бы в общих чертах, сюжетной линии, всегда гнетуще плоской. Я плету кружева вокруг этого занудства, поддерживаю интерес посредством параллельных перипетий, пикантных деталей, живых диалогов... Суччивор понял, что лучше всего отпустить вожжи, он ограничивается вычеркиваниями там и сям — хозяйский глаз, не так ли? — даже не подозревая, что вычеркивает именно то, что было мной и предназначено для вычеркивания. Я теперь знаю его как свои пять пальцев, этого великого человека!

Сейчас я мог бы принимать Элоди у себя. Мог бы. Но, с одной стороны, моя врожденная тяга к беспорядку или, лучше сказать, моя ужасная лень во всем, что касается уборки, приводит к тому, что в квартире снова воцаряется милый моему сердцу хаос былых времен; с другой стороны, по-прежнему действует доброе старое правило: всегда у них, никогда у меня... Но я люблю ее так сильно, что боюсь, как бы моя оборона не пала при первой же ее просьбе... И кто бы мог устоять перед мольбой этих глаз?

Мы продолжаем встречаться в задней комнате кафе. С некоторых пор я чувствую, что ей не по себе, ее что-то беспокоит. Страх, что ее ученики что-то заметили? Но мы только трудимся, каждый за своим столиком, и лишь иногда нам случается подсесть поближе, чтобы выпить вместе и немного поболтать, что может быть более естественным для людей, которые день за днем проводят, сидя лицом к лицу?

Время от времени по благословенным средам она грузит меня в маленькую красную машину вместе с корзиной для пикника, и вот мы едем в какой-нибудь лес, который она выбирает сама. Мы целуемся среди папоротников, как школьники, для которых все внове.

Больше нет речи о маленьком уютном трактирчике, Элоди бледнеет при одном упоминании о нем. Мы благоразумно возвращаемся к ночи, которая, впрочем, настает все позже и позже, ведь пришла весна... Но я

хочу тела Элоди, хочу смертельно, и я прекрасно знаю, что она хочет меня, она задыхается, кусает мне губы, вонзает ногти мне в спину, в руки, но защищается, как бешеная кошка, когда я засовываю руки под пояс ее прогулочных брюк.

Препятствия только разжигают взаимное желание, и в конце концов оно торжествует победу. Но тогда уж мы занимаемся любовью, как дикари, которых толкает друг к другу опустошающий инстинкт похоти. Страх быть застигнутыми — я читаю его в глазах Элоди вплоть до того момента, когда они наконец закатываются в упоении экстаза, — этот страх портит все. Она судорожно поправляет свою одежду, с жалкой улыбкой, извиняющейся за испорченное наслаждение. Я пытаюсь ее успокоить. Ничего не действует. Она прижимается ко мне, молчаливая, дрожащая, замерзшая.

Эти оргазмы урывками оставляют после себя ужасное чувство фрустрации. Я столько грезил об этом миге, представляя себе его первые признаки и возрастание, заранее смакуя восхитительные открытия... Ну и вот. Совокупились, в общем. Элоди, зная, что кричит, теперь сдерживается. А значит, думает о том, чтобы сдерживаться, вместо того чтобы расслабиться, телом и душой отдаться черному потоку.

В этот день она объявляет мне:

— Начиная с завтрашнего дня я в отпуске.

— Да?

Отпуск... Что касается меня, то я живу своей, отдельной от других жизнью, я не завишу от периодических отливов и приливов, которые управляют массами отпускников. В сущности... Меня охватывает страх:

— Ты уезжаешь?

— Нет. Сын уезжает на лыжный курорт с отцом. Мне нужно подготовить доклад. Я остаюсь здесь.

— Мой друг доклад.

Она шутливо хлопает меня:

— Над докладом я могу работать где угодно. Все материалы уже готовы.

— Значит, ты остаешься.

— ... из-за тебя, дурак! Ты заставляешь меня это сказать!

Такого я не ожидал! Я просто лопаюсь от счастья! В этот момент мы стоим, вежливо прощаясь. Я хватаю ее, отрываю от земли, звучно чмокаю в обе щеки. Она говорит:

— Ну, ну, тише!

И быстренько смывается.

Я сижу, полностью погрузившись в мечты. Элоди позвонит мне завтра. Нас ожидает столько радостных дней! Элоди только для меня одного с утра до вечера, с вечера и до утра...

Две девушки усаживаются за соседний столик. Старый охотничий инстинкт делает стойку и принюхивается. Я в упор смотрю на них. На женщин надо смотреть в упор, чтобы ничего не упустить. Я в шоке: они как раз занимаются тем, что разглядывают меня в упор. Обе. И прыскают от смеха. По крайней мере, одна из них, брюнетка. Другая, рыженькая, ограничивается улыбкой. На всякий случай в ответ я выдаю нечто

среднее между вопросительной улыбкой и дурацким смехом. Гарсон заслоняет своей усталой фигурой нас друг от друга, затем уходит за фармацевтическими лимонадами, которые они заказали. Они не сменили своего объекта наблюдения и продолжают рассматривать меня все так же спокойно, с таким же нахальным весельем.

Неужто я нужен этим девчушкам? Им где-то около семнадцати-восемнадцати лет. Скорее всего, это ученицы соседнего лицея. Что же им от меня понадобилось? Хохотушка открывает огонь:

— Ну как, приятель, она ничего, училка, а?

Что ответить? Я ожидаю продолжения. Вот оно:

— А мы называем ее Крысельда.

Злость высовывает кончик носа. Готовится какая-то выходка, внимание! Я говорю:

— Да ну? И что дальше?

— У нас такое впечатление, что вы ее называете иначе.

— Пожалуйста, объясните мне, почему вас волнует, как я обращаюсь к этой даме?

Взрыв общего смеха.

— "Эта дама"! Вы, похоже, не всегда так церемонны, дорогой месье?

— Я снова задаю тот же вопрос. Почему это вас так волнует?

— Все, что касается нашей любимой Крысельды, нас волнует. Мы следим за ней. Нам не хотелось бы, чтобы она попала в лапы какого-нибудь бессовестного бабника, который причинил бы ей неприятности. Вот так.

— В чем собственно дело, девочки, тут что-то не так, мне это не очень нравится. Вполне смахивает на шантаж. Я не ошибаюсь?

— Вы читаете слишком много детективов, господин писатель.

— Это вам тоже известно?

— Нетрудно догадаться. Вы мараете тонны бумаги, с задумчивым видом грызете вашу ручку, как во время контрольной, вы гримасничаете, хихикаете сами с собой... Это не симптомы? Разве?

— Я так делаю?

Они смеются, подталкивают друг друга локтями. Брюнетка продолжает нажимать:

— Вы такой забавный! Для меня писатель — это тот, кто сидит за компьютером, ну, такая штука для обработки текстов, если вы понимаете, о чем речь. Я бы никогда не подумала, что еще существуют типы, способные писать книги от руки. И вдобавок в бистро, вроде Сартра и Бовуар! Как это романтично!.. А правда, как вас зовут? Ваш писательский псевдоним, я имею в виду. А ваши книги, где они изданы? Если их можно найти, я их уже читала. А если это так, то вы мой любимый писатель.

Что за маленькая чертовка! Можно подумать, что она знает все. Даже что я всего лишь аноним, слуга, негр. Она, похоже, насмехается надо мной. Но ведь я сам позволяю над собой издеваться. Этим сикушкам. Я взбрыкиваю:

— Ладно. Чего вы добиваетесь?

Они переглядываются. Больше не хихикают. Брюнетка — несомненно, именно за ней слово в этом сговоре — решается:

— Вот. Лизон хочет вам что-то сказать.

Лизон — рыженькая, значит, — молча кивает. Она смотрит мне прямо в глаза своими большими зелеными глазами, — рыжая с зелеными глазами, боже мой! — излучающими воплощенную Невинность.

Молоденькие девушки меня совсем не вдохновляют. Даже взрослая девушка, имеющая уже все, что полагается, в тех местах, где необходимо, для меня не женщина. Она станет однажды таковой, хочу в это верить, но до той поры я избегаю задерживать на ней взгляд и смотрю на нее только мельком, я не приглашаю ее в свои грезы. А потом, они пугают меня. Я их плохо знаю. Они такие развязные, настолько свободно ведут себя... Этот мир принадлежит им. Мир молодых. Мне только тридцать пять, а я чувствую себя в нем лишним. Выброшенным. Все идет слишком быстро. Их самих выбросят через десять лет, но пока они в своей стихии самым естественным и вызывающим образом, в мире, так сказать, выделенном из их желез внутренней секреции... Я предпочитаю их мамочек, их нежных мамочек, смягченных жизнью. Их мамочек, которые становятся моими, когда я ими обладаю. Девчонка же не может быть моей мамочкой.

Я твердо встречаю двойной зеленый луч:

— Вы хотите со мной поговорить? Хорошо, говорите.

Она краснеет. На зарумянившуюся кожу рыженькой девицы стоит посмотреть. Созвездие веснушек танцует на молочно-клубничном фоне. Прелестно. Хорошо знакомое волнение просыпается в глубинах моего существа. О-ля-ля, Эммануэль, успокойся! Изумрудные глаза даже не моргнули. Она говорит:

— Один на один. И не здесь.

— Не здесь? Но здесь же так спокойно.

— Не здесь.

— Где же тогда?

— У вас.

Я подпрыгиваю:

— Об этом не может быть и речи!

— Вы ведете меня к себе, или я вам ничего не скажу.

— Но, малыш, — когда вы начинаете называть молодую девушку "малышом" — это верный признак того, что ваше отношение полностью изменилось, — если не ошибаюсь, это вам надо мне что-то сказать. Я же ни о чем вас не прошу. Если не хотите говорить, тем хуже для вас и тем меньше будет у меня огорчений, я это чувствую.

— Если вы не захотите меня выслушать, могут произойти неприятные вещи.

— Простите?

— Неприятные вещи для Крысельды.

— Так... Вы не робкого десятка.

— Так оно и есть.

Вмешивается брюнетка:

— Мы знаем, где вы обитаете. Дом, этаж, дверь, все.

— Вот это да! Вы, похоже, дочки сыщиков?

— В сыщиках нет надобности. Вас нетрудно выследить.

Я все понял, и я говорю, что думаю:

— Вы две маленькие мерзавки!

— А это, старичок, не открытие. Не расстраивайтесь, мы прекрасно договоримся. Послушайте, вот план. Вы возвращаетесь домой, как всегда. Мы приходим к вам через полчаса. Лизон скажет вам то, что ей надо, а я буду смотреть передачу "Цифры и буквы" в соседней комнате с бутылочкой кока-колы. У вас, конечно, есть телик и холодильник с кокой внутри?

— Зачем приходить вдвоем?

— Потому что, если молодая девушка в одиночку посещает одинокого мужчину, это может разрушить обе репутации. В данном случае не без оснований, старый сатир! Посмейте только не согласиться.

— Ну, это неопасно! Незрелые плоды для меня...

— Все, точка, сделаем именно так. Вперед!

Я смотрю в зеленые глаза. Зеленые глаза говорят: "Вперед!"

— Я слушаю вас, гм... Лизон. Так ведь?

— Да.

— В чем же дело?

Мы присели на диван, на самый краешек. Стефани — брюнетка — на кухне, за неимением телевизора, намазывает себе тартинки паштетом и, за неимением коки, наливает красного столового вина в пивную кружку. Лизон опускает свой красивый носик. Без своей подружки она кажется значительно менее самоуверенной. Я повторяю:

— В чем же дело? Я вас слушаю.

На ней не вездесущие джинсы, а облегающее платьице, которое не совсем мини, но все же в достаточной степени обнажает ее хорошенькие круглые коленки и открывает взгляду начало белых ослепительных ляжек. Ну вот и попробуй думать о чем-нибудь другом! О чем-нибудь другом, кроме красного руна, пламенеющего руна в конце туннеля, о густой эссенции сока златовласки, томящегося в глубине глубин, откуда до моих испуганных ноздрей доходят легкие, но ужасно знакомые запахи... Ладно, успокойся, Эмманюэль, послушай лучше, что это дитя должно тебе доверить. Она как раз собралась с духом и выпаливает, не отрывая глаз от пола:

— Я хочу заняться любовью с вами.

Я ошеломлен, и очень сильно. Хотя... Мне ведь сразу показалось, что эта история пахнет постелью. Но осторожно, поберегись, приятель! Я никогда не считал себя донжуаном. Я соблазняемый, а не соблазнитель. Я знаю свои возможности. Что это за жареная перепелочка, готовая сама упасть мне прямо в рот? А вторая дурочка, там, в кухне? Да уж, забавная проделка! Пока я перевариваю новость, она уточняет:

— Простите меня. Я неправильно выразилась. Я должна была бы сказать: я хочу, чтобы вы занялись со мной любовью.

Она права, тут есть нюанс. Но мне не хватает здесь Элоди, для того чтобы она прочла нам курс сравнительной семантики.

— Но... Но мы даже не знаем друг друга! — Это все, что я нахожу для ответа.

— Я вас знаю.

— Вы меня знаете, вы меня знаете... Чепуха! Вы следили за мной или что-то в этом роде... Это вовсе не значит знать!.. Наконец, черт возьми, вы меня не любите, я вас не люблю, я вижу вас в первый раз...

— Я вам не нравлюсь?

Она спрашивает меня, вперившись в меня парой таких глаз, которыми я наделил бы ангелов, если бы я был Господом Богом и мне пришлось бы создавать ангелов. Тяжко. Я бормочу:

— Это не так...

Она обретает уверенность. Теперь она полна решимости.

Она сдержанная девочка, но, кажется, знает, чего хочет, и получает это:

— Послушайте. Я не прошу у вас вашей любви. Я не навязываю вам своей. Я хочу, чтобы вы занялись со мной любовью, это очень просто.

— А я не хочу. Нет и нет! Прежде всего мужчина не всегда пребывает в состоянии готовности. Это не всегда срабатывает, когда желательно. Ты знаешь об этом, девочка? Тебе-то достаточно раздвинуть ноги, хочется тебе или нет, безразлично, получаешь ты наслаждение или нет, но ты сама всегда можешь доставить удовольствие. Мужчина — это совсем другое. Это не машина...

— Вы боитесь оказаться импотентом?

В точку!

— Ну конечно же... Такое всегда возможно, знаете ли.

Она спокойно расстегивает верх своего платья, встряхивает плечами. Ткань спадает и обрамляет венчиком две нагие юные дерзкие грудки молочной белизны, прозрачные, голубоватые, с лиловатыми прожилками. Я глотаю слюну. С трудом. Мне удается оторвать глаза от этого гибельного зрелища, но только для того, чтобы утонуть в двух зеленых озерах там, повыше. Везде ловушки. Мне удается произнести:

— Почему я?

— Потому что круги под глазами Крыс... простите, мадам Брантом утром в четверг мне открыли многое о вас.

Значит, Элоди носит на лице знаки моей доблести... Я упорствую:

— Допустим. Но я же не единственный самец на земле, в конце концов! А раз вы и так все знаете, то еще знайте, что я очень счастлив с Элоди... гм, мадам Брантом. Я люблю ее, ну да. Любовью. Очень большой любовью. Вы можете понять это? Думать о ней, даже говорить о ней, это меня... это меня возбуждает, да! Ну вот, что я говорил!

Она хлопает в ладоши:

— Вы же видите, это сработало! Послушайте. Я не хочу красть вас у вашей Элоди, раз уж она есть. Я хочу только, чтобы вы занялись со мной любовью так же хорошо, как вы это делаете с ней. Я хочу наконец узнать, что же это такое, это великое содрогание.

— Потому что до сих пор?..

— До сих пор я знала нескольких мужчин, я даже любила одного из них очень сильно, но я не нахожу, чтобы сам акт был такой уж ошеломительной вещью, как об этом говорят, как пишут, как поют. Приятно, да, но совсем не то неслыханное чудо, что объявлено в меню. Я чувствую, что это произойдет вот-вот, сейчас... а потом ничего. Суфле опадает, майонез не удается, и я оказываюсь обманутой, дрожащей от неудавшегося возбуждения, испачканной остатками удовольствия, полученного другим, который не упустит спросить, дурак: "Как тебе, понравилось? А мне о'кей". Поклянитесь мне, что не будете спрашивать, было ли мне хорошо.

Я чуть было не поклялся. Но вовремя сдержался.

— Без всякого сомнения, мне не везет. Или, может быть, я отличаюсь чем-то от других и мне нужно особое внимание, много нежности, много терпенья, не знаю уж...

Я качаю головой с мудрым видом — надеюсь, что это так, и делаю вывод:

— В общем, это будет эксперимент. А я буду подопытным кроликом.

— Это будет эксперимент. А кроликом буду я. Должна ли я уточнять, что горю желанием приступить?

— Как это, прямо сразу же, сейчас?

— Как вам будет угодно, господин любовник. Я доверяюсь вам. Поболтаем, покурим, выпьем, помолчим... Нам некуда торопиться. А если вы меня обнимете?

Сказав это, она расстегивает мою рубашку, вот я и голый до пояса. Я раскрываю объятия, она прижимается ко мне. Наши тела начинают узнавать друг друга, наши запахи смешиваются, и оказывается, что им хорошо вместе. Мы застываем. Зачем двигаться?

Вдруг я вспоминаю:

— Да, но... А другая, на кухне?

— Стефани? О, она, должно быть, заснула. Пойду скажу ей, чтобы она ушла.

Она поправляет платье и выходит из комнаты. Кажется, это не простое дело. Через перегородку доносится довольно шумный спор, хотя он и ведется приглушенными голосами. Наконец я слышу, как хлопает дверь на площадку, и Лизон возвращается.

Она стоит передо мной. Решительным жестом хватает платье у плеч, чтобы стянуть его через голову. Я останавливаю ее:

— Нет!

Я почти крикнул. Она застывает, платье уже наполовину снято. На уровне моих глаз оказывается слегка выпуклый нежный живот с медным отблеском у резинки детских трусиков. Прямо посередине этой белизны торчит умилительный младенческий пупок. Невинный? Развратный? И тот и другой одновременно, каково! Он умоляет и в то же время провоцирует, плутишка. А я все больше и больше чувствую себя насильником маленьких детей. Через платье до меня доносится разочарованный голос Лизон:

— Вы больше не хотите?

— Нет. Вообще-то я хочу сказать... Не так.

Я протягиваю руку. Я говорю себе, что делаю большую глупость, что я мерзавец из мерзавцев и, даже намного хуже, дурак из дураков, но моя рука поднялась, и моя раскрытая ладонь тянется к этой совершенной ноге и ложится на нее, и ощущение в моей ладони точно такое, каким я его представлял, то есть его невозможно представить, вся моя жизнь заключена в этом контакте, вся моя жизнь здесь, сконцентрирована между этими двумя эпидермами, которые наконец соприкасаются и должны соприкасаться целую вечность... Она вздрогнула, когда моя рука прикоснулась к ней. Она сейчас ничего не видит, скомканное платье окутывает ее голову, поднятые вверх руки застыли в прерванном движении, удерживая скомканную ткань.

— Не так, девочка. Не раздевайся сразу догола, словно торопишься быстрее закончить. Не сбрасывай нетерпеливо туфли с ног одним движением и не посылай их в полет через всю комнату.

Я говорю это и знаю, что лучше было бы промолчать, что сейчас совсем не время для таких уроков... Но я должен говорить хотя бы для того, чтобы не поддаться очарованию этого момента и дать себе шанс избежать события, избегать которого у меня нет ни малейшего желания. Ответ доходит до меня и бьет прямо в цель:

— Во-первых, прекратите называть меня "девочка", как старый дурак с бородкой...

— Но я как раз и есть такой! Боже мой, я мог бы...

— ...быть моим отцом, так ведь? Ах, вы не могли упустить случай сказать эту обязательную глупость! Если бы я искала отца, я бы к вам не пришла. А вообще-то вы были бы чрезмерно молодым отцом. Мне скоро будет девятнадцать лет, к вашему сведению. А вам примерно тридцать два, тридцать три...

— Тридцать пять.

— Вот видите, что я говорила! Вам пришлось бы зачать меня в пятнадцать лет! Вам очень хочется, чтобы я вас называла папой? Если это ваш бзик, то, пожалуйста, я согласна... Во-вторых, что мне дальше делать, какое следующее движение? Оставаться с поднятыми руками и с головой в мешке? Я устала. Я задыхаюсь.

Черт подери, в конце концов... Я перестаю сопротивляться. А зачем бы мне сопротивляться, в самом деле? Я беру ее за руки, тихонько опускаю их, поправляю ее платье. Снова появляется зеленый луч, освещающий насмешливую улыбку, готовую превратиться во взрыв смеха. Она обнимает меня за шею, приподнимается на цыпочки, погружает в мои глаза свой необыкновенный взгляд, переполненный совершенно неожиданной нежностью. Я потрясен.

— Я готова. Я жду вашего урока, господин учитель.

Чему же я должен был ее научить? Разве что тому, как дать себе волю, как наслаждаться изо всех сил неслыханным счастьем быть вдвоем и быть вместе, ты самка, я самец, знать, что может произойти все и все произойдет, тому, как открывать друг друга руками, губами, носом, всеми чувствами, всем телом со спокойной ненасытностью, дать нежности превратиться в страсть, а улыбкам стать торжественными, дать моей руке проскользнуть вдоль твоих округлых бедер, вдоль внутренней поверхности твоих белых бедер, там, где кожа становится невероятно тонкой, все тоньше и тоньше вплоть до диких границ логова зверя, в то время как твоя рука робкими движениями исследует мой член и все остальное, взвешивает его, пугается его, привыкает к нему, приручает его... И потом вместе содрогнуться, когда ты, самец, остаешься хозяином положения и упиваешься ее долгой и нежной жалобой беззащитного ягненка, ее нескончаемой, нескончаемой жалобой, не давая себе забыться в свою очередь, разве что на самом пределе напряжения...

Намного раньше того, как я достиг этого предела, без конца отодвигаемого страшными усилиями, в то время как я плачу от умиления при виде отражения этого бесконечного экстаза на искаженном лице Лизон, как

раз в то время, когда из моих сокровенных глубин начинает подниматься волна самого опустошающего оргазма, какой я когда-либо знал, мертвенная вспышка озаряет комнату, сопровождаемая щелчком, в происхождении которого невозможно ошибиться. Лизон подпрыгивает, кричит, хочет оторваться от меня. Но я наваливаюсь на нее всем своим весом, вонзаюсь в нее, ничто не помешает мне взорваться в ней, и затем свалиться на нее, и остаться погруженным в нее навсегда, боже мой, навсегда.

Я реву, как сорвавшийся с цепи демон, во все горло, всем своим существом, я рычу, я кричу, я мычу и еще, и еще, я больше не помню себя, я пью глаза малышки, я лижу ее щеки, я слюнявлю ее, а вспышки повторяются с пулеметной скоростью, а мне плевать, с таким же успехом это могло бы быть выстрелами, мне плевать, мне плевать...

Лизон больше не извивается в попытке вырваться, мы прикипели друг к другу животами, ее согнутые ноги обнимают мою спину, толчки ее бедер отвечают на мои, она сопровождает мое восхождение к головокружительным высотам, снова звучит ее нежная ритмичная жалоба.

И вот настает покой и с ним понятие о реальности. Реальность — это в данном случае торжествующий смех Стефани, подружки, раскачивающей на ремне фотоаппарат и насмехающейся надо мной. Лизон моментально вскакивает и хочет ее обезоружить. Но та уклоняется и пятится к двери. Однако, плохо зная расположение вещей, она налетает на старый стеллаж, переполненный книгами, который я давно собирался привести в порядок, толкает его, книги сыплются, она спотыкается, Лизон налетает на нее и тянет за ремень, цедя сквозь зубы:

— Гадина! Гадина! Гадина! Мы же договорились. Что не будем. Ты поклялась. Гадина! Гадина!

Настоящая фурия. Стефани приходится худо. Лизон удается вырвать у нее аппарат. Она открывает его, вытягивает пленку и выкидывает ее. Стефани, лежа на спине, исходит яростью.

— Несчастная дурочка! Трижды несчастная дурочка! Это потому, что этот дурак тебя оттрахал? Ты влюбилась, что ли?

— Я влюбилась, вот и все.

— В этого дурака?

— В этого дурака. Думаю, это как раз тот тип дурака, который мне был нужен.

Я просто взволнован тем, как она смело заявляет все это. Ее прелестный белый задик согласен с ней. Спереди она вся розовая между двумя рыжими рунами. Прекрасна настолько, что хочется упасть перед ней на колени и расплакаться от счастья. Но все же я хотел бы, чтобы мне немного разъяснили что к чему, и я говорю:

— Ладно. Все нормально, девочки, успокойтесь. В чем, собственно, дело? Можно подумать, что речь идет о чем-то вроде шантажа. Но кому в голову могла прийти идея шантажировать меня? У меня нет ни гроша. И потом, Лизон уже исполнилось восемнадцать лет — ты не солгала мне, Лизон?

Стефани пожимает плечами. Хихикает:

— Тоже мне нашелся детектив. Это вовсе не шантаж.

— Тогда что же?

— Просто план, чтобы нагадить училке. Вы способны это понять? Просто чтобы нагадить матушке Крысельде.

— Вот как? Он просто глуп, ваш план. И это очень гадко.

— А она не гадкая, что ли? Ее миленький нагишом на одной из ее учениц, тоже голой, это было бы не слабо, уж поверьте мне. И если она пошла бы жаловаться директору или родителям Лизон, мы тут же заткнули бы ей пасть фотографиями, на которых она с вами.

— Фотографии? Снятые в кафе? Но мы никогда не допустили ни малейшего...

Здесь она торжествует:

— Конечно же не в кафе! Последний пикник. Вспомните-ка. Вы сели на поезд, потому что ее тачка накрылась. Еще бы: мы же подсыпали сахарного песку в бак. На этот раз вы были в Фонтенбло. Может, скажете, неправда? Мы вдвоем были в том же вагоне. Вот уж мы позабавились.

Это заставляет меня призадуматься.

— Сколько труда! Сколько терпения! Сколько рвения! Надо действительно ненавидеть человека чтобы... А сегодня?

— Сегодня...

— Сегодня все сорвалось.

Это вмешалась Лизон. Она натянула платье и упорно смотрит себе под ноги.

— Я должна была притвориться. Стефани должна была зайти с фотоаппаратом как раз в тот момент, когда мы оба оказались бы нагишом. А потом...

— А потом эта дура внезапно влюбилась, видите ли.

Лизон все же хочет все объяснить как следует:

— Не сразу. И потом, то, что я вам сказала о моей... о моей... о, черт, о моей проблеме, ну... это правда. В конце концов, это было правдой.

Она краснеет, прижимается ко мне, обнимает за шею.

Стефани перехватывает слово:

— Поэтому она меня хотела отговорить. Пришла ко мне в кухню, сказала, что дело накрылось, что она больше не собирается... короче, я распсиховалась... Только она забыла запереть дверь! Ну и вот, вы теперь все знаете.

— Ладно. Я знаю все. А теперь послушайте меня. Я буду краток. Вы оставите в покое Эл... мадам Брантом.

— Вы можете называть ее Крысельдой, мы не обидимся.

— Хватит глупостей, ладно?

— Я согласна, — говорит Лизон.

— О, ты... — говорит Стефани.

Я настаиваю:

— А вы, Стефани?

— Хорошо, согласна. Но раз вы уж такие друзья, то скажите ей, чтобы она меньше крысилась.

Звонит телефон. Это Элоди.

Ну вот. Со мной случилось то, чего я никогда даже не смел себе представить в своих самых разнузданных мечтах. Меня приводят в восторг и чудесная новая любовь, и восхитительная прежняя связь. Я доволен, как

султан, но еще неизвестно, способен ли султан любить безумной любовью. Однако я чувствую, как где-то в животе у меня зарождается нечто похожее на тревогу... Я боюсь, что мои плечи не окажутся сильными в такой же степени, как любвеобильно мое сердце.

Потому что я люблю Лизон. Я люблю их всех, но о Лизон и об Элоди я могу говорить более конкретно. Для Лизон открытие наслаждения было чудом, в которое она уже было перестала верить. Она любит меня, потому что именно в моих объятьях она познала его. Она убеждена, что я единственный человек в мире, который мог совершить это чудо, что только любовь, излучаемая мной, сделала все это, и только моя любовь могла расцвести в ней. Невозможно убедить ее, что любой другой, любящий женщину так же, как я, мог совершить то же самое. Она хочет видеть в любви магию, единственным носителем которой является моя персона, в то время как все это сотворило мое восхищение ее телом, благодарность, огромная нежность, бесконечное терпенье, мое "чувство" женщины, счастье, испытываемое от того, что удалось пробудить в ней желанье, забота прежде всего об ее удовольствии, а не о своем собственном... Умение, разумеется, приемы, но вдохновленные обожествлением женщины, наваждением, если хотите, которое ведет и освещает всю мою жизнь.

Я люблю Лизон, и Лизон меня любит. Она любит так же, как занимается любовью, без слов, со смертельным напряжением. Она отдается не в ожидании последнего содрогания, но будто ищет полного слияния с тобой, ощущения твоего присутствия в самой глубине своего существа. Наслаждение приходит дополнительно. Оно поднимается тихо, незаметно, как спокойный прилив, она принимает его все с тем же недоверчивым и восхищенным изумлением, не теряя ничего, даже минимальных проявлений, словно из страха утратить что-то и, раз достигнув вершины, отдается волне, которая несет ее долго, долго, нескончаемо. Легкая и непрерывная жалоба поднимается из ее полуоткрытых уст. Ягненок.

Немного напуганный почти мистической силой этой любви, я попытался, хотя у меня разрывалось сердце, заставить ее понять, что кто-нибудь другой мог бы разбудить ее, но она знала, что мне отвечать:

— Все равно, ведь это оказался именно ты. Не имеет значения, как мы познакомились, почему ты, почему я, почему это место и этот момент. Все пары образуются по воле случая, наш случай был именно таким, вот и все. Как только ты в первый раз взглянул на меня, я поняла, что тебе хотелось меня проглотить и я почувствовала, как что-то во мне уже покоряется этому. Желает этого. Ты был волком, я ягненком, я хотела, чтобы ты меня съел. Не говори мне, что это мог бы быть другой волк. Это был ты, это будешь ты. Навсегда.

В другой раз она сказала мне:

— Знаете ли вы, господин волк, почему мы, ягнята, умоляем вас сожрать нас? Потому что ваши глаза все время говорят, кричат, провозглашают, что ягнята, я хочу сказать, женщины, это все для вас. Они дают нам жизнь, ваши глаза. Они делают из нас богинь, больше, чем богинь, больше, чем Богородицу...

— Они делают из вас женщин.
— Вот именно!

Моя жизнь стала богаче. Моя жизнь стала сложнее. К счастью, Лизон не огорчает существование Элоди. Элоди была первой, иными словами, законной женой. Таким образом, мне приходится врать только Элоди, что уже достаточно рискованно. Лизон согласна на то, чтобы мной обладали другие, только бы мной обладала и она. Я очень хотел бы знать, что происходит в ее хорошенькой рыжей головке, когда она сидит на уроке французского и Элоди-Крысельда препарирует со знанием дела, которое мне лично представляется безупречным, прозу Монтеня или поэмы Рютбёфа. Никакого злобного удовольствия, никакой иронии, я уверен в этом. Скорее чувство сопричастности, соучастия и страдание от того, что приходится молчать об этом. Та Лизон, которую я знаю, скорее с удовольствием и наивностью посвятила бы в свое счастье ту единственную, кто в полной мере смог бы оценить его.

Лизон не умеет ревновать. Она не способна ни на какие агрессивные чувства, не может причинить боль, даже подразнить. Я подозреваю, что она связалась со Стефани в этой злобной проделке только ради того, чтобы подобраться ко мне. Она ни в коем случае не хотела, чтобы Элоди была несчастна из-за нее. Она радостно забирает свою долю, не теряя ни крошки, делает из меня своего божка, лучится радостью, когда я с ней, ждет меня, когда меня нет. Она нуждалась в обожаемом существе, она решила, что я оно самое и есть. Она больше не ищет. У нее есть я.

Мечта о мужчине-самце, ставшая реальностью! Значит ли это, что я просто-напросто обыкновенный самец? Я никогда не задавался таким вопросом. Но задает ли его себе истинный самец?..

С течением дней вырисовывается двойная идиллия. Императивы времени и места накладывают свои жесткие требования на наши радости. На практике мне приходится вставлять райские мгновенья с Лизон в просветы ее жизни лицеистки и дочери, имеющей обязательства перед семейством, без сомнения, либеральным, но до известной степени, а также сделать так, чтобы они совпадали с теми моментами, когда расписание Элоди оставляет мне свободное время.

Для Лизон я снял табу со свиданий на моей квартире, или, скорее, оно исчезло само собой. Мы встречаемся среди моего хлама, в моей грязи и запахах моего несвежего белья, которые ее не шокируют, которых она, скорее всего, и не замечает. Она покидает диван только для того, чтобы пойти в кухню приготовить горячий шоколад, она обожает обжигающий шоколад, она красиво размещает разносортные чашки на эмалированном подносе, о существовании которого я и не подозревал. Она всегда умеет находить вещи, она догадывается, где они могут прятаться. Я смотрю и не нагляжусь на то, как она передвигается, я воображаю себя пашой, а мое сердце колотится, как в первый день, я знаю, что оно будет так колотиться каждый раз и что каждый раз будет как в первый день... Столько счастья, столько счастья, а я такой маленький! Слишком маленький, чтобы вместить все это счастье. Слишком ограниченный, чтобы прочувствовать его в полную силу. Моя емкость счастья заполнена до максимума, часть

его ускользает от меня, самая большая часть... Полнота счастья вызывает у меня жажду еще большей его полноты...

Мы занимаемся любовью... Нет, "я занимаюсь с ней любовью", как она выражается... И еще раз нет, я не "занимаюсь", мы не "занимаемся". Мы находимся в постоянном состоянии любовной благодати. Когда мой пенис не в ее лоне, он все равно рядом. Вялый или бодрый, насытившийся или голодный, он ищет ее лоно носом, как один щенок ищет другого в корзине. Мы купаемся в нашем поту и в наших выделениях, срываем ласку, нюхаем подмышки — рыжие пучочки ее подмышек! Она их брила, дурочка. Я ее быстро от этого отговорил — лизнем здесь, пососем там... Она всегда согласна, всегда все для нее хорошо. Обожающая жертва, готовая ко всему, довольная всем, покорная и принимающая самое страстное участие. Она тщательно подбирает мельчайшую частицу наслаждения, смакует ее с закрытыми глазами, никогда не пресыщается, никогда не утомляется, подобно траве, принимающей росу, религиозной фанатичке, принимающей Христа.

Мы почти не разговариваем. Разве это нужно? Время течет между пальцами, мы не знаем, светит ли солнце, идет ли дождь... Мне случается входить в контакт с реальностью. Я лениво роняю какой-нибудь пустяк:

— Лизон, а твои занятия?

Лизон согласна и на эту игру.

— В самом деле, ты прав, что заставляешь меня об этом подумать, мне надо кое-что у тебя спросить.

Она протягивает руку, сразу же находит свою сумку где-то среди барахла, тянет ее к себе, вынимает оттуда тетрадь... А я получаю удовольствие от созерцания юной линии ее изогнувшейся спины, двойного потока расплавленной меди, закрывающего ее лицо.

— Посмотрим-ка... А, вот: ты знаешь что-нибудь о настоящей причине войны четырнадцатого — восемнадцатого годов?

— Ну... Да, я думаю, что смогу тебе объяснить.

— Класс! Ты не представляешь, до какой степени мне обрыдла современная история. Ничего, кроме мешанины из политики и экономики, не могу заставить себя заинтересоваться этим.

— У меня есть книжка, если хочешь...

— Нет-нет! Объясни своими словами, мой прекрасный воин! И в трех словах, пожалуйста. Не нужно длинных речей.

У Лизон есть семья где-то в дебрях Бют-о-Кай, насколько мне известно. Или в Маре[1], может быть? Мать, отец, отчим? Поди узнай. Один или два брата-сестры? Может быть, я должен был бы больше обеспокоиться этим. Здесь мы как две птички на ветке, но когда она покидает ветку?

Я догадываюсь, что с ней нелегко. Как обычно говорят, она "несчастье для родителей". Люди этого молчаливого и улыбчивого типа непроницаемы, как сейфы. Все скользит по поверхности. Должно быть, эта дочка налетает, как порыв ветра, хватает йогурт в холодильнике и хлопает за собой дверью, здравствуй-до-свидания.

Чем она собирается "заняться в жизни"? Если верить тому, что она говорит, а говорит она мало, чем-то в области аудиовизуальных средств информации или в области медицины, ну, короче, тем, что будет сто-

1. Бют-о-Кай, Маре — районы Парижа.

ять в списке в разделе среднее образование плюс три года специального обучения. Или стюардессой, у нее успехи в английском, и ты же видел мои ноги? Или, может быть, еще пресс-атташе, ты видел мои глаза? Короче, все будет зависеть от обстоятельств, не стоит об этом думать заранее, и действительно, она не забивает этим голову.

Случается, что она врывается без предупреждения, она решила прогулять урок или болен какой-нибудь преподаватель. Она появляется с гамбургерами и жареной картошкой или с блинчиками с вареньем, это зависит от того, захотелось ей соленького или сладенького, но настоящий праздник — это заказ пиццы по телефону в часы пик и заключение пари. Если парень на своем мотороллере прибывает на десять секунд позже по истечении роковых тридцати минут, пицца в принципе должна быть бесплатной, но у нас не хватает духу потребовать этого. Пари заключается между нами двоими: я спорю, что пицца прибудет, к примеру, через двадцать две с половиной минуты самое позднее, Лизон, само собой, утверждает, что нет. Тот, кто проиграет, платит, подумаем-ка... поцелуем? Угадали. Тот, кто выигрывает, получает его. Надо же, по крайней мере хотя бы раз в жизни, подурачиться.

Лизон — это солнечная сторона моих любовных страстей. Другая сторона, теневая, не такая светлая, но такая же восхитительная. Если Лизон — это рыжий ягненок, то Элоди — черная козочка. Такая же живая, готовая к резкой перемене настроения.

Воспользовавшись своим небольшим отпуском, она устроила для нас — она всегда все устраивает! — миленькое свадебное путешествие, только мы вдвоем в очаровательном старом нормандском доме, стоящем на самом берегу моря недалеко от Трепора.

Для купания было еще холодновато, море было серым, небо — тоже серым, два серых оттенка растворялись один в другом, горизонт отсутствовал. Один из этих нежных и щемящих пейзажей, навевающих чувство смутной тоски, когда мечтательная задумчивость незаметно оборачивается размышлениями о смысле жизни. Несколько одиноких силуэтов на пляже, ветер, вспенивающий волны, резкий как раз настолько, чтобы растрепать нам волосы и разрумянить щеки. Кружатся и кричат чайки. Нам не хочется разговаривать.

Часто мы уходили далеко, без определенной цели, не чувствуя усталости. Мне представилось, как было бы хорошо, если бы с нами была собака. Она гонялась бы за чайками и, виляя хвостом, заглядывала бы нам в глаза, ожидая нашего одобрения. “Значит, тебе меня одной не хватает?” — не упустила случая сказать Элоди. Конечно, она шутила. Но все равно я не верю, что она способна делить с другой свою любовь.

Мы ходили за покупками под ручку, по правде говоря, мы не тратили на это много времени. Элоди готовила сытные блюда быстрого приготовления: рис или лапшу, приправленные тертым сыром и соевым соусом, с куском ветчины, двумя кусками сыра для получения протеинов, сопровождаемые бананом или яблоком для витаминов, все это орошалось чашей сидра, все же в Нормандии мы или нет?

Мы спали на очень неудобной еловой кровати в стиле “дизайна для

бедных", как и вся остальная обстановка. Все было к тому же очень уродливым, вычурным, анахроничным: прочная, натертая воском мебель, типичная для домов простых людей в тридцатые годы. Это не вязалось с приземистыми, простыми, но гармоничными очертаниями самого дома. Элоди объяснила мне:

— Это сторожка, домик сторожа большой виллы, которая виднеется вон там, за деревьями. Владельцы приезжают туда только летом. Сторожа должны были бы быть здесь, но они попросили разрешения съездить к себе в Португалию на недельку. Какое-то семейное дело, похороны кажется. А мы этим пользуемся.

Когда мы не гуляем по побережью или по полям, мы валяемся в постели. Никогда я не пресыщался ее телом, никогда она мне не отказывала. И когда она сама начинала меня дразнить и провоцировать, даже падая от усталости и пресыщенный любовью, я чувствовал, как во мне снова с прежней силой поднимается вожделение. Наше взаимное познание отныне завершилось, нам больше нечего было открывать, я мог играть на ней, а она на мне, как играют на инструменте, зная, как пробудить начало и довести его до высшей точки, как довести желание до нестерпимой точки, как ускорить экстаз... А потом, бессильно распластавшись среди скомканных простынь, мы ведем бесконечные разговоры. Вещь для меня новая, до сих пор наши встречи были до конца заполнены сексом и тем, что к нему относится, то есть любовью.

О чем же мы разговаривали? Да обо всем. Ни о чем. О книгах. Преподавательская сторона ее натуры давала о себе знать. Она удивлялась тому, что она называла моей эрудицией, разнообразию моих вкусов, меткости суждений... Я и сам не знал, что такой подкованный. Я очень много читаю, я просто глотаю книги, это что-то вроде порока, как для других курение, у меня всегда, сколько я себя помню, была эта потребность, и, так как я терпеть не могу себя мучить, я читаю только то, что мне нравится. Оказывается, что мне нравится многое и почти во всех областях. Я обожаю узнавать новое, а особенно понимать его. Просто так, для собственного удовольствия, не думая о том, чтобы запомнить все это, с тем чтобы однажды воспользоваться. Она сказала "самоучка" с таким видом, будто все поняла. Я не самоучка, я не сам научился читать, мне показали, когда я был маленьким. Когда ты умеешь читать, у тебя уже есть все остальное. Я не самоучка, я просвещенный любитель, если на меня непременно нужно прилепить этикетку. Меня интересует все на свете, и, разумеется, что-то остается в памяти. Я сказал ей это, но она настаивала на своем самоучке и в конце концов, почему бы нет? Я никогда не разговаривал с таким умным человеком, как она, к тому же обладающим умом целенаправленным, оснащенным богатым словарем и всем остальным.

Не знаю ничего лучше на свете, чем слушать дипломированного преподавателя, рассказывающего мне о Плеяде и о ее влиянии на французскую просодию, в то время как я неустанно вылизываю розовую внутреннюю кожицу, выстилающую ее большие губы, время от времени уделяя внимание выпуклому дразнящему бутону, и это продолжается до тех пор, пока ее рассуждения не начинают путаться, и, наконец, она забывается и принимается постанывать.

Так прошли эти восемь дней: как одно мгновенье.

— Ну и глаза были сегодня утром у Крысельды! Они занимали пол-лица... Кажется, ее отпуск не очень удался... бедная старушка!

Так встречает меня Лизон. Она проверяет меня:

— О, скажите пожалуйста... Знаешь ли ты, что у тебя тоже не лучший вид, мой бедненький? Это все пожирательница мужчин Элоди! Обжора! Каннибалка! Она мне ничего не оставила!

Она сразу же принимается проверять, на самом ли деле для нее ничего не осталось... Как приятно снова с ней встретиться! Как мне, оказывается, не хватало ее в объятиях Элоди, даже между бедрами Элоди... И после того как прошло несказанное мгновенье встречи, теперь уже мне не хватает Элоди в объятиях Лизон. Я бы хотел иметь их обеих вместе, я бы собирал мед с них по очереди, пил бы их росу, вдыхал бы их ароматы, всасывая их языки, облизывая груди, зарываясь носом в подмышки, вминаясь в животы... Или лучше всего смешанными одна с другой, составляющими одно целое... Полное безумие... А почему бы не три, почему бы не четыре, раз уж на то пошло? Почему бы и не "Турецкая баня" старого распутника Энгра? Действительно, почему бы и нет? Быть единственным самцом, обожаемым, избалованным, в центре целого мира нежных округлостей, животов, бедер, рун, жемчужной влаги, нежных ждущих отверстий... Материнский мир, вот как. То, чего ищет мужчина — ну хотя бы я, про других не знаю, — то, чего ищет мужчина в конечном счете в женщине, — это неугасимая тоска по матери, по полной груди, из которой потоками струится жизнь. Слизистые с пахучими соками, невинное животное начало, растворенность в дружественной мягкости, безопасность... Безопасность. Здесь царит женщина, ее присутствием напитано все, я протягиваю руку, я открываю рот, рукой, губами я ощущаю женщину... Грезы маленького неудовлетворенного мужчины, фантасмагории невостребованной любви?.. Но я удовлетворен. И даже пресыщен! Что же тогда? Все дело в голове? Вечное недовольство? Я действительно озабоченный чудак.

VII

Я выхожу от Суччивора. Рабочее совещание. Голова разламывается. Этот тип пишет мало или даже совсем не пишет, зато говорит очень много. Сотрясает воздух. Так как ответа он не ждет, изредка я мычу "гм, гм", стараясь придать звуку восхищенный оттенок, а этому дураку только того и надо, одновременно я слежу за мыслью, которую вынашиваю в голове. Когда потом он знакомится с тем, что я снес, он чистосердечно верит, что идею родил он сам, и превозносит меня за то, что я смог так тонко уловить все нюансы его замысла, сумел передать его неподражаемый стиль и даже предвосхитить то, что он еще не сформулировал, но что уже таилось где-то в нем, готовое родиться... Болтай, болтай, жирный бурдюк, однажды мое имя вспыхнет на обложке, и мир вдруг поймет, что Суччивором-то был Эмманюэль.

Мне хочется идти и идти до тех пор, пока не заболят икры и не одеревенеют ноги, полной грудью вдыхать выхлопные газы, чтобы промыть мозги от торжествующей глупости Суччивора, от слишком хорошо поставленного голоса Суччивора, от самоуверенной физиономии

Суччивора... Я сворачиваю с широких авеню, следую по Университетской улице и выхожу на бульвар. Здесь меня ждет сюрприз.

Взявшись под руки, дружными рядами люди перегородили дорогу и тротуры от одной стены до другой. Еще одна манифестация. Много женщин. Седые или очень юные, одетые в юбку-пальто-шляпу или джинсы-майку, под которой торчат маленькие груди. Относительно мало женщин среднего возраста. Из любопытства я пытаюсь узнать, в чем дело. Мало транспарантов, больше двойных плакатов типа человек-сандвич. Они провозглашают: "Животное — существо, которое страдает", или: "Долой охоту!", или в более узком смысле: "Долой псовую охоту!" Или: "Кончайте безобразие с транспортировкой живых телят!", или: "Корриду — вне закона!", или: "Охотники, рыбаки, вивисекторы, тореадоры — убийцы!", и еще: "Вивисекция — SS", "Бросить собаку — это бросить ребенка"... В общем, друзья животных. Теперь все понятно!

В головном ряду шагают знаменитости. Прохожие, оттесненные вплотную к фасадам домов, называют друг другу их имена, счастливые тем, что узнают лица, которые "видели по телику". А у меня нет телика. Я смотрю на этих людей, идущих с гордо поднятой головой, смотрю на немногочисленных усмехающихся полицейских, стоящих вдоль тротуара, и говорю себе, сколько же надо жалости и сколько мужества, чтобы выйти на улицу, не боясь показаться смешным, защищая такое непопулярное дело.

Беспокоиться о мучениях телят, предназначенных на бойню, в то время как мужчин, женщин, детей легко убивают сотнями тысяч в Африке, в Боснии, в России... В то время как методически разрушаются города, день за днем, под ливнем бомб, по всему миру бросают людей в тюрьмы, пытают, высылают... Нищета становится у нас "нормальной" участью большинства... Наркотики убивают детей, обогащают зарвавшееся ворье и понемногу разрушают всю систему... Сумасшедшие фанатики все множатся и готовятся устроить апокалипсис... Эта цивилизация дала многочисленные протечки, как лопнувшая труба, и скользит к неминуемой бездне нового Средневековья, когда феодалами станут мерзавцы из разнообразных мафий... Перед растущей волной упадка и равнодушия оплакивать страдания невинных и вопить о своей солидарности со всеми живыми существами — в этом что-то есть, ничего не скажешь!

Животные. Самые невинные из живых существ, они могут только страдать, не понимая за что, человеческие боги всегда провозглашали их предметами, не обладающими душой и, следовательно, бесправными, они не способны даже на злопамятство... Не здесь ли собраны все страдания, все ужасы, вся боль убиенных младенцев, поруганной невинности, святости, отданной на растерзание палачу? Животное — мученик, исчерпывающий символ всех подлых низостей.

Я говорю себе это, заложив руки в карманы и рассматривая их решительные лица, им не устоять под ударами дубинок, и думаю, что очень жаль, что в марше участвует так мало настоящих мужчин. Это даст еще одну возможность полицейским писакам изобразить манифестацию как вздорное сборище домохозяек с их песиками... На грудь мне кидается шар из шерстяных одежек. Клубок шерсти, когтей и лая вцепляется мне в ногу.

— Ты пришел? О, это прекрасно! Идем со мной. Как я рада!

Женевьева! Которую я не видел уже... Гм. Давно. Плакат у нее на груди гласит яркими буквами:

Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!

Она поворачивается ко мне спиной, где написано мрачными черными буквами:

Я НЕНАВИЖУ СМЕРТЬ!

— Тебе нравится?

— Я даже прослезился, Женевьева! Это лучше всего. Этим сказано все.

— Я сама придумала. Не знаю, понятно ли это им, мне плевать, главное, я сама понимаю.

Женевьева знакомит меня со своими подружками — с высокой тощей молодой женщиной с горящими глазами, посвятившей жизнь приюту для брошенных собак и кошек, и, поверяет мне Женевьева на ухо, она сломает себе на этом шею, ты не можешь себе представить, какая это каторга. Другая, молодая девица в каске, закрывающей лицо и голову, окружена еще более юными мальчишками и девчонками с касками под мышкой. А она, объясняет мне Женевьева, особенно не любит вивисекторов. Ты видел каски? Это трудно и опасно, ты понимаешь? Нет, я не понимаю. Я беру Женевьеву под руку, другой рукой подхватываю амазонку в каске, и мы шагаем. Я ору вместе с другими лозунги, которые выкрикивает громкоговоритель с крыши фургончика, его я сначала и не приметил. И правда, так приятно идти тесными рядами, знать, что ты не одинок, и одновременно знать, что мы еще не весь мир. Я радостно ору лозунги, сейчас это "Рыболовов в воду! Охотников в берлогу!" Я пребываю в состоянии восхищения богатством рифмы, когда стройная фигурка бросается мне на шею. Определенно, мне сегодня везет!

— Папа! О, как это прекрасно! Папа, папа! Как я рада!

Поцелуи, представления.

— Моя дочь Жозефина.

Она решительно втискивается между Женевьевой и мной, берет нас за руки. Она сияет. У нее есть отец. А я вовсе не чувствую себя отцом. Она говорит Женевьеве:

— Мой отец, он ужасно любит животных. Однажды он набил морду одному типу, который пинал свою собаку ногами в живот.

Это правда. Я успел позабыть. Надо сказать, что тот тип меня еще и обматерил. Это подстегивает рыцарские порывы.

Женевьева оценила мой подвиг. Она замечает:

— И ты, Жозефина, тоже любишь животных, поэтому ты с нами.

— А я хожу на все манифестации против всяких гадостей. В прошлый раз из-за парня, которого прикончили менты, это называется у них в "пределах законной самообороны". Еще бы, он же был арабом!

— Сколько тебе лет?

— Двенадцать. Но я выгляжу старше. Это здорово, я могу проделывать те же штуки, что взрослые.

Здесь, мне кажется, отец должен забеспокоиться. Я беспокоюсь:

— Какие, например?

— Ну, в общем, всякие штуки...

Я должен удовлетвориться этим. В конце концов, лучше не лезть куда не надо. Однако шествие, честно говоря весьма немногочисленное, продвигается вперед. Застрявшие позади манифестации машины отчаянно сигналят, им вторит лай собак, сдерживаемых на поводках. Жозефина, втиснувшись между нами, скандирует лозунги пронзительным голосом под аккомпанемент лая Саша, которого она взяла на руки. Внезапно в голове колонны что-то происходит. Люди топчутся на месте. Я замечаю, что девушки в каске и ее юных друзей больше не видно поблизости. Женевьева толкает меня локтем:

— Здесь лаборатории Южной Жиронды.

— Ну и что?

— Они производят опыты над животными. У них в подвале есть питомник подопытных животных. Я уверена, что молодежь попытается провести боевую операцию, но те приготовились, кажется. Ты только посмотри на кордоны жандармов.

Действительно, наблюдается скопление темно-синих мундиров и кожаных портупей. Несколько серых машин с зарешеченными окошками вносят в пейзаж мрачную ноту, которой раньше не было.

Я не очень хорошо понимаю, в чем дело, мы находимся слишком далеко от головы шествия. Все происходит очень быстро. Вдруг поднимается сильный шум, большая толпа манифестантов проталкивается вперед, чтобы встать на пути жандармов перед запертой решеткой ворот лаборатории, юркие фигурки в касках или с лицами, закрытыми шарфами, вооруженные железными штырями, кровельными ножницами, ломами и разным строительным инструментом, подобранным неизвестно где, пробираются вдоль стены с крысиным проворством, и вдруг раздается оглушающий грохот массивной решетки, сорванной с петель и рухнувшей на мостовую под мощное коллективное “ура!”; жандармы ринулись было с дубинками наготове, но, не обнаружив перед собой никого, кроме сплоченного ряда респектабельных старых дам, готовых принять удар на себя, замялись, потеряли свой карательный азарт, в то время как парни и девчонки в касках или в капюшонах выбегают по узкому коридору, образовавшемуся между толпой и стеной, прижимая к себе собак, кошек и даже обезьянок, обмотанных окровавленными бинтами, ощетинившихся трубочками, наспех сорванными как попало.

Высокий негр в разодранном белом халате бежит за ними, махая руками и вопя:

— Они сломали клетки! Они заперли меня! Спросят же с меня! Они все растащили!

Но его голос сразу же тонет во всеобщем гаме, и так как в пылу погони он выскочил в чем был, и к тому же он черный, два жандарма набрасываются на него с дубинками и утаскивают.

Ввиду серьезного оборота, который принял ход событий, большая часть манифестантов рассеялась, оставив зачинщиков объясняться с “силами порядка”, как любят выражаться в полицейском участке. Несмотря на мое любопытство природного зеваки, я тоже хотел было улизнуть, но Жозефине это не подходит. Она тянет меня вперед, она хочет

видеть все, она хочет принимать участие в деле защиты животных. Женевьева пытается урезонить ее:

— Больше нечего смотреть и нечего делать, мой цыпленок. Ребятам удалось освободить нескольких животных, они спрячут их в надежном месте, будут их выхаживать, сфотографируют... Посмотри: теперь все полицейские отправились в лабораторию. Если один или два парня не успели вовремя смыться, легавые будут праздновать победу!

Женевьева — само благоразумие. Последняя кучка манифестантов еще пытается дразнить жандармов, но почти все уже рассеялись. Нам остается сделать то же самое. Жозефина разочарована. Я говорю ей:

— В конце концов, чего же ты хотела? Вернуться домой с фонарем под глазом?

— Ты ничего не понимаешь! Я хотела привести с собой несчастное страдающее животное, чтобы утешать его, ухаживать за ним, ласкать его, заставить его забыть все ужасы и чтобы оно поняло, что не все люди такие злые... Бедного котенка... Обезьянку, может быть. Совсем маленькую... Как бы я ее любила!

— Знаешь, это не так просто. Так нельзя. Ребята, которые украли...

— Не украли! Освободили.

— Ты права. Извини меня. Ребята, освободившие животных, организованы, их где-то поджидали машины, у них есть дом, где можно всех спрятать. Они поднимут журналистов, вызовут телевизионщиков... Пошли отсюда, здесь становится небезопасно, сейчас начнут хватать всех подряд. Смоемся, пока не слишком поздно.

Уже слишком поздно.

Оттуда, где мы топчемся, невозможно ускользнуть. Это ловушка для дураков. Все оцеплено. Я налетаю на гранитной твердости грудь. Рука в кожаной перчатке делает заградительный жест. Поднимается забрало, словно для того, чтобы поприветствовать дам после поединка. Хриплый голос восклицает:

— О, надо же, старые знакомые! Я не ошибаюсь? Посмотрим... Это ведь вы присутствовали при выселении жильцов из дома на снос прошлой зимой? Негритосы и все такое... Ну да, черт подери! С кошкиной мамашей! И не ее ли опять я вижу здесь? Ну конечно! Честь имею, сударыня! Значит, всегда в гуще заварушки, а? Профессиональные агитаторы? Сеятели профсоюзного дерьма? Мы все проверим. А пока спокойненько садитесь в машину, мы вместе совершим небольшое веселенькое путешествие...

Я вспоминаю, что несу ответственность за кое-кого:

— Эй, как вас там! Моя дочь несовершеннолетняя. Вы не имеете права!

— Ваша дочь? Это еще надо доказать.

Жозефина считает, что настало время вмешаться:

— Конечно, это мой отец! Может, скажете, этого не видно? Посмотрите в профиль. У нас одинаковый нос, совершенно одинаковый. Мама всегда говорит, что это все, что мне досталось от него, к счастью.

Я спрашиваю:

— Она говорит “к счастью”? Ты уверена?

— Я не знаю, такой же ли у нее нос, но он выглядит лучше, чем ваш, — говорит жандарм.

И принимается хохотать. Смех обезоруживает. Совершенно довольный собой, раб закона делает нам небрежный и утомленный знак, означающий: "Убирайтесь отсюда, и чтобы я вас больше не видел". Саша яростно лает ему прямо в лицо.

— Что с вашей собакой? На ней должен быть намордник. Она опасна.

— Это из-за забрала, — говорит Женевьева.

— Моего забрала? Причем тут забрало? Забрало положено по форме. А вот вашей собаке по форме положен намордник. А у нее его нет.

— Забрало всегда пугает собак, это всем известно. Именно поэтому они облаивают мужчин в каскетках.

— Это забрало положено по форме к моей положенной по форме каске. Что вы еще тут рассказываете мне про каскетки? У вас к тому же с головой не все в порядке... Уходите, пока я не разозлился. Я еще вполне могу вас забрать.

Женевьева заявляет наудачу:

— У вас нет права забирать людей с собаками.

— Может быть, но это всегда можно уладить. Я пошлю собаку в собачник, а хозяина в тюрьму.

— Это будет глупо и гадко, — вмешивается Жозефина.

И она опускает забрало жандарма, который сразу становится похож на большую красную рыбу в слишком тесном аквариуме. Жозефина хохочет:

— А теперь кто оказался в наморднике?

Я приготовился к худшему. К счастью, раздается пронзительный свисток, серые машины трогаются, наш приставала кидается к той машине, которая положена ему по инструкции.

Я говорю Жозефине:

— Ты со своим болтливым языком... Заметь, это у тебя тоже от меня. Не только нос. Кстати, твоя мать знает, что ты здесь? Ты не должна быть уже дома?

— Да нет, это не горит. У нас есть время пойти выпить что-нибудь с твоей подружкой. Ты нас приглашаешь? Она мне нравится, твоя подружка. Вы мне очень нравитесь, мадам.

— Взаимно, моя дорогая.

— Не говорите мне "моя дорогая", так мачехи говорят. Меня зовут Жозефина, если вы забыли.

— А меня Женевьева, Жозефина.

Мы сидим на террасе кафе, расположенного немного в стороне. Жозефина сосет газировку через соломинку, Женевьева подкрепляется стаканчиком белого сухого вина, а я погрузился до ушей в свежевзбитые сливки. Подводим итоги. Женевьева рассказывает о своих кошках, об их побегах, их простудах, их экземах и заодно о собаках и кошках своей домовладелицы, которая, будучи почти инвалидом, ужасно нуждалась в том, чтобы к ней на помощь пришла такая вот Женевьева. Мне удается выведать у Женевьевы, что она, кроме того, выполняет роли сиделки, компаньонки и прислуги за все. Я ужасаюсь:

— И тебе удается работать? Я имею в виду твою настоящую работу, рисование подписей?

— Удается.

— И ты находишь время поспать?

Она улыбается:

— По правде говоря, немного.

Следующий вопрос дурацкий:

— Ты счастлива?

— У меня есть мои кошки, Саша, у меня кошки и собаки старой дамы... Как же мне не быть счастливой?

Вмешивается Жозефина:

— У меня будет куча животных, как только я получу такую возможность.

— Где ты их будешь держать?

— Я куплю старую хижину в захолустье. Это стоит гроши. Ведь деревенские бегут оттуда. Там запустение, ты слышал об этом?

— А питаться чем? А кормить своих зверушек? Если деревенские бегут, это значит, что у них там нечего ловить, в их зеленых кущах.

— О, я еще не знаю. Надо, чтобы это созрело. Может быть, я устрою убежище или платный приют для того, чтобы эти идиоты, уезжая в отпуск, не оставляли собаку на улице. Или у меня будет мужик, который будет зарабатывать деньги. Я недурна как баба, не знаю, заметил ли ты. Подожди только, чтобы у меня кончился подростковый период. Поскорее бы!

Еще бы я не заметил! Какая же она красавица, моя дочка! Это остренькое личико, эти глаза, этот нос — который у нее от меня, это точно, но который выглядит намного лучше, блюститель порядка был прав, — эта шея, эти пугающие обещания грудей, готовых продырявить ткань майки... Я ловлю себя на том, что бормочу: "Ну и ну..." Разве настоящий отец говорит себе "ну и ну...", когда замечает подобные вещи? Трудно не видеть женщину в собственной дочери... Или же я действительно мерзавец из мерзавцев, о чем я уже упоминал.

Мы провожаем Женевьеву, которая должна забрать свой мопед во дворе дома одной приятельницы, друга животных, у них целая масонская ложа, — ну, ладно, привет, заходи, обязательно, поцелуи, до свидания Саша, да, да, уф.

Я провожаю Жозефину домой, я хочу сказать, до ее дома. Мы пересекаем Люксембургский сад. Я так любил Люксембургский сад! Больше я стараюсь сюда не ходить. Слишком много воспоминаний. Слишком много воспоминаний повсюду в Париже. Нет почти ни одной улицы, где бы не зацепился кусочек моего сердца. Если бы только одна любовь вытесняла другую! Но нет, она только добавляется и занимает свое место в хвосте когорты, вносит собственные восторги и собственные мучения, не уменьшая былого горя и не смягчая воспоминаний...

Держать ли за руку девочку двенадцати лет? Жозефина разрешает проблему: она берет меня под руку. Я смотрю на нее, она смотрит на меня, нам весело. Она говорит:

— Почему ты такой дурак, папа?

— Это еще почему?

— Ты сам знаешь. Не притворяйся. Ведь нам всем вместе было так хорошо.

— Гм... У тебя память оптимистки. Правильней было бы сказать, что это было невыносимо.

— Потому что ты не можешь удержаться от дурацких поступков.

— Я не могу удержаться, ты сама сказала.

— А мама не переносит этого.

— Твоя мама не переносит.

— А что, это было неразрешимо?

— Это не было неразрешимо. Доказательство: мы нашли решение.

— О каком решении ты говоришь?

— Не самом худшем. Твоей маме хватило смелости. Потому что я...

— Да. Ты, ты можешь жить в условиях, непригодных для жизни.

— Ну, это уже риторический прием! И даже два, кажется. Я уж не помню, как они называются.

— Хватит заливать.

— Да, правда. Я заливаю. Ни к чему снова все пережевывать. Кто старое помянет...

— Скажи, папа, может быть, ты просто трус?

— Не исключено. Ну и что? Надо нести свой крест.

— Пф... Сплошные увертки. Мама...

— Мне кажется, она не так уж плохо устроилась, твоя мама. По крайней мере, выглядит она гораздо лучше, чем в мои времена.

— Ну, мама! Она влюблена. Она снова стала подростком.

— А с тобой этот, как бишь его, любезен?

— О да. Супер. И он вовсе не лезет для этого из кожи вон. Не старается изобразить запасного папашу. Он просто психолог, этот мужик.

— Класс, в общем. Ну тогда все к лучшему.

— ...в этом лучшем из миров. Это из "Кандида".

— Но ты еще ведь до Вольтера не дошла?

— Нет, но я преждевременно созревший ребенок. Я ведь читаю.

Вот мы уже перед дверью. Жозефина подбородком показывает вверх:

— Ты поднимешься?

— Нет. Я предпочитаю не рисковать, это может оказаться некстати.

— Если даже нельзя поздороваться друг с другом из-за того, что когда-то вы занимались любовью....

— Жозефина! Мешает не та любовь, которой занимались когда-то. Мешает та любовь, которой она занимается с этим типом.

— Ты ревнуешь, что ли?

— Ну, можно назвать и так.

— Я все же могу сказать, что я тебя видела?

— Почему бы и нет? Ты моя дочь.

— Да-а... Мама находит, что ты мне недостаточно отец.

Она бросается мне на шею с неожиданным пылом, прижимается на мгновенье щекой к моей груди, затем отрывается, нажимает на дверную кнопку, исчезает... У того типа хватает такта не навязываться в эрзац-отцы, что очень похвально с его стороны, хотя из-за этого маленькой девочке не хватает небритой морды, чтобы потереться об нее утром.

По дороге я говорю себе, что совсем скоро — если это уже не произошло, теперешние детки поспевают так быстро, что мы всегда опаздываем на одно-два поколения, — что совсем скоро она лишится своей защитной пленочки в объятиях классного петушка — такая хорошенькая и скрытная, какой она мне кажется, она уведет его у подружек, этого дурачка, в этом я ей вполне доверяю! — потом, спустя пять или шесть лет, завершив круг прыщавых увлечений, безумно влюбится в учителя гимнастики, или инструктора по лыжам, или в очкастого троцкиста на худой конец, короче, в урода моего типа... Вдруг я вспоминаю про Лизон и чувствую себя грязной вонючей скотиной, и в результате мне до ужаса нужно видеть Лизон, даже не переспать с ней, а только видеть ее, смотреть, как она двигается, как существует.

С тех пор как я вновь обрел полное и нераздельное право пользования своим домом, у меня больше нет причин работать за столиком кафе. Мне также больше не нужна задняя комната кафе, чтобы встречаться с Элоди. Элоди тоже перестала приходить туда проверять пачки листочков в клеточку. Она призналась мне с озабоченным видом, что замечает у своих учеников совершенно определенные плохо скрываемые смешки, гнусные перемигивания заговорщиков. Абсолютно неизбежно наши невинные тет-а-тет, какими бы чопорными они ни были, в конце концов должны были возбудить нездоровое любопытство этих чертенят, готовых видеть секс повсюду, а особенно там, где он действительно присутствует.

Мы встречаемся просто-напросто у нее после телефонного звонка, предупреждающего меня, что путь свободен, то есть, что ее сынок, уже большой мальчик, не рискует застать свою мамочку за занятием такого рода, за которым сыновьям вовсе не нравится находить свою мамочку. Это придает нашим любовным встречам привкус буржуазного адюльтера в удобной и укромной обстановке, где я катаюсь как сыр в масле.

Наше влечение друг к другу не ослабевает, так же как удовольствие, с которым мы предаемся вовсе не сексуальным занятиям. Просто в силу стечения обстоятельств и сложившихся привычек мы приспособились к этакой крейсерской скорости. Мы уже представляем собой нечто вроде устоявшейся супружеской четы, как она однажды замечает мне со счастливой улыбкой.

Если все же мне случается время от времени присаживаться за свой привычный столик, так это только для того, чтобы разбудить свои первые сердечные волнения, чтобы вновь унестись воображением в мечты при воспоминании о женском силуэте, который больше угадываешь, чем видишь, который я украшал достоинствами настолько чарующими, насколько было изобретательно желание, вдохновленное моими врожденными наклонностями. Значит ли это, что тень для меня является более возбуждающей, чем завоеванная добыча?.. Нет, не то чтобы пойманная добыча меня разочаровала, но ведь тень украшается причудами грез, самыми сокровенными желаниями... Короче, добыча — это одно, а тень совсем другое, каждой отводится своя роль. Так что я прихожу сюда искать тень, но не тень Элоди, а моих первых грез об Элоди.

Лизон случается там появляться вместе со своей неразлучной Сте-

фани. Они очень быстро помирились, с Лизон невозможно долго оставаться в ссоре. Когда Стефани удивилась, что не видит больше свою старую врагиню Крысельду на ее привычном месте, Лизон рассмеялась и объяснила:

— Знай, дочь моя, что предварительные околичности длятся недолго, на то они и предварительные, и что после сева следует жатва, и что, наконец, Мадам отныне обслуживается на дому, если ты понимаешь, что я хочу сказать, и что в связи с этим ты должна была бы, подобно всем нам, стонущим под ее железной пятой, считать себя совершенно счастливой, ибо, как ты, конечно же, заметила, это не только награждает Мадам красноречивыми кругами под глазами, но и одаряет ее замечательным благодушием, которым нам было бы грешно не воспользоваться.

Сказав это, она прижимается ко мне и целует взасос, будто хочет убедить меня, что совершенно не ревнует.

VIII

Наконец-то. Я его начал. Мой роман. Мой собственный роман, который я подпишу своим именем. Я нашел сюжет. Я долго искал его, приходил в отчаяние, ночи не спал и вдруг понял, что он всегда был здесь, под рукой, он с нетерпением ждал, когда мой взгляд упадет на него. Какой я был дурак! Ломал себе голову в поисках прошлогоднего снега, в то время как...

Это будет история мужчины, одержимого женщинами — Женщиной, — мужчины, для которого не существует ничего в мире дороже взгляда женщины, говорящего тебе "да". Моя история, в общем. Я изменю имена, это само собой разумеется. Я немного перетасую факты, введу напряжение и перипетии... И больше ничего! Ничего выдуманного. Иначе это будет чувствоваться. Тон изменится. Только голая правда. Но тогда это не будет романом? Это будет роман, потому что я назову его "роман". А главное — стиль. Очень амбициозно. У меня грандиозные планы. Ничего от детектива, от приключенческого романа. Никаких сексуальных штучек. Наконец, ничего от так называемой "эротики". Когда речь идет о сексе, он вылезает на первый план. Ну, тогда психологический? Уф... Самоанализ, я... В любом случае стиль — главное. Полная противоположность тому, что я делаю для Суччивора. Я хочу писать для себя, я хочу себе нравиться, я хочу соблазнять самого себя, я хочу плакать от радости, читая самого себя!

Я преодолел парализующий страх первой фразы. Теперь моя рука бежит по бумаге, я зачеркиваю, я возвращаюсь назад, я ликую, я живу на все сто в час! На скорую руку стряпаю халтуру для Суччивора, ем наспех что попало, отнимаю время у сна...

Я не рассказал об этом никому. Только одна Лизон поняла, что я работаю над чем-то важным, она часто заставала меня полностью погруженным в работу, но она почувствовала, что я хотел сохранить все в тайне, и не задавала никаких вопросов. Лизон, это человек!

Половина четвертого! Вот уже более семи часов я не поднимаю головы, приклеившись к стулу, прижавшись грудью к столу, сгорбившись, как верблюд... Ничего удивительного, что я почти в голодном обмороке!

Именно голод вырвал меня из параллельного мира. И внезапно очнувшись в реальном мире, я словно оказался осажденным свирепыми фуриями: глаза у меня горят, голова раскалывается от мигрени, орды муравьев-каннибалов пожирают бедра и ноги... Мое тело мстит за то, что о нем так надолго забыли.

Я встаю, голова начинает кружиться. Я слишком утомлен, чтобы найти в себе силы сделать хотя бы бутерброд с паштетом. Хочу, чтобы кто-то позаботился обо мне, вот так. Чтобы мною занялись. Идея: нужно дотащиться до папаши Саида и наесться кус-куса. О, как это хорошо — изнемогать от голода и знать, что стоит только спуститься, повернуть за угол и рухнуть на стул у стола, накрытого клеенкой, и за более чем скромную сумму тебя обслужит, как Гаруна ар-Рашида, повелителя правоверных, Шехерезада с горящим взором, сама племянница Саида. Расточая улыбки и строя глазки самым убийственным образом, она проносит между столами зад из "Тысячи и одной ночи" и превосходные икры и высокомерно устремляется к райским наслаждениям и феериям верхнего этажа, вызывая платоническое наслаждение завсегдатаев, чертов Саид, он умеет придать цену своему кус-кусу! Однако некоторые воздыхатели упрекают гурию за то, что у нее волосатые ноги — так выражается это грубое отродье. Черные волосы. Очень черные. С синеватым отблеском, тем же, что у роскошной гривы, раскинувшейся по круглым плечам... Как будто это изъян! Телевизионные куклы Барби лишили их вкуса. Им нужны Грейс из Монако, без запаха, без цвета, стерильные. Безвкусные. А у меня воспламеняется воображение от этого образца руна, выставленного напоказ, которое дает пищу грезам о том, что же должно оказаться в волнующем месте слияния всего... Да, но, дойдя до этого места в своих фантазиях, каждый раз я вспоминаю о том, что мусульманки тщательно бреют лобок и его окрестности, преступницы! Я охотно пожертвую вином и колбасой с чесноком ради любви к Аллаху, но женщина с бритым лобком? Безволосые щели, подобные отвислым губам старых скопцов? Я очень рад, что я атеист католический, а не мусульманский. Религия — это действительно универсальный способ досаждать роду человеческому, вне зависимости от названия, которое дается местному божеству.

Я очень хорошо представляю себя проводящим свою жизнь рядом с Фатимой — если ее зовут не Фатима, она не права, — неустанно наслаждающимся видом ее затененных волосами икр, подобных черным ягнятам, трогающим их тыльной стороной ладони, когда они проходят близко от меня... как сейчас, например. Фатима смеется, как Мадлон из песенки. Я уверен, что эта кокетка девственна по самые уши, что она с рождения обещана одному из племянников Саида, или, может быть, эта старая свинья Саид приберегает ее до того случая, когда его старая жена унесется в рай к Аллаху — интересно, туда женщин пускают? — и что в любом случае, начиная с этого счастливого дня, она больше не выйдет из кухни, даже в парандже, ожиреет от бараньего сала, а ее волнистая шевелюра пропитается запахами пшеничной каши и кабачкового бульона...

Я также хорошо представляю себя, все зависит от исходной точки, живущим вместе с белобрысой худышкой, гладкой, как манекен в вит-

рине. Здесь играет свою роль контраст. Говорить себе, что эта этажерочная фарфоровая статуэтка прячет в своем геометрическом центре святилище, изрыгающее пламя, дым и чуму, это тоже стимулирует, хотя и по-другому... Где она, та, с которой я не мог бы представить себя живущим всю жизнь? Почему их столько? Почему у меня только одна жизнь?

Мне уже лучше. Я наелся хорошей каши, пропитанной душистым бульоном и приправленной большой порцией перца, который зажег пожар у меня во рту, я ее обожаю — нет, я без ума от... поправила бы меня моя Элоди, — короче, я слопал два вертела мяса и две сосиски, я спокойно приканчиваю полбутылки сиди-брагима, откинувшись на спинку стула, от души наслаждаясь красотой жизни. Я сдерживаю отрыжку, хотя много раз читал, что на земле Ислама это проявление изысканной вежливости, но так как на практике я никогда не видел, чтобы какой-нибудь араб или кабил предавался на публике этой изысканной привычке, я предпочитаю воздержаться.

Саид лениво приближается к моему столику. Спрашивает, уверенный в ответе:

— Хорошо поели?

Я похлопываю себя по животу. Он смеется.

— Маленькую рюмочку?

— Спасибо, Саид, не надо спиртного. И так очень хорошо.

— Кофе?

— Я уже заказал его малышке.

Саид берет стул, садится, делает лицо человека, собирающегося сказать важную вещь:

— Вы видели того человека?

— Какого, Саид?

— Того, что только что вышел. Он разговаривал со мной.

Нет, я не обратил внимания. Я думал о своем романе, он у меня всегда крутится в голове. Но я не хочу разочаровывать Саида. Я говорю:

— А, того человека?

— Ну да. Дело в том, что этот человек — мой самый лучший друг.

Я одобрительно киваю, чтобы показать, до какой степени польщен оказанной мне честью и доверием. Саид продолжает:

— Это мой лучший друг, но сам он об этом не знает.

Я удивленно смотрю на Саида.

— Что все это означает, Саид?

— Это значит, что я решил, что он мой друг, я для него сделаю все что угодно, но я никогда об этом ему не говорил. Он мой друг в моем сердце.

— Но он тоже считает вас своим другом?

— Этого я не знаю. И это мне все равно. Он мой друг, я думаю о нем как о моем друге, моем лучшем друге, этого достаточно. Вот и ваш кофе.

Саид поднимается и скромно удаляется. Ему надо было кому-то открыться. Я горд, что он счел меня достойным этого... И я принимаюсь думать о том, что, может быть, по всему огромному миру рассеяно много одиноких людей, тоже избравших своим одиноким сердцем лучшего друга, который даже не знает об этом. Так же как доблестный рыцарь

из куртуазных романов выбирал одну Даму из всех и посвящал ей свою жизнь и свои подвиги, так же как бывает тайная безнадежная любовь, когда даже не мечтаешь, что однажды на тебя обратят внимание, должны существовать залежи горячей дружбы, бескорыстной преданности, скрытые в самых тайных глубинах души мужчин и женщин, о которых не знают сами обладатели и которые умрут вместе с их щедрой душой. В общем, как в сонете Арвера[1] о дружбе... Но может быть, Саид просто старый романтичный и болтливый педик?

Я возвращаюсь в свою берлогу, с головой, полной новым сюжетом, горя желанием приняться за дело. Да, но сначала я должен закончить главу для Суччивора и передать ее ему завтра. К черту Суччивора! Из-за него я теряю нить, вдохновенье. Везет тем счастливчикам, которых ренты, унаследованные от родителей, избавляют от необходимости надрываться в изготовлении всякой чуши на продажу для суччиворов и которые могут посвятить себя и свою жизнь целиком только творчеству. Нетрудно быть гениальным, когда кроме этого, больше заняться нечем!

Я совсем забыл о Суччиворе. Мое прекрасное настроение испарилось. И кус-кус начинает тяжелым грузом давить на желудок... Я решаю подняться по лестнице пешком. Это заставит сдвинуться с места еду и разбудит мою канализацию. А главное, оттянет момент, когда я останусь один на один со своей грязной работенкой.

Уже на пятом этаже я начинаю понимать, до какой степени мне недостает тренированности. Я хватаюсь за перила, как старик, к счастью, никто меня не видит... Нет, кто-то есть! Когда я почти достиг своей площадки и мне осталось преодолеть только около десятка ступенек, я увидел на предпоследней ступеньке две ноги, стоящие рядышком. Две женские ступни. Кокетливо обутые. Которые продолжаются двумя икрами, одетыми в паутинный нейлон — это одно из прилагательных, которыми я бесстрашно усеиваю труды, предназначенные для Суччивора, — так, значит, паутинный. Что здесь делают эти ноги прекрасной пришелицы, существа женского пола, чье прелестное, без сомнения, тело служит продолжением столь прелестных ног?

Это не может быть Лизон — не ее день. И потом, Лизон, услышав, что я поднимаюсь, окликнула бы меня, сбежала бы мне навстречу, схватила бы меня в объятья, жадно зацеловала бы... Тогда Элоди? Но не в ее духе сторожить на лестнице... Последним усилием я достигаю площадки... и ответ найден:

— Стефани!

— Ну да, это я. Привет!

— Гм... Здравствуй. Что ты здесь делаешь?

— Разве непонятно? Я ждала тебя, представь себе.

— А, ну да... Что-то случилось?

— Случилось, что у меня к тебе есть дело.

— О... Я начинаю беспокоиться. Давай говори.

— Прямо здесь? Ты бы мог впустить меня, тебе не кажется?

— Ты права. Извини. Это оттого, что я удивлен, не ожидал...

— Могу тебя сразу же успокоить: ничего страшного. Ну, открываешь?

1. Алексис-Феликс Арвер (1806—1850) — французский поэт, известный как автор сонетов.

Я открываю. Боже мой, конечно я обеспокоен. Я не видел у себя Стефани после того случая с фотографиями. Лизон всегда приходит одна. Если Стефани не посчитала за труд пересечь добрую часть Парижа, значит, что-то произошло. Что-то такое, о чем она не могла сказать по телефону...

— Ну и...

— Ты не предложишь мне сесть?

Я указываю ей на канапе, единственное свободное сиденье. Она пробирается туда, садится. Садится скрестив ноги. Хочу заметить, не по-турецки, а как Марлен Дитрих.

Только с этого момента я начинаю видеть все так, как должен был бы увидеть с самого начала. У Стефани, которую я никогда не видел иначе как в джинсах, свитере, куртке и в грубых башмаках, у Стефани есть ноги! Те самые, которые встретили меня на верху лестницы. Ноги, осененные сиянием паутинки, как я уже говорил, и очень красивые, право слово. Почему они прячут их, свои ножки, эти дурочки? Ответ: для того чтобы старые свиньи вроде меня не истекли слюной и не скончались от инфаркта, само собой понятно... А платье! Стефани в платье! Мини-мини за пределами возможного, конечно же ясно, что не мамочка купила ей его на Рождество.

Сидеть на канапе скрестив ноги, в таком платьице — это больше, чем соблазнять дьявола, это значит просто его насиловать. К тому же на ней не колготки, на ней чулки, чулки со всей остальной сбруей, это вам не держатель для носков, это его двоюродный братец, пояс с подвязками, вот что.

Стефани для делового разговора со мной вырядилась в платье до трусиков, чулки кокотки и пояс с подвязками!

У меня, должно быть, достаточно обалдевший вид, потому что она разражается смехом. Довольно натянутым смехом, если вслушаться. Этот смех слетает с губ, ненатурально розовых. Я присматриваюсь. Теперь я вижу, что на глаза тонко наложены тени, ресницы удлинены, прическа умело растрепана... Она в этом разбирается, малышка. Незаметно, но эффектно.

От смеха вздрагивают ее две маленькие грудки, не стесненные ничем, настолько широко расставленные, что в вырезе, довольно большом, даже не видно никакой впадины между ними. Я не смею понять...

О том, чтобы сесть перед ней на пол, нет и речи! Лучше сорвать с нее сразу же всю амуницию и немедленно изнасиловать, как она того заслуживает. Так что я благоразумно усаживаюсь на канапе как можно дальше от нее. Я притворяюсь, что не заметил ничего необычного, и, обращаясь к ее левому профилю, говорю:

— Ну, хорошо, Стефани, что у тебя за дело?

Честно говоря, я пытаюсь это сказать, но из моего горла вырывается что-то наподобие совершенно неожиданного карканья. Влияние подавленного сексуального возбуждения на голосовые связки — неплохая тема для докторской диссертации в области медицины... Я прочищаю горло. Хочу повторить свой вопрос. Одним движением она придвигается ко мне, прижимается, обнимает:

— Поцелуй меня.

Так вот оно что! Сказать по правде, я горю желанием. Однако я этого не сделаю. В общем, надеюсь. Я должен сдержаться. Боже, как это тяжело! Но нельзя, нельзя!

А почему нельзя?

Действительно, почему?

Не знаю. Нельзя, я это чувствую. Свежая, как цветок, женщина предлагает мне себя, и что же? А то, что это будет грязно, вот что. Из-за Лизон, теперь я это хорошо понимаю. Лизон не обижается из-за Элоди, она даже чувствует себя в роли воровки, Лизон считает, что у меня целая куча интрижек — кто имеет, тому дается, — и это ее забавляет, но что-то мне шепчет, что со Стефани так дело не пойдет. Я чую какой-то подвох, мне это совсем не нравится.

В первый раз я отказываюсь от подставленных губ. Должно быть, Стефани в первый раз видит, что ее губы отвергнуты. Мне это стоит действительно огромных усилий, потому что она просто восхитительна, а я в таком состоянии...

Разъяренная маленькая чертовка! Сжав мою голову маленькими жесткими руками, она трется своими острыми грудками о мою грудь, чувствую, что не смогу долго сопротивляться. Ее губы ищут моих, которые уклоняются, гримасничают, перекашиваются от одной щеки к другой и чувствуют себя ужасно смешными. Мы играем "Федру" навыворот или как целомудренный Иосиф отвергает жену Потифара; все время отодвигаясь, я оказываюсь почти на полу. Но ее колено оказалось между моих ног, оно ищет эту большую зверушку, оно ее находит, ай, ай, но Стефани, девственница она или нет, должно быть, считает, что с мужчинами надо действовать жестко, и, подталкиваемая сексуальным возбуждением, проснувшимся во всей своей ненасытности, она просто раздавливает мое хозяйство, я ору, это разбивает настроение, неудержимое восхождение к бесповоротному шагу резко остановлено, судья свистит, матч окончен.

Я защищаю свою ширинку обеими руками, сложенными раковиной, так завершается для меня эта ужасная попытка соблазнения. Что касается Стефани, кажется, она не поняла, что случилось. Все же надо было бы, чтобы им, этим глупеньким девочкам, на уроках полового воспитания немножко рассказали, до какой степени мужские яйца вещь хрупкая, беззащитная из-за своего неудачного анатомического расположения, подверженная всем наихудшим превратностям жизни, самая уязвимая для боли, часто неадекватной нанесенной травме. Очень мило, когда учительница, поэтично объясняя суть дела, обводит указкой на красивой цветной картинке папину тычинку, которая вводит маленькое семечко в мамин цветок, но она забывает, эта краснеющая учительница, сообщить милым светлым головкам о том, что мама может убить папу одним хорошим ударом по яйцам или, по крайней мере, сделать его тычинку неспособной на некоторое время к введению маленького семечка в цветок.

Стефани в своей простоте, должно быть, подумала, что мои "Уй-уй-уй-уй!" выражают протест супермужественного самца, не выносящего, чтобы самка брала инициативу в свои руки. Сбитая с толку, она свора-

чивается в клубочек, подняв колени к подбородку и открыв мне ошеломляющий вид своих белых ляжек, которые наверху уже не закрываются чулками и подобны... белым ляжкам, не закрытым чулками, с этим ничего уже сравнить нельзя. Кружевной пояс с подвязками, трусики с оборочками, дырочки, устроенные с дьявольским уменьем в ошеломляющих местах, заставляют меня почти забыть о своей боли, которая, впрочем, уже проходит. Как и где эта девчонка достала принадлежности проститутки высокого полета? Все же, наверное, не в каталоге "Труа Свисс"? Должно быть, она одолжила их у матери, которая, по моим подозрениям, вынуждена подкреплять свои прелести для того, чтобы заставить пресыщенного или достигшего предельного возраста папашу найти возможность поместить маленькое семечко в самое сердце волшебного цветка. Эти соображения опять разбудили во мне ту свинью, которая было уснула. Решительно, у меня слабость к мамашам. Я чуть было не сказал: "Приходи со своей матерью", это было бы незаслуженно подло, а я ведь вовсе не подлый.

Не подлый, но любопытный. Я хотел бы понять. Не поворачиваясь к ней, все еще злясь на свои собственные эмоции, я спрашиваю помимо воли нежным тоном:

— Зачем все это, Стефани?

Ответа нет. Только всхлип. Я бросаю взгляд, стараясь, чтобы он не попал в опасную зону. Низко наклонив голову, застыв в своей гротескной позе соблазнительницы, которой не удался ее фокус, она плачет. Внезапно ее ошеломительные ухищрения превращаются всего-навсего в уловки одетой для маскарада маленькой девочки. Она — несовершеннолетняя пленница, брошенная на помост невольничьего рынка, ее бедное слишком бледное тело выставлено напоказ, и им пренебрегли... Меня охватывает волна жалости. Я кладу руку ей на голову. Плач превращается в рыдания. И представьте себе, жалость, святая жалость, да, пробуждает во мне внезапную и мощную похоть, вынырнувшую неизвестно из какой мрачной клоаки. Что я за мерзкая свинья! Для секса все пути хороши. Я вдруг понимаю тех отцов, которые лишают девственности своих дочерей после хорошей порки. Они бьют их не для того, чтобы изнасиловать, нет. Просто их слезы после полученной выволочки пробуждают искреннюю жалость, а жалость эротична, чему я получил экспериментальное подтверждение. Но я, я говорю нет, этого не будет. И на сей раз никто не будет пинать меня по яйцам для усмирения. Я отрываюсь не без труда — и не без того, чтобы не обозвать себя несчастным дураком, — от соблазнительного зрелища и бегу в ванную, чтобы смочить голову, а также другие места холодной водой.

Когда я возвращаюсь, нахожу ее на том же месте, но теперь она сидит прямо, натянув юбку на сомкнутые колени. Она больше не плачет. Ее припухшие глаза смотрят враждебно. Я молчу. Я жду. Она первая не выдерживает:

— Ну как? Ты доволен? Занимался любовью с краном? Получил удовольствие, по крайней мере?

Как отвечать на подобное? Я начинаю терять самообладание, но стараюсь сдерживаться. Я говорю как можно спокойнее:

— Стефани, я не понимаю. Объясни мне.

Она подпрыгивает:

— Тебе еще надо объяснять? Разве не понятно? Когда я говорю "поцелуй меня", это означает "поцелуй меня". И не притворяйся, пожалуйста. Ненавижу лицемеров. Я тебе не нравлюсь, согласна, так и скажи. И привет, до свидания.

"Привет, до свидания", но она не трогается с места. А мне уже надоело все это. Я говорю:

— Это означало "поцелуй меня"... и продолжение. Так?

— О, дерьмо, ты хочешь, чтобы я полностью облажалась? Это тебя забавляет, садист? Да, "и продолжение", да, да, да! Почему бы и нет? Если бы я тебе сказала, как Лизон: "Я хочу, чтобы вы занялись со мной любовью", ты нашел бы в этом привкус в который раз подогретого блюда, разве не так? Почему Лизон и почему не я?

Опять она начинает плакать.

— Но, Стефани, потому что она Лизон, а ты — это ты.

Я борюсь с желанием обнять ее за плечи, побаюкать... Сделать то, что принято делать в таких случаях. Но я боюсь опасности контакта. Зверь усмирен временно, он не отказался от своего намерения, он готов наброситься, он начеку... Тогда я говорю:

— Стефани, ты хорошо знаешь, что это причинит боль Лизон.

— О, Лизон, всегда Лизон...

— Но я ее люблю, Стефани!

— Ну и что? Кто тебе мешает? К тому же Лизон ничего и не узнала бы, раз ты так боишься. Потом, я знаю, что ей на это наплевать. Ты все равно остаешься с ней, она получает лучшее, она довольна, она счастлива.

— Нет, Стефани. С тобой все по-другому, и ты это знаешь. С тобой — это будет предательство. Я не хочу ей делать больно. И я вовсе не уверен, что ты это затеяла не для того, чтобы причинить ей страдания.

— Чего ты добиваешься? Ты считаешь меня последней дрянью?

Все же она избегает смотреть мне в глаза. Я думаю, что я попал в цель. Чтобы сменить тему, я предлагаю:

— Я заварю чай. Хочешь?

Она делает недовольную гримасу:

— Чай! Ему преподносят самую красивую девушку в мире на золоченом подносе, а он отвечает: "Хочешь чаю?" Иди ты знаешь куда...

— Да, Стефани, знаю. В таком случае до свидания. У меня много работы.

Вдруг она смягчается:

— Хотя ладно, дай мне чаю. С молоком. Кажется, молоко хорошо успокаивает, когда кое-где зудит.

Я сдерживаюсь и не предлагаю ей банан, он ведь тоже помогает, но я сомневаюсь, что она в состоянии оценить этот солдатский юмор. Пока я в кухне ставлю воду на огонь, она кричит мне:

— Работа, о которой ты говоришь, это твой пресловутый роман?

От неожиданности я чуть не падаю.

— Тебе Лизон сказала?

— Успокойся, твоя Лизон мне ничего не говорила. Но я просто читаю по ней как по раскрытой книге, она совсем прозрачна, бедный ягненок, а я умножаю два на два и получаю четыре.

А я говорю себе, что маленькая гадюка передумала и приняла мое предложение насчет чашки чая именно в тот момент, когда я намекнул на работу, а теперь, похоже неспроста, наводит разговор на мой "пресловутый" роман. Это мне не нравится. Надо узнать, что ей вообще известно.

Мы пьем из двух цветастых чашек, подарка Лизон. Я дую на горячий чай и жду вопроса, который наверняка не заставит себя ждать. И правда:

— Это роман о любви?

— ....

— Ты не хочешь о нем говорить? Честное слово, я никому не скажу. Никому.

— ...

— Автобиографический?

— ...

— Говори, не стесняйся. Там полно секса, держу пари. Насколько я тебя знаю, ты не можешь писать ни о чем, кроме секса и постели.

— ...

— Мне плевать, я расскажу всем, что ты пишешь отвратительную книжку, полную порнографии, членов, спермы, которая сочится отовсюду, настоящий ужас, и что ты туда поместил кучу народу, и всех можно легко узнать, начиная с твоей драгоценной Элоди Брантом, почтенного преподавателя нашего почтенного лицея...

На этот раз ее ядовитое очарование не действует. На моем спокойном лице сияет безмятежная улыбка, означающая "говори что хочешь...". Она поднимается, она едва притронулась к чаю. Она говорит: "Привет, бедолага!", она хлопает дверью, она ушла.

Как бы ее раз десять не изнасиловали из-за ее прикида, пока она дойдет до метро... Может быть, я должен был бы ее проводить? Ох, ну и дерьмо!

У меня испортилось настроение. Из-за Стефани?

Может быть... Но нет, это же просто ребячество, размолвка маленьких самочек, которые ссорятся из-за мальчиков в кафешках, в общем типичные "Элен и ребята". Однако осталось неприятное чувство, смутное недовольство. Я причинил ей боль, вот что, а это я плохо переношу. Не оттого что отказал в том, чего она добивалась, но оттого что вышел победителем в схватке. Мне понятна ее коварная игра сеятельницы раздора, но вопреки уверенности, что поступил так, как надо, я не могу отделаться от неприятного чувства, что одержал верх. Когда один выигрывает, другой теряет. Жаль. Победа мне горька, потому что есть проигравший. Я почти предпочел бы проиграть. Такой уж я. Кролик, который, убежав от волка, ему же сочувствует.

Мое стремление писать упало до нуля. Я томлюсь желанием разобраться во всем. Плохой знак. Я веду такую жизнь, которую любой здравомыслящий человек назвал бы дурацкой жизнью, но я так не считаю. Хотя бывают моменты...

Как сейчас, например. Тяжело жить на обочине. Даже когда знаешь, что не сможешь жить, как люди. Я ее уже пробовал, прямую линию. Ужасно. Как они могут?.. У моей жизни нет ни головы, ни хвоста, но ведь игра как раз в том и состоит, чтобы идти от головы до хвоста, собирая

очки, это называется "продвигаться вперед", а в конце получить оценку "до конца выполненного долга". Для кого? Для чего? Для богов, которых люди себе сами изобретают, чтобы было кого бояться и перед кем отчитываться? Для внутреннего бога, которого они называют "совесть", "честь", "гордость", "чувство долга", "соперничество", "жертвенность?"... Для того, чтобы их детишки, эти капельки спермы, рассеянные по всему свету, гордились ими, когда их самих уже не будет? Для того, чтобы удивлять потомков? Для... для... Их жизнь — это игра в "гусёк", с той только разницей, что последняя клеточка, клеточка победителя, является также и гробовой... Можете вы представить себе, олухи, что вас здесь уже не будет, чтобы насладиться зрелищем? Нет, они не могут. Они изобретают себе бессмертную душу, дабы избежать необходимости смотреть в лицо костлявой... О, как легко их одурачить! Они сами только того и хотят, они боятся, это малые дети, заблудившиеся в темном лесу. Тем лучше для них, если они могут лгать себе и верить в собственную ложь или в ту ложь, которую им внушают. Тем хуже для меня, раз я на это не способен.

Но у меня есть то, чего нет у них. То, чего они не могут иметь. Это постоянное восхищение, это безумное желание, ненасытное, всегда наготове, питающееся почти ничем, способное закатить целый пир из-за одной улыбки, возносящее восторги до самого неба из-за одного только предчувствия сближения. Моя мания — мистическая любовь к женственности. Для них это невозможно. Погружение в манию пугает. И все же дьявольская пропасть их притягивает, завораживает. В мужской компании говорят только о сексе, шутят только на тему секса. Для того чтобы заговорить дьявола.

Они бросаются на эрзацы: честолюбие, деньги, могущество, работа, враг, которого нужно ненавидеть, дети, которых надо растить, искусство, спорт, коллекционирование марок, проститутка, когда становится невтерпеж... Чтоб они сдохли! Впрочем, они так и делают с моего или без моего на то разрешения. И украшают гирляндами всю свою нескончаемую агонию.

Я знаю, что у меня мания, не что иное, как мания. Что я без всякого сомнения ненормальный — что-то не развилось в складках моего мозга, что-то гипертрофировалось до уровня мании. Или это произошло в раннем детстве, как сказала бы Бернадетта, которая была психоаналитиком, которую я любил безумно — умею ли я любить по-другому? — которая вышла замуж за последователя модной психоаналитической теории Лакана и гребет деньги лопатой. Бернадетта, которую я все еще люблю — и никогда не разлюблю — и которая... который... уф, хватит.

Раз мания есть, я пользуюсь ею на полную катушку. Она греет меня и веселит. Конечно, ей я обязан множеством неприятностей и все еще кровоточащими ранами, но насколько же больше было небесных мгновений! Взять хотя бы это чувство погруженности по самую шею в целый океан женщин, причем в каждое мгновение на этой планете! Два с половиной миллиарда женщин! Какое счастье!

Тогда что же мне мешает? Какой тайный недруг портит мне настроение и пачкает радость жизни? Посмотрим...

Я люблю Элоди. Я люблю Лизон. О, как я их люблю! Я спрашиваю

себя, люблю ли я Женевьеву... Конечно я ее люблю! По правде, я готов любить, любить настоящей любовью всех тех женщин, с кем мне дано сблизиться... Но к чему же я иду таким образом? Не все же как Лизон. Например, Элоди... Она не знает, что в моей жизни есть Лизон. Из-за этого мне приходится хитрить, лгать ей, как законной жене. Как во времена Агаты. Это было трудно! Но боже мой, как удается другим, не таким, как я, нормальным, довольствоваться только своей женой и не замечать других? Значит, любовь к одной женщине делает их слепыми? Это фокусирует их зрение в узкий пучок, нацеленный на единственную цель? А тогда, значит, у меня глаза как у мухи, фасеточные глаза, улавливающие пространство целиком?

Им случается на короткий срок отклониться на волосок от лазерного луча и заметить второй женский объект, блуждающий в межзвездной пустоте. Им случается почувствовать укусы великой вселенской похоти, и тогда они срываются, ломают все в конюшне и скачут галопом к сказочной цели. Но им дано только сменить кобылицу и кормушку, они поправляют шоры, и все начинается сначала, мир исчезает.

Как любовь к одной женщине может сделать слепым по отношению к другим? Я не говорю о литературе в духе романтизма. Гюго и прочие воспевали любовь с первого взгляда, любовь навеки, предначертанную свыше, Козетту и Мариуса, всю эту лирику, но ведь в жизни папаша Гюго бросался, как петух, за каждой юбкой и влюблялся направо и налево. Литература, ты большая лгунья! И как будто случайно этот романтический миф о единственной любви свирепствует на христианской части планеты, там, где догма предписывает строгую моногамию и клеймит адюльтер как отвратительное преступление. Ну да ладно, я же ненормальный, я вижу все искаженным из-за моей аномалии, не правда ли?

Все же я хотел бы, чтобы мне объяснили, как же они устраиваются, эти нормальные. Одна-единственная — и точка. Ладно. А других они уже не видят. Очень хорошо. Может, вопрос в железах внутренней секреции? Когда они пусты, женщины исчезают из мира? Они снова начинают возникать, когда поголовье сперматозоидов восстановилось и сиропчик для заселения Земли снова распирает яйца? Это они называют "зовом сердца", да? Тогда достаточно, чтобы законная супруга (или постоянная подруга) ухитрялась постоянно поддерживать их железы в состоянии пустоты, даже если она не всегда расположена к этому баловству, без ничего ничего и не бывает, опустошенный папаша становится работящим и трудится сверхурочно, чтобы оплатить своей семейке отпуск на Багамах.

Ну а я, даже совершенно пустой, даже с жаром под сорок градусов, я их люблю, я их обожаю, почитаю и желаю их, божественных! В любви существует не только потребность обладать, хотя все ведет к этому, и без черного солнца обладания в конце туннеля не было бы любви. Даже платоническая любовь притягательна для тех, кто ею одержим только из-за того блаженства, которого они себя лишают.

Есть ли у меня потребность в горизонтах, в горах, в океанах, в девственных лесах, в бесконечных степях, в солнце, в звездных ночах, в бурях, в кораблекрушениях, в ярких красках в приключениях? Все это

я получаю в каждой женщине. Любая женщина — это вселенная со своими пустынями и водопадами, своими галактиками и кораллами, большими каньонами Колорадо и райскими птицами, своими вечерами на берегу озера и дикими конями с гривами по ветру, все сущее и еще сверх того есть в каждой женщине, в ее глазах, в ее устах, в ее сказочной щели, в ее хитростях и ее доверчивости, в ее порывах и ее лжи, в нежнейшем пушке ее лона, в хрустале ее смеха... Что мне край света, если меня там не ждет женщина? И если она меня там ждет, на что мне край света?

Где бы ни очутились эти олухи, они созерцают занесенные в каталоги и справочники соборы и пирамиды, любуются заприходованными джунглями и музейными чудесами, но главное, они созерцают самих себя, густую толпу олухов с разинутыми ртами, свои дубли с кокой в руке и "Никоном" на пузе, сопровождаемых супругами с жестким взглядом, которые утоляют свою неудовлетворенность с большерукими докерами...

Я не питаю иллюзий. Мне хорошо известно, что женщины дадут фору мужчинам по части подлостей. Они такие же честолюбивые, такие же корыстные, такие же коварные, так же способны на жестокость, предательство и даже на преступление... Но это женщины! Их окружает волшебная аура, у них между бедрами спрятано сокровище, обворожительный ад, святая чаша Грааля... Мерзавец — это всего-навсего мерзавец. Самая ужасная мерзавка прежде всего женщина.

А как же семья, дети? Тьфу? Вот именно: тьфу! Но это природа! Нельзя плевать на природу! Природа, как и все остальное, я беру у нее и ей отдаю.

Подумайте о легионах придурков, которые придают такое большое значение девственности! Которые помещают свою честь в дырку своих дочек, своих жен! Но они не виноваты: общественное мнение, традиции, религия... Они не виноваты? Ну и ладно, тем хуже для них. А главное, тем хуже для их женщин.

IX

Элоди принимает неизвестно где, неизвестно какой экзамен у бог его знает каких многообещающих будущих специалистов. Лизон сидит дома у папы с мамой и лечит страшную ангину. В обозримом будущем нечего и надеяться на какое-то женское присутствие. А я так в нем нуждаюсь! Я дошел до того, что начинаю сожалеть о том, что оттолкнул Стефани...

В конце концов, раскрыв, на что она способна, зная, что она предательница и ее мысли порочны, я был в безопасности. Ее шокирующие приемчики не могли скрыть того, что она умирала от желания, была готова ко всему. Я вполне мог насладиться хорошим и воздержаться от плохого. Меня окатывает жаром, и я чувствую спазмы в низу живота, когда вспоминаю, как она открыто предлагала себя в своей наивной извращенности. Расчетливо, конечно, но с бьющимся сердцем... Что бы из этого вышло? Ну, такие вещи всегда как-то устраиваются. Мне пришлось бы усмирять кобылицу, а теперь у меня врагиня! И я подозреваю, что она весьма упорна в своей ненависти, маленькая чертовка!

Телефон. Это Женевьева! У Женевьевы антенны. Она издалека чует, когда надо прийти на помощь. Ее спокойный голос льется на мои мрачные мысли, растворяет их и уносит в канализацию.

— Я хотела узнать, как ты поживаешь.

— Так себе.

— Плохое настроение?

— Ну... Не очень-то хорошее.

— Ничего страшного не случилось? Какая-нибудь злючка сделала тебе бобо?

— Вовсе нет. Черная полоса. Она уже прошла. Спасибо, Женевьева!

Я как будто услышал, как она улыбнулась. Она спрашивает:

— У тебя есть минутка?

— Что ты называешь минуткой?

— Ну, часок. Два, самое большее.

— Сейчас?

— Если ты свободен.

— Скажи, в чем дело.

Она объясняет. Она ждет меня в доме своей старой подруги, среди собак, кошек и... канарейки. Там есть одна канарейка. Женевьева хочет представить мне Ноев ковчег. Она честно предупреждает, что, если захочу, я мог бы помочь ей переставить кое-какую мебель, но это не ловушка! Она будет очень счастлива снова увидеть меня.

Радость в ее голосе вовсе не простая вежливость.

Выйдя из метро, я попадаю за кулисы Города света. Оборотная сторона декорации. То, что совсем недавно было грязной окраиной с заводами, соседствующими с убогими хижинами и крошечными садиками, зажатыми между черными резервуарами городской газовой сети, все это бурно преображается. Ленты Мёбиуса дорожных развязок вьются во все стороны, в то время как у подножья гигантских, но уже оседающих башен все еще упорно цепляется за жизнь плесень маленьких домишек.

Бульдозеры копают ямы, торчат подъемные краны, трещат отбойные молотки, прорабы-португальцы орут на рабочих-кабилов.

Несмотря на подробные указания Женевьевы, я с трудом ориентируюсь в этой пустыне развороченной глины, где растут лишь пучки прутьев для армирования бетона.

Предусмотрительность Женевьевы оправдывает себя. Наконец я нахожу. В конце тупика с заросшей мхом мостовой, упершись задней стороной в траншею местной железной дороги, которая стала скоростной вследствие взмаха волшебной палочки доброй феи, втиснувшись между двумя высокомерными рядами зданий-аквариумов, на всех этажах которых красуются таблички “Помещения внаем под офис”, стоит старенький серый домик в глубине маленького дворика с гравийной дорожкой и двумя рододендронами, одним слева и другим справа. Вокруг ограда в виде античной решетки с пиками и завитушками между пиками.

Я удивлен тем, что не вижу ни кошек, ни собак в пространстве между решеткой и крыльцом. Под руку мне подворачивается заржавевшая

ручка на цепочке, я тяну, настоящий колокольчик с язычком дергается на высоте моего роста, издавая сухой и надтреснутый звон, немного спотыкающийся, но живой. На него сразу же отзывается лай словно сорвавшейся с цепи своры.

Открывается застекленная дверь, оттуда с визгом и рычанием вырываются три собаки, одна из них Саша, он узнает меня и принимается яростно прыгать со своей стороны решетки. Женевьева появляется в свою очередь на крыльце, одним прыжком одолевает три ступеньки, отпирает калитку в решетке, и вот она в моих объятьях. Скорее, я в ее. Нам хорошо. Женевьева — это защита. Женевьева наконец со мной, брошенный пес прижимается к чему-то большому, нежному и теплому и больше ничего не боится.

С Саша я здороваюсь с первым, он не допустил бы, чтобы его задвинули на второй план. Затем с двумя его приятелями, которые подталкивают меня носами.

Женевьева прыскает со смеху:

— Береги силы, есть еще другие!

Когда наконец завершены дружеские поцелуи, она берет меня за руку и ведет в дом.

Мы проходим по узкому коридору, пересекающему весь дом и заканчивающемуся такой же, как первая, дверью, застекленной церковным витражом, который в былые времена составлял предмет гордости представителей трудящихся классов, достигших в результате упорного труда и экономии желанного статуса хозяев частного владения.

Я ожидал, что меня охватит сильный и стойкий запах кошачьей мочи, не поддающийся удалению. Я плохо знал мою Женевьеву. Веяло только едва ощутимым жасминовым ароматом дезинфицирующего средства. Дверь в глубине открывается в пресловутый сад. Я предвкушал печальное уныние городского садика и заранее приготовился к грустному зрелищу. Действительно, этот садик — пленник серых стен, зажатый ими со всех сторон, кроме одной, но он не унылый, вовсе нет.

Разве какое-нибудь место может быть унылым, когда там полно кошек? Я не знаю, сколько пар золотистых глаз уставилось на меня — позже Женевьева скажет мне, тридцать девять, — отовсюду: с высоты узловатых ветвей трех вишневых деревьев, с подоконников, со ступеней маленького крыльца, с большого перевернутого цветочного горшка... со всех мест, куда может забраться кошка.

В саду не могут существовать одновременно кошки и цветы. В этом саду живут одни кошки. Его цветы — это кошки. Цветы двигающиеся, прыгающие, трущиеся об меня, выгнув спинку... Разношерстные и разноцветные, от рыжей полосатой до пушистого голубого перса, от белоснежного до черного, как безлунная ночь, они украшение и жизнь этого потайного уголка рая.

Собак меньше, — всего девять, призналась мне Женевьева! — но они более экспансивны. Они окружают меня, наседают, толкаются, обязательно хотят знать, что я такое и что мне нужно, и в конце концов оказывается, что им на все это наплевать, лишь бы я их приласкал. Все

эти хвосты, хлещущие воздух! Эти нетерпеливые носы, эти преданные взгляды...

В конце концов я замечаю точно посередине, в треугольнике между тремя вишневыми деревьями старинный садовый столик из жести, должно быть бывший зеленым в свое время и до сих пор кое-где сохранивший этот цвет. Кружевная салфетка ослепительной белизны оживляет эту ветхую древность. Здесь же стоит ивовое или тростниковое кресло, я не очень-то разбираюсь в подобных вещах, экзотическое сиденье с высокой веерообразной спинкой, как в фильмах, действие которых происходит в Мексике во времена Вильи и Сапаты. Затерянная в глубине кресла маленькая старая дама силится держаться прямо, несмотря на жестокий артроз. Роскошная спинка кресла сияет вокруг нее настоящим ореолом. Женевьева представляет нас:

— Арлетт, это Эмманюэль.

Арлетт кивает. Она улыбается всем своим лицом с розовыми щечками, принадлежащим к разряду физиономий, старящихся без морщин. Лицо долгожительницы. Арлетт кивает, но ей нужно большее. Она принадлежит той эпохе, когда приличия не довольствовались просто именами. Рассматривая меня своими голубыми глазами, лишь слегка затуманенными возрастом, она требует:

— Эмманюэль, а дальше?

Женевьева не знает или забыла. Между нами говоря, фамилии... Так что я вынужден уточнить, ожидая всегдашнего продолжения:

— Эмманюэль Онегин, мадам.

Это срабатывает, как обычно:

— О, как...

— Как герой Пушкина, да, мадам. Но это совпадение. Ничего общего...

У нее разочарованная гримаска. Ничем не могу помочь. Может быть, мне стоит изобрести какое-нибудь генеалогическое древо, которое более-менее породнит меня с Онегиным (Евгением) и доставит всем массу удовольствия? Надо бы об этом подумать.

Так как Женевьева оставила без внимания дальнейшую фазу представления, дама занялась этим сама, слегка наклонив голову:

— Арлетт Добинье.

Она уточняет с лукавым видом:

— В одно слово[1].

Ну и... Женевьева подает чай. Арлетт — мне немного странно называть такую древнюю особу просто по имени, — так вот, Арлетт желает знать, люблю ли я животных. На что я отвечаю, что да, очень, как же их можно не любить? Она продолжает расследование:

— У вас есть животные?

Нет, у меня их нет. Я признаюсь ей в этом понурив голову, взвешивая про себя, насколько это входит в противоречие с моим предыдущим утверждением. Не могу же я сказать ей, что веду очень рассеянную жизнь, а главное, до какой степени я ленив. Я могу пообедать, когда меня одолеет голод, заплесневелой корочкой и остатками варенья на дне банки, но кошка, но собака, они же требуют регулярного и сытного

1. Очевидно, намек на то, что старая дама не претендует на родство с прославленным французским поэтом-аристократом Теодором Агриппой д'Обинье (1552—1630).

питания. А потом, собаку надо выводить, а для кошки менять песок... Она припирает меня к стене:

— Вы их любите и у вас их нет? Как можете вы устоять?

Могу очень даже хорошо. Моя драгоценная лень, мой сладостный эгоизм превосходно сочетаются с моим одиночеством, даже если оно лишает меня некоторых радостей, таких, например, как присутствие милого животного. Все же я не могу сказать ей всего этого. Но в этом нет нужды, она прекрасно справилась сама:

— Слишком много беспокойства, не правда ли? Слишком много требований? Вы боитесь, что не справитесь? Я понимаю. И вы правы. Можно брать на себя ответственность за животное, если только хорошо представляешь себе, к чему это обязывает, и если уверен, что сможешь выдержать все трудности... Жизнь кошки или собаки длится долго. От четырнадцати до двадцати лет. И в то же время она слишком короткая. Мы привязываемся к ним, а они умирают. А последние их годы могут быть очень трудными. Надо это знать и подумать об этом. Когда выходишь замуж или женишься, можно питать иллюзию, что умрешь одновременно со своим супругом, хотя... Короче, можно по крайней мере надеяться, что состаришься вместе, друг подле друга, так как наши жизни продолжаются приблизительно одинаково, не правда ли? В случае с животным мы знаем, что оно покинет нас в день, который можно вычислить почти точно. Это ужасно. Потому что, даже зная это, мы не можем рассчитать нашу любовь. Отдаешь себя полностью, словно это навеки...

Милую старую даму очень опечалила собственная речь. Она на грани слез. Женевьева встает, обнимает ее, молча целует прекрасные седые волосы. Потом бросает мне улыбаясь:

— Ты видишь, как хорошо я сделала, не оставив тебе моего Эрнеста! Ты еще не созрел. И никогда не созреешь. Ты сам — бродячий кот. Ты сам нуждаешься в том, чтобы о тебе позаботились.

— Ты, Женевьева?

Она краснеет. Смотрит мне прямо в лицо:

— Нет. Конечно нет. Ты слышал, что сказала Арлетт. Ты слишком молод. Ты проживешь намного дольше, чем я, и тогда кто позаботится о том, чтобы сменить тебе подстилку?

Правда в том, что, несмотря на свое непобедимое влечение к одиночеству, я совершенно не приспособлен для отправления обязанностей, накладываемых независимостью. Взгляд Женевьевы задерживается на воротничке моей рубашки. Утром мне действительно показалось, что на месте сгиба он немного протерся, но я не думал, что это будет заметно. Износился? И читаю в глазах Женевьевы: “Износился”.

Арлетт просит Женевьеву показать мне владенье, пока сама она немного передохнет. И вот мы отправились, под ручку. Садик крошечный, но, не знаю каким образом, отвратительные гигантские макеты отсюда не видны. Большой кусок синего неба влечет взгляд в бесконечность. Женевьева задумчива. Я замечаю, что говорю в пустоту. Я спрашиваю:

— Ты где, Женевьева?

Она встряхивает головой, останавливается, смотрит на меня со всепонимающим видом:

— То, что тебе надо, так это необитаемый остров, вымощенный женскими бедрами.

— Не только бедрами, Женевьева! Грудями тоже! Животами, руками, губами, улыбками!

— Как раз об этом я и говорю. Женщиной. Вернее, женщинами. Навалом, вываленными из самосвала, как из рога изобилия.

— Прекрасная мечта!

— Только это всего лишь мечта. А на самом деле как ты приспосабливаешься к реальности?

— Не так уж плохо, право. Ну, конечно, я должен идти на кое-какие уступки.

— Тебе приходится растягивать удовольствие, если я правильно поняла?

— Можно и так сказать.

— Значит, ты хитришь, ты врешь, ты порхаешь, ты прячешься в шкафу, сбегаешь в одну дверь, возвращаешься в другую... Как в пьесе Фейдо[1]! Должно быть, это очень утомительно.

— Тем более что я работаю. К тому же я начал...

Ай! Попался, я сказал слишком много. Женевьева почувствовала мое замешательство.

— Если это секрет, не рассказывай.

— В любом случае это уже не настоящий секрет. Дело вот в чем. Я пишу. Для себя. Роман. Это как гром среди ясного неба. От письма я просто балдею, ты понимаешь, Женевьева?

Она кидается мне на шею.

— Это прекрасно! Как я счастлива! Как хорошо, что ты так увлечен... Главное, не сдавайся! Не отвлекайся, не трать время и силы...

— На моих милых, ты хочешь сказать? Но, Женевьева, именно они меня и вдохновляют! Они удерживают меня в состоянии благодати, в превосходной форме! Ты сказала, женщин навалом. Ну вот, именно этим я хочу заполнить мою книгу. Как говорить о сексе, если сам не погружен в секс?

Она вздыхает:

— Тебе виднее.

Она делает робкий жест к моему воротничку:

— Ты знаешь, когда я еду сдавать работу, проезжаю недалеко от твоего квартала. Я могла бы заскочить. На мопеде это ничего не стоит. Ты отдашь мне свои рубашки постирать. А воротничок можно вывернуть.

— Но, Женевьева, где ты возьмешь время? Ты и так чересчур загружена.

Она пожимает плечами:

— Время всегда находится. Это доставит мне удовольствие.

У нее почти умоляющий вид. Вдруг я начинаю возбуждаться. Все же это кое-чего стоит! Я говорю:

1. Жорж Фейдо (1862—1921) — французский комедиограф, автор ряда пьес в духе водевиля.

— Ну ладно, согласен, Женевьева. Ты... Ты чудесная! У нас будет случай лишний раз повидаться.

Право слово, мой голос звучит весьма странно! Хрипло, я бы сказал... Только что мы занимались любовью под предлогом стирки воротничка рубашки. Изношенного.

Однажды я спрашиваю у Женевьевы:

— Я действительно глупый, грязный мачо[1], Женевьева?

Я никогда не задавался таким вопросом, и вот неизвестно в связи с чем и по какому поводу — быть может, что-то где-то услышанное краем уха — он меня мучает. Женевьева размышляет.

— Я никогда не встречала мужчины, который в большей или меньшей мере не был бы таковым. И чаще в большей, чем в меньшей. Даже среди тех, кто считает себя другим. По моему мнению, мужчины, который абсолютно не был бы мачо, просто не существует. Потребность доминировать, агрессивность самца, все это... Природа, в общем. Самец — это тот, кто побеждает, кто тащит девку за волосы, кто проникает, кто взламывает... Надо приложить усилия, чтобы не дать волю естественной склонности обладать, подавлять, сильный пожирает слабого, надо быть все время настороже. Это как демократия: непрекращающаяся битва против старых добрых инстинктов. Против природы, короче говоря.

— А я, Женевьева? Куда ты помещаешь меня?

— Ты, мой бедный цыпленок, ты впадаешь в другую крайность. Ты настолько любишь женщин, их плоть, их повадки, их недостатки... их женственность, наконец, ты так их любишь, что забываешь о мужчинах. Их как бы не существует. Ты их вычеркнул. Ты живешь в мире женщин, где ты единственный мужчина. У тебя нет властолюбия, потому что с несуществующими противниками не за власть борются, твое подсознание отправило соперников в небытие. Мир, в котором ты живешь, — воображаемый, хотя твои действия вполне реальны. В этом мире существуют только женщины. Ты не вступаешь с ними в борьбу за власть. С теми, кто составляет смысл существования, не соревнуются. Ты добровольно соглашаешься подчиняться, быть побежденным, но только женщинами. Мы, все вместе, для тебя не что иное, как одна жадная вульва, одна пара грудей-кормилиц. Мы — это любовница и мать, богиня-мать с боками широкими, как мир, с неиссякаемым выменем, с сочной щелью, распутство и убежище, сладострастье и покой. Вот как функционирует твоя тайная космология. Вот к чему для тебя сводится мир с его атомами и галактиками. Мачо, ты? Нет, ты не мачо. Напротив, ты немного мазохист, ну, я не хочу сказать...

Я стою с разинутым ртом. Она никогда об этом так много не говорила.

А еще она никогда не говорила так долго. Все, что я могу сказать в ответ, это:

— Понятно...

Она сильно краснеет, она хотела бы взять обратно сказанное. Ее охватывает гнев:

1. Мужчина-самец, брутальный покоритель женщин (*исп.*).

— Ты меня достал, знаешь? Мы болтаем, нам хорошо, бац, тебе надо все испортить своими дурацкими сомнениями. Может, ты думаешь, что стоит мачо объяснить, что он мачо, как он изменится? Ничуть не бывало. Это лишь укрепит его позиции. Он скажет себе: я таков, и это предопределено судьбой, мне ничего не остается, как идти до конца. Он играет свою роль. Ладно, я опаздываю. Чао!

Я записываю две строчки, которые только что пришли мне в голову. Надо будет поместить их в мою книгу.

Я расставляю ловушки, приманка в которых я сам,
На хищников, добыча которых я сам.

Милые, милые хищники...

Лизон стало лучше. Для нее тоже эта неделя была ужасно долгой. Мы договорились встретиться в задней комнате маленького бистро, милого старого маленького бистро. Передо мной стоит кружка пива, пена в ней медленно оседает, я жду того невероятного момента, когда она толкнет дверь, прижимая связку книг к сердцу. А мое сердце екнет, так всякий раз, я никогда к этому не привыкну, и это мне очень нравится.

Я слышу короткое "дриньк!" дверного колокольчика с улицы. Делаю глубокий вдох. Готовлюсь к слишком сильному шоку от счастья. Но нет, это не она, их целая банда, подростковые голоса, голоса девочек и ребят мешаются со смехом и восклицаниями "Да уж, он такой!". Это место не очень часто посещается молодежью... О да! Это она! Моя Лизон! Она спокойно толкает двойные створки дверей, прижимая обеими руками книжки к сердцу, ее взгляд еще с порога нацелен на то место, где он обычно меня находит. Я встаю. Но почему она не подбегает? Почему стоит в дверях, заслоняя кому-то вход.

Над плечом Лизон появляется лицо.

— Куку!

Стефани... Ее-то я вовсе не ожидал увидеть. Лизон поднимает глаза к небу. С покорной миной она объясняет мне:

— Это друзья. Я не смогла отвязаться от них.

Друзья врываются, толкая Стефани, очень похожие на игривых щенков. Два образчика нашей прекрасной спортивной и беззаботной молодежи.

— Это и есть твой секрет? — спрашивает блондин. — Здравствуйте, месье.

Это "месье" безапелляционно ставит меня в мои возрастные рамки.

— Ну что, смываемся? — предлагает темный шатен.

— Невежа! — говорит Стефани. — Подожди минуту, горит, что ли.

Лизон ничего не говорит. Она подходит прямо ко мне, безмятежная, такая красивая, роняет книжки на столик, бросает мне на шею свои обнаженные руки, благоухающие юностью, и взасос целует прямо в губы одним из тех поцелуев, которые в крупном плане на многих метрах пленки поднимают напряжение и благоприятствуют сближениям в темном зале.

Шатен реагирует по-своему. Он чувствует себя обязанным сострить:

— Мне кажется, тут многовато лишних....

Стефани не согласна:

— Почему? Мы пришли отпраздновать воскрешенье Лизон, и мы его отпразднуем. Ты заплатишь за шампанское, Эмманюэль?

Блондин молчит. За него говорят его глаза.

Лизон неторопливо отнимает губы, попутно оставляя легкий поцелуй на моем носу, обнимает меня за талию и, положив голову мне на плечо, спокойно обращается к веселой компании:

— Ладно. Пошутили, и будет. Теперь попрощаемся. Если только вы не сговорились меня достать. В таком случае предупреждаю, мы больше не друзья.

— Пф... — произносит Стефани.

— Ну?.. — говорит Лизон.

Лизон подходит к темному шатену, берет его за плечи, звонко чмокает в обе щеки. Славный малый, он делает то же самое. Очередь блондина. Я предчувствую, что это будет труднее. Когда она кладет ему руки на плечи, он хватает ее за запястья, откинув назад голову, чтобы избежать дружеских поцелуев. Трагически смотрит на нее и шепчет:

— Ты уверена, Лизон?

Она пожимает плечами:

— Ты это хорошо знаешь.

— Что особенного ты в нем нашла, на самом деле?

— Чего нет в тебе? Ничего. Сама не знаю. Он — это он. Сама ничего не могу с этим поделать. Пусти меня, Жан-Люк.

Она хочет высвободиться. Он не отпускает ее. Он больше не знает, что сказать, он понял, что ему больше нечего сказать, он только смотрит на нее, и в его взгляде все, что он чувствует. Она тоже смотрит ему прямо в глаза, печальная и взволнованная. Неумолимая.

Он не может смириться. Как я его понимаю!

— Ничего нельзя изменить?

Она качает головой. Стефани хихикает:

— У тебя нет никаких шансов, Жан-Люк. Он эксперт по сексу. За ним не угнаться.

Звонкая оплеуха служит ей ответом. Стефани не может опомниться. Ягненок превратился в льва.

Затруднительная ситуация. Что делать, когда получил оплеуху, которую вполне заслужил? Вернуть ее? Девчонки в таком случае сразу же вцепляются друг другу в волосы. Очень вульгарно, очень, очень. Заплакать? Только не Стефани. Высокомерно проигнорировать, сделать вид, как будто ничего не произошло? Ремарка та же, что была выше. Громко рассмеяться и пропеть: "А мне не больно! Тра-ля-ля?" Приблизительно это решение выбирает Стефани. Она признает:

— Я это вполне заслужила. Все же необязательно бить так сильно. Думаю, что у меня вылетела пломба. Ладно, ребята, смываемся.

Она тянет Жан-Люка за рукав куртки. Он дает себя увести и, уходя, бросает на меня взгляд скорее непонимающий, чем ненавидящий. Я стараюсь придать себе вид человека, знающего, что не заслуживает своего счастья, но который тем не менее не собирается выпускать добычу... И черт подери, я вовсе не собираюсь стыдиться того, что я именно тот, кого она любит! Стыдиться моих тридцати пяти лет! Теперь моя очередь показать, на что я способен. Я обнимаю мою Лизон, одна рука

на талии, другая на затылке, запрокидываю ее, как в танго, аргентинец до мозга костей, все как полагается, пам, пам, она подчиняется, гибкая и покорная моей руке, настоящее счастье и вот мы опять погрузились во всепоглощающий поцелуй века, второй раз.

Уголком глаза я вижу, как Стефани уводит своих горячих жеребцов, похоже, прямиком на конюшню, что она будет с ними делать, этого я знать не хочу. Она не может сдержаться, чтобы не лягнуть напоследок, прежде чем опустится занавес:

— Желаю успеха, влюбленные! Побереги его, действуй осторожно, он еще может кому-нибудь пригодиться!

Я ничего не могу ответить, рот у меня занят, но я яростно думаю "мерзавка!", "змея!", так яростно, что Лизон слышит это какой-то частью мозга. Когда, очень много времени спустя, наши губы разъединяются, она говорит:

— Какое им дело до нас, спрашивается?

— Он любит тебя?

— Да, Эмманюэль. Он любит меня. Ему очень больно.

— Давно?

— Очень давно.

— А ты?

— Как ты можешь спрашивать?

— В этом не было бы ничего сверхъестественного. Я же люблю Элоди...

— Не говоря уже о других!

— Поэтому я могу понять, когда любят двоих и даже нескольких.

— Ты — это ты. А я устроена по-другому.

— Но ты любила его? Принадлежала ему?

Она смеется.

— "Принадлежала ему"! Это из Ламартина! Ну да, конечно. Ты же не думаешь, что получил меня девственной? Я любила его. Лучше сказать: я была влюблена. Он тоже не был первым. Вспомни, что я сказала, когда пришла к тебе.

— "Я хочу, чтобы вы со мной занялись любовью".

— Этого тебе недостаточно? Я же сейчас здесь. И в твоих объятиях.

Мы хорошо поработали. Суччивор решает, что мы заслужили небольшую передышку, чтобы выпить кофе. Мэтр поднимает глаза от чашки и, расплывшись в улыбке, объявляет:

— Я очень доволен вами.

Весь поглощенный созерцанием "черного напитка, милого сердцу мыслителей", я спрашиваю:

— Вы хотите повысить мне ставку?

— Какой вы скорый! Но... Подождем, какой прием окажет публика этому произведению... Хе, хе... Кстати...

Я настораживаюсь.

— Кстати, вы видитесь с нашим общим другом, мадам Брантом?

Что-то говорит мне, что здесь надо быть осторожным. Я уклончиво отвечаю:

— Случается.

Не считаю необходимым сообщать ему, что мы встречаемся у нее два раза в неделю, как по расписанию... На самом деле я вдруг осознаю, что мы теперь уже почти не делаем вылазок на природу, на лоно мха и папоротников. Она много работает последнее время. Я чувствую, что она устала, нервничает, у нее много забот... Я сказал бы, что она измучена. Мне случалось задавать ей вопросы, беспокоясь за ее здоровье... Она дает уклончивые ответы, всячески старается избежать расспросов. Однажды я видел, как две большие слезы повисли на концах ее ресниц, затем поползли по щекам. Я их выпил. Она сжала меня в своих объятиях, словно боясь потерять. Я люблю ее все больше и больше. Без конца открываю все новые и новые интимные черточки, которые заставляют меня терять голову при одном воспоминании о ней. Мне случается задавать себе вопрос, кого же я люблю больше. Разумеется, всегда ту, в чьих объятиях нахожусь. Что не мешает мне одновременно думать о другой. О, обнимать их обеих вместе... Я не пресыщенный пошляк. Моя мечта — это мечта о любви и о благоговении. Ничего от коммивояжера, который купил себе двух проституток зараз и восседает посередине с сигарой во рту. Иногда я с ужасом воображаю, что бы делал, потеряй я ту или другую. И быстро переключаюсь на иные мысли...

Суччивор опускает меня на землю:

— Мадам Брантом очень хвалила вас. Должен сказать, что оправданно. У меня никогда не было такого ценного сотрудника, как вы.

Он вздыхает:

— Однажды вы покинете дядюшку Суччивора, чтобы летать самостоятельно, это совершенно нормально.

Я ставлю вопрос ребром:

— Почему бы не подписать рукопись обоим? Тогда я вас не покину.

Он поглаживает подбородок.

— Об этом даже не стоит говорить. Не из-за мелкого тщеславия, не думайте.

Увидев мою улыбку, говорящую "все же не без этого!", он поправляется:

— Не только из-за мелкого тщеславия. Конечно, я, так же как и любой другой, чувствителен к восхищению в глазах женщин, к дифирамбам критиков...

— ... к цифре гонорара.

— И это тоже. Почему бы и нет? Деньги — материализация успеха. Но, прошу вас, не прерывайте меня. Вы спросили меня, почему я упорствую в нежелании присоединить ваше имя к своему на обложках моих... наших книг, если хотите.

Он делает паузу, смыкает кончики пальцев, подобно епископу, который обдумывает достойный и даже поучительный ответ на вопрос, почему его застали нагишом в борделе. Наконец он его находит:

— Видите ли, публика такова, какова она есть. У нее есть потребность восхищаться, я сказал бы, боготворить. Ей нужны кумиры. О, я согласен с вами, писатель, каким бы знаменитым он ни был, все же остается в категории кумиров с ограниченной славой. Это не певец, не боксер, не автогонщик. Однако механизм остается тем же: у кумира не бывает

двух голов. В нашей сфере, по крайней мере. Даже коллективный идол: футбольный клуб или рок-группа, имеет свое имя, единственное, концентрирующее на себе всю славу. Говорят "Пари-Сен-Жермен", не перечисляя фамилии всех одиннадцати игроков. Одно название, оно звучит. Звенит. Оно скандируется. Оно на слуху и на виду, как цвета герба. Двойная фамилия — это слишком длинно. И даже если ее запоминают, ее не скандируют.

Я пользуюсь тем, что он переводит дух, чтобы вставить:

— Однако Буало-Нарсежак, Эркман-Шатриан...

— Точно! Ваши примеры только подкрепляют мои доказательства! Для того чтобы образовать Буало-Нарсежак, убрали имена. И хорошо сделали. Только вот многие наивные читатели думают, что Буало — это имя, а Нарсежак — фамилия. То же самое с Эркман-Шатриан. Сколько человек знают, что это имя скрывает двух сотрудничающих писателей?

— Суччивор-Онегин, Онегин-Суччивор... Это звучит совсем неплохо, знаете ли. И ритмично: тагада-тагада... как полевой галоп.

Суччивор отечески улыбается этому ребячеству. Затем принимает свой вид скромник-но-не-могу-ничего-поделать-с-тем-что-я-звезда.

— Послушайте. Я завоевал себе имя. Публика к нему привыкла, она находится под его влиянием. Имя большими буквами на обложке — не чье-либо, а мое. Соединенное с другим — это больше не мое имя. Получается... Как бы сказать...

Я предлагаю на выбор:

— Отступление? Ослабление? Утрата остроты?

— В любом случае удивление, недоверие. Публика не только сбита с толку, но предполагает разные вещи: значит, Суччивор слабеет? И правда, сколько ему лет? Может быть, он от нас скрывал до сих пор, что работает не один?

Я не могу сдержать смех:

— Здесь публика попала бы в точку, в самую точку!

— И цифра продаж падает... Нет, малыш. Соавторство можно позволить себе лишь с самого начала. Известное имя не портят, растворяя его в двухголовом имени. Видите ли, "Суччивор" — это фабричная марка, осмелюсь доложить. Нет-нет, не возражайте. Читатель покупает книгу, как он купил бы что угодно, доверяя марке. Это гарантия качества, постоянства. Автор ему понравился после первой прочитанной книги. Именно эту первую книгу он ищет во всех остальных.

Здесь я восстаю:

— Это ограничивает писателя раз навсегда одним и тем же жанром, который его прославил! Быть обреченным рожать похожие истории, не ужасно ли это? Без права на отвлечение, на пробу сил в другом жанре, на переход от детектива к историческому роману, от памфлета к повести о безумной любви, от автобиографии к черному юмору...

— Мы живем в эпоху специализации. Что вы хотите, публика заказывает...

— Вернее, издатели! Которые самодержавно решают, чего же хочет публика. Которые оказываются стеной между автором и возможным читателем, которые издают или не издают в зависимости от того, что

они считают соответствующим вкусу публики, потому что более или менее серьезное изучение спроса на книжном рынке диктует им не кто самый лучший, а у кого больше шансов на больший ǒбъем продаж.

Здесь я начинаю нервничать. Суччивор взирает на меня с этаким видом ветерана, поседевшего под боевыми знаменами, иронически-снисходительно выслушивающего жалобы юнца, неожиданно открывшего, что мир жесток, и решившего переделать его одним махом. Когда я замолкаю, бессильно опустив плечи, он говорит с добродушнейшим видом:

— Когда вы почувствуете, что созрели, дерзайте, летите один. Вы всегда можете рассчитывать на мои советы, что бы ни случилось.

Почуял ли он что-нибудь? Чтобы прощупать почву, я лицемерно протестую:

— Вы очень хорошо знаете, что без вознаграждения, по правде сказать весьма скудного, которое вы мне выплачиваете, я не смог бы прожить. А какой издатель выдаст мне весомый аванс под одно мое имя, совершенно неизвестное?

Я довольно-таки умелый притворщик, право слово. Я говорю себе это, льстя себя надеждой, что первый же издатель, к которому я обращусь, будет прыгать от восторга, читая мою рукопись, развернет передо мной красную ковровую дорожку и перебросит через опасные волны сказочный золотой мост.

Окончание в следующем номере

Тед Хьюз

Стихи из книги “Письма ко дню рождения”

Перевод с английского и вступление Глеба Шульпякова

“Люди разных стран и разных убеждений, мы собрались сегодня, чтобы возблагодарить Бога за жизнь и творчество поэта-лауреата Теда Хьюза. Мы не станем слишком долго распространяться о поэте, тем более — в прозе, ибо этим мы рискуем убить дух его поэзии. Сегодня мы будем читать его стихи, возносить молитвы и просить Всевышнего быть милостивым к Теду и ко всем художникам, чей дар, полученный от Бога, направлен во славу Его творений, перед которыми мы отступаем точно так же, как удивленный художник отступает перед произведением “рук моих”.

Этими словами настоятель Вестминстерского аббатства Уэсли Кар начал торжественную службу памяти Теда Хьюза, которая состоялась в четверг 13 мая 1999 года, спустя несколько месяцев после смерти поэта осенью 1998-го.

С 11 утра под сводами собора звучала музыка Баха и Бетховена. Читались Библия, Шекспир и стихи самого Хьюза — в исполнении Майкла Болдуина и Шеймаса Хини. На службе присутствовали писатели, переводчики и близкие поэта — а также Ее Величество Королева-Мать, Его Королевское Высочество Принц Уэльский и другие высочества, которых в Англии, как известно, пруд пруди.

Но весь этот королевский спектакль — напоминавший инсценировку “Алисы в Стране чудес” — нисколько не противоречил тому, что настоятель Уэсли Кар назвал “духом поэзии” Теда Хьюза. Я слышал, как читает Хьюз в записи: угрюмый голос, идеальная дикция, паузы, строгая интонация — что-то вроде проповеди на службе в Страстную пятницу.

Строгость интонации читатель найдет и в последней книге Хьюза “Письма ко дню рождения”. Об этой книге очень много писали, но точнее других сказал о ней Шеймас Хини. Он сравнил воздействие “Писем” с кессонной болезнью, когда читатель почти физически ощущает перепады эмоционального давления в тексте. Лавинообразный поток языка неумолимо затягивает его, и на финальных строч-

© Ted Hughes, 1998
© Г. Шульпяков. Перевод, вступление, 2000

ках ему уже просто не хватает воздуха. Самого настоящего — а не метафорического: того, который состоит из азота и кислорода.

Забавно, что химические термины также не противоречат "духу поэзии" Хьюза. В его стихах вы найдете массу органических и неорганических соединений: вода, уголь, древесина, торф, — как если бы они повторяли строение геологических пород его родины Йоркшира.

Хьюз родился 17 августа 1930 года в Йоркшире — самой загадочной местности Англии. Поэты прошлых веков называли ее "moorland", "вересковая пустошь". На пустошах водились кролики. Шахтеры — Йоркшир был славен своим углем — жили небогато и часто добывали пропитание охотой на кроликов с помощью маленьких собачонок, которых таскали под курткой.

Рос ли в Йоркшире вереск во времена Хьюза, нам неизвестно, но среди шахтеров еще ходили слухи о "подземных людях", а мертвецов — из-за болотистой местности — закапывали не слишком глубоко, так что, гуляя по торфяникам, можно было запросто встретить не только тени, но и кости забытых предков.

Город находился в низине, над которой нависала огромная скала. Детским развлечением Хьюза стали походы на макушку горы, откуда вечером открывался фантастический вид на соседние, еще залитые солнцем долины. Ближе к ночи, однако, нужно было возвращаться домой — и он спускался вниз, где было уже совсем темно.

Возможно, именно этот йоркширский рельеф местности "продиктовал" Хьюзу будущие образы его стихотворений, а также его представления о "противоречии души и тела", "света и тьмы", когда каждое "погружение" обещает в итоге воздух, простор и свет.

Ярче всего этот принцип "качелей" был выражен в "Письмах ко дню рождения":

> Я заклеил коричневой бумагой окна над столом,
> Заткнул "берушами" воспаленные чувства
> И погрузился на дно. В соседней комнате,
> На самом краю освещенной солнцем скалы,
> Ты стучала на своем новеньком "Гермесе",
> И пока меня, как мешок, тащило по дну реки,
> Птенец твоей тревоги даже еще не проклюнулся.
>
> ("Ивовая улица, 9")

Книга состоит из 88 стихотворений, написанных — за редкими исключениями — свободным стихом, и представляет собой хронологическую летопись отношений одной из самых известных литературных пар XX века: Теда Хьюза и Сильвии Плат. Книга напоминает фотоальбом, где на каждой странице — по снимку: Хьюз и Плат в свадебных нарядах; медовый месяц в Париже — на фоне Елисейских полей; на берегу океана в США; Плат читает Чосера коровам Грантчестера; на крыльце дома по Ивовой улице; за рабочим столом; в пещерах Карлсбада.

Итак, в конце пятидесятых Сильвия Плат, американская подданная, получив стипендию для особо одаренных студентов, училась в Кембридже и писала стихи. Хьюз изучал археологию и антропологию, также писал стихи и, судя по фотографиям тех лет, был типичным "парнем из Йоркшира", то есть угловатым верзилой в кожанке. Они встретились в 1956-м на вечеринке в Кембридже и в тот же год поженились. Спустя некоторое время рукопись первого сборника стихотворений Хьюза "Ястреб под дождем" была отправлена по настоянию молодой жены на конкурс в Америку. Из 287 соискателей представительное жюри — Уистен Хью Оден, Стивен Спендер и Марианна Мур — остановило свой выбор на молодом англичанине, и через некоторое время книга Хьюза была издана в Соединенных Штатах.

Так началась его заокеанская карьера.

Два года — с 57-го по 59-й — наша поэтическая пара проводит в путешествии

по США. Потом они возвращаются в Англию, чтобы поселиться в провинции: предположительно надолго. В апреле 60-го на свет появляется их дочь Фрида. Тогда же выходит первый сборник стихотворений самой Плат — "Колосс", и критики начинают говорить о незаурядном даровании молодой поэтессы. Через два года рождается Николас. Тогда же Плат уличает Хьюза в измене и демонстративно уезжает из деревни. А спустя некоторое время она, накормив и уложив детей, кончает жизнь самоубийством на кухне собственного дома.

Я — с улыбкою. Я — живучей
Кошки, которая Неминучей
Девять раз избегает. Мне

Тридцать. Это мой Номер Третий.
Что за причуда такая — не
Уцелевать раз в десятилетие?

(С. Плат. "Восстающая из мертвых",
перевод В. Топорова.)

Русский переводчик не зря уложил стихотворение Плат в цветаевский синтаксис: было, было между ними что-то общее и в лирическом максимализме, и в надрыве, и в чувстве судьбы. Разница только в том, что попытки самоубийства (а их было уже две) носили в случае с Плат — как бы это сказать? — терапевтический, что ли, характер. Каждый раз, чувствуя наступление мучительной депрессии, она пыталась предотвратить ее ответным ударом — сыграть в смерть и таким образом избежать ее. Первый раз, еще будучи ребенком, она выпила большую дозу снотворного. Второй раз, крутанув баранку, она бросила машину на встречную полосу и разбилась об эстакаду — но опять-таки уцелела. Третий — и последний — раз она воспользовалась газовой плитой.

Об отношениях Хьюза и Плат еще при жизни поэтессы ходило множество слухов. После смерти они постепенно сложились в легенду, из которой следовало, что мрачный тиран, мизантроп, изменник и циник Тед Хьюз довел бедную американскую овечку до того, что та покончила с собой. С легкой руки феминисток Англии и Америки легенда эта жила много лет: до выхода в свет "Писем ко дню рождения". О том, что Сильвия Плат уже дважды "играла в смерть" еще до знакомства с Хьюзом, феминистки както не вспоминали.

*Свадебное путешествие.
Париж. 1956 год*

Сам Хьюз все происшедшее комментировать отказывался, но стихи надолго забросил, предпочитая оригинальному творчеству переводы. Единственные поэтические книги, которые он готовил к печати и публиковал, были сборники его стихов для детей и посмертные книги Сильвии Плат: "Ариэль", "Шествие по водам", "Избранное".

К концу 60-х Хьюз вроде бы преодолел свое затяжное "погружение", но в 69-м судьба снова напомнила о себе: покончила с собой Ася Гутман, подруга

Хьюза тех лет. Самоубийство Гутман более или менее объяснимо — если исходить из тезиса о том, что любая легенда агрессивна, она навязывает роль и требует новых жертв. Так что во второй смерти уж если кого и винить, так это тех, кто преуспел в "мифотворчестве".

Другое дело — Сильвия Плат.

"Мы были два молодых идиота, которые совершенно бездумно бросились в объятия друг друга", — сказал как-то Хьюз в частной беседе. Она была красивой американкой прусского происхождения — то есть гостьей из полумифической для послевоенного англичанина страны. Он был англичанином — то есть европейцем, представителем земли обетованной для каждого культурного американца. Вокруг них был послевоенный Лондон, они были молоды, неприкаянны, и судьба, скорее всего, просто сыграла с ними злую шутку, навязав взаимную страсть:

Я ли получил тебя, подкупив Судьбу?
Ты ли искала встречи со мной? Не знаю, зачем
Мы очутились вместе и для чего судьба
Свела нас и бросила, беззащитных...

("Регби-стрит, 18")

"Письма ко дню рождения" — это не исповедь, не покаяние и не отповедь. Это попытка понять логику "слепой всевидящей богини" — судьбы; разобраться в ее смысле; проследить тайную канву очевидных событий; понять основу, на которой держался — а ведь он держался! — этот самый громкий и тем не менее самый хрупкий союз в литературе второй половины двадцатого века.

Все громкие литературные браки нашего века — Сартр и Симона де Бовуар, Олдингтон и Хильда Дулитл — держались на том, что их участники были друг для друга перманентным источником энергии. Была ли энергия положительной или отрицательной, дело десятое — в случае с нашей парой не было ни той, ни другой. Сильвия Плат и Тед Хьюз оказались абсолютно самостоятельными и равновеликими поэтическими единицами, чьи темпераменты и поэтики не пересекались. Поэтому Хьюз и написал, что *"миф, который мы искали, был мифом смерти"*, то есть мифом пустоты и одиночества.

Ни диссонанса, ни резонанса их союз не рождал. Но тотальное отчуждение друг от друга происходило на фоне негаснущей, но и ненужной любви — следствием чего и стала третья попытка игры в смерть, на которую решилась Сильвия Плат, как существо более неустойчивое в эмоциональном отношении.

Вот и все.

С тех пор прошло тридцать пять лет. За эти тридцать пять лет Хьюзу была присуждена Королевская золотая медаль за достижения в поэзии, он стал поэтом-лауреатом Англии и получил премию "Уитбред" за переводы из Овидия. Все эти тридцать пять лет он писал в стол стихи

Массачусетс. 1959 год

Тед Хьюз. Стихи из книги "Письма ко дню рождения"

— или письма ко дню рождения, — которые были опубликованы незадолго до его смерти. Он посвятил книгу детям, Фриде и Николасу. На ее обложке была воспроизведена картина их дочери. Картина изображала огромные красные маки. Красный цвет был любимым цветом Сильвии Плат.

"Язык стихотворений — как лава, которая застывает у вас на глазах в самых причудливых и еще горячих формах", — писала "Санди таймс", откликаясь на выход книги. "Стихотворения мерцают сквозь тьму, оставляя вопросы без ответов, являясь нежными элегическими актами памяти" ("Обсервер"). "Даже без учета биографического наполнения этим текстам гарантирована долгая жизнь — благодаря их образам и технике стиха. Хьюз, безусловно, один из крупнейших поэтов нашего века, и "Письма ко дню рождения" — его величайшая книга" ("Таймс").

Ко всему перечисленному я добавил бы еще несколько выводов, которые можно сделать по прочтении "Писем".

На мой взгляд, этой книгой Хьюз раз и навсегда закрыл тему своих отношений с Сильвией Плат — так что теперь любые феминистские разговоры о палачах и жертвах будут выглядеть спекуляцией. Но даже расставив все точки над "i", Хьюз все равно не ответил на вопросы, которые мучили его последние годы: почему все случилось так, а не иначе? какой в этом смысл? Написав и опубликовав эту книгу, он, как античный герой, продолжал блуждать в замкнутом лабиринте собственной памяти. Треть века прошло — а он так и не смог пережить или изжить комплекс нежных чувств к женщине, которая давно погибла. Мучительное ощущение ошибки, абсурда и длящейся любви долго не покидает читателя этой книги.

Что касается самих стихотворений, то в них Хьюз сумел найти адекватный поэтический эквивалент запутанным, непредсказуемым и почти не поддающимся описанию вещам этой жизни — любви и судьбе. И это, согласимся, немало.

P.S. Переводчик выражает благодарность Дэниэлу Вейсборту за помощь в работе с текстами стихотворений Хьюза.

Озарение

Лондон. Лиловые мягкие сумерки
Апрельского вечера.
Через Чок-фарм-бридж
Я спешу к метро: молодой отец,
Голова кружится от бессонных ночей
И новых ощущений.
И вот мне навстречу идет этот парень.

Я скользнул по нему взглядом (что это у него?
Да нет, показалось) и пошел было дальше,
А потом вдруг понял — и догнал его.

Это был крохотный звереныш, который сидел
У парня за пазухой. Так у нас в детстве шахтеры
Носили под курткой охотничьих собачонок.
Но главное — глаза, которые пытались
Перехватить мой взгляд. Как же мне это было знакомо!
Огромные уши, острая мордочка — звереныш

Выглядывал из-под куртки, и вид у него
Был испуганный и враждебный.
“Да это же лисенок!” —
Услышал я собственный удивленный голос.
Парень остановился. “Откуда он у вас?
Что вы собираетесь с ним делать?”
Подумать только, лисенок
Посередине Чок-фарм-бридж!

“Могу продать. Всего один фунт”. “Постойте,
Где вы его нашли? Куда несете?”
“На продажу. Кто-нибудь да купит — за фунт-то!”
И ухмылка.
Я же подумал: что ты на это скажешь?
И как мы уживемся с лисенком в нашей каморке?
Да еще с грудным ребенком?
И что мы будем делать с его дикими повадками?
С его безудержной энергией?
А когда он, повзрослев, услышит зов предков,
Куда мы денем сильного и ловкого зверя,
Своенравного, с вытянутой мордой?
Которому надо пробегать двадцать миль за ночь?
А его нюх, от которого ничего не ускользает?
И как нам быть с его фантастическим чутьем, как
Обмануть его?

А лисенок
Все смотрел через мое плечо на прохожих:
На одного, на другого. Опять на меня.
Удачи — вот чего ему сейчас не хватало.
Он уже вырос из сосунков,
Но глаза его были еще совсем щенячьими:
Крошечные, круглые и сиротские,
Как будто заплаканные. Он остался
Без материнского молока, без игрушек из шерсти и перьев,
Без уютных потемок лесной норы
И без громкого шепота созвездий,
Когда его Мать возвращалась с ночной охоты.
Мои мысли, как большие добродушные псы,
Кружили вокруг лисенка, обнюхивая его.
И все же
Я не решился, я ушел. Но, потеряв лисенка, как будто
Разминулся со своей судьбой. Я оттолкнул его — в будущее,
Которое ожидало его в Лондоне. Торопливо
Я нырнул в подземку... Что, если бы я заплатил,
Что, если бы я отдал этот несчастный фунт и вернулся к тебе
С лисенком на руках, и мы стали бы жить все вместе,—

Выдержал бы наш брак такое испытание?
Справился бы я? А ты?
Но я упустил этот шанс.
И теперь наш брак был обречен.

Регби-стрит, 18

В унылом убогом доме викторианской эпохи
на Регби-стрит, 18, я ждал тебя.
Дом напоминал мне театральные подмостки,
Как будто пять его этажей были повернуты
Лицом к аудитории, которая наблюдает
Любовные баталии на каждом из них —
Мизансцены, в которых сплетались и расплетались
Наши чувства, тела и судьбы. Такая вот
Нехитрая кухня любовных напитков,
Бесконечный спектакль, где меняются
Лишь имена актеров, а роли остаются прежними.
Мне говорили: "Тебе стоит написать книгу
Об этом доме. Здесь дело нечисто!
Поживешь, увидишь, что не так-то просто
Будет выбраться отсюда, поскольку каждый,
Кто попадает сюда, попадает в настоящий лабиринт —
В Кносский дворец, где правит злая воля! Вот и ты
Теперь в лабиринте". Легенды
Завораживали. Я слушал, завороженный.

Я жил здесь один. Один
Сидел за щербатым допотопным верстаком,
Который служил мне обеденным
И рабочим столом. Я ждал Лукаса
И тебя. О чем бы я ни думал, мои мысли
Все равно возвращались к той пухлой бельгийке
С черными и блестящими, как лакированные ботинки,
волосами,
Которая жила на первом. Она казалась мне птахой
В силках любовника, торговца подержанными
автомобилями.
Это он завалил наш подвал старыми глушаками
И помятыми крыльями. Так что, пробираясь
В темный и грязный туалет, расположенный ниже
Уровня проезжей части, мы рисковали покалечить себе
ноги.

Как и все в этом доме, девчонка играла
Свою роль в спектакле. Ее телохранителем
Была черная немецкая овчарка, настоящая ведьма,
Которая стерегла ее одиночество и рычала
За дверью, когда кто-нибудь проходил мимо.
Овчарка охраняла ее ото всех
Для торговца автомобилями. Охраняла исправно, хотя
Семь лет спустя и не спасла от конфорки. С ней
У нас ничего не вышло. Не вышло и со Сьюзен,
Которой суждено было блуждать в лабиринте
И ждать Минотавра, занимая телефон ночами,
Когда ты хотела услышать мой голос. Но в тот вечер
Я не мог и предположить, что во мне
Будет кто-то нуждаться. Что пройдет десять лет,

И три из них ты уже будешь в могиле,
И Сьюзен по ночам станет мерить шагами комнату
(Этажом выше той, где мы, обрученные кольцами,
Согревали друг друга на узкой кровати)
И плакать, умирая в одиночестве от лейкемии.

Итак, Лукас привел тебя. Ты
Была в Лондоне один вечер проездом в Париж.
Апрель, 13-е, день рождения твоего отца. Пятница.
Я догадывался, зачем ты сорвалась с места:
Чтобы увидеть ту Европу, о которой
Ты мечтала в Америке. Через несколько лет,
Уже после твоей смерти, я узнал о том,
Какое страшное разочарование тебя ожидало,
О твоих слезах, которые ты проливала в Париже.
Только на одну ночь я отдалил крах твоих надежд,
Этих драгоценных камней, украшавших твое одиночество.
А потом — потом и мечты, за которыми ты гналась, и жизнь,
Которую ты вымаливала, все пошло прахом:
Твой дневник рассказал мне историю этих мук.
Я представлял себе, как у святых алтарей
Ты молила судьбу дать тебе шанс, заклиная
Провидение или случай. Как ребенок,
Ты пыталась играть во взрослые чувства,
Но — в который раз — ты проиграла.
И вот появился я, всего-то
На несколько часов, с пригоршней пенсов в кармане
На все про все, готовый быть мучеником твоих капризов.
Я ли получил тебя, подкупив Судьбу?
Ты ли искала встречи со мной? Не знаю, зачем
Мы очутились вместе и для чего судьба
Свела нас и бросила, беззащитных, но только
Я уже слышу, как ты поднимаешься по ступенькам,
Живая и близкая, и как громко смеешься, чтобы
Заранее смутить меня. Такой была твоя тактика:
Прежде чем явиться передо мной во всеоружии, ты
Хотела, чтобы я услышал бряцание. Затем —
Пробел в памяти. Как вы вошли? Что было дальше?
Когда, например, исчез Лукас? Предложил ли я сесть?
Ты была похожа на большую птицу, оперенную
Каким-то болезненно-радостным возбуждением.
Я помню голубые блики, искрящийся кобальт
Разрядов твоей ауры, которая, как я потом понял,
И делала тебя такой необычной. И глаза,
Твои нездешние, прусские глаза, их странный блеск:
Два крошечных человечка под капюшонами
Тяжелых век. Загадочные и в то же время девчоночьи,
Они сверкали от возбуждения и были
Фамильной драгоценностью, которая после
Перейдет по наследству к нашему сыну.
Наконец-то я смог как следует рассмотреть тебя:
Твое круглое лицо, которое друзья называли

"Гуттаперчевым", а ты – безжалостно – "ватным".
Его выражение менялось каждую секунду,
Оно было слепком с души, как будто
Отражавшим колебания ее эфира.
И еще я был заинтригован твоими губами,
Подобных которым не встречал на свете:
Крупными, какие бывают разве что у туземцев.
Меня поразил и твой нос, плоский,
Как у боксеров или индейцев-апачей, и широкий,
Напоминавший по форме скорпиона.
Твой профиль нельзя было назвать орлиным:
Плоский нос делал каждую фотокамеру твоим врагом,
Он был тюремщиком твоего тщеславия, изменником
Из бесконечного сериала твоих сексуальных снов.
Это был нос одного из воинов Аттилы, он
Делал твое лицо похожим на лица, которые
Я представлял себе в дыму костров племени навахо.
И волосы, зачесанные на висках, и эта модная челка,
И еще подбородок, твой маленький подбородок,
Какой часто бывает у рожденных под знаком Рыб.
Твое лицо никогда не было просто лицом. Оно всегда
Было разным, как поверхность моря, где играют
Ветер и волны, свет луны или солнца.
Оно было подвижным, пока однажды утром
Оно не застыло – и не стало детским. Шрам
Казался трещинкой в шедевре Скульптора.
А сейчас – сейчас ты читала стихотворение о черной
пантере,
Я же хотел обнять и поцеловать тебя, хотел
Удержать от метаний по комнате. Но этим
Лишь подливал масло в огонь.

Потом я провожал тебя через весь Лондон на Феттер-лейн,
Где была твоя гостиница. Дом напротив
Только начинали отстраивать после бомбежки,
И мы, взявшись для храбрости за руки,
Вошли под его своды и будто полетели вниз
С высоты Ниагарского водопада. Сквозь шум потока
Я услышал историю твоего шрама –
Тайного шифра твоей души, – ты рассказала мне,
Как пыталась убить себя. И вот
За мгновение до того, как я поцеловал тебя,
Холодные звезды над этим
Восстающим из пепла грохочущим городом
Прошептали: будь начеку.

Даже звезды были напуганы. А я –
Я даже не помню, как мы очутились в твоем номере.
Ты была стройной, и гибкой, и гладкой, как рыба.
Ты была новым светом. Моим новым светом.
Так вот она какая, Америка, с удивлением думал я.
Прекрасная, прекрасная Америка!

Михал Вивег

Летописцы отцовской любви

Роман

Перевод с чешского Нины Шульгиной

От автора (специально для публикации в "ИЛ")

Читатели, надеюсь, найдут в романе "Летописцы отцовской любви" немало смешных, гротескных ситуаций. Однако *главное* в нем, на мой взгляд, — мучительный исповедальный рассказ о том, сколь нелегки бывают отношения отцов со своими взрослеющими дочерьми. В этом утвердили меня, кроме всего прочего, трогательные письма отцов, во множестве полученные мной после выхода книги. Я был им рад, но более всего, естественно, меня интересовало, как мой роман воспримет та, ради которой я писал его, — моя пятнадцатилетняя дочка. Долгими неделями я томился в напрасном ожидании, когда же наконец она соизволит прочесть его.

— Ты уже прочла? — спрашивал я время от времени.

— Нет еще, папка, но я прочту, не волнуйся.

К счастью, вскоре она загрипповала и слегла. В постели она прочла все последние номера журналов "Bravo", "Girl", "Cosmopolitan" и "Rolling Stone" и только потом, заскучав, принялась за мою книгу.

— Вот я и прочла, — сообщила она по телефону.

— Ну и как? — спрашиваю, подавляя еле сдерживаемое нетерпение.

— Но́рмально, — отвечает она равнодушно. — В общем, прикол.

Сказано точно. Ведь роман именно про это.

У нас сердце кровоточит, а для них — прикол.

© Michal Viewegh, 1998
© Kulturni nadace Martina Pluháčka, 1998
© Petrov, 1998
© Н. Шульгина. Перевод, 2000

— Я заметила, что вы совсем не выбираете слов. Пишете так, как говорят люди.

— Именно так и должны были бы поступать писатели. Писателю не пристало быть пуританином.

И. Б. Зингер

Часть первая

Zenit versus polaroid[1]

1.

ДЛЯ начала — несколько слов о моем так называемом извращении, потому что хуже нет, когда люди плетут про нас, сдвинутых, всякий бред. Сестрица могла бы тут немало вам рассказать. Она ведет по телику классную программу "Тринадцатая комната" и каждую пятницу по вечерам на глазах у доброй половины нашего народа кого только не исповедует: то ампутированного фетишиста, который так задурил голову двум врачам, что те напрочь отхватили ему здоровую ногу, то какого-то шизика, который занимается оральным сексом со своим четырнадцатилетним доберман-пинчером. А в прошлую пятницу в ихней будке сидела тетка, которую возбуждают бумажные носовые платки, причем исключительно ментоловые. Вы можете в это поверить? Я — нет, хотя у каждого из нас свои заморочки. Вот я, к примеру, если говорить по-честному, зациклен на писанине. Целыми днями что-нибудь пишу-записываю. Про все вокруг — и про вещи, и про людей: как они ведут себя, что говорят и всякое такое. Страсть как люблю записывать разные ситуации, потому что в них, по сути, все как на ладони... но, sorry, я немного отклоняюсь. Короче, я трёхнутый летописец.

Вам, пожалуй, мое призвание покажется делом вполне невинным, но, к сожалению, тут есть два неприятных момента, которые немного осложняют эту хренотень: во-первых, с раннего детства я пишу ежедневно и почти non stop, с утра до вечера, и это уже само по себе сдвиг по фазе, а во-вторых, пишу в основном *под* столом, что, согласитесь, тоже не подарок. Эта страсть залезать под стол, к слову сказать, досталась мне от нашего папочки, но опять же я забегаю вперед. Короче, изо дня в день я сижу под столом со своим ноутбуком и пишу, и пишу. А это уж совсем ненормально.

Нормальные люди сидят *за* столом.

Нормальные люди не пишут.

— Нормальные люди не пишут, — по сей день не устает твердить моя мамочка. — Нормальные люди общаются друг с другом. Разговаривают. Перезваниваются.

Как видите, моя мамочка даже дома выражается литературно — еще бы, училка чешского! И когда слышит, как говорю я, прям-таки впадает в мандраж. Понятное дело, она хотела бы, чтоб я больше общался и меньше писал. Бедняжка, она все еще гнет свою линию. До сих пор, когда

1. От "зенита" к "поляроиду" *(лат.)*.

я прихожу с фатером к ней на обед или просто так в гости, она всякий раз на минутку лезет ко мне под стол и пытается отвлечь меня от моего писательства. А потом вздохнет тяжко и опять вылезет. Это даже стало типа такого формального ритуала. И то сказать, ведет она себя так скорей для очистки совести, чтобы по праву считать, что сделала для меня максимум возможного. Это примерно то же, как если бы у кого был паралитичный ребенок, лежак, который не ходит и никогда не будет ходить, но с ним все равно продолжали бы иногда, только для виду, делать разные упражнения. Я говорю это без злобы, просто не верю, что моя писанина так уж может доставать мамочку. Само собой, мало приятного, когда у вас родится дефективный ребенок типа меня, но, с другой стороны, я все ж таки не делаю ничего такого омерзительного. Я что, ем собственные какашки? Я ведь, блин, всего-навсего пишу! Ну под столом, ладно, но кому от этого вред, а? В этом, чесслово, нет ничего такого, на что противно было б смотреть. Как высказался однажды доктор: писáние никак нельзя считать неэстетической девиацией.

Больше всего, видать, мамочку донимало, когда я, еще ребенком, без конца лез к ней и записывал все, что она в данный момент делала: пылесосила ли, готовила или стригла на ногах ногти. Или спала. Однажды ночью она проснулась и застала меня врасплох: я сидел в ногах ее кровати (мне было лет шесть) и записывал что-то в тетрадку. Она завизжала как резаная. Короче, я записывал все ее фразы, ее запахи, ее, пардон, амбре, ее настроения, маски, что накладывала на лицо, тампоны, какими пользовалась. Короче, все, что вам только может прийти в голову. Как видите, мое записывание с самого начала носило навязчивый характер, а все, что носит навязчивый характер, как высказался доктор, есть извращение. Он тогда просматривал исписанные тетради, а я сидел под столом и записывал все в другую, чистую, — мне было пять с хвостиком. Потом он наклонился ко мне и сказал: "Позволь взглянуть?" Я дописал фразу и неохотно отдал ему тетрадь. Там было: "*Пан доктор просматривает мои тетради. У него жуткие зубы*".

Доктор, ни слова не говоря, протянул тетрадь маме. Изо всех сил старался не улыбаться.

Мамочка была в шоке. Пока я не научился писать, я-де был совершенно, ну совершенно нормальный ребенок! И вот нá тебе! Что произошло? Она же так возилась со мной! Всегда старалась, чтобы у меня было навалом интеллектуальной пищи! Ну может ли кто объяснить ей это! Ведь роды же проходили нормально! Разве мальчику не хватало кислорода? Видок у нее был такой, будто она хочет обвинить все здравоохранение! Папахен, однако, к делу подошел прагматично: купил мне смывающиеся фломастеры и доску, а года два-три назад — вот этот ноутбук.

Так что мерси боку, папочка!

Заметьте: все извращенцы по большей части живут в одиночестве. Именно так и сказал сестрице тот рыжеватый рукосуй в "Тринадцатой комнате": *"День-деньской в метро тыкаюсь в девок, а все равно один-одинешенек"*. Просто в это никто не врубается — а ведь нам тоже нелегко. Хотя, с другой стороны, почему кому-то должно быть легко, а? И кому именно? Извращенцу! Вот я, к примеру, один целыми днями. Да чего там днями — месяцами! С той поры, как сестрица уговорила меня издать мои записи в виде книги, я стал типа как летописец на вольных хлебах, так что в

отличие от фатера не должен ходить каждый день на работу. А быть летописцем на вольных хлебах по существу то же, что выйти на пенсию по инвалидности. Сидишь себе дома и маешься с тоски. Хотя и сижу я под столом с ноутбуком, а результат все тот же. Не говорю, в натуре, что скучаю по-страшному, отнюдь нет, но временами это все же a little bit monotonous[1], как сказала бы Синди. Стараюсь отнестись к делу рационально. Нет-нет да и вылезу из-под стола и пойду глянуть на улицу, не шлепает ли кто мимо, но, к сожалению, тут мало кто шлепает. Около одиннадцати притаскивается почтальонша, иной раз является и пораньше, так что для верности подкарауливаю ее уже с пол-одиннадцатого. Папуля подгребает с работы только в шесть десять, потому как, на мой взгляд, неслабо набирается. И вообще он нормальный тормоз. Если бы этот мозжечок цвета хаки не переоблачался в гражданку, то мог бы приходить домой как минимум на полчаса раньше, потому что поспевал бы на предыдущий автобус, но он кровь из носу должен переодеться — видите ли, стыдно ему ходить в форме. Дома он торчит, только когда бюллетенит. Прошлый год, в январе, простыл на каких-то учениях с голландскими саперами и подцепил вполне солидный грипп. Не скрою, это внесло в мою жизнь весьма приятное разнообразие. Я подсел к нему с ноутбуком на кровать и записывал, как он потеет. От него воняло, и видок у него был — краше в гроб кладут. Бельма прям-таки закровенились. Он даже спросил меня, хватит ли у меня смелости записать его последний предсмертный хрип. Иной раз и у него с юмором порядок.

— И ты еще сомневаешься, — ответил я.

Народу у нас бывает негусто (кому охота тусоваться с лампасником, правда?), так что в доме, по крайней мере, полная спокуха — сиди и записывай себе сколько влезет. Хотя, с другой стороны, совсем не плохо, когда появляется газовщик или тетка, что снимает показания счетчика. Брюхатый пожарный инспектор — тоже прикольный мужик. Приходит и всякий раз долбит нас, что на чердаке огнеопасные предметы. С ним тоже не соскучишься. Фатер уже дважды на чердаке прибирался, но я к тому дню, когда этот дятел должен прийти, натаскиваю туда кучу старых газет, краски и разбавители из гаража, а потом сижу и записываю, что этот толстопузик бухтит. Раз в год причапывает к нам трубочист, но этот субчик, наоборот, молчаливый и дерганый бука — ему и то поперек горла, что я со своим ноутбуком лезу к нему на крышу.

А вообще-то самый класс, когда у нас гости, которых приводит сестрица, — в натуре, я имею в виду не этих ее долбаных хахалей, о которых, кстати, речь еще впереди, а ее *подружек*. Обычно она приводит их под каким-нибудь абсолютно благовидным предлогом, но любому ясно как день, что девчонки жаждут увидеть взаправдашнего живого извращенца. Мы все любопытны, так ведь, можно ли этим их попрекнуть? И мне особенно в кайф, когда они подваливают зимой — тут уж прямо с порога сгребаю в охапку все их ледяные, пахучие пальто и куртки. У нас с фатером маловато крючков на вешалке, и потому все их шмотки я всякий раз уношу к себе в спальню, бросаю на кровать, а потом ложусь на них, вздыхаю и делаю подходящие совокупительные движения. Дверь, в натуре, оставляю открытой, чтобы девчонки тоже имели с этого кайф, но сестрица всегда кайф обламывает — уверяет их, что я слегка прики-

1. Несколько однообразно (*англ.*).

дываюсь. Но это все равно вроде их впечатляет, и когда я потом с ноутбуком лезу под стол, они только судорожно сжимают коленки. Я до сих пор прям-таки балдею с того, как может влиять на людей простой факт, что под столом, за которым в данную минуту они пьют кофе с молоком или потягивают сухое мартини, кто-то совершенно невинно сидит себе и временами втихаря что-то записывает. А ведь этот факт, как правило, оглоушивает девчонок напрочь, и сперва они, чесслово, нормально даже говорить не могут. Сестрица утверждает, что таким же манером ведут себя люди, впервые попавшие в телестудию под ярко-красное освещение.

— Расслабьтесь, дамы, — смеется сестрица. — Он вас не укусит.

В эту минуту я как раз кусаю какую-нибудь из них в ногу и всем нутром чую, ну прям-таки *вижу*, как эта телка за столом обмирает, затаивает дух, а на шее у нее выступают красные пятна. Но она — ни слова, ни полслова. Еще год назад она бы развизжалась как резаная, выскочила из-за стола и, глядишь, опрокинула кофе, но с тех пор, как я издал свою книгу и был в "Тринадцатой комнате", любая из них сидит смирно, не шелохнется. Под столом я лижу им ляжки, сосу пальцы на ногах — но ни одна и не вякнет! Дую им в трусики — но ни одна ни звука. *Ни одна* — вы можете в это поверить? Я даже сестрице не рассказываю. Еще год назад, когда я испробовал на них все эти фокусы, они вмиг сестрице накапали. А ведь я, чесслово, облизывал их тогда таким же манером. Дул им туда же. И с виду был такой же.

Стало быть, в чем разница?

А разница в том, скажу я вам, что раньше они не видели меня в телевизоре.

— Так кто же? — с робкой улыбкой допытывается сестрица, когда все наконец расходятся.

— Отгадай!

Чаще всего сестрица угадывает. Но на сей раз дает маху.

— Ева?

— Линда.

Сестрица делает большие глаза.

— Не верю! Заливаешь! Линда — никогда.

— Зеленые кеды на платформе, темно-зеленые колготки, мини-юбка? — спешу описать Линду снизу.

— Обалдеть! — ахает сестрица.

Я показываю ей клочок бумаги, который неожиданно упал на меня под столом, — на нем номер телефона и имя "Линда".

— Ну тогда я ничего не понимаю в жизни, — говорит сестрица.

— А с чего бы тебе понимать?

На участие в "Тринадцатой комнате" подбила меня опять же она. Какая-то наркоманка — две недели сестра уговаривала ее прийти в студию и сесть в ихнюю будку — в последнюю минуту струхнула, и сестре в срочном порядке пришлось искать нового извращенца. Само собой, она сразу вспомнила про меня. В принципе я был "за", но родители едва не прихлопнулись. В конце концов согласились, но лишь при условии, что из этой ихней будки я ни в коем разе не высунусь.

А происходило это примерно так (надеюсь, вы понимаете, что я капельку привираю).

ВЕДУЩИЙ: Желаем вам приятно провести этот поздний вечер. Поучаствуем вместе в следующей части нашей программы "Тринадцатая комната", в которой мы говорим о вещах, о которых обычно вслух не говорят. В самом деле, с кем только мы не знакомили вас в наших передачах: с пятидесятилетней проституткой, с тринадцатилетним мазохистом, с педофилом, урофилом и даже с девушкой, заколовшей ножницами собственную бабулю. И с многими-многими другими. Но здесь еще никогда не бывал человек, написавший книгу... Сегодня он здесь, и наша программа о том, что такие люди тоже бывают на свете. Пан В., летописец, как принято называть людей с таким отклонением, нашел в себе мужество и пришел к нам. Добрый вечер, пан В.!

Я (из будки): Добрвечр!

ВЕДУЩИЙ: Как и всегда, вы можете, уважаемые зрители, задавать вопросы по телефону, который находится на столе у мадемуазель Иванки. Заметим, кстати, что сегодня у нее новая прическа. Добрый вечер, мадемуазель Иванка!

ИВАНКА: Добрый вечер!

ВЕДУЩИЙ: В программе, естественно, принимает участие и сексолог — пан доктор Узел. Добрый вечер, пан доктор!

УЗЕЛ: Добрый вечер.

ВЕДУЩИЙ: Итак, пан В., как прошло ваше детство? Оно было счастливым?

Я: Жить можно было.

ВЕДУЩИЙ: Отлично. А как насчет школы? Какие предметы нравились вам больше всего? Наверное, письмо?

Я: География. И совместная физра.

ВЕДУЩИЙ: Совместная физра? Не могли бы вы объяснить нашим зрителям, что это значит?

Я: Физкультура совместно с девчонками.

ВЕДУЩИЙ: Что вы на это скажете, пан доктор?

УЗЕЛ: Этому я не придавал бы особого значения. Это обычное проявление ранней сексуальности.

ВЕДУЩИЙ: Пан В., не могли бы вы сказать, в каком возрасте к вам в руки попала первая книжка?

Я: Точно не помню. В год или два...

ВЕДУЩИЙ: Вы любили брать ее в руки? Обнюхивать ее?

Я: Чесслово, не помню.

ВЕДУЩИЙ: А как вам, например, такая раскладная книжка, где все-все двигается? Не станете же вы утверждать, что даже это не возбуждало вас...

Я: Книжки-гармошки меня никогда не впечатляли.

ВЕДУЩИЙ: Пан доктор, ваше отношение к этому как специалиста?

УЗЕЛ: Движущим мотором каждого прирожденного летописца в большинстве случаев является либидо — сознает он это или нет. И лишь в исключительных случаях мы обнаруживаем здесь иной мотив — как правило, это тщеславие или деньги.

ВЕДУЩИЙ: Перейдем теперь, пан В., к вашей книге. Закончив ее, вы ощутили грусть, пустоту или сожаление?

Я: Скорей, радость.

ВЕДУЩИЙ: Сколько часов в день вы, собственно, работаете? Я имею в виду, сколько часов в день вы... записываете?

Я: Много. Иногда — десять.

ВЕДУЩИЙ: А кроме этого, у вас есть хобби, ну, например, девушка?

Я: Время от времени.

ВЕДУЩИЙ: А вы говорите с вашими девушками о своем извращении? Или умалчиваете о нем?

Я: Нет, не умалчиваю.

ВЕДУЩИЙ: А как реагируют девушки на ваше извращение?

Я: Я бы сказал, что в целом оно им нравится.

ВЕДУЩИЙ: У нас есть первый звонок зрителя. Пан Т. из Нова-Паки спрашивает, не готовы ли вы дать себя кастрировать.

2.

Стоит нам утром заявиться на пляж, как М. под бдительным оком моего отца приступает к подготовке своей новой видеокамеры. Он старается напустить на себя вид ироничный, но сразу видно, что эта японская игрушка целиком захватила его. Синди заинтригованно наблюдает за ними обоими, Кроха, напротив, тотчас переворачивается на живот и опускает мордашку на скрещенные руки. Наверное, я могла бы сказать ей, как понимаю ее: когда мне было тринадцать, как сейчас ей, я вела себя так же. Однако подойти к ее лежаку не решаюсь. Вместо этого открываю тетрадь и принимаюсь писать.

До своих шестнадцати я терпеть не могла сниматься. А если уж быть абсолютно точной, так до шестого июня тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Скажи мне кто еще пятого июня того же года, что через каких-нибудь десять лет я буду еженедельно выступать по телевизору, я бы только высмеяла его. Чтобы я когда-нибудь по своей воле встала перед телекамерой? Я, которая всем нутром ненавидит даже обычную фотографию и уж тем более всякую съемку?!

Полная чушь. Исключено.

Это яростное неприятие камеры, разумеется, взрастил во мне папка. То есть он тот человек, который любит фотографировать. Хотя он и фотографирует смолоду (несколько его лирических пейзажей были даже напечатаны в журнале “Чехословацкий воин”), но эта его страсть пышным цветом расцвела только с моим появлением. Он купил фотоаппарат “Зенит” и в первые десять лет моей жизни отщелкивал на меня по меньшей мере сотню пленок в неделю — во всяком случае, так мне казалось. В нашей квартире, сколько я себя помню, везде висело и валялось дикое множество черно-белых, а позднее и цветных фоток. На всех была я. Лишь на нескольких — я с мамой.

На первый взгляд фотография — вполне симпатичное, этакое культурное хобби, но верьте мне: когда такой страстный любитель-фотограф — ваш отец, детство просто превращается в ад. Я не преувеличиваю. Его фотоаппарат отбивает у вас охоту к любой прогулке за город, к любому дню рождения, к костру, на котором предстоит жарить сардельки, к народному гулянию в день святого Матвея и даже к новому велику. Фотоаппарат отравляет вам лес, море, горы, снег, солнце, да-да, именно солнце. Он портит вам весну, лето, осень и зиму. Вы хотите сесть, а должны стоять. Хотите пойти влево, а нужно — вправо, потому что влево — против солнца. Вам захочется в конце концов домой, ан нет, еще чего, ведь идти домой *при таком мягком освещении – непростительный грех!* Вам приходится без конца одеваться и раздеваться, и не потому, что жарко

или холодно, а потому, что по цвету вы гармонируете то с растрескавшейся ольховой корой, то с полем дикого мака. Вы не живете, а позируете. Нельзя ни попи́сать, ни расслабиться, ни почесаться. Вы должны все время лицедействовать. Улыбаться.

И упаси Боже — возразить!

Когда я пошла в первый класс, мое отвращение к фотографии достигло таких размеров, что я не могла даже *посмотреть* в объектив. Уже с шести лет он повергал меня в шок. Когда я старалась напустить на себя серьезный и чинный вид, на фотках выходила угрюмой, закомплексованной мышкой, а когда пыталась изобразить что-то вроде беззаботной улыбки, делалась похожей на счастливую дебилку. А теперь представьте себе все эти ежегодные групповые фото! Девять лет средней школы, и девять раз такие муки. Это каждому бросалось в глаза. Этого нельзя было не заметить.

— Ну и рожу ты скорчила, Ренатка! — наперебой поддразнивали меня одноклассники, разглядывая нашу общую фотографию.

— Что с тобой стряслось? — притворно жалели меня довольные одноклассницы.

— Солнце жутко било в глаза, — говорила я, прекрасно зная, что солнце тут ни при чем.

Дело было только во мне. После моего детского опыта присутствие фотографа (а зачастую и одного аппарата в той же комнате, где находилась я) начисто лишало меня необходимого спокойствия. Всякий раз я терялась и по мере приближения критического момента, когда должна была, как говорится, *вылететь птичка*, нервничала все больше и уж совсем не могла совладать с собой, чтобы хоть *как-то на уровне подать свою хорошенькую мордашку*. "Она красивая, — говаривала мама одной моей подружки, — но на этих фото она не умеет подать себя". Иными словами, мне не удавалось сконцентрировать свое, возможно даже очаровательное, существо в какой-то одной шестнадцатой доле секунды — или сколько там это поганое фотографирование длится. И на тех немногих относительно "сносных" снимках, оставшихся со школьных времен (само собой, большинство я сожгла), меня всегда выдает по меньшей мере какая-нибудь деталь: высунутый язык, кривая улыбка или чуть выпученные глаза.

— Ты чего здесь так скалишься, Рената? — слышала я обычно.

Или:

— На этой фотке тебя, верно, кашель донимал, что ли?

Казалось, ни у кого с этим делом не возникало проблем. Куда более страшные девчонки, чем я, на снимках выглядели гораздо лучше. Я была красивой *до* и *после* фотографирования.

— Есть три категории девочек, — объясняла я классу. — Фотогеничные, нефотогеничные и я.

В классе я смеялась. А дома потом ревела.

— Катитесь вы со своими фотками в задницу! — орала я на одноклассников на школьных экскурсиях. Они смеялись. Они уже знали меня.

От отцовской камеры Кроха удирает в море, и огорченный М. за неимением лучшего снимает меня. Мне уже не тринадцать, а двадцать семь, и я давно к фотоаппаратам и камерам равнодушна. Я даже откладываю тетрадь, встаю и начинаю пародировать всякие сексуальные позы: выразительно прищуриваю глаза, сильно закидываю голову, запускаю паль-

цы в волосы, чувственно выпячиваю губы и при этом, поглаживая груди, тяну за бретельки купальника. Папка и Синди аплодируют. Я кланяюсь и снова удаляюсь под зонт.

— Ну что, барышня? — равнодушно, заученно, без всякого интереса говорит фотографша. — Вы так ни разу и не улыбнетесь мне?

Лампы просто ослепляют меня, слезится левый глаз. Всю энергию я и так употребила на то, чтобы не моргнуть, чтобы держать подбородок в дико неестественном положении, в каком установила его двумя холодными пальцами эта дама, чтобы наконец не разразиться громким криком. На улыбку сил уже не хватает.

— Вы даже не хотите попробовать? — говорит она. — Так вы выглядите ужасно грустной.

Она тоже, но этого я не говорю ей.

— Девочка как картинка, пятнадцать лет — а так хмурится! Какая жалость, ведь у вас такие красивые зубы...

С усилием подаю голос:

— Понимаете, у меня иногда такой... шок.

Она по-прежнему склоняется над штативом.

— Подбородок, — говорит укоризненно. — Вы шевельнулись.

Она вздыхает, обходит штатив и снова устанавливает мой подбородок в исходное положение. Медленно возвращается. Мои плечи и шея окончательно задеревенели.

— Так что же? — говорит фотографша, оглядывая меня в видоискатель. — Что будем делать с улыбкой? Представьте себе хотя бы, как вы улыбаетесь своему парню.

Никакого парня у меня пока нет. Но несмотря на это, я приказываю своим лицевым мыщцам растянуть в улыбке мои губы.

— Так вы ему наверняка не улыбаетесь! — раздраженно говорит фотографша. — Так глупо...

Она снова выпрямляется. Снова вздыхает — а потом улыбается и выкатывает на меня глаза, что, скорей всего, должно означать одобрительное подмигивание. У нее облезлые брови.

Но и на сей раз улыбка у меня не получается.

— Ничего, попробуем еще раз.

— Извините, — говорю я, — правда, не получается. А без улыбки нельзя?

— Попробуйте. Три, два, один — и мы улыбаемся! — восклицает она с наигранным энтузиазмом.

Неужто это и впрямь никогда не кончится! Я собираю остатки моих душевных сил и послушно оскаливаю зубы. "Ну давай, тетка!"— приказываю я ей про себя. Ненавижу ее! Лицо у меня красное и тоже словно одеревенелое.

— Ну как изволите, — говорит она холодно и нажимает наконец спуск. — Я хотела как лучше.

На другой день я прихожу за карточками. Пани фотографша, к счастью, в задней части ателье. Пожилой, костлявый служащий вынимает фото из конверта и смеется.

— Это вы нарочно! Зубы эти?

Он изображает кролика. Потом показывает карточки молодой коллеге. Девушка прыскает и закрывает рот рукой.

— Это что, ради шутки? — спрашивает меня служащий.

Оба меня с интересом разглядывают.

Я молча смотрю на фотографии: я похожа на несчастного кролика с какой-то карикатуры.

Мило и совершенно *естественно* я улыбаюсь служащему (жаль было бы не улыбнуться, раз у меня такие красивые зубы):

— Нет. Это на паспорт.

Своего парня я встретила только годом позже: четвертого июля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, спустя четыре дня после моего шестнадцатого дня рождения.

Лежим мы с девчонками из класса у причала на Кампе[1], болтаем и загораем. Влтава шумит.

— Сюда кого-то несет, — недовольно бурчит Иржина.

В лаз ограды протискивается высокий чернявый парень. В одной руке у него алюминиевый ящик, в другой — штатив. На шее висит фотоаппарат. Нас он пока не замечает.

— Занято! — кричит Иржина.

Парень удивленно поднимает глаза. Опускает ящик и штатив на землю и идет к нам. Красивый. На вид ему чуть больше двадцати.

— Сладенький! — шепчет Иржина.

Приглушенный смех. Девчонки надевают лифчики. Иржина и я — нет.

— Здоро́во! — говорит он серьезно. — Мне нужно здесь кое-что снять. Не вас, конечно, не волнуйтесь. Не помешаю.

— А почему не нас? — говорит Иржина, выставляя свои маленькие сисёнки.

Девчонки смеются. Я — нет.

Парень поднимает фотоаппарат и наставляет объектив на меня и Иржину.

— Катись ты со свом аппаратом в задницу! — взвизгиваю я, но затвор успевает щелкнуть. Я в ярости вскакиваю, натягиваю майку, бросаю вещи в сумку и делаю ноги. Девчонки кричат мне вслед, но я не оглядываюсь. Пролезаю сквозь ограду, бегу в парк и плюхаюсь на ближайшую свободную скамейку. Реву.

Через минуту он подходит. Вытирает мне слезы с лица.

Приятно.

Я лезу в сумку и молча предъявляю ему свой паспорт.

3.

Писа́ние никогда не было сильной моей стороной, говорю это прямо. С грамматикой в основном проблем не было, но стиль мне не очень давался. Помню только, что каждое сочинение должно иметь вступление, потом как бы само повествование и под конец заключение. И требуется также, чтоб в каждом повествовании была прямая речь, — вот, собственно, и все, что я помню касательно стиля, говорю это прямо. Когда мне нужно написать письмо или какой рапорт подлиньше, это занимает у меня дня два (естественно, я преувеличиваю). Однако Рената утверждает, что это не имеет значения. Я, мол, должен использовать

1. Остров в районе пражской Малой Страны. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

наш совместный отпуск и правдиво описать ее рождение и все, что я помню из ее детства. Естественно, как говорится, я могу попробовать, однако не ждите от меня никакого романа, уж это я однозначно предоставляю сыночку.

Так вот, для вступления, пожалуй, достаточно, теперь прямо перейду к рассказу о том, как у нас родилась Рената. Родилась она, стало быть, до срока, дней на двадцать раньше. Моя бывшая жена была без сознания, и Ренату извлекли кесаревым сечением. В тот день, когда мою бывшую жену оперировали, я был со своим взводом на стрельбищах и потому вернулся домой поздно. Хотя, по правде сказать, мог бы вернуться как минимум на час раньше, но мой взвод по стрельбе занял в части второе место, и я со своим заместителем младшим лейтенантом Вонятой зашел в буфет выпить стопочку. Хотя я, можно сказать, ничего и не выпил, но сидел там с ним как минимум около часа, потому что, естественно, ничего не предполагал (а если бы предполагал что, я бы с ним там, естественно, не рассиживался, уж поверьте). Тогда мы жили еще у моих родителей, и когда я вечером пришел домой, моя бывшая жена уже давно находилась в родилке в Кутна-Горе. Мой отец сидел в кухне с соседом, у которого была машина (у моих родителей сроду ее не было) и который при особой надобности возил нас. Уже по одному этому факту я понял — что-то стряслось, да и у обоих был такой вид, что это каждый бы понял. "Что стряслось?" — спросил я. Они ответили, что еще днем моя бывшая жена стала задыхаться и ее в момент забрала "скорая". Стоило им это только выговорить, как меня охватил такой страх за мою жену, что я быстрехонько рванул в гостиную, чтобы немного успокоиться. По правде сказать, я залез там на минутку под стол, что постороннему человеку, естественно, может показаться чуточку странным, но к такому делу я привык с раннего детства, и в минуты, когда у меня, с позволения сказать, шалят нервы, мне это и впрямь помогает. А почему бы и нет, говорю я себе, нынче-то люди, чтоб успокоиться, ежедневно глотают магний, а то и нюхают всякую дрянь до потери сознания, и оно как бы в порядке вещей. А вот ежели человек минут на десять залезет под стол, так его сразу зачисляют едва ли не в психи. Однако отец с соседом скоро пришли за мной, и мы покатили в Кутна-Гору. Всю дорогу молчали, что, думаю, понять можно. Когда мы подъехали к родильному дому, мою бывшую жену как раз перевозили в реанимацию в Колин. В грузовом лифте я ехал с ней рядом, а потом провожал ее к "скорой". Она уже пришла в сознание, но во мне все так дрожало, что ничего толкового я сказать ей не мог, за что корю себя по сей день (а что мы с ней теперь в разводе, не имеет никакого значения). Доктор сказал, что это была так называемая родовая эклампсия и что в Колине условия у нее будут получше. Отцом Ренатки он почему-то посчитал моего отца — в нормальных обстоятельствах это был бы форменный ужас, но тогда ни на какие ужасы времени не хватало. Рената, естественно, уже родилась, но осталась в Горе. То, что мою бывшую жену разлучили с ребенком, естественно, для нее было тяжко, но, к счастью, через два-три дня состояние ее настолько улучшилось, что ее снова перевезли в Кутна-Гору. Ездил я к ней автобусом едва ли не каждый день, хотя в палату к ней еще не пускали и приходилось подзывать ее к окну, которое, к сожалению, было на третьем этаже. В первый раз увидел я Ренаточку лишь с черного хода — туда нас однажды пустила сестричка, которой зять преподнес сервиз из огнеупорного стекла. Я взяток сроду не давал и давать не умел, так что

за зятя тогда малость краснел, и потому трудно вспомнить, как Ренаточка выглядела (фотоаппарат в тот раз я не взял, ибо внутрь войти не рассчитывал). Помню только, что у нее уже были волосики, что была она жутко красная, но сестричка сказала, что это очень красивый ребенок. Не знаю, было ли это объективно или потому, что она получила взятку. Сам-то я судить об этом не мог, ведь мне было всего двадцать один и не так уж много новорожденных я на своем веку видел. Но нынче меня немного гнетет, что тогда по молодости я мало что запомнил.

В заключение хочу написать, что молодые люди и впрямь должны обзаводиться детьми чуть позже, только тогда, когда по-настоящему созреют для этого.

4.

Не прошло и недели, как стукнуло сестрице шестнадцать (к тому времени наши дражайшие предки уже четыре года были в разводе), а уж она намылилась на первое свидание. Дескать, один студентик Высшего художественно-промышленного училища пригласил ее на кофе.

— С каких это пор, сеструха, ты пьешь кофе? — говорю ей.

— С сегодняшнего дня!

Перед зеркалом в прихожей она напяливает на себя уж верно четвертую шмотку и вся сияет.

— Это мое первое нормальное свидание, — говорит она.

— А как выглядели твои ненормальные? — говорит мутер. —Те, что ты скрывала от нас?

— О тех и говорить не стоило, клянусь. Даже если кто-то в темноте в кино и сжимал мою руку — это что, по-твоему, было свидание? Было или не было?

— Думаю, не было, — говорит мать и подмигивает фатеру. — Думаю, то еще не было настоящим свиданием.

Папахен, который все утро так дергался, что под конец не выдержал и примчался проверить перед уходом сестрицу, сейчас как бы невзначай шныряет взад-вперед по маминой прихожей, руки в брюки, и старается типа возвышаться над происходящим. Он даже улыбается, что для лампасника немаловажно.

— О чем говорят на свидании? — спрашивает сестрица у матери. — Откуда мне знать, что надо говорить? Я уже сейчас из-за этого нервничаю.

— Мой тебе совет, — говорю я. — Всю дорогу говори ему: *Нет! Честное слово, нет! Нет и нет, ни в коем разе!* Все время одно и то же. Главное, чтобы без передыху!

— Хо-хо, — ухмыляется сестрица, хотя, на мой взляд, это совсем неплохая хохма для десятилетнего шкета.

— Кстати, сколько ему? — уточняет мать.

— Двадцать один. Но возраст не играет никакой роли.

— Точняк, — говорю я матери. — Главное, что голубки любят друг дружку, а?

— Так я идти не могу! — визжит сестрица.

Она изучает в зеркале свое отражение — зеркало от нее наверняка уже в полном умоте.

— Черный цвет дико бледнит меня!

Она глядит на часы и раз в семнадцатый бежит переодеваться. В ее

комнате бухают ящики. Мать гладит фатера по спине, как в былые времена. Сестрица вылетает из комнаты. На ней черные брюки и короткая – до пупа – белая маечка. Майка такая короткая, что, когда она подымает руки, исподнизу выглядывают сиськи.

Папахена вот-вот хватит инфаркт.

– У тебя сиськи выскакивают, – говорю я. – Придумай что-нибудь!

Фатер бросает на меня строгий взгляд.

– Сегодня не Рождество! – говорит он мне.

Сестрица не обращает внимания, мать не въезжает.

– Это у нас такая игра, – объясняю я матери. – Правда, папуля?

Папахен тоже – уже ноль внимания.

– Ты это серьезно? – говорит он сестре.

– В чем дело? – визжит она. – Что опять не так?

– В таком виде ты и вправду идти не можешь, – поддерживает фатера мать. – Ступай переоденься.

– Я не успею, – визжит сестрица. – Опоздаю! Понятно?!

– Если он тебя любит, подождет, – со знанием дела говорит мутер.

– Не подождет! Я уже не успеваю!

– Я заплачу за такси, – внезапно подает голос фатер. – Но ты ступай переоденься.

Сестрица хлопает дверью. Папахен вызывает такси: дважды повторяет адрес и вместо *двести пятнадцать* говорит *два сто пятнадцать*. Просто мозги недозрелые. Нормальный тормоз.

– Але, барышня, – говорит он наконец, – такси для молодой девушки. Вы можете прислать кого-нибудь понадежнее?

Я покатываюсь со смеху. Представляю, что́ эта девица могла ему ответить: *И такое я должна передать в микрофон: Господа, мне срочно нужен в Восковице кто-нибудь понадежнее для молодой девушки?!*

– Вы правы, – говорит фатер. – Благодарю вас.

Он чуть краснеет.

– Запишу его номер, – говорит он матери.

Сестрица выбегает из комнаты. Под короткой белой маечкой у нее теперь черная подпруга, которая забавно контрастирует с ее детской физией. Черные брюки стильно облегают жопку.

Фатер сглатывает.

– А так вас устраивает? – говорит сестрица.

Мать смотрит на фатера.

– Так лучше, – покорно выдыхает она.

– Через пять минут тебя внизу будет ждать такси, – говорит папахен и дает ей пять крон – видать, уже давно на такси не ездил. Он не перестает оглядывать ее брюки.

– Значит, к девяти дома, – говорит мать. – И никаких глупостей.

Сестрица быстро целует ее, потом целует фатера.

– Ну прости, прости, прости, – говорит она. – И спасибо за бильярдный кий!

Она еще раз чмокает фатера. Он тает, как масло.

– Ключи, деньги, паспорт, проездной – все взяла? – говорит он, снова улыбаясь.

– Гондоны тоже? – добавляю я в шутку, но никто не смеется, я даже получаю подзатыльник для острастки.

– Ну так что я должна ему говорить? – вырывается у сестрицы. – Ничего не приходит в голову!

Она вдруг становится похожей на маленькую девочку — хоть и с паспортом и в черном бюстгальтере.

— Главное, скажи ему, что должна быть к девяти дома, иначе твой отец собственноручно повесится, — шутит фатер на исходе сил.

Когда за сестрицей наконец хлопает дверь, он в изнеможении плюхается на материн диван.

— Ты не против, если я здесь ее подожду?

5.

Виктор совсем не похож на мальчишек из нашего класса. Он совершенно другой. Просто никакого сравнения! Он поцеловал меня (полный отпад!), но ни с чем больше не торопится. Он не распускает сразу руки, как наши ребята. Мы идем на чашечку кофе и совершенно нормально, но так замечательно разговариваем. Мне нравится, как он размышляет на разные темы и при этом не вышучивает все подряд, как остальные ребята. Я говорю ему это.

— Я вовсе не против шуток, — уточняет он. — Однако тут есть одно обстоятельство: если рассуждать логически, шутка — форма определенного согласия со всем этим окружающим коммунистическим свинством. Или по меньшей мере — форма смирения.

— Тем самым люди стараются по существу освободить себя от гражданской ответственности, — говорю я.

— Совершенно точно.

Мне нравится, что он видит во мне не просто сексуальный объект, а уважает меня как личность, у которой есть собственные взгляды.

— А поскольку так поступает подавляющее большинство, то нечего и удивляться, что наша история остановилась. Некоторым образом мы и впрямь живем в 1984 году, — добавляет он запальчиво.

С ним можно говорить не только о сексе, но и о совершенно других вещах. И прежде всего — о жизни во лжи и о той ужасной неволе, в которой мы все живем, часто даже не осознавая того. Не будь здесь этой вездесущей цензуры, он, к примеру, мог бы уже давно выставляться. Но Виктор — в отличие от других — не способен пойти ни на какие компромиссы со своей совестью. Снимать трактористов и доярок, чтобы раз в кои веки заслужить право отснять то, что по-настоящему его увлекает — да хотя бы тот же мусорный бак у панельного дома (кстати, это потрясающе яркое свидетельство о нашем обществе). Нет, он не идет на компромиссы, ибо от компромисса всего один шаг к doublethink[1]. Я призналась, что слова этого не знаю, но он надо мной и не думает подшучивать. Он рассказывает мне о писателе Джордже Оруэлле, его роман, кстати, есть у него в ателье. Он жутко умный и начитанный и знает уйму цитат. Мне нравятся его глаза (с немыслимо длинными ресницами!). Мне нравится, как он откидывает со лба волосы, нравится, как он пахнет.

Я влюблена.

Мы выпиваем кофе, но до девяти еще куча времени.

Он спрашивает меня, не хочу ли я заглянуть к нему в ателье — он показал бы мне кое-какие фото и дал почитать Оруэлла.

— Но ты должен мне кое-что обещать, — прошу я его серьезно.

— Слушаюсь.

— Дай слово, что ты не будешь меня фотить.

1. Двоемыслие *(англ.)*.

Мы отдаемся любви. Он внимательный и нежный. Мне почти не больно. А потом мы просто лежим и гладим друг друга. Наконец он встает и приносит мокрую губку. Я, затаив дыхание, напрягаю мышцы живота, но губка приятно согревает тело. Виктор моет меня. Я совсем не стесняюсь и испытываю какое-то чудесное, праздничное чувство. Он снова выходит, по-прежнему совсем голый, и возвращается с фотоаппаратом "Polaroid". Я улыбаюсь, удивляясь самой себе. Он подмигивает мне своими длинными ресницами и фотографирует меня. Карточка выскакивает из аппарата практически сразу, но приходится ждать, пока она просохнет. Мы тем временем целуемся. Виктор наконец снимает фольгу и раз-другой обдувает фотку. Улыбаясь, протягивает ее мне.

Это самая лучшая моя фотография.

Я растрепанная, раскрасневшаяся, с сияющими влажными глазами. Я смотрю в объектив, гордо выпрямившись, с какой-то даже хитрой всепонимающей улыбкой.

В углу фотки дата и время: 06. 06. 1986. 19.57.

Я — женщина.

6.

Вчера на пляже Рената сказала мне, что мой последний рассказ вовсе не плох и что надо, дескать, продолжать в том же духе. Я предложил ей написать для меня что-нибудь вроде плана, потому как вспомнил, что в школе на сочинении мы всегда перво-наперво писали план, но она посоветовала мне, с позволения сказать, плюнуть на план и писать просто о том, о чем помню из ее детства. "Но в каком порядке?" — спросил я. "В каком хочешь. В таком, в каком то или иное придет тебе в голову", — ответила она и сказала даже, что совсем не обязательно писать вступление и заключение. Я подумал было, что в таком разе в моих воспоминаниях будет полный кавардак, но ничего не сказал. Пусть будет как она хочет. Для меня даже лучше, что я могу плюнуть на всякие вступления и прямо взяться за дело. Так вот: когда Ренаточка родилась, докторша установила, что у нее вроде бы непорядок с тазобедренными суставами, и назначила ей так называемую пеленку Фрейки[1] (не знаю, правильно ли я помню, но вроде бы она так называлась — пеленка Фрейки). Это такой твердый простроченный желтый фетр, который ребенок должен носить весь день, чтобы ножки были в раздвинутом положении и тем самым суставы исправились. Моя бывшая жена сильно переживала по этому поводу и часто плакала, но докторша уверяла ее, что тут нет ничего серьезного и что со временем все пройдет. В конце концов у Ренаточки и вправду суставы выправились, но за те месяцы, что она носила эту пеленку, моя бывшая жена все глаза выплакала. И особенно летом, когда бывало жарко и мы выезжали с коляской на прогулку. Так вот, все дети лежали в колясках, болтая ножками, а Ренаточка лежала в пеленке Фрейки, потому что была в ней все время, не считая, естественно, купания. Думаю, это понятно. А вот ванночки приходилось готовить то теще, то мне, ведь у моей бывшей жены аллергия на ромашку и опухают глаза. Что же касается коляски (я же говорил Ренате, что в моих воспоминаниях будет жуткий кавардак, но она не послушалась), то нам она досталась после двух детей нашей свояченицы — денег на новую у нас, естественно, не было, думаю, легко представить себе, сколько в то время

1. Бедржих Фрейка (1890—1972) — чешский врач, ортопед.

получал командир взвода. Коляске было лет девять, но она была еще ничего: матерчатая, темно-зеленая, а вот по бокам уродливые декоративные полосы из светло-зеленого пластика, которые мне жутко не нравились. Сейчас, естественно, я не придавал бы этому такого значения, но тогда мне было всего двадцать один, а для молодого парня важны иной раз и такие пустяковины. Эти полосы я пытался отодрать, да не тут-то было, и когда после обеда я ходил с Ренаткой гулять, то только и думал, сгорая со стыда, про эти полосы на коляске. И честно говоря, думал о них больше, чем о самой Ренатке, которая в основном спала и никаких проблем не создавала. И теперь я даже злюсь на себя за то, что тогда такие, с позволения сказать, глупости мешали мне радоваться и в полной мере осознавать, что в коляске я везу собственного ребенка.

7.

Отец, братец и Синди перед ужином решают немного пройтись, а Кроха со своим новым дружком Петром идет играть в кегли. М. запирает комнату, которую делит в нашем "семейном" отпуске с моим отцом и моим братцем, и мы впервые за прошедшие три дня любим друг друга.

Когда вышеупомянутая троица возвращается с прогулки, мы все рассаживаемся на террасе "дамских апартаментов", и М. угощает нас охлажденным коктейлем. Братец тотчас залезает под стол писать, а все остальные погружаются в чтение: отец читает датский бестселлер "Ощущение снега у мадемуазель Смилли", Синди — Кундеру ("Книгу смеха и забвенья"), я — Эрику Джонг, а М. — какую-то юмористическую книжку в желтой обложке о проблемах созревания. Время от времени он цитирует нам нечто *забавное*, чтобы скрыть свою все возрастающую тревогу из-за более чем получасового отсутствия Крохи.

— "Отцовство — превосходный и обогащающий опыт, за исключением тех минут, когда приходится общаться с детьми..."

Мой отец от души смеется. Синди интересуется, что значит "за исключением". Мы объясняем.

— "В теле ребенка существует железа, называемая гипофизом, или нижним придатком мозга, — продолжает М. — Это бомба с часовым механизмом, изготовленная матерью-природой. Уже в ту минуту, когда вы прижимаете к себе своего младенца, бомба начинает тикать..."

— Точно схвачено! — говорит мой отец.

С раннего детства отец с матерью втолковывали мне, что я никогда не должна врать. Ни при каких обстоятельствах.

— Какой бы проступок ты ни совершила, ложь сделает его еще хуже, — взывала ко мне мама.

— В конце концов простить можно все, — утверждал отец. — Все, кроме вранья.

Обыкновенные воспитательные речи. Дело известное.

— А почему вранье — нельзя? — однажды спросила я простодушно.

— Потому что вранье — самое большое предательство, которое существует на свете. Вранье даже хуже предательства: если кого-то предают, делают это хотя бы за его спиной, тогда как ложь говорится прямо человеку в глаза, — увлеченно импровизировала мама.

— Да и как бы мы могли тебе доверять, если бы ты врала нам прямо в глаза, — вторил ей папка.

До развода они составляли вполне удачный педагогический тандем.

Короче говоря, что бы я ни вытворяла, я никогда не врала. Их педагогическая цель была достигнута: до 6.6.1986 года я говорила им чистую правду при любых обстоятельствах. Хотя, случалось, я чуть ли не вогняла их в гроб — отца в особенности.

— Приветик, мне надо вам кое-что рассказать, — однажды сообщила я им, вернувшись из пятидневной школьной поездки в Липно и едва скинув рюкзак. Мне было тринадцать. Прошло менее года, как наши развелись, но когда я уезжала надолго, они вновь объединялись и ждали меня вместе.

Отец сразу побледнел и кинул взгляд в сторону кухонного стола — скатерть, казалось, предоставляла под ним весьма успокоительный полумрак.

Мама погладила папку по спине и обратилась ко мне:

— Мы слушаем.

— Вчера вечером мы с Иржиной надрались в комнате...

— Надрались?! — ужаснулся отец. — Что ты имеешь в виду — "надрались"?

Мама взяла его за руку.

— Только вдвоем? — спросила она деловито.

— Только вдвоем.

— Это правда?

— Клянусь.

— Что вы пили и сколько?

— Бутылку красного вина.

— Целую бутылку? — вскричал отец. — Целую бутылку?

Казалось, вот-вот его хватит инфаркт.

— Кто вам ее купил? — продолжала дознание мама.

— Мы сами.

— Как вам ее продали?

— Мы улыбнулись продавцу...

Мама на мгновение умолкла. Отец потрясенно качал головой.

— Бутылка была литровая или 0,75 ? — уточнила мама

— Не знаю. Клянусь!

— Такая тонкая или толстая?

— Толстая. Франковка[1].

— Литровая?! Ты, наверное, шутишь? В тринадцать лет вдвоем выпить целый литр?! — взвыл отец.

— Тебя рвало?

— Рвало.

— Сильно?

— Сильно.

— О Господи! — сказал отец.

— А Иржину?

— Тоже. Тоже сильно.

Губы мамы чуть скривились в улыбке, но она тут же строго поджала их.

— Кто все убрал?

— Мы сами.

— Как следует?

— Как следует. Ковер — такой специальной пеной, постельное белье утром выстирали.

1. Сорт дешевого красного вина.

– Учительница знает?

– Знает.

– Как она узнала?

– Спросила, почему у нас в комнате так воняет.

– И что вы ей сказали?

– Правду.

– А что она вам на это сказала.?

– Ничего. Смеялась и сказала, что мы чучела.

– Смеялась!! – взвился отец. – Она смеялась!!

Он вскочил и заметался по комнате.

– Ты понимаешь, что это была несусветная глупость? – сказала мама.

– Ведь они могли во сне задохнуться! – кричал отец, хватаясь за голову.

– Обещай нам, что больше никогда в жизни не возьмешь в рот алкоголя, – взывала ко мне мама.

– Обещаю.

– Поклянись! – сказал отец.

– Клянусь, – сказала я торжественно.

– Хорошо, – сказала мама и выразительно посмотрела на отца. – Я хочу, чтобы ты знала: отец и я действительно очень ценим, что ты нам рассказала об этом.

Вечером шестого июня тысяча девятьсот восемьдесят шестого года отец стоит на балконе квартиры моей матери.

Он знает, что я должна прийти в девять, и потому стоит там уже с половины девятого. Темнеет, и он придумывает, как наказать меня, если я приду позже. Внизу глубоко под ним светится вечерняя Прага, переполненная ненадежными таксистами и сомнительными кафе и барами, где шестнадцатилетней девчонке запросто нальют всего, чего только эта безмозглая коза ни попросит. Прага переполнена крутыми водителями и негигиеничными сортирами, Прага переполнена темными парками, подъездами домов и пустыми квартирами, предоставленными на время подружками. Прага переполнена кидалами, похитителями, скинхедами, наркодилерами, брачными аферистами, садистами, фетишистами, онанистами, педофилами и пацифистами. Прага переполнена вьетнамцами, поддавшими новобранцами. Прага переполнена цыганами, арабами и пьяными немцами, без устали бросающими друг в друга пивные бутылки (как в Болгарии). Прага переполнена "художественными" фотографами и их так называемыми ателье.

На балкон выходит мама.

– Не хочешь поужинать, Карел?

– Я не голоден, спасибо.

Пожав плечами, мама уходит.

А его девочка где-то там, одна. Посреди всего этого кошмара. В этой маечке! И он сам ее туда взял и выпустил...

О Господи!

Случись что, он до последнего вздоха себе не простит. Не вынесет! Наложит на себя руки! Сегодня же ночью выбросится с этого балкона.

В пять минут десятого снова появляется мама.

– Рената... – говорит она.

Отец отчаянно хватает ее за руки. Сжимает их так сильно, что ей больно. *Изнасилована? Она жива?* – спрашивает его безумный взгляд.

— ... ужинает, — договаривает с у́лыбкой мама. — Ест котлеты. Спрашивает, не выпьешь ли с ней. По дороге в "кругосветке" купила пиво.

— Разве что символично... — с виду равнодушно говорит мой отец, но в глазах у него сияют настоящие слезы счастья.

Вот так.

8.

Вчера на пляже я сказал Ренате, что многого из ее детства уже не помню и что вообще хотел бы со своим писательством закруглиться. Но она ни в какую. Нет и нет! "Пиши хотя бы о воскресных обедах с моими бывшими ухажерами", — сказала она. "Вот еще! Тогда уж лучше вспоминать о твоем детстве", — ответил я ей полушутя-полусерьезно. Хотя, если она настаивает, так и быть — могу кое-что написать и об ее ухажерах. Впрочем, оно и к лучшему, ведь в самом деле многие детали ее детства стерлись из моей памяти, да и вообще не хочу, чтобы казалось, будто я умышленно умалчиваю о ее бывших поклонниках. Может ли кто сказать, что ради Ренаты я не был готов простить им что угодно, но если уж этого "что угодно" чересчур, так его и впрямь чересчур — столько, что подчас сил не хватало выдержать. Ведь если, например, кто-то на голубом глазу приносит вам "художественные" фото вашей единственной дочери, которые до того "художественны", что, увидев их, покраснели бы даже в "Плейбое", так это и в самом деле чересчур. Или когда двадцатилетний школяр, который за все время обеда ни разу не глянет вам прямо в глаза, почему-то вдруг начинает вам втолковывать, что вы ведете пустую жизнь, ибо полную жизнь человека составляет лишь "героическое обращение к сверхличностному" или что-то в этом роде, то вы волей-неволей готовы, с позволения сказать, вцепиться ему в глотку, будто у вас вообще и дочери нет. Я, конечно, вовсе не жду, что какой-нибудь молодой охальник прямо с порога кинется мне на шею и станет величать меня "папочкой", не такой уж я, с позволения сказать, наивняк, но, с другой стороны, какой отец не хотел бы иметь хоть мало-мальскую гарантию, что дочь его встречается с человеком приличным, вежливым и разумным. Только если вместо этой гарантии вы видите, как этот ухажер, с позволения сказать, удовлетворяется в вашей ванной (хотите верьте, хотите нет, а так и вправду было с Ренатиным "вторым"), то что прикажете делать? Тут уж любой смекнет, сколько всего мы с моей бывшей женой нахлебались с Ренатиными ухажерами! Когда Ренатка должна была родиться, я только и повторял: "Мне без разницы, кто будет, лишь бы ребенок здоровым был!" Хотя про себя втайне мечтал иметь девочку. Ведь мальчишек вокруг меня и без того целый полк — такая уж моя армейская служба. Их пошлости и вечные разговоры о бабах давно в печенках сидят! Но теперь вот что скажу: видит Бог, Ренату я люблю больше жизни, но если бы я загодя знал, каких недоумков она станет водить к нам в дом, так, клянусь всеми святыми, с самого начала я мечтал бы больше о мальчике.

9.

Братец таскает свой ноутбук даже на пляж и, понятно, привлекает внимание. Счастье еще, что не таскает и стол... А всего лишь залезает под зонт, где потом часами сидит и пишет. Отец и я временами тоже

"записываем", но чаще читаем. Иной раз, перевертывая страницу, мы улыбаемся друг другу: папка – мне, М. – Крохе... Синди, как истая американка, улыбается всем. Keep smiling[1]. Мне же Кроха без особого повода не улыбается почти никогда.

Бодрыми улыбками мы обмениваемся, лишь сталкиваясь на пороге ванной.

– Кое-что прочту вам, – роняет папка (он говорит "вам", но обращается прежде всего к М.) и с несколько школьной интонацией цитирует: – "Прийти к тому, что человек обязан совершить. Возможно, именно Исайя дал мне это. Как дает каждый ребенок. Ощущение смысла".

После слов "ощущение смысла" отец делает драматическую паузу и бросает на меня короткий застенчивый взгляд. Потом продолжает:

– "Ощущение, что сквозь меня, а затем и сквозь него проходит колесо жизни, вращаясь в хрупком, но при этом неодолимом движении".

Вынужденная неловкая тишина, обычно сопровождающая подобную патетику.

– Вот это бомба, что скажешь, сестрица? – усмехается братец. – Я называю это психологической примочкой!

Братец гримасничает, Кроха заливается смехом.

– Что такое *сквозь*? – спрашивает Синди. – И что такое *хрупкий*?

Общими силами мы переводим ей.

На сей раз родители выразили настоятельное желание познакомиться с Виктором. Мама предложила пригласить его на воскресный обед.

– Наши хотели бы с тобой познакомиться, – без всяких затей сообщила я Виктору (я еще не отвыкла говорить "наши", хотя к тому времени прошло уже четыре года, как они развелись).

Он улыбнулся (мне ужасно нравилась его улыбка).

– Да ну! Стало быть, ваши хотели бы со мной познакомиться?

– Вот именно, ты же понимаешь. И мне велели пригласить тебя на воскресный обед. Папа сказал, что хотел бы посмотреть некоторые твои фотографии.

– Воскресный обед?! – воскликнул Виктор. – *Воскресный обед*? Очнись, ради Бога! Мы живем в двадцатом столетии!

Я любовно откинула ему со лба волосы (мне ужасно нравились его волосы).

– Я знаю, но пойми меня. Что я должна сказать им?

Он возмущенно увернулся от меня и встал.

– Так, значит, отец Конделик[2] приглашает меня на воскресный обед? Что же нам сударыня матушка приготовить изволит? Кнедло-капустно-свиное или гусятинку?

Гнев всегда был ему к лицу: он выглядел ужасно мужественным.

– Я понимаю, Виктор, но сделай это ради меня, любовь моя.

– Значит, товарищ капитан и товарищ учительница приглашают меня на воскресный обед? Что ж, посмотрим...

– Я же не виновата, Виктор. Я не отвечаю за своих родителей.

– Родители, – презрительно сказал он. – Знаешь, что такое родители? Балласт.

– Я знаю, но...

– Нужно иметь смелость это признать. Если не избавишься от этого

1. Всегда с улыбкой (*англ.*).
2. Персонаж романа "Отец Конделик и жених Вейвара" чешского прозаика и журналиста Игната Хермана (1854–1935) – сатира на мелкого пражского буржуа.

балласта, всю жизнь проживешь в детской — смени ты хоть сотню собственных хаз!

О том, что наконец пришла пора (в шестнадцать лет) перестать жить вместе с мамочкой и найти для себя какую-нибудь гарсоньерку, мы с Виктором уже не раз говорили, но его невероятно подходящая и гениально точная метафора насчет детской комнаты была абсолютно новой. Он ужасно умен! Этой метафорой он убил меня наповал. Я расстегнула пуговицы на его рубашке и с восторгом уткнулась лицом ему в грудь (у него была ужасно красивая грудь!).

— Ведь речь только об одном обеде, — прошептала я в его пушистые волоски.

10.

И то правда, обычно двух-трех минут хватает, чтобы сразу определить, что за фрукт перед вами, но уж поверьте мне — на этого сестриного "художественнного фотографа" вам и двух-трех секунд хватило бы с лихвой: видели б вы только, как он одет (бермуды и грязная майка), какие он строит рожи и каким макаром подает папахену руку, вам вмиг стало бы ясно, что это дебил non plus ultra[1].

— Это Виктор, — говорит сестрица.

— Рады с вами познакомиться, Виктор, — изрекает мутер.

Маэстро улыбается и кроме "драсте" не произносит ни слова, что, видать, считает чем-то типа учтивой расположенности. Под мышкой у него огромадная черная папка с фотками, с которой свисают растрепанные тесемки. Фотки, быть может, привлекли бы мое внимание, но когда следом я узрел шизоидную улыбочку, с которой Маэстро по-быстрому окинул материну гостиную и книжные полки, я утратил всякий интерес к его творениям.

Обед из-за этого надутого придурка был нудным до ужаса. Я еле дождался, когда наконец смогу залезть под стол. Едва доев, отложил прибор и спикировал вниз.

— Куда он лезет? — прибалдел Маэстро.

— Под стол, — извинительно пояснила ему сестрица.

Маэстро не прокомментировал сказанное, но я отлично слышал, как сестрица постучала пальцем по лбу, что меня, должен сказать, слегка покоробило. Сверх того, прямо перед моей рожей были волосатые художнические рычаги, так что немного погодя я опять вылез. Мать с надлежащей светской улыбкой подавала кофе (само собой, в праздничном фарфоровом сервизе), а Маэстро с мрачным видом развязывал узел тесемок.

— Вам с сахаром? — спрашивает мать и подает ему эту обалденную сахарницу с золотыми розочками.

Маэстро *с недоверчивой миной* кладет сахар и многозначительно смотрит на сестрицу. Сестрица что-то шепчет ему, и оба громко смеются. Потом сестрица сует ему язык в ухо. Папахен не знает, куда глаза девать, и потому буравит ими стену.

Минутами мне даже весело.

— Ужасно хочется посмотреть фотографии, — произносит мамочка.

— Это художественные акты, папуля, то есть обнаженная натура, — весело сообщает фатеру сестрица. — Пусть это тебя не шокирует...

1. В высшей степени (*лат.*).

— Акты? — с сомнением говорит фатер, словно надеясь, что не расслышал. Но расслышал он точно.

— Акты. Может, ты имеешь что-то против обнаженной натуры, папа?

Папахен в шоке.

— Чьи акты? — говорит папахен с явной опаской в голосе.

-- Мои акты, а чьи же еще? — сладко говорит сестрица и целует Виктора. — Они очень красивые.

На лице Маэстро горит воинственная решимость насмешливо презреть любую фразу, которую в этой комнате кто-либо выскажет о его фотографиях — а армейские спецы и подавно. Папахен обращает взор к матери: "Ты знала об этом?"

"Не знала!" — говорит ее жест.

Видок у фатера до смешного напуганный. Он уже снова уставился в стену. Мама решает изобразить, что ей весело.

— Стоит ли церемониться из-за толики обнаженности! — смущенно улыбается она.

Потом она на хорошем литературном языке объяснеет фатеру: разве спокон веку женской обнаженной натурой не вдохновлялись самые великие живописцы? Разве отец не видел в Дрездене картины Рубенса или Моне? Разве это первые обнаженные модели в истории художественной фотографии? Слышал ли отец хотя бы имя Франтишека Дртикола[1]?

Она иногда замещает преподавательницу искусствоведения, и вот наконец пришел час, когда она может подать товар лицом. Делает вид, что обнаженность для нее — самая естественная вещь на свете, и если бы речь шла только о ней, она нормально обедала бы голая. Совершенно нормально.

Однако фатера это не убеждает. Возможно, ему кажется странным, что для *толики обнаженности* требуется такая здоровенная папка. Сестрица отодвигает кофе и открывает ее. Я уже сказал вам, что решил было проигнорировать эти фото, но вдруг за столом воцаряется такая тишина, что я не выдерживаю.

При таком огромадном увеличении в первую минуту все выглядит вполне невинно. Типа *абстрактно*. Просто какой-то неправильный черный треугольник на белом фоне. Лишь следом до меня доходит: это сестрицына кошечка, в натуре.

Величиной с окошко в сортире.

Я от души гогочу.

— Клево, Маэстро! Ты меня нормально достал!

Он не знает, как держать себя с этим десятилетним шкетом, — на всякий случай принимает снисходительный вид.

Фатер белый, как хозяин известковой фабрики.

— Как я вам нравлюсь? — любопытствует сестрица.

Никто — ни звука!

— Это... смело, — наконец принимает на себя удар мать. — Это смело, но мне нравится!

Фатер тем временем открывает еще одну фотографию.

Снова манда. На сей раз узнаю ее с ходу.

На следующей фотографии для разнообразия уже сестрицына белая задница, а под ней — чуток черной растительности.

1. Творчество крупнейшего чешского фотографа Франтишека Дртикола (1883—1961) отличает прежде всего искусство портрета и обнаженной натуры.

— Напоминает Франтишека Дртикола, — говорит мать. — Я имею в виду контраст тени и света.

Дртикол номер два с ухмылкой фыркает.

Папахен багровеет. На следующую фотку он уже не глядит. Отодвигает папку и вперивается в стену. Сестрица начинает нервничать. В воздухе зависает вопрос, который фатер не решается выговорить. Я точно вижу, как этот вопрос сжигает его изнутри и как фатер вот-вот отрубится.

Но потом все-таки спрашивает:

— Ты уже... не девушка?

— Девушка, папуля! — выпаливает сестрица, чуть заикаясь.

Она тоже краснеет.

— Ты уже не девушка? — насмешливо повторяет за фатером Маэстро. — Как вы думаете, в каком веке вы живете, товарищ капитан?

— Убирайтесь вон! — вопит фатер. — Сию же минуту!

И залезает под стол.

11.

Сегодня на пляже мы с Ренатой вспоминали доктора Хароуса, и ей захотелось, чтобы я написал и о нем. Так что без долгих разговоров я, как говорится, прямиком приступаю к делу. Когда Рената была маленькой, мы ходили в поликлинику к доктору Хароусу. Какой он был врач, естественно, судить не берусь, но человек он был строгий и даже высокомерный, так что все мамочки без преувеличения боялись его: он всегда издевался над ними за их привычку лечить своих детей дома. Ну, например, спрашивал какую-нибудь мамочку, делала ли она ребенку компресс, и когда она отвечала "да", он как бы индифферентно уточнял: холодный или горячий? "Холодный, пан доктор, конечно, холодный", — отвечала, допустим, мать. "В самом деле? Занятно!" — всегда говорил доктор Хароус (либо что-то такое же ироничное). Потом он обычно глубоко вздыхал, возводил глаза к потолку и очень долго туда пялился, что для всех мамочек было оскорбительнее, чем если бы он, допустим, кричал на них, хотя, естественно, и такое случалось. У моей бывшей жены он, к примеру, спросил, давала ли она Ренате что-нибудь от температуры. "Половинку аспирина, пан доктор", — как есть ответила моя бывшая жена, потому что тогда еще аспирин всегда детям давали (парален вроде бы еще не выпускали и о каких-то возможных осложнениях после аспирина не имели понятия). "В самом деле? А могли бы вы мне кратенько обрисовать, как работала ваша мысль, что вы избрали именно этот метод лечения?" — сказал тогда моей бывшей жене доктор Хароус. С того дня жена отказывалась ходить к нему, так что, когда спустя месяц у Ренаты началось воспаление среднего уха, пришлось уже мне идти в поликлинику. Поначалу доктор Хароус меня тоже испытывал: к примеру, обращался ко мне только по фамилии, без звания, хотя сестричка ясно сказала ему, что в приемной ждет пан инженер такой-то с дочкой для промывания ушей (причем повторила это дважды). Пусть своим званием я особо не горжусь и вне работы его практически не употребляю (естественно, я не представляюсь инженером таким-то, как делают некоторые тщеславные люди), но в данном случае, сказать по правде, меня это уязвило, тем более что сестричка дважды обратила внимание доктора на мое звание. Поэтому, когда он меня спросил, с каких пор

Рената жалуется на боли в ушке, я, отвечая на вопрос, величал его не "паном доктором", а попросту "паном Хароусом", чтобы он понял мой намек и перестал обращаться ко мне вроде как "Эй, ты!" или "Эй, погоди!" Обычно я не спорю с людьми и по большей части даже слишком им уступаю, но в тот день я не выспался, всю ночь мы вставали к Ренатке, да и, в конце концов, сильно нервничал, раз заболела наша девочка. Тогда доктор Хароус вскинул на меня изумленный взгляд и хотел было что-то сказать, но тут вдруг подошла к нему наша Ренаточка, с личиком опухшим и заплаканным, удивленно взяла его за руку и воскликнула с этаким наивным детским ужасом: "А у тебя волосатые луки!" (она еще не выговаривала "р", так что прозвучало это очень забавно). Доктор Хароус и я от души рассмеялись, и с тех пор он вел себя как положено. Даже запомнил нас с Ренаточкой и всегда смеясь показывал ей свои волосатые докторские руки.

12.

Виктор открыл мне глаза: я — дочь лампасника! Как я могла столько лет быть слепой?! Разве отец не брал меня в выходные в казарму? Разве я не видела, *кто это?* Ответ: я не могла это видеть, я была еще ребенком. Я была ребенком, а отец воспользовался моей несмышленостью. По сути все эти годы он дурачил меня!

Мои отношения с отцом сразу оказались на точке замерзания. В каникулы я под разными предлогами исподволь разрушала все наши общие уик-энды и ежегодные недельные отпуска.

— Но я уже с лихвой за все заплатил! — канючил этот служака Чехословацкой народной армии и член коммунистической партии.

— Все оборви! — Виктор был непреклонен.

С товарищем капитаном я не встречалась долгие месяцы, и мне хоть бы хны! Мама, правда, продолжала иногда приглашать его на обеды, но я всякий раз находила предлог и смывалась из дому. Однажды я так и сказала маме: мне непонятно, как ты можешь приглашать в дом *такого сорта людей.* В конце концов я перестала ему даже звонить.

— Отлично, — сказал Виктор. — С ними мы не должны идти ни на какие компромиссы.

Когда мне пришлось — под нажимом мамы — поздравить отца с днем рождения, я, не глядя ему в глаза, только из жалости подставила щеку для поцелуя (Виктору об этом я не сказала). К Рождеству я через братца послала ему мерзкий дешевый *социалистический* галстук, который красноречиво выражал мое отвращение к таким людям, как он.

Галстук я даже не завернула.

В январе 1987 (кстати сказать, в день памяти Палаха...) я встретилась с ним (конечно, по его настоянию) в кафешке Общественного дома и наконец абсолютно откровенно выдала ему все, что о нем думаю.

Он не попытался даже защититься.

Я окончательно порвала с ним всякие отношения и два года, пока встречалась с Виктором, ни разу не навестила его.

Я отказывалась жить во лжи.

Часть вторая

Разводы, Рождество и подобные мелодрамы

1.

Не стану вам мозги пудрить, будто свои записи я никогда не хотел издать, будто не хотел каждый месяц рисоваться в телике или доказать, например, этому залупистому трубочисту, который, кстати, вчера опять завернул к нам, что я хотя и сижу целый день дома под столом, но все ж таки не какой-нибудь слюнявый шиз, как он, судя по всему, думает. Ясно, всегда хотел... А кто не хочет быть знаменитым? Скажу как на духу: с этой заманчивой мечтой о славе я частенько втихаря заигрывал, но на этом заигрывании все и обламывалось. Записей были тонны, но меня насчет них постоянно одолевало сомнение. Я не верил себе, и, думаю, не без достаточного основания: в Гарварде я не учился, с литературным языком сроду не в ладах, а что до так называемой культурной почвы, так могу сказать вам лишь то, что со времен детства и отрочества не помню ни одного путного разговора о литературе, который при мне вели бы папаша-лампасник с мамашей-училкой. Но однажды сестрица втихую прочла мои записи и с того дня не уставала долбить меня, что, дескать, у меня талант и я должен издать их. Уйми гормон и тормозни, сказал я ей, у меня на такое кишка тонка. Но она так с меня и не слезла. И однажды процитировала то, что написал Честертон о Диккенсе: "Голый пламень чистого гения, который вспыхивает в человеке без культурной почвы, без традиций, без помощи религии и философии, без обучения в прославленных заграничных университетах и восжигает свет, какого никогда не было ни на море, ни на суше. В этом свете простые и обыкновенные вещи отбрасывают длинные и изумительные тени..."

— Да, класс! — усмехаюсь я.

После нескольких лет напрасных уговоров сестрица в конце концов в позапрошлом году затащила к нам двух деятелей из Института чешской литературы, мэна и тетку, которые взялись вкручивать мне, что, издай я свои записи, я здорово насолил бы нашей литературе. Они гарантировали мне, что я, как говорится, в одночасье стану самым читаемым чешским писателем.

— Неужто так хреново с нашей литературой?— спрашиваю.

Они переглянулись, а потом сообщили, какой нынче средний тираж чешской прозы.

Тут уж дошло до меня: и впрямь полный отстой с этим делом.

— Так вы принимаете предложение?

— Но почему именно я? Разве вам не сказала сестра, что я девиант?

— Никого лучше нет у нас на примете, — говорит мэн.

— Поймите, — напирает тетка, — кому-то же надо это делать...

— Ну что ж, принимаю. О"кей!

— Спасибо. Вы, правда, милый.

Автографиада состоялась у меня в книжном магазине Фишера (примерно неделю спустя после того, как я был гостем в сестрицыной "Тринадцатой комнате") и, пожалуй, вполне удалась. Не сказать, что пришла уж такая уйма народу, но поскольку я совсем не привык писать от руки, каждая подпись, включая дату, занимала почти минуту, так что враз выстро-

илась очередь аж на улице. Это выглядело и впрямь внушительно, и папахен с сестрицей раздувались от гордости. За столом я, понятно, сидеть не мог.

— Как вы полагаете, шеф, могу ли я для подписывания спуститься вниз? — спросил я Фишера еще до того, как все началось.

— Вниз?

— Я имею в виду под стол.

— Под стол?

— Под столом мне привычней, — объяснил я ему. — Здесь, наверху, как бы это сказать, не моя стихия.

На лице у книготорговца отобразилось недоумение. Люди в магазине улыбались.

— Я всегда предпочитаю смотреть снизу вверх, — говорю я. — Наверху я всякий раз теряю чувство реальности. Это напрочь расшатывает мою психику.

— В таком случае, — наконец восклицает Фишер, — почему нет?!

Я залез под стол и начал раздавать автографы, однако чую, что-то не клеится. Раз-другой подписал — и нервы пошли вразнос.

— Не хотелось бы, шеф, без конца затруднять вас, но не нашлась бы здесь какая-нибудь скатерть? Без скатерти я всегда чувствую себя страшно обнаженным.

— Скатерть? — говорит Фишер.

— Точняк, шеф. Sorry, но без скатерти я скорей всего не справлюсь.

— Стало быть, скатерть? — говорит Фишер. — Нормально.

Он посмеялся, но скатерть принес. Я враз почуял себя гораздо лучше. Я шлепал подписи одну за другой — каждая занимала секунд пятьдесят, не более. Единственная заковыка заключалась в том, что меня практически не было видно, но Фишер с одной продавщицей утрясли дело запросто: повесили табличку АВТОР ПОД СТОЛОМ. Люди, по крайней мере, смеялись, а в литературе, думаю, это дело первейшее, не так ли? Подписывание теперь шло как по маслу. Телки нагибались ко мне — аж сиськи из выреза выскакивали.

— Я видела вас по телику, — говорит одна такая вполне клевая.

— Фантастика!

Я старался говорить максимально коротко, чтобы сосредоточиться на подписи. А когда не мог сосредоточиться, высовывал язык, что, согласитесь, на автографиаде выглядит довольно придурочно.

— Это было жутко смело, когда вы под конец вылезли из этой будки и нарисовались. Я в смысле... перед всеми. Это было... факт, колоссально.

— Серьезно? Ну спасибо.

С этой подписью я почти что управился.

— Вы, факт, были такой классный.

Финито: подпись — что надо.

— А не могли бы вы приписать там еще "Габине"?

— Нормалек, для этого я и здесь, золотко, — говорю я, хотя рука уже не моя.

Наконец все в ажуре и я могу взглянуть и на ее сиси: офигеть можно!

— У вас красивый почерк, — говорит Габина. — Такой типа детский.

— Это единственное, что у меня еще детское. Все остальное у меня уже чертовски взрослое...

Она хихикнула, огляделась. А когда я подавал ей книжку, сунула мне в руку записочку с телефоном — почти такую же, как в тот раз Линда.

Она взглянула на меня — как, мол, отнесусь к этому.

— Спасибо, малышка, — говорю я сладко. — Лучше этого нет для меня подарка!

А когда она выпрямлялась, то большим пальцем и мизинцем изобразила телефонную трубку. Мизинец потом сунула в рот и облизала. Ну и штучка эта Габина!

Вслед за ней прихилял какой-то хмырь в возрасте.

— Я видел немало писателей под столом, — говорит он, — но никто из них уже не в силах был подписываться.

Он весело поглядел на мою подпись.

— Вы с этим справляетесь еще довольно прилично, — похвалил он меня.

В общем он был мне даже симпатичен, но поболтать с ним не довелось — за ним стояли трое увечных с одним сопровождающим-педагогом. Хотя слово "стояли" не вполне уместно: двое сидели в инвалидных колясках, а тот, что кой-как стоял, для разнообразия был слабоумным.

— Павлик хотел бы кое-что сказать вам, — говорит сопровождающее лицо.

Слабоумный задергал огромной башкой, и из носу у него вывалилась зеленая сопля величиной с детский носок.

— Он стесняется, — объяснил мне педагог и обратился к Павлику:

— Утри нос, Павлик, и скажи пану писателю то, что ты хотел ему сказать.

Павлик растер сопли по роже и что-то пробубнил мне. Я не разобрал ни слова.

— Он говорит, что вы для него настоящий образец для подражания, — перевел мне педагог.

2.

Рената говорит, что мое "отпускное" писательство ей нравится, но я-то отлично знаю: чтобы пташку изловить, надо песню заводить. Однако признаю, что в определенном плане такое писательство — дело хорошее: приходится ломать голову и вспоминать вещи, о которых и думать забыл. Когда я поначалу здесь на пляже вспоминал о Ренаткином детстве, у меня перед глазами всплывало главным образом то, что было заснято или накручено камерой (если представить, сколько раз все эти пленки и кассеты с ней я просматривал, то, думаю, это нормально). Теперь, когда уже не впервой сажусь за писание, вспоминаются вещи, которые я вообще никогда не снимал. Вот хотя бы такое: у Ренатки все маечки всегда были грязные — в пятнах от апельсинового сока, который мы с моей бывшей женой для нее отжимали. Или как она в четыре года в автобусе по дороге в Бенецко читала по памяти всего Максипса Фика[1], которого выучила с пластинки, и как весь автобус ахал от удивления. Вспоминаю также, как я брал ее из ясель, а позже из детского сада, как там ужасно воняло и как пани воспитательница и остальные дети, завидев меня на пороге, во весь голос кричали: "Ренатка — домой! Ренатка — домой!" — и как потом Ренатка в фартучке подбегала ко мне и всегда целовала. Мало-помалу вспомнил я и разную ее одежонку. В основном все перепадало нам от детей свояченицы или от знакомых, дело извест-

1. Имеется в виду текст к мультяшке "Максипес Фик" Рудольфа Чехуры и Иржи Шаломоуна.

ное, но иной раз, естественно, мы покупали ей и что-нибудь новенькое. Как-то, например, мы с моей бывшей женой купили ей в "Котве" довольно дорогую зимнюю курточку, которую Ренатка сама себе выбрала, а к ней еще и берет. И курточка и берет были бордового цвета и к Ренаткиным светлым волосикам очень шли. Когда надевали ей что-то новенькое, я всегда поражался тому, какая она у нас красивая (естественно, я знал, что она красивая, но в старой, поношенной одежонке это не бросается так в глаза, как в чем-то действительно модном). Мой отец ежегодно привозил ей из ГДР джинсы, поначалу такие, детские, с резинкой на поясе и цветной вышивкой на карманах, а потом уже и настоящие (в то время их далеко не каждый имел). Когда Ренатке было тринадцать (то есть спустя год после нашего развода с женой), он привез ей джинсовый комбинезон (тогда такие джинсы с нагрудничком называли "лацлачи", а как теперь называют — не знаю, но это уже не существенно). В тот год мы вместе полетели в Болгарию. Я хотел хоть немножко вознаградить ее за все те трудности, что свалились на нее из-за нашего развода (я-то хорошо знал, что он и ей дался нелегко), и потому предложил ей слетать куда-нибудь вместе. Ренатка выбрала Болгарию. Как дочь военнослужащего, она не слишком-то и могла выбирать. Кроме Болгарии, можно было выбрать только Румынию, Венгрию, Польшу или ГДР (не считая, естественно, СССР), вот она и выбрала Болгарию. Новые "лацлачи" она сразу же надела, только расстегнула бретельки, и все то время, пока мы были в Болгарии, ходила со спущенным нагрудничком — дескать, так носят (носят ли так и сейчас — не знаю, но тогда якобы так носили). Болгары, естественно, все время свистели и орали ей вслед, и я готов был убить ее, но, как обычно, решил лучше помалкивать.

3.

Когда наши разводились, мне было двенадцать, братцу — шесть.

В тот вечер, когда нам об этом сказали, мы вели себя, в общем, спокойно. Согласились с тем, что я останусь с мамой, а братец будет жить с папкой. Мы выслушали объяснение папы, доводы мамы, под конец кой-какие обещания на будущее и пошли спать. Смысл случившегося пока не доходил до меня в полной мере, и, кроме того, в тот день я очень устала после школы и потому быстро уснула.

Ночью я проснулась. Кровать братца была пуста. Я выбежала из комнаты и стала искать его. Думала, он лег спать с папкой на полу в гостиной, но его и там не было. Я потихоньку через переднюю вошла в спальню: мама спала, вид у нее был измученный. Братец сидел в изножье кровати с открытой тетрадкой и писал. С этаким трогательным усердием первоклашки.

— Записываю маму, — прошептал он серьезно.

("Трогательнее, чем Коля в ванне"[1], — заметил бы, очевидно, Виктор. Вы скажете *чувство*, он скажет *кич*).

Я сразу разревелась. Мама проснулась и дико испугалась братца. Раскричалась на него, а потом расстроилась и на остаток ночи взяла его к себе.

Я пошла спать к папке. Мы слышали, как мама с братцем плачут. Мы тоже с товарищем капитаном заплакали. Виктор, ты в это поверишь?

1. Имеется в виду фильм режиссера Яна Сверака "Коля", получивший в 1997 г. "Оскара".

Настоящая мелодрама.

Первые месяцы после того, как папка с братцем уехали от нас, были ужасными. Я ходила по квартире, где они жили с нами долгие годы, и повсюду натыкалась на их отсутствие: в гостиной, в маминой спальне, в кухне, где мы все вместе ужинали... А теперь после ужина я заглядывала под стол, но братца там уже не было, он там уже не писал. Странно! В прихожей не было их обуви, на вешалке не висела братишкина синяя зимняя куртка. Его кровать была постоянно застелена. Собака целыми днями сидела у окна. Принюхивалась к мебели, к щелям под дверьми.

Папкины фотки уже не валялись повсюду. Тебе, Виктор, это может показаться просто диким, но мне стало не хватать даже запаха его формы. Стало не хватать его карт и *планов тактической подготовки*, которые этот коммуняка вечно таскал домой.

Тебе на это и правда нечего сказать, Виктор?

Когда я, бывало, лежала в ванне, мне казалось, что слышу, как в прихожей папка что-то рассказывает маме. Я совершенно отчетливо слышала его смех, но стоило мне вылезти из воды и вытереться, там его уже не было. Настоящая тайна.

Когда я засыпала, он уже не приходил пощекотать мне спину.

Он уже ни разу не пожелал мне спокойной ночи!

Я ревела в подушку и ненавидела его.

Звонил он, правда, через день. Раз от разу старался говорить со мной все непринужденнее, но у него это плохо получалось. Мы оба были в постоянном напряге.

— Приветик!

— Здравствуй, папа!

Он рассказывает мне что-то вроде остроумного анекдотца, который заготовил заранее (возможно, даже выучил его наизусть), но я не смеюсь. Он начинает нервничать, и его речь становится все тяжеловеснее. До сути он так и не доходит.

— Я тебя не особенно развеселил, а?

— Нет, ничего...

Он вздыхает и по обыкновению кончает родительской тягомотиной.

— Как в школе?

— Ничего.

— Есть какие-нибудь отметки?

— Да нет...

— А что означает "да нет"?

— Никаких отметок.

Молчит. Слышу, как он дышит.

— Значит, все в порядке?

— Ага, в порядке.

— А что дома? Дома тоже все в порядке?

— Дома тоже все в порядке, — говорю кисло.

Мы молчим. Вздыхаем.

— Ясно. Дурацкие родительские вопросы, да?

— Да, немножко.

— Тогда скажи что-нибудь ты, — тянет он.

Мы молчим.

— Что ты делала целый день?

— В общем ничего. С Яной была.

Слышу, как он сглатывает.
— Ну, папка, sorry, что-то по телику начинается.
Он опять вздыхает.
— Значит, в среду в пять на Народни?
— Ага.
— Ты меня слушаешь? Где, я сказал, мы встретимся? Повтори.
— В среду в пять на Народни.
Долгое молчание.
— Разговоры по телефону у нас не получаются. Правда?
— Да, не очень, — отвечаю.
— Ничего, научимся, — не теряет надежды папка. — Мы постараемся.
— Ага.
— Значит, в среду в пять на Народни. Не перепутай.
— Нет. Так чао!
— Чао, Ренатка. Пока, целую тебя.
Он ждет. Слышу его дыхание.
Усмехаюсь. Смотрю, как мама моет посуду.
— Ну, всего, папка, — говорю отрывисто и вешаю трубку.
В ту же минуту мне становится его жалко.

— Прочту вам кое-что, — обращается к нам отец из-под своего зонтика. — Послушайте. "Было бы хорошо, если бы ты пришла в сочельник, Смилли!" — "Рождество мне ни о чем не говорит." — "Значит, ты хочешь, чтобы твой папка сидел здесь один?" — "А ты не мог бы побыть в Доме для одиночек?"

Отец захлопывает книгу.

— Отпад! — смеется братец. Он уже здорово загорел.

Папка качает головой. У него свое на уме.

— И знаете, сколько отцу этой Смилли лет? Семьдесят.

Он делает паузу, чтобы сказанное прозвучало более впечатляюще.

— А теперь угадайте, сколько экземпляров этого бестселлера было продано по всему миру?

— Сколько? — послушно спрашивает М.

— Пять миллионов экземпляров. Пять миллионов... Подумай только!

4.

О том, что конкретно предшествовало нашему разводу с женой, писать не хочу и не стану — Ренате я сказал это прямо. Во-первых, не думаю, чтобы от моего писания был хоть какой-нибудь прок, а во-вторых, такое обещание я дал своей бывшей жене. Короче говоря, что было, то было, и снова выволакивать все это на свет принесло бы, думаю, больше вреда, чем пользы. Такие вещи случаются в жизни, потому как, нравится нам или нет, семейное счастье запланировать невозможно. Естественно, все мы строим разные планы, это нормально, но некоторые вещи при всем нашем желании запланировать невозможно. Коли что-то не ладится, так не ладится, и ничего тут не попишешь. К примеру, конкретно я всегда полагал, что если у кого в семье маленькие дети, то на развод он не имеет права, как бы ни было ему в браке тошно. Не имеет права, и, так сказать, баста! Один психолог (его имя, к сожалению, я забыл, но это не так уж и важно) как-то написал статью в субботнюю газету, в которой утверждал, что если дети еще маленькие, а их ро-

дители вздумали разводиться, то у этих детей рушится вся существовавшая дотоле вселенная. Фраза мне ужасно нравилась, я полностью был с ней согласен, хотя "нравилась" в данном случае не совсем подходящее слово, но вы ж понимаете, что я имею в виду. Я всегда свято верил, и даже тогда, когда мой брак стал трещать по швам, что если есть маленькие дети, то их родители обязаны все так устроить, чтобы, с позволения сказать, и волк был сыт, и овцы целы — надеюсь, вы меня понимаете. Но в одно прекрасное утро я проснулся на полу в гостиной, где я спал уже целый месяц, и в полной мере осознал, что моя жизнь — настоящий ад и, что еще хуже, в этом аду по моей вине и по вине моей жены живут и́ наши маленькие дети. И я понял, что если мы с моей бывшей женой не сумели ни о чем договориться в течение всего прошлого месяца, а то и всего прошлого года (или точнее — даже двух лет), то, вероятно, не сумеем уже никогда. В эту минуту до меня впервые дошло, что нам и впрямь придется развестись. Слово "развод" без преувеличения просто ужаснуло меня, ведь оно вдруг затронуло именно меня, хотя я-то всегда полагал, что меня оно никогда не затронет. И самое страшное: даже в ту минуту я еще не мог представить себе, что придется сказать об этом детям и переехать куда-то (куда — я и понятия не имел), но вместе с тем я прекрасно понимал, что сделать это действительно придется. Собственно, что-то похожее на то мое состояние происходит тогда, когда вы заводите на морозе машину, ибо вам непременно нужно попасть в город, но мотор — ни в какую. Когда вы поворачиваете ключ в третий или четвертый раз, то все еще надеетесь: дело пойдет, но когда поворачиваете в тридцатый раз, то в глубине души прекрасно сознаете, что вы напрасно насилуете стартер и делаете это только потому, что просто не можете представить себе, что в город, куда вам позарез нужно, сегодня вы никак не попадете. Это было самое худшее: знать, что тебе придется сообщить о разводе детям, да еще родителям и бабушке, которая в моей бывшей жене, как говорится, души не чаяла, — но при этом не уметь даже представить себе такое. Мне вдруг сделалось так страшно, что снова проснулась моя несчастная детская травма, и пришлось все утро просидеть под столом, чтобы хоть немного успокоиться. Признаюсь в этом. С другой стороны, надо сказать, что моя бывшая жена все утро оскорбляла меня и высмеивала перед детьми, но писать про это не хочу и не буду, так как толку от этого чуть. Вечером эту "радостную" новость мы сообщили детям (о том, что творилось в ту ночь, у меня нет ни сил, ни желания рассказывать — как вспомню, сердце до сих пор разрывается), а спустя четыре месяца был развод. Судья хоть и молодой был, но вежливый, потому что, думаю, уже успел понять, что брак у любого может распасться. Мы с моей бывшей женой иной раз забывали встать, когда говорили с ним в зале суда, но он понимал, что это мы от волнения. А я и вправду нервничал, и даже очень, говорю прямо: разве приятно, когда вас за три четверти часа лишают двенадцати лет жизни с женщиной, которую вы любили? Тогда мне это так виделось, но сегодня-то я знаю, что это совсем не так, ибо все хорошее, что за двенадцать лет прожито, уже никто у нас не отнимет, тем паче какой-то клочок казенной бумаги. И нынче я даже уверен, что обещание, которое человек дает своей будущей жене во время свадебного обряда (а тем самым и тестю и всем остальным), разводом не разрушается, хотя большинство людей думает, что разрушается. Частично, естественно, разрушается, но если ты честен перед собой, полностью разрушить это обещание ты не можешь. Я

хотел бы еще написать, что ни моя бывшая жена, ни я во время развода, естественно, не сваливали вину друг на дружку, и потому даже социальный работник, что представляла в суде наших несовершеннолетних детей, на прощание нас похвалила, сказала, что давно не видела таких пристойных отношений между партнерами. А уже после всего мы с моей бывшей женой зашли в бистро против суда на чашечку кофе, но там стояла, как говорится, мертвенная тишина, и разговор у нас тогда еще не очень-то клеился, что, думаю, тоже естественно.

5.

После развода папка стал приходить к нам раз в месяц на обед, но для меня это были мучительные визиты.

Он держался напряженно и неуверенно. Снимал обувь уже перед дверью, хотя прежде никогда этого не делал. Наша квартира после его ухода ничуть не изменилась, но он почему-то оглядывал ее с явным удивлением. Хорошо еще, что мне не надо было указывать ему дорогу в ванную! (Там он недоуменно смотрел на полочку над умывальником: куда, мол, запропастилась его зубная щетка? А его бритвенный прибор? Кто может объяснить ему это?)

Все его *веселые* байки были заранее подготовлены. Обо всем остальном он говорил неестественно, с преувеличенной вежливостью. Даже просил у мамы разрешения кой-куда отлучиться. По нескольку раз благодарил за все. Нет-нет, кофе он не будет пить. Право, спасибо, но сегодня он уже выпил три чашки кофе, спасибо. То и дело откашливался. Вел себя примерно так, как человек, который просит денег взаймы (это сравнение, естественно, пришло мне в голову позже). К сожалению, он заразил этим и маму. И она в его присутствии перестала быть естественной.

Однажды я сказала им об этом,

— Вы ведете себя будто в танцклассе! Расслабьтесь!

Это задело их.

— Будто в танцклассе? — вскинулась мама, хотя она-то прекрасно понимала, что я имею в виду.

— Вот именно. Вы ужасно скованны, разве вы не чувствуете?

Папка откашлялся.

— Поверь мне, девочка, мы с мамой ведем себя настолько непринужденно, насколько у нас получается. Поверь, мы делаем максимум возможного.

Они оба действовали мне на нервы. Когда папка уходил, я всякий раз испытывала облегчение.

Вину, которую он чувствовал по отношению ко мне после развода, он искупал нашими общими походами по уик-эндам в китайский ресторан на Водичковой улице (я любила курицу с ананасом и жареные бананы, и он ради меня преодолевал даже свою всегдашнюю робость перед официантами) и особенно во время совместных отпусков. Чем дороже путешествие, тем больше индульгенций.

Первую зиму я провела с ним и братцем в Татрах. Трехзвездочный отель с бассейном прямо у трассы, свежий снег в полметра, к тому же всю неделю солнце. Папка увлеченно фотографировал и раз пятнадцать на дню пытался удостовериться, счастливы ли мы и в самом ли деле са-

мое худшее уже позади. Я сознательно не облегчала ему жизнь: нет, этим занудливым спуском я ни за что больше не съеду! — А мне не хочется отдыхать! — А я хочу передохнуть! — Иди ты на фиг со своей камерой!

Я до отвала кормила его своими капризами, и он безмолвно все сносил. Искупал свою вину.

Однажды на фуникулере он произнес несколько непривычно длинных фраз. Конечно, он рассчитывал прежде всего на меня. Своими словами он попытался, довольно тяжеловесно, объяснить мне ту самоочевидную вещь, какую я поняла лишь многими годами позже: дескать, любые человеческие отношения живут полной жизнью или прозябают в прямой зависимости от того, сколько нежности, хорошего настроения и взаимной приязни обе стороны в них "инвестируют"...

Он тогда говорил, а я разглядывала себя в стеклах его солнечных очков. Стальные троссы с тихим урчанием уносили нас к белым вершинам. Папка растерянно умолк. Я посмотрела на него и рассмеялась.

— Я могу кое-что сказать тебе?

— Естественно, — загорелся он новой надеждой на наше взаимопонимание.

— А ты не обидишься?

— Нет.

— У тебя из носа торчат волосики, и в этом дурацком колпаке ты похож на дебила.

Это было в марте. Летние каникулы проводить с ним я отказалась. Мне было тринадцать, и я решительно не хотела целыми днями торчать перед камерой и выслушивать всякие бредни об инвестициях в отношения.

Я сообщила ему об этом в один из наших уик-эндов, сразу же в пятницу вечером. Его проняло. Он откашлялся, убрал заготовленные каталоги туристических бюро и за весь вечер практически не сказал мне ни слова.

Я обиделась.

Кроха в нашей "дамской" комнате наряжается на свое первое свидание. (Петр после ужина пригласил ее в город на мороженое! Еще ни разу в жизни ее никто никуда не приглашал — а ей уже давно тринадцать!) Она поочередно перемеривает все тряпки, которые взяла с собой, и в конце концов возвращается к тому смелому оранжевому платьицу, которое мы перед отъездом купили вместе. Она изучает себя в зеркале.

— Ну как? — поворачивается она к Синди, а потом даже ко мне. Футы, ну-ты!

В наших отношениях установились четкие границы, но время от времени одной из нас удается их ненадолго переступить. Вот и сейчас: то, что будет непримиримо разъединять нас по меньшей мере еще много лет, на какое-то мгновение отступает перед обыкновенным девичьим желанием хорошо выглядеть.

— Очень тебе идет! Ты просто очаровашка! — слышу, как говорю я с восторгом.

Я силюсь не казаться *сухарем под тридцать*, но временами перегибаю палку.

— You look really great![1] — нараспев говорит Синди (у нее, конечно, это звучит естественно).

1. Ты выглядишь и впрямь замечательно! *(англ.)*.

Раздается стук в дверь.

— Разрешите?

Кроха возводит глаза к потолку.

— Входи, — кричу я.

М. делает веселый вид, но на это явно никто не клюет.

— Это ты серьезно? — говорит он Крохе. — Ты в самом деле собираешься идти в таком наряде?

История повторяется.

— А что тебе не нравится? — наступательно говорит Кроха. — Что тебе опять не нравится?

М. взглядом ищет у меня поддержки, но не получает ее, ибо я отлично знаю: во всех спорах, касающихся Крохи, я обязана быть на ее стороне.

— Что поделаешь, это идет ей! — говорю я с улыбкой.

— Она почти голая!

— Мы на море, — замечаю я примирительно. — Здесь к этому иначе относятся.

М. отворачивается от меня. Делает вид, что я предала его, но где-то в глубине души записывает на мой счет несколько баллов.

Улыбается.

— Детка моя, — говорит он Крохе покорно, — в общем-то, я вполне современный отец.

— Ха-ха, — усмехается Кроха.

— Ха-ха, — вторит ей Синди.

— Да, я полагаю себя вполне современным отцом, — спокойно говорит М. — И хочу тебя уверить, что, будучи отцом современным, я вовсе *не собираюсь* вступать в комичный и бесплодный бой с матерью-природой. И уж тем паче...

— Пап, извини, но я тороплюсь!

— И уж тем паче не в том отчаянно смешном подобии, в каком его демонстрируют отцы, скажем, несколько более *традиционного склада.*

— Пап, я говорю тебе, что спешу!

— Я хочу только сказать, что готов дать возможность матери-природе одержать победу без боя.

— Мы рады это слышать, — смеясь говорит Синди со своим милым акцентом.

— Короче говоря, — невозмутимо продолжает М., — поскольку я заранее смирился с торжеством матери-природы, я, сверх того, готов и к той неотвратимой реальности, что какой-нибудь симпатичный паренек раньше или позже несомненно увидит твое нагое тело... Уверяю тебя, что мое смущение коренится в другом...

На секунду он удовлетворенно умолкает.

— Оно коренится в вопросе, действительно ли необходимо, чтобы это произошло уже при *первом* свидании. Вот и все.

— Вау! — говорит Синди.

— Ну тогда будь любезен, выйди, чтобы я могла переодеться, — с полным смирением вздыхает Кроха.

6.

Каждое утро мы доплываем с Ренатой до красных буйков, и именно там Рената спросила меня вчера, не хочется ли мне написать что-нибудь

и о ее маме — мол, где и как мы познакомились, куда вместе ходили и тому подобное. "Что ж, я не против", — ответил я однозначно, потому как женился я на ее матери действительно по любви, а то, что она была уже беременна Ренаткой, дела не меняет (как и то, что мы с ее матерью теперь в разводе). Так вот: познакомились мы 12 февраля 1967 года в бассейне в Подоли, куда мы по случайному совпадению оба пришли поплавать. Она была там с подругами из гимназии, а я — с однокурсниками из промышленного училища. Помню, она была в ярко-красном раздельном купальнике и держалась несколько обособленно, и это, прямо скажу, мне очень понравилось, потому как девчонки, которые под предлогом всяких водных игр разрешают мальчишкам, с позволения сказать, лапать себя, никогда восторгов у меня не вызывали. Думаю, у каждой девушки, что не хочет уронить себя в глазах того или иного мальчика, должна быть своя гордость. Ее ладная фигурка, естественно, мне тоже очень понравилась, не скрою, но это для меня еще не повод для какого-нибудь, с позволения сказать, лапания. Я часто проплывал мимо нее, и мы несколько раз обменялись взглядами, но заговорить с ней я никак не решался, что, думаю, в семнадцать лет вещь понятная. Потом я встал у сточного желоба, тут и она приплыла и встала рядом. Я набрался духу и спросил, не щиплет ли у нее глаза от хлора, как у меня. Она ответила: "Щиплет", и потому, дескать, она нет-нет да и выходит из воды. Я сказал, что тоже иногда ненадолго выхожу из воды. Потом мы уселись рядом на теплые облицованные желтым кафелем ступеньки трибуны и стали разговаривать. Разговаривали долго, хотя мои однокурсники без конца отпускали всякие глупые и пошлые шуточки. С того дня мы стали встречаться (в бассейн мы уже не ходили). Однако ж ни с чем таким интимным не торопились — зачем до времени лишать себя самого прекрасного! На всякие питейные заведения у нас, естественно, денег не было, и мы подолгу просто гуляли, хотя стояли холода. Мы ходили на Кампу и на Стрелецкий остров, где все, естественно, выглядело в то время не так, как нынче, а когда бывало тепло, отправлялись и в более дальние прогулки, например, в Трою или еще куда. В пятницу или субботу ходили на танцы, хотя большим танцором я не был, говорю это прямо. Перед нашей встречей я обычно поджидал мою бывшую жену в парке на лавочке возле их дома. Чаще всего лампы там не горели, но когда она подходила, я всегда безошибочно узнавал ее по походке. Почти всякий раз она приносила мне фрукты — то мандаринку, когда они были, то мытое яблоко, а летом и горстку клубники, естественно тоже мытой. На первый взгляд это всего лишь романтический пустячок, но мне это ужасно нравилось... А когда мы фрукты съедали и потом целовались, наши губы отдавали вкусом именно того фрукта, который в этот день она мне принесла. Со временем эта ее привычка превратилась в нашу прекрасную традицию. Нынче, пожалуй, это может показаться смешным, но если осознать, что достать апельсин или мандаринку в 1967 году было делом не простым, то и отношение к этому будет чуточку другим. Примерно через полгода у нас с моей бывшей женой завязались более близкие отношения, и я, естественно, пошел представиться ее родителям. Думаю, сразу же произвел на них вполне хорошее впечатление, хотя только-только успел получить аттестат (естественно, с отличием). Не стану утверждать, что своему тестю я с ходу бросился на шею и стал величать его "папочкой", но уж хорошее впечатление я старался произвести. Я знал, что моя святая обязанность доказать ему, что его

единственная дочка встречается не с каким-нибудь безответственным и спесивым хлыщом (а то и вовсе с прохиндеем), а с человеком нормальным и разумным и к тому же со средним образованием. Вскорости моя бывшая жена оказалась в положении, и от любимых нами фруктов стала вдруг, с позволения сказать, опухать, в особенности от яблок и свежей клубники (компоты переносила). Естественно, я тут же собрался и пошел просить ее руки у моего будущего тестя. А через месяц мы поженились (о том, как родилась Рената, я уже писал).

7.

Только спустя год после развода родителей мои отношения с папкой мало-помалу стали налаживаться.

Зимой на каникулы я с ним, правда, еще не поехала (поехала с мамой и ее приятелем в Кркноше), но сообщила ему, что летом смогу отправиться с ним в какую-нибудь трех– или четырехдневную *познавательную поездку*, в крайнем случае на недельную экскурсию *с проживанием* – туристскую терминологию я давно благодаря ему знала назубок.

– На пробу! – предупредила я.

Он ничего не сказал, но в следующую встречу буквально засыпал меня цветными проспектами Чедока, СКМ[1] и всяких оздоровительных центров. С гордостью советовал мне выбрать даже загранку – лично он посоветовал бы Балтийское побережье Польши или ГДР.

– Болгария, – отрезала я тоном, не допускающим возражений.

– Болгария? – искренне поразился отец.

Ясно было, что промелькнуло у него в голове: четырнадцатилетняя блондинка на Балканах! Не приведи Бог!

В середине каникул мы полетели.

В аэропорт я прибыла в собственноручно разрисованной батиковой сине-белой майке и "лацлачах", бретельки я расстегнула и вместе с нагрудничком опустила вниз (хотя и чуть сомневалась, что так действительно носят).

Отец сглотнул.

– Хорошего вам отдыха! – пожелала мама.

В самолете он еще оставался моим отцом, но как только мы вышли в аэропорту в Варне, мгновенно превратился в моего личного телохранителя. Не отходил от меня ни на шаг. На улице то и дело озирался. С подозрением косился на молодых немцев, которые на пляже хотели со мной сфотографироваться (сам не успевал щелкать!). Запретил мне с ними общаться, принимать от них какие бы то ни было знаки внимания. В ресторанах принюхивался к моей еде и с осторожностью дегустировал мое питье. Не разрешал отлучаться в туалет, покуда не обследует его сам и не убедится, что окошко в нем не настолько велико, чтобы мерзавцы болгары могли сквозь него умыкнуть меня и запродать в турецкий гарем.

Вдвойне беспокойными были вечера.

– По ночам нечего прогуливаться в таком виде, – раньше времени обрывал он наши вечерние прогулки, смущенно кивая на мою короткую юбку или майку без бюстгальтера.

Расслаблялся он только в гостинице.

1. Союз коммунистической молодежи.

— Не хочешь поиграть во что-нибудь? — предлагал он весело, проверяя тем временем запертую дверь. — Ну хотя бы в крестики-нолики?

И все-таки там было прикольно!

Например, в двух ресторанах подряд к нашему столику всякий раз подходил официант и, доверительно наклонившись к отцовскому уху, указывал на мои расстегнутые бретельки:

— Простите, молодая дама, видимо, забыла застегнуться...

Отец багровел.

— Нет, не забыла, — втолковывал он официанту. — Говорят, молодежь нынче так носит.

Я жутко забавлялась.

— Не бери меня на понт, сестрица, ты, выходит, тоже пишешь, — изумленно говорит мне братец, заметив наконец мою исписанную тетрадь. Несмотря на мое сопротивление, он выхватывает тетрадь у меня из рук и весело ее пролистывает.

М. в пляжном бистро за мороженым старательно развлекает Кроху. Пока братец читает мои записки, я незаметно наблюдаю за ними. Вспоминаю *свой* переходной возраст и *своего* отца: тогда, стремясь приблизиться ко мне, отец опускался даже до заимствований из моей молодежной лексики — в его устах феня моих сверстников звучала вымученно и смешно (об этом я ему, естественно, не раз говорила).

Братец возвращает мне тетрадь.

— Знаешь, сестрица, кто мы есть, в натуре? — усмехается он. — Мы, в натуре, *летописцы отцовской любви.*

Это определение меня вполне устраивает.

М. тоже часто предпринимает комичные попытки проникнуть в мир девичьего пубертата. В последние недели я невольно стала смущенным свидетелем этого — пишу *смущенным,* ибо наблюдать взрослого тридцатипятилетнего мужчину, как он вечером в постели увлеченно пролистывает журнал "Топ-девушки", который забыла в очередной уик-энд его тринадцатилетняя дочь, немного грустно.

— Еще две статьи о кремах против прыщей, а потом мы выключим свет, — тщетно подтруниваю я над ним, ибо он по уши погружен в статью "Senza sexy moda".

— Существует ли что-либо более утомительное, чем повторяющиеся до омерзения взбрыки поколений? — спрашивает меня М., откладывая наконец журнал.

— Нет, не существует.

— Однако существует мода поколений.

Несмотря на его иронию, я абсолютно точно знаю, что за этим последует. В ближайшую встречу он предложит Крохе сделать *какой-нибудь маленький шоппинг* — недавно, дескать, он видел *довольно приличные майки-стрейч.* Кроха снисходительно согласится (зачем омрачать ему радость?), и он с восторгом потащит ее в ближайший магазин Himie's. Оглушительный рок внутри выдавит на его губах ироничную, но по сути *понимающую* улыбку. Он прошвырнется вдоль вешалок (непринужденно или, упаси Боже, в ритме музыки), забавы ради примерит несколько кожаных курток марки "Кршивак" и спросит близстоящую молодую девицу, которую по ошибке примет за продавщицу, есть ли здесь *какая-нибудь одежда для скейтборда и требуется ли кредитная карта Viza.* Только

после нескольких сочувствующих взглядов, которыми Кроха обменяется с девушкой, а затем и с настоящим продавцом (с зелеными волосами и серьгой в носу), М. окончательно сдастся. Он сунет Крохе бумажник и с вымученно-снисходительной улыбкой заявит, что ему лучше подождать ее снаружи. Он выйдет на улицу, где, уже не улыбаясь, полчаса будет терпеливо топтаться на одном месте и мешать прохожим.

Отцы взрослеющих дочерей.

Рыцари печального образа.

8.

Сестрицын пубертат...

Ё-моё, и заводиться об этом не хочется! Вам интересно, да? Ну ясно, кого может интересовать какая-то там телка в переходном возрасте? Максимально, так педофила — для всех остальных это абсолютно мертвая тема. Типа тех мутотных сюжетиков из автошколы или танцзала: *"Хотела дать задний ход, а почему-то нажала на тройку". – "Представляешь – весь вечер он крутился вокруг Алены!"* Кому такое интересно? Кого интересует четырнадцатилетняя телка? Это уже не та прелестная девочка в розовом платьице с воланчиками, куда там. То, что носит она сейчас, нельзя даже назвать правильно. Какой-то черный прикид à la мексиканское пончо (однако это не пончо) и поношенная длинная юбка — если, конечно, допустить, что черная тряпка, которая свисает с нее от талии вниз, нормальная юбка. Наша девка растет быстро, но как-то чудно́: то она тощая как степная коза, то вдруг опять распузенится. Ее левисы вечно грязные как свинячья шкура — хотя у нее их куча, но она все равно таскает только одни, во всех других у нее то ноги худые, то задница здорова. Если сиськи у нее маленькие — ей стыдно, если большие — тоже стыдоба, а кроме того, она еще и горбатится. Девка не умеет нормально ходить (ничего удивительного, раз каблучищи высотой в четверть метра!), не умеет нормально говорить, нормально смеяться. Не умеет играть на гитаре, а играет. Не умеет краситься, а красится (однако ж ее *маскирующий карандаш* все мерзкие прыщи фиг скрывает). С ногтей у нее отколупывается то оранжевый, то черный или зеленый лак, а глядишь, все три зараз. А как она воняет — то утром перегнет с маминым сильным парфюмом, то вообще ничем не надушится, и от нее весь день несет потом.

Телки-пуберталки...

И однако же, несмотря на все, находится чудик, который способен полюбить этот непривлекательный полуфабрикат.

Вы угадали — это ее папочка.

Наш фатер в этом плане экземпляр уникальный. Само собой, своей обезьяньей любовью он обволакивал сестрицу не только в переходном возрасте: ее раннее детство или первые школьные годы — тоже залепуха что надо! Кстати сказать: хотите видеть настоящую *оргию отцовской любви*, ступайте на любой *школьный утренник*. Предпочтительнее — на рождественский. Эти зачастую особо прикольные. И абсолютно без разницы, выступает ли там ваш ребенок или у вас вообще нет детей; хватит сполна, если вы возьмете с собой видеокамеру и будете по-идиотски улыбаться — даю гарантию, что никто ничего и не пронюхает. Просто нормально встаньте в очередь к остальным отцам с такими же камера-

ми и, как только раскроется занавес и вы увидите гнусные декорации, изображающие репку, снимайте. Снимайте, даже если сцена еще пустая – детки точно придут, чего там! Ну вот – семилетний дед уже тут как тут. Да с бородой из ваты. Но – ой мамочки-папочки! – дед тянет-потянет, а никак не может этот придурошный овощ вытянуть. Куда же, черт подери, запропастилась бабка? Ах вот оно что, запуталась в занавесе! И вы спокойненько смейтесь себе заодно с остальными, но не дай Бог – насмешливо, это выдало бы вас с головой. Вам положено смеяться растроганно, с любовью, с пониманием и вместе с тем типа истерично. Чуточку тренировки, и вы вмиг овладеете этим искусством. Главное, снимайте non stop – без передышки всю дорогу. Полезно также, чуток пригнувшись, пройти вдоль подиума (натурально, на цыпочках), будто эту красоту вы хотите заснять и с другой стороны или как бы обменяться разнеженной улыбкой с фиктивными родственниками в зрительном зале – тогда уж вы будете совсем *in*...[1]

Так ведь, папахен?

И то правда, у папочки отснято почти все: Ренаточка в роли *Маленькой мышки* в уже упомянутой "Репке" (как известно, нет маленьких ролей... не знаю только, действует ли это правило и в том случае, если вы во время своего единственного коротенького выхода на сцену, трижды плюхаетесь, как сестрица, на пол). Ренаточка в роли *Кошечки* там же (годом позже). Ренаточка в роли *белочки Нины* в знатном драматическом действе под названием "Степь пробуждается" (автор – товарищ учительница Лоубаликова, завкабинетом русского языка). Ренаточка – *Четвертая снежинка* в спектакле-балете "Наступает зима" (музыка Леоша Яначека[2], хореография тов. учительницы Пепрниковой). Ренаточка – уже как *Первая снежинка* на следующий год. Ренаточка как *Первая дождевая капля* в мюзикле "Песни дождя" (Корн – Пепрникова).

Это, блин, я называю видеотекой!

Само собой, кроме утренников папахен отснял и другие картины сестрицыного детства: Ренатку, плещущуюся в ванночке, ее беззубую улыбку, первый день в школе, соревнование на самокатах в День ребенка и типа того. Все путем. И, в натуре, все каникулы в горах и на море: сестрица в сугробе, сестрица строит из песка замок, сестрица на тобоггане и тому подобные хреновины. Когда сестрица снюхалась с этим долбаным Виктором и два года носу к нам не казала, папахен все свободные часы проводил в прокручивании взад-вперед всей этой обоймы кассет. Само по себе оно, может, и неплохо, но куда хуже было, что эти воспоминательные вечера приходилось делить с ним мне. А кроме того, он весь просмотр сопровождал нестерпимо сентиментальным комментарием. Однажды, к примеру, заявил, что и по сей день может точно вспомнить сладкий запах сухого молока, которое он разводил для сестрицы в бутылочке.

– Класс! – говорю я.

Он, бывало, откинется в грезы и наглядно показывает мне, как надо держать младенца, чтобы после кормления он *срыгнул* (для вашего сведения, делается это так: младенца вы прижимаете мордашкой к своему плечу, а потом долго ждете, пока этот маленький выродок не облюет вам всю спину).

– Ништяк! – говорю я. – Завтра же сделаю кому-нибудь ребеночка.

1. Здесь: внутри, в процессе *(англ.)*.
2. Леош Яначек (1854–1928) – известный чешский композитор.

Но любимейшая отцова кассета, конечно, та, на которой сестрица – ей там лет десять – подгребает из школы домой. Эту мне пришлось смотреть раза три: сперва там только бесконечные кадры с нашей бывшей дворнягой – земля ей пухом! – как она лежит в гостиной и дрыхнет. Пражский крысолов, знаете их? Такой мелкий коварный ублюдок, похожий на бездарно уменьшенную сильно больную косулю, но сестрица просто тащилась от него. Я же всегда его недолюбливал. Как, впрочем, и он меня – я ведь постепенно отобрал у него место под кухонным столом, на которое мы оба претендовали. Так вот, лежит там шавка и дрыхнет и только спустя время подымает уши, так что враз начинает смахивать на летучую мышь.

– Нормальный придурок! – смеюсь я от души.

– Подожди, – говорит фатер. – Сейчас будет.

Шавка встает, словно слышит его, принюхивается к балконной двери и вертит своим юморным обрубком, который у этой собачьей породы вместо хвоста. Камера продирается сквозь щель в шторах и – рехнуться можно! – схватывает картину: к балкону подходит, возвращаясь из школы, сестрица. *На худеньких плечиках сладенько подскакивает школьный ранец...*

– Вот это сила! – говорю я. – У меня все нутро разрывается.

– Погоди, – говорит фатер, не сводя глаз с экрана.

Сестрица видит фатера и улыбаясь бежит к балкону. Замечает его камеру. Мгновенно тормозит и поворачивается спиной. Яростно размахивает руками и что-то кричит, но слышно только тявканье нашей дворняги. Продолжается это весьма долго. Наконец сестрица снова поворачивается. Делает комично-серьезный вид и старается идти более чинной походкой, но толку мало.. После нескольких метров диковатых подергиваний она сдается и со смехом шлепается на пыльный газон. Молотит кулаками по земле. Шавка тявкает уже совсем невменяемо, но все равно слышно, что смеется и фатер. The End.

У фатера, в натуре, слезы на глазах.

– Я видел боевик и покруче, – замечаю я.

Фатер качает головой.

– А я, представь, нет, – говорит он с этим своим гнусным пафосом. – И благодарю Бога, что я тогда это снял!

– Бога? Ты разве не знаешь, что религия – опиум для народа? – спрашиваю я. – Этому вас на партзанятиях не обучали?

9.

После развода сослуживцы часто спрашивали меня, как мы с парнем управляемся по дому. "В целом неплохо", – отвечал я, и, должен сказать, это была чистая правда. Естественно, у нас хватало забот, скорее практического характера, так что особо хандрить было некогда. Около полугода мы снимали квартиру в полуподвале, где, как говорится, не шибко разгуляешься. Квартирка была тесная, сырая, ни тебе холодильника, ни стиральной машины, ведь на несколько месяцев завозить туда весь этот скарб не имело смысла. На счастье, была зима, и в пластиковой сумке за окном ни масло, ни молоко не портились. Белье мы отвозили в рюкзаке к бабушке. Вот так. Потом мы, слава Богу, получили нашу нынешнюю квартиру, и уж тут мне пришлось обставить ее по полной программе. Я взял ссуду, ведь большую часть сбережений я истратил на туры

в Высокие Татры или Болгарию. Тем самым, естественно, я не хочу сказать, что сожалею об этом, напротив, я рад, что тогда ездил туда с Ренатой, для наших отношений в то тяжелое время это было очень полезно, хотя, с другой стороны, надо признать, с ней не всегда было легко. Так вот, мне пришлось купить не только стиральную машину и холодильник, но и мебель, телевизор, пылесос, утюг с паром (думаю, незачем тут перечислять марки всех этих вещей), гладильную доску с тефлоновым покрытием и складную сушилку для белья. Так мы с сыном стали полностью самостоятельными. С домашней работой у нас практически проблем не было: убраться достаточно раз в неделю, мусор выносит парень, это его работа, посуду моем поочередно, для стирки — машина, все сохнет само, а гладить приходится разве что майки, рубашки и скатерти. Нижнее белье я принципиально не глажу, равно как и полотенца, ну а постельное — купил немнущееся, креповое. По правде сказать, домашнюю работу я выполняю с охотой (только вытирать посуду не выношу), она даже как-то успокаивает меня. Поэтому могу сказать, что вплоть до того времени, как Рената целых два года не ходила к нам, мы после развода никаких особых трудностей не испытывали — естественно, если не считать проблем с парнем, которому пришлось после нашего переселения сменить школу. Он пошел во второй классс, но учительница с экспертом-воспитателем сразу надумали перевести его в специальную школу. Я же решительно был против и настоял на том, чтобы он ходил в нормальную школу с нормальными, толковыми детьми, от которых отличался единственно тем, что подчас залезал под парту и минуту-другую потихоньку там чиркал. Только это и было, так сказать, камнем преткновения. Сейчас уже существуют разные экспериментальные школы, где дети обучаются, к примеру, даже лежа на полу, чтобы лучше приспособиться к своим врожденным особенностям, но, уверяю вас, в начале восьмидесятых ни одному ребенку писать под партой не дозволялось. В конце концов пришлось обратиться к парторгу нашей части, который был знаком с завотделом народного образования, и только после его ходатайства мальчика оставили в школе. Типично, кстати, что именно из этой школы, откуда хотели его выставить, сейчас пишут ему и звонят, приглашая прийти почитать что-нибудь или побеседовать с учениками. Только я посоветовал ему, с позволения сказать, послать их куда подальше.

10.

Последняя новость: на пляже онанист! Ну и дела... Мне и головы поднимать с лежака не нужно — волей-неволей узнаю почти все, что происходит... *Уже несколько раз его заметили в море с обнаженным*... В раскаленном воздухе летают слова — английские, немецкие, греческие, чешские. Веселые и возмущенные. You don't say! Really?![1] Под солнечным зонтиком наших соседей-немцев раздается даже слово Polizei. Я не открываю глаз. Солнце печет. Голоса стихают.

Жара не унимается...

"А то, что человек, которого называют сексуальным преступником, славит дело Создателя как никто другой, и объяснять нужды нет", — скорей всего процитировал бы им Виктор из Мартина Вальзера. Он ведь

1. И не говорите! В самом деле?! (*англ.*)

жутко начитанный. Я не знаю человека, который читал бы больше его. Иногда он читал целыми днями и часто кое-что цитировал.

"Запретишь мне читать — умру с голоду".

Или: "Столько правды выстоит, сколько правды отстоим".

Или же: "Быть человеком каждодневно".

И много-много другого — правда, Виктор?

Над пляжным онанистом Виктор бы только посмеялся. Или скорее бы *высмеял*, это гораздо точнее. Равно как высмеял бы всех на пляже. Нас, чехов, *этих среднеевропейских карликов с прыщами как на жопе, так и на душе*, да и немцев, естественно, тоже, *этих мелкобуржуазных поросят с пупками, налитыми помоями*. Высмеял бы всех и вся.

Однако пуританином он не был, куда там.

В конце-то концов он был как раз тот, кто первый сумел меня *по-настоящему* убедить, что секса стыдиться нечего. До того, как я узнала Виктора, многих проявлений своей ранней явно выраженной сексуальности я ужасно стыдилась. Мне казалось, что мое детство и отрочество отягощены бесконечным множеством разных сексуальных эксцессов — настоящих извращений, которыми я ни с кем никогда не смогу поделиться. Виктору я постепенно обо всем рассказала и с изумлением обнаружила, что все мои жуткие тайны сводятся к одной банальной правде о детской анальной эротике и к нескольким малооригинальным рукоблудным упражнениям. Мое мнимо темное и потаенное прошлое под его веселым взглядом съежилось до забавного для слуха сюжетика о радостях каканья в колясочном возрасте.

Мы говорили друг другу все: что нас возбуждало раньше и что возбуждает теперь. И как, и где в особенности, и что происходит с нами. Мы трогали друг у друга разные места и спрашивали:

— Так тебе хорошо?

Мы откровенно признавались в том, что все еще продолжаем мастурбировать. Не стесняясь описывали друг другу, где, когда и как *ублажали сами себя*. Это было настоящим сексуальным освобождением. Впервые в жизни я по-настоящему расслабилась. Я примирилась даже с теми частями тела, которые прежде считала некрасивыми. Но Виктор сумел убедить меня, что они красивы и возбуждающи. Он часто ласкал и целовал их и делал это так убежденно, что, когда переворачивал меня в постели на живот, я забывала стесняться и сжимать половинки.

Утром в наш первый общий рождественский Сочельник он раздел меня догола и покрыл мой лобок золотой краской. Затем обмотал меня серебряной цепью, промеж ног положил еще живого скользкого карпа и стал фотографировать. Я умирала от ужаса и желания, но знала: надо встать, одеться и поехать передать отцу в подарок этот мерзопакостный галстук.

— Нам нужно было бы заехать туда, — попросила я Виктора.

— Нет.

— Тогда я поеду одна.

— Нет.

— Виктор, пойми, это мой отец.

— Он ком-му-ня-ка! — по слогам проговорил Виктор. — Проснись наконец.

— Я знаю, но...

— Нет и еще раз нет! С такими людьми, как он, я отказываюсь иметь что-либо общее!

11.

Ну, а теперь наконец о знаменитом папкином табу на день святого Микулаша. Но нам придется чуть-чуть поработать вместе.

Перво-наперво представьте себе матушку Прагу декабря пятьдесят шестого года. Пятьдесят шестой год... хотя зафигом мне вам рассказывать... Хрущев — факт, венгерские события — факт, Берлинская стена — факт, и прочая лабуда. Вы это знаете. А вот и Прага: шесть вечера, снаружи тьма как у черта в жопе, на улице лежит этакая грязная снежная жижа, и в запыленных витринах магазинов, кроме елочных украшений и светлого образа президента Запотоцкого, полный голяк. Это все для того, чтоб нам хоть малость представить тогдашнюю атмосферу. А теперь вообразите себе папкину мутер, то бишь мою бабушку номер два, пусть земля будет ей пухом: успешно отстояв на площади Мира часовую с лишним очередь за мандаринами, она, не чуя под собой ног, на всех парах мчится домой, чтобы мой дедушка успел нарядиться. Скорей всего чертом, а кем же еще? Микулаша будет изображать дедушкин старшой по работе, ангела — соседка. В нынешнем году наконец-то закатим Карлику отменный день Микулаша. А то все незадача! Да вот хоть в прошлом году: черти клялись-божились, что придут, а в последний момент так надрались, что и доплестись не смогли. Но нынче все будет путем. Нынче наконец придет Микулаш и принесет Карлику подарки.

Карлик — надеюсь, вы догадались, — наш папочка.

Ему шесть. Ему жутко не терпится. Он радуется, но и неслабо дрейфит. Я сказал бы fifty-fifty, хотя это я типа как предполагаю. Он заперт в гостиной и ждет. Ему сказали, чтоб сидел смирно и думал о том, был ли он весь год хорошим. Если озорничал, то черт ему покажет, почем фунт лиха. Он ведь хорошим был, правда? Но Карлик не знает. Чем дальше, тем меньше он в этом уверен. Снаружи тьма хоть глаз выколи, а под окном то и дело орут взаправдашние черти. И он не перестает думать о том, как он озорничал. Может, он даже больше дрейфит, чем радуется.

Вот уж наконец дедушка напяливает чертячий костюм, взятый напрокат в костюмерной Театра Чехословацкой армии, что на Виноградской. Костюм и впрямь отпадный: рога полметровые, здоровенный хвостище и длинные черные космы — все по полной программе. Дедушка тоже ждет не дождется. Зачернить еще рожу, и все дела. Бабка — и та оробеет. Но ей что, сам черт ей не брат, в чертей она давно не верит. А и наберется страху, следом над собой посмеется. Вот Карлику — тому хуже.

Он в чертей верит.

— Карлик со страху в штаны накладет, — говорит дедуля (во всяком случае, мне теперь это так видится).

Бабулька смеется.

Они ведь задумали все лучшим образом: чем сильнее страх, тем больше радости. Пусть и Карлик наконец-то порадуется! Чулок за окном набит всякой всячиной. Еще и мандаринки туда просятся. Знаете, сколько за ними наша бабуля выстояла? Отгадайте. Час с четвертью. Знаете, как у нее болят ноги? Нынче, само собой, на очередь за мандаринами каждый положил бы с прибором, но в пятьдесят шестом люди до обалдения стояли. А что им оставалось, скажите?

— Мамочка! — кричит Карлик из комнаты. — Поди сюда!

Голосок у мальца уже довольно скрипучий.

— Он уже щас, должно, обкакался, — шепчет дед по-чертячьи.

— Щас не могууу! — кричит бабушка через стенку. — Посиди смирно. Она и сама радехонька посидеть — ногам покой дать.

Тут звонит в дверь дедушкин дружок по работе. На голове у него бумажная шапка с золотым крестом, в руке посох, золотой фольгой обмотанный. А как же, все путем!

— Мамочка, я боюсь!

— Если ты был хороший, нечего тебе бояться!

Все трое смеются в свои натруженные ладони.

Стучат в дверь к соседке: нарядилась ли? — спрашивают.

— А как же, все честь по чести, вот только крылья опадают. Сейчас присобачу их, и готово, — успокаивает она.

Наконец дело сделано. Все в ажуре.

— Блблблблблбууу! — проводит дед генеральную репетицию.

Видок у него и впрямь отпадный.

Они идут. Звонят в колокольцы, гремят цепями.

Стучат в дверь гостиной, отпирают. Бабуля входит первая, не убирая с лица той придурошной победоносной улыбочки, которая застыла на ее лице с того момента, как ей взвесили мандаринки.

— Так где же наш мальчик? Принимай гостей...

Вопрос по существу — мальчика нигде нету.

Ну как же, вот он: из-под журнального столика выглядывают донельзя знакомые детские тапочки.

Скатерть стянута почти что до полу. Вазочка опрокинута.

Тишина, как после доклада Хрущева.

— Блблблблблбуууу! — гудит дед насколько мочи хватает.

Но зря старается. Когда подымают скатерть, воочию убеждаются, что мальчик в полном отрубе (а до этого он успел еще и обделаться).

Вот уж и впрямь *словил кайф*.

Бабуля бежит за водой, как в плохом фильме, дедушка с бригадиром воскрешают Карлика оплеухами. Наконец это им удается, однако они упускают из виду дедов офигенный костюм, и мальчик очухивается в объятиях самого что ни на есть рогатого черта. Вряд ли кто слышал, чтобы в таком крике надрывался ребенок.

Он аж посинел весь, истерично молотит ногами по полу, всех отталкивает. Даже свою мамочку, которая ради него час с четвертью простояла на площади Мира за мандаринками. Он стягивает на себя скатерть и остается под столом. В собственном дерьме.

Наконец силком его извлекают оттуда. Пока моют под душем, непрестанно суют ему под нос чулок с вкуснятиной.

— Вот, Карличек, орешки. Боже правый — да тут еще финики. Видать, ты хороший был, коль Микулаш столько подарков тебе надавал!

На крючке под носом у Карлика и орешки, и финики — он смотрит на них и не видит. А потом, измотанный, засыпает. Слава Всевышнему!

Однако ночью его снова находят под столом (и еще много-много раз во все последующие дни и годы).

Похоже на то, что под столом ему вроде бы приглянулось.

Правда, папахен?

С того времени, стало быть, святой Микулаш в нашей семье был под строжайшим запретом, но Рождество мы с фатером отмечали еще долго. С тех пор, как наши развелись, в Сочельник до обеда мы бывали толь-

ко вдвоем, но к вечеру к нам всегда приходила сестрица, так что Сочельник мы праздновали все-таки с ней. Но когда она запала на этого Дртикола номер два и перестала приходить к нам даже под вечер в Сочельник, мы завязали и с самим Рождеством.

Но хоть и завязали... Примерно до двадцать второго мы с фатером убеждаем друг друга, что в нынешнем году мы на этот достославный праздник покоя и мира и вправду, блин, на сей раз и вправду, плюнем с высокой колокольни — никаких тебе кретинских подарков, никаких карпов, ни тебе елки, ни даже палки... Никаких уступок ихней ползучей рождественской идеологии!

Однако накануне двадцать второго фатер начинает мандражировать. У людей все нажарено, убрано, подарки — в полном ажуре, и только у нас у двоих ни хрена! Даже рядовые солдатушки из его роты на пэвэохе штыками вырезают вертеп... Его зашкаливает, и по дороге с работы он прихватывает одного доходягу карпа и три почти что голые еловые ветки. Вечером пылесосит.

Я делаю вид, что ни фига не замечаю.

Двадцать третьего топаем в кино — чаще всего на какой-нибудь ужастик.

Народу там не густо. Когда возвращаемся, ноль внимания на рождественские украшения в подсвеченных витринах. На коляды плюем.

В Сочельник после обеда он хрястает этого доходягу по рылу и спрашивает меня, не хочу ли я сунуть ветки в какую-нибудь вазу и маленько украсить их.

— За каким чертом, е-мое?! — взрываюсь я — Разве мы кой-чего не обещали друг другу, а ?

Фатер стоит у таза и молча пялится на мертвяка карпа. Потом переводит взгляд на меня: в глазах у него, как говорится, чертики прыгают.

— Натруси на ветки малость золотишка, и все дела, — говорит он и краснеет. — А я пока ошкрябаю этого снулого говнюка и упакую его в фольгу.

— Если бы на этих палках, блин, была хоть какая хвоя! — говорю я как бы сердито.

— Да плюнь ты на хвою, — говорит фатер. — На кой ляд эта сраная хвоя!

Наше Рождество, стало быть, началось.

Я довольно подмигиваю ему. Он краснеет еще больше. Поворачивается к тазу и начинает чистить рыбу.

В доме напротив уже зажигаются первые елки.

— Полпятого, а тьма как в жопе у черта, — говорю я, чтоб поддержать разговор.

— Знаешь, включи хотя бы телевизор, — говорит фатер, — а то здесь такая тишина, что свихнуться можно!

— На хрен нам телевизор? Все равно эти засранцы передают одни гребаные сказки!

12.

Вчера мы с Ренатой и Синди пошли прогуляться к маяку. По дороге Рената сказала мне, что два моих рассказа про то, как я женился на ее матери и как после развода мы с ее братом без чьей-либо помощи преодолели все трудности, понравились ей, хотя подчас было ощущение,

что в них я изображаю себя слишком большим героем. Спросила, есть ли и у меня какие-нибудь недостатки. "Не без того, – ответил я посмеиваясь. – Но как раз тебе я не стану о них рассказывать". "А кому же ты о них станешь рассказывать?" – спросила она. Я сказал, что о своих дурных качествах я уже не раз вполне откровенно говорил со своим другом – капитаном Вонятой (то бишь с тем самым, с которым я сидел в буфете, когда моя бывшая жена рожала, но он тогда, естественно, был еще младшим лейтенантом) и что, возможно, ей было бы даже в диковинку, какими мы можем быть откровенными друг с другом и критичными. "Так, значит, со мной ты не до конца откровенен. До конца откровенничаешь ты только с капитаном Вонятой", – разочарованно протянула она. Мне пришлось признать, что в ее словах есть доля правды, и я пообещал ей кое-что написать на эту нелегкую тему. И должен сказать, что мое писание еще никогда не длилось так долго, как на сей раз. Естественно, у нас у всех есть пороки, однако писать о них неприятно, особенно когда знаешь, что об этом будет читать твоя дочь. Я долго думал на эту тему и пришел к выводу, что самый большой мой изъян – это возникающая лишь порой, но существенная нехватка мужества. Одним словом, я никогда не был героем. Говорю это с полной откровенностью, но не хочу и никогда не стану объяснять свой дефект той детской травмой, какую я получил сорок лет назад, в пятьдесят шестом. Нет, сваливать все на это я не собираюсь. Осознаю четко, что я чересчур осторожный: скорей присоединюсь к большинству, чем буду рисковать даже малостью. А кроме того, я не по-мужски чувствительный: слишком близко принимаю все к сердцу. Вместо того, чтобы, например, рассердиться и стукнуть кулаком по столу, я скорей залезу под него. Я никогда ни с кем не дрался (хотя без бахвальства скажу – я всегда был и остаюсь в отличной форме), а ведь бывали случаи, когда не грех было бы и подраться. По своему характеру я слишком часто уступаю людям и позволяю иногда, так сказать, оставлять меня в дураках. В 1979-м, например, я дал слабину и подписал формуляр о приеме в компартию, который молча передо мной положил один товарищ из нашей части (не буду называть его имени) и сказал: "Цени, парень, такой шанс не каждому дается". Насчет шанса никаких иллюзий я не питал (кроме устройства сына в начальную школу, партия ничем не помогла мне – разве что помогала расходовать деньги на членские взносы), однако формуляр я заполнил и подписал, хотя прекрасно знал, что все их лозунги и статьи в газетах – сплошное вранье. В свою защиту скажу лишь, что мне было двадцать девять, чистого жалованья – 1840 чехословацких крон, двухкомнатная квартира в панельном доме, а в ней – жена, двое детей и начинающиеся проблемы в семейной жизни. Хотя и то правда: те, что такие формуляры не подписывали, по большей части были не в лучшем, а то и в худшем положении. Упреки таких людей справедливы – я принимаю их, но тем, кто ни во что не влип только потому, что поздно родился и ничего уже не застал, – тем нечего читать мне нотации. О морали при коммунизме теории разводить легче легкого, а вот жить при нем было дьявольски трудно. И я просто ума не приложу, откуда у этих "генералов перед битвой", то есть у тех, кто успел лишь родиться и школу кончить, берется право болтать о подобных вещах (Рената отлично знает, кого я имею в виду).

13.

Он в нескольких метрах вправо от меня. Вода доходит ему почти до груди, но откат очередной волны выдает его: да, он онанирует. Лица его я почти не вижу — солнце светит ему в спину, но когда он на миг, с опаской, поворачивает голову, я примечаю его подчеркнуто безучастное, напряженное, печальное выражение.

Я абсолютно спокойна, возможно даже спокойнее прежнего. Я ничего не делаю, ни о чем не думаю. Я ложусь навзничь на водную гладь, рапластываю руки, запрокидываю голову и закрываю глаза. Мурлычу одну миленькую песенку о любви.

Море несет меня.

В ателье Виктора я не могла петь.

Однажды он пришел домой и застал меня с гитарой — весь день я проторчала одна и немножко грустила.

— Ну спой, — сказал он и протянул мне гитару, которую при его появлении я испуганно отложила.

— Нет, — оттолкнула я гитару, растерянно улыбаясь. — Это просто такая пустенькая туристская попса.

— Увидим, — сказал Виктор. — Пой.

Он сел напротив и с серьезным видом уставился на меня.

Я спела ему — не ахти как, потому что стеснялась, — одну песню, которую, несмотря на ее *абсолютную попсовость*, всегда любила: "Дом голубки".

Когда я кончила, Виктор кивнул.

— Хорошо, — сказал он ледяным тоном. — Еще одну.

— Нет, — возразила я. — Тебе не нравится.

— Пой!— повелительно приказал он.

Я спела — на этот раз совсем скверно — "Прядь волос".

Он долго молчал.

Я отложила гитару и хотела было обнять его, но он оттолкнул меня. За целый вечер он не проронил ни слова.

Только в постели он все объяснил мне: то, что я пою о любви в пору, когда наконец после долгих десятилетий решается судьба всего восточного блока, он еще мог бы простить мне, но жалостливую слюнявость и дешевую попсовость всех этих текстов простить не способен. Он ничего не может поделать с собой, но когда слышит или видит, как кто-то из его близких друзей — а я для него больше, чем просто друг, — приобщается к чему-то столь невероятно тупому, он испытывает глубокое разочарование.

– *Разочарование*?! — повторила я горько. — Я разочаровала тебя?

— В определенном смысле ты действительно разочаровала меня.

— Прости, — прошептала я в отчаянии. — Прости меня.

— Естественно, простить я тебя могу, но, к сожалению, забыть этого никогда не сумею.

Не только к пению, но и к смеху отношение было такое же: в ателье Виктора строго-настрого возбранялось просто смеяться. Более двух лет я должна была бдительно следить за тем, чтобы не посмеяться над чем-то *дешевым*. Над чем-то *недостаточно глубоким*. К примеру, над какой-нибудь эстрадной остротой, случайно услышанной по телику или по радио. Какой бы удачной она ни была...

Дозволено, даже желательно было *высмеивать*.

Высмеивали мы с Виктором практически все: газетные статьи, библиотеку моей матери, службистов-лампасников, Владимира Ремека, отцовские тренировочные штаны и его укрепляющую гимнастику, Карела Гота, рождественские яйца и рождественские елочки, тексты траурных сообщений, известных спортсменов, актеров Национального театра, "трабанты", взгляды моих знакомых, бутерброды с ветчиной, туристов и дачников, узоры обоев (кроме тех, что были на стенах у Виктора в ателье), грибников и их чудовищные корзины, фильмы Иржи Менцела, телеведущих (и их невообразимый отлив волос), продавщиц и покупателей "Котвы"... Людей, покупающих в ларьках. Людей, покупающих где бы то ни было.

Людей вообще.

Мы высмеивали все *усредненное*. Высмеивали эту *свинячью европейскую цивилизацию*.

Высмеивали людей, нормально работающих и покупающих, но не способных — как говорил Виктор — хоть один-единственный раз вырваться из своего тупого существования и увидеть себя со стороны, чтобы затем уже прозревшими вернуться в бытие совершенно нового качества. Короче, высмеивали тупые свинячьи массы. Массы Виктор вообще не любил — как не любил и отдельные личности. Кого он любил изначально, так это меньшинства: вьетнамские, цыганские, гомосексуальные, интеллектуальные, чернокожие — любые, какие только приходят в голову. Меньшинства Виктор в обиду не давал, особенно дискриминированные. Ради дискриминированных меньшинств он готов был писать петиции и целыми днями пикетировать надлежащие институции — тут вы могли сполна на него положиться! (Проблемы возникали, лишь когда вы чувствовали себя кем-то или чем-то прищученными, но при этом не являли собой какое-либо меньшинство — уж тут вы получили бы полный отлуп!)

Мы высмеивали все, что было лишено *глубины*.

Высмеивали все *коммерческое* — например, все фотографии в журналах (и почти всех здравствующих фотографов).

Высмеивали меня — мою семью, прошлое, мои взгляды.

Единственное, что запрещалось высмеивать, были Викторовы фотографии — от них, напротив, мы искренне балдели.

И естественно, мы не смели насмешничать над своими насмешками.

Это подразумевалось само собой.

Прошло два года, прежде чем я наконец поняла, кто такой Виктор.

Монопольный обладатель Единой Правды. Непримиримый судья тех, кто не сумел стопроцентно победить в тупиковых ситуациях, в которых сам он никогда не оказывался. Интеллектуальный гопник, утверждающий Абсолютный Закон. Герой Востока. Самозваный Гарант нравственных и художественных ценностей. Патриот с белым билетом. Неутомимый рекламист Собственной Исключительности (*Приеду! Эффектно повергну кумиры. Пароль: "Только великое"*). Неистовый, Непреклонный характер. Гуманист-ненавистник.

Самый начитанный дундук, какого я когда-либо встречала.

Два года я жила с человеком, готовым двадцать четыре часа в сутки защищать человеческие права любого меньшинства, но не желавшим признать ни на миг за моим отцом право на естественные человечес-

кие желания. Два года я жила с человеком, который восторженно становился под знамена Правды и Любви, но на деле не способен был ни к любви, ни к нежности, ни даже к нормальной вежливости.

На куртке у него был народный триколор — под курткой презрение и ненависть к большинству народа.

Исключением были только меньшинства.

Вот что я скажу тебе, Виктор:

— С такими людьми, как ты, я отказываюсь иметь что-либо общее.

Часть третья

Вы любили когда-нибудь раковину?

1.

Спустя неделю после автографиады — звонок в дверь. Решив, что Габина пришла чуть пораньше, я иду открывать. Но за дверью не Габина, а какой-то хмырь, который порывается тут же войти, хотя никто и не думает его приглашать. Я прикинул было, что этот хмырь пришел насчет газа или там еще чего, но он, не снимая штиблет, рванул прямиком в гостиную и, внахалку рассевшись на диване, объявил, что пришел сообщить мне, что моя книга банальная, кичовая, вульгарная и написана на скорую руку.

— А кем вы изволите быть? — спрашиваю.

Он называет свое имя, которого я в жизни не слыхивал, хотя он и утверждает, что принадлежит к когорте известных литературных критиков. Преимущественно он-де пишет о литературе, но разбирается в политологии, социологии, теологии и атомных электростанциях.

— Вы, должно быть, и вправду спец, — говорю я.

Он скромно пожимает плечами и снова заговаривает о моей книге: *пишу я, дескать, стилем капиталистического реализма, бросаюсь словами, а претензии, которые я в своих постмодернистских философских отступлениях предъявляю к литературе, формулирую ждановской лексикой...* Он нес такую бредятину, что вступать с ним в дебаты было бессмысленно. Однако более всего меня зацепило, что он был преисполнен дикой ненависти ко мне. Я начисто не мог понять причину такого злобствования и должен признать, что поначалу это меня даже ошарашило. Ведь эти деятели из Института чешской литературы ни о чем подобном тогда и не вякали!

Ну и сыграли со мной подлянку, думал я и в то же время быстро прикидывал, как бы этому дубарю раз и навсегда заткнуть глотку. Он говорил, что, дескать, в моей книге он *сходу обнаружил подозрительный схематизм, корнями уходящий, судя по всему, в пятидесятые годы,* что я-де *циник, пишущий для циников,* и что *я совсем недалек от логики насилия.*

В последнем пункте он не ошибся. К логике насилия в данную минуту я был близок как никогда.

— Моментик, шеф, — обрываю я его. — Вы читали рассказы Джеймса Тэрбера?

Он в замешательстве кривит морду.

— Естественно, — говорит он оскорбленно. Он, выходит, кумекает, но я иду на риск.

— Спустимся-ка в подвал, — говорю я ему.

Я встаю и иду в прихожую. Он покорно шлепает за мной. Лестница темная и сырая. На одной ступеньке я притормаживаю.

— Погодим, — говорю я. — Стало быть, вы читали рассказы Джеймса Тэрбера и все-таки топаете за мной в подвал?

— Что вы плетете, дружище? — взвивается он. — Лучше бы вы о своих героях поразмыслили! Что это за нули без палочки, черт подери!

Он заводится в новом монологе и все время божится каким-то Лопаткой. Никакого Лопатки я не знаю, но лопата, слава Богу, на своем месте.

— Нули без палочки? Кого вы имеете в виду? Моего отца? Мою мать? Или сестрицу? — говорю я и с разворота врезаю ему этой лопатой по вывеске.

Он шмякается как подкошенный прямо на уголь — по крайней мере, волочить его никуда не придется! Однако он жив.

— Хрестоматийная реакция на критику, — хрипит он укоризненно. — Вы типичный пример *узколобого* человека!

Тут уж я размахиваюсь как можно *шире* и еще раз-другой хрястаю его по универсально умному кумполу. Под конец заваливаю его несколькими центнерами угля и иду наверх. Затем принимаю душ, переодеваюсь и в шейкере смешиваю для Габины "манхэттен". Капелюху отливаю себе и бросаю туда две черешенки. Попиваю, жду Габину и балдею. Все ж таки классно, что за долгое время я наконец обтяпал что-то толковое.

После пяти рюмок "манхэттена" Габина здорово заквасилась и никак, ну никак не могла поймать кайф. Я не сдавался, но вкратце описал ей, как только что замочил критика. Я полагал, что ее могла бы разжечь мысль, что она совокупляется с реально крутым парнем, но это как-то не возымело действия.

— Значит, ты убийца! — говорит она с ужасом.

— Типа того, — улыбаюсь я и стараюсь, чтобы все выглядело натурально cool[1].

— Так ты убийца?!

Она даже пытается сесть.

Спустя время мне удается кое-как ее успокоить, но главное все еще впереди.

— Попробуй говорить гадкие слова, — предлагает она. — Типа жутко неприличные.

Мизинец она без конца сует себе в рот, но уже и это не действует.

— Не могу, sorry.

Я не то что против неприличных слов, но просто не могу выговаривать их *при этом* — они напоминают мне Рождество на пару с фатером, и потому я всегда лопаюсь от смеха.

К счастью, мне вдруг приходит в голову нечто абсолютно другое.

— Послушай, — говорю я, — представь себе хотя бы, как ты видела меня по телику.

Она закрывает глаза и, прежде чем я успеваю сосчитать до десяти, выпадает в осадок.

Вот она, слава!

1. Хладнокровно (*англ.*).

Через неделю критик, естественно, начинает подванивать.

В субботу должна пожаловать сестрица. Уже в среду мы с папахеном затеваем генеральную уборку всей квартиры, однако от этой вони, в натуре, не избавляемся.

— Тут все время что-то воняет, — говорит фатер.

— Я скажу тебе, что тут воняет, — говорю я. — Это воняет твоя *отцовская любовь*...

(Днем раньше он звонил сестрице и, когда прощались, *послал ей воздушный поцелуй.*

— Опомнись, отец. Ей уже двадцать семь, — говорю я ему с отвращением. — Дело твое, но по мне, так уж лучше скажи, что целуешь ее взасос, только прошу: не посылай ей воздушных поцелуев! Такого пылкого проявления отцовской любви я, факт, больше не выдержу...)

В пятницу смрад становится почти невыносимым. Я non stop распахиваю настежь окна, но и это ни черта не помогает. Полный прокол! Я, само собой, знал, что разлагающийся труп смердит, но чтобы так?!

Так дико смердеть, видать, может только критик.

— Из подвала несет, — убежденно говорит папахен.

— Серьезно, сержант?

— Я спускался туда посмотреть. По-моему, от угля воняет.

— Наверно, под ним труп, детектив Коломбо, — говорю я, однако начинаю малость нервничать.

— Уголь, однако, так вонять не может, — качает головой фатер.

Я подхватываю подкинутый шанс и говорю:

— Может. Шахтеры на него после смены всегда мочатся — это такой профессиональный обычай. Такой шахтерский ритуал.

— Чушь порешь, парень!

— Фиг тебе чушь! Это еще со Средневековья идет. В Кутна-Горе, к примеру...

— Там вроде серебро добывали, — вздыхает фатер.

— Так и на серебро ссали после смены...

— Сегодня не Рождество, — автоматически напоминает мне фатер.

— Вот почему у ихней патронессы — у святой Барбары — на всех картинах того времени закрыты глаза. Ты про это никогда не слыхал?

Фатер делает самый что ни есть скептический вид.

— Идет такой смрад, что на этот уголь они скорей всего даже... — не договаривает он. Сегодня не Рождество.

— ...насрали, хочешь сказать?

— Сегодня не Рождество.

— И ты еще удивляешься? За те гроши, что они там теперь получают?

2.

Когда у Ренаты был выпускной бал, она приехала пригласить меня лично. После тех злосчастных двух лет, пока она встречалась с Виктором, это был ее первый визит ко мне, и мы оба изрядно нервничали, что, думаю, понятно. Естественно, у меня были все причины изображать из себя обиженного и злиться на нее, потому как если ваша собственная дочь два года кряду, с позволения сказать, плюет на вас, то, думаю, это существенный повод для злости. Но я сказал себе: радуйся, мол, что она пришла сама наконец, и не испытывай больше судьбу. В минуты,

когда мои дети чем-то ужасно допекут меня, я всегда вспоминаю одно стихотворение Голана[1]. Хотя поэзию я не особенно читаю (а если честно, не читаю вообще ничего), но однажды у Голана я прочел, что человек должен быть готов взбить перед сном сыну подушку, даже если сын, к примеру, убийца. Голан, естественно, написал это лучше, на то он и поэт, но в общем и целом там была примерно такая мысль. Естественно, это относится не только к сыновьям, но и к дочерям — сын здесь просто такой поэтический образ (хотя, естественно, я не хочу сказать, что даже отдаленно сравниваю то, что сделала мне Рената, с чем-то таким ужасным, как убийство, но вы же понимаете, что я имею в виду). Так вот: я старался говорить с ней любезно и дружески, словно между нами никакой кошки не пробежало. "Тебе чаю или лимонаду?" — спросил я. "С удовольствием чего-нибудь выпью", — сказала Рената. Видно было, что она благодарна мне за то, что никаких сцен я ей не устраиваю. Сказала, что на выпускных балах всегда бывает так называемый родительский танец: сыновья приглашают матерей, а дочери — отцов, и потому она, дескать, хочет, чтобы я непременно был там. Не стану врать, будто это меня не порадовало, хотя что касается танцев — я отнюдь не Фред Астер, говорю это прямо. "Но ваше диско я танцевать не буду, — сказал я Ренате. — Из меня Фред Астер не получится". Естественно, я не мог идти туда в форме: для этого праздника пришлось купить новый костюм за четыре тыщи без малого. Чувствовал я себя в нем, честно говоря, хорошо, но потом, уже на балу, перед самым родительским танцем начал порядком нервничать. Хотя все было нормально и моя бывшая жена относилась ко мне с пониманием, все равно я испытывал большое желание залезть под какой-нибудь стол и немного очухаться. Но я знал, что должен держать себя в руках, чтобы не опозорить Ренатку. А уж это случилось бы точно — ведь там везде были слишком короткие скатерти. К счастью, после нашего танца заиграли вальс, который я на уроках танцев хорошо выучил, так что я обрел необходимую уверенность и, за исключением двух моментов, когда мы сбились с ритма, у нас, думаю, все получилось недурно. "Ты очень хорошо танцевал, папка", — сказала Рената, когда музыка кончилась. Она взяла меня под руку, и мы снова пошли к столу, где сидела моя бывшая жена. "Ты заметила, что я купил новый костюм?" — сказал я Ренате по дороге. Она остановилась, как следует оглядела костюм, а потом, ни слова не говоря, у всех на глазах поцеловала меня. Во мне, естественно, все сжалось, и я чуть было не разрыдался, потому что этот вальс, который мы сейчас танцевали, и этот ее поцелуй были для меня прямым доказательством, что, пусть мы с моей бывшей женой уже шесть лет в разводе, для дочери я по-прежнему ее папка — а ведь в таком доказательстве, видит Бог, я, так сказать, чертовски долго нуждался. Но я знал, что мне нельзя попрекать ее и устраивать какие-то сцены, а потому просто спросил Ренату, не купить ли ей к вину хрустящих палочек, и тут же пошел за ними.

3.

Угадайте, что мы с папахеном каждую пятницу по вечерам делаем? Нет, в компьютерные игры на моем ноутбуке мы не играем — абзац, как вам только могло прийти такое в голову? Я терпеть не могу компьютер-

1. Владимир Голан (1905—1980) — крупнейший чешский поэт и переводчик.

ные игры. Итак, еще раз: что мы с фатером можем делать *поздно* вечером в пятницу?

Точняк, смотрим "Тринадцатую комнату"!

– Пан инженер, вы сказали, что обнаружили в себе это несколько необычное стремление еще в детстве. Как и когда это произошло? – именно в эту минуту спрашивает моя сестрица без малейшей иронии.

В будке перед ней сидит некий архитектор, которого, несмотря на высшее образование, возбуждают *раковины*.

Да, вы читаете правильно: раковины.

– Когда я сидел в ванне, а мама пришла вытащить затычку, – вслух предваряю его ответ, но фатер одергивает меня.

Он сидит перед экраном типа какой-то пришибленный, на нем армейский спортивный костюм лилового цвета с надписью Dukla-Praha, и он в полном отпаде буквально пожирает глазами сестрицу. Кстати, сегодня мы едва узнали ее: с кило штукатурки, волосы зачесаны вверх и еще костюмчик лососевого цвета. Ни фига себе, сестрица!

– Впервые я осознал это на каникулах в Высочине, куда я еще ребенком наведывался к родным, – говорит силуэт инженера (и голос у него вполне цивилизованный). – Там была одна женщина, замужняя, которая уже тогда возбуждала меня сексуально.

– А сколько вам было тогда лет?

– Двенадцать.

– Она знала об этом?

– Думаю, нет. Естественно, я старался не выказывать свои... чувства, чтобы не выдать себя.

– В каких ситуациях эта женщина возбуждала вас более всего?

– Однозначно: когда она купалась. Я всегда внимательно следил, когда она пойдет в ванную, и старался зайти туда следом за ней. И здесь я должен упомянуть об одной существенной детали: как уже сказано, я навещал родных летом, когда ни один из членов семьи не спускал из ванны воду, чтобы дядя или тетя смогли использовать ее для поливки. В деревне это было и, думаю, осталось довольно распространенной практикой. Тогда я впервые осознал, что сильно возбуждаюсь, погружаясь во все еще теплую воду, в которой упомянутая женщина за минуту до этого купалась голой.

– Боже правый! – оторопело говорит папахен, не спуская, в натуре, глаз с экрана.

– Что же, собственно, явилось непосредственным импульсом вашего возбуждения: реально существующая вода или воображаемая обнаженная женщина в этой воде?

Dukla-Praha гордо подмигивает мне, дескать, заметил ли я, как его дщерь умеет точно и литературно закручивать.

– Поначалу, думаю, и то и другое вперемешку. Однако учтите: хотя в этой ванне я с самого начала, естественно, и мастурбировал, надо сказать, что ни вода сама по себе, ни воображаемая женщина сама по себе в полной мере возбудить меня никогда не могли.

– Следовательно, что вы должны были делать, чтобы достичь оргазма?

– Боже правый! – восклицает папахен.

Когда сестрица в телевизоре произносит слова типа *оргазм* или *поллюция*, у фатера каждый раз делается такой вид, будто, несмотря на ее

умение точно и литературно высказываться, он никак не может однозначно решить, гордиться ли ему ею или краснеть за нее.

— Лапидарно говоря, я должен был вытащить затычку. Оргазм наступал мгновенно.

— И, следовательно, тогда вы впервые осознали, что решающим импульсом для вашего сексуального возбуждения является сточное отверстие?

— Именно так. Для людей с традиционным, как бы с консервативным пониманием сексуальности это, естественно, прозвучит несколько экстравагантно, а для многих, к сожалению, и довольно вульгарно, но правда такова, что меня возбуждают темные сточные дыры...

Фатер хватается за голову и уже не произносит ни слова.

— Но при условии, что в данной ванне купалась женщина?

— О нет, с течением времени это условие перестало быть для меня непременным. Я могу возбудиться и при виде совершенно новой, никем еще не использованной ванны или душа.

— Или даже умывальника?

— Однозначно, и умывальника тоже.

— Как вы это оцениваете, пан доктор? — не поведя бровью, обращается сестрица к заседающему в комиссии сексологу. — Встречались ли вы когда-нибудь с подобной девиацией? Но прежде чем пан доктор ответит нам, я предлагаю пану инженеру решить, хочет ли он в конце нашей программы показаться зрителям или же предпочтет остаться невидимым.

— Лучше б он нам на глаза не показывался! — вздыхает папахен.

Инженер, услыхав, верно, пожелание фатера, из будки не вышел, но зато спустя час под нашими окнами вышла из такси сама знаменитая модераторша. Фатер засветился как круглая луна и побежал скинуть свой еханый армейский костюм. Прежде чем сестрица вскарабкалась наверх, он был уже при параде — ни дать ни взять жених.

— Сегодня ты превосходно выглядела, — подсыпается он к ней прямо сходу и облизывает ее штукатурку.

— Здорово, сестрица. — говорю я. — У тебя опять был крутой замес!

Сестрица устало и вместе с тем блаженно потягивается. Она размалевана как цирковая афиша, но, с другой стороны, должен признать, что ее белобрысый абажур всегда освещает наш дом. Но она, в натуре, тут же кривит нос.

— Чем у вас тут воняет? — с интересом спрашивает она.

— Приближающейся старостью, — говорю я, кивая на фатера.

Он вроде хочет возразить, но сестрица опережает его.

— Итак, мужики, — тянет она мечтательно, открывая окно и снимая лодочки цвета лососины. — Вы не поверите, но сегодня вечером в программе был самый привлекательный извращенец, какого я когда-либо исповедовала.

— Серьезно? А фигли ж он тогда не выставил свою красоту на обозрение народа? — говорю я. — Я же выставил.

— За это мы все тебе ужасно признательны, — улыбается фатер.

— И ты этому удивляешься? — говорит сестрица. — Представь себе: высокий, стройный, красивые глаза и такая мягкая, озорная улыбка à la Ричард Гир...

— Когда свадьба?

— И у него были такие чистые ногти, — продолжает сестрица.

Фатер оглядывает свои ногти.

— Так, выходит, вся загвоздка в том, что ты не раковина, — говорю я. — Представляешь, как бы вы могли покайфовать вместе!

— Балда, — смеется сестрица.

Она берет бутылку из-под содовой, наливает в нее воды и поливает наши цветы (это, наверно, дает ей ощущение, что она проявляет заботу о нас).

— Совершенно сухие, — говорит она. — А что, если я у вас заночую? Неохота тащиться домой.

Она прижимается к фатеру, который, в натуре, балдеет от счастья. Даже смотреть тошно. Наконец сестрица высвобождается из его шкодливых старческих объятий.

— Я могу выкупаться? — говорит она. Не дожидаясь ответа, идет в ванную.

— Сестрица... — говорю я.

— Что тебе?

Я делаю озорную рожу à la Ричард Гир и хватаюсь за яйца.

— Не спускай после себя воду, золотко...

Мы оба смеемся.

Фатер отвешивает мне счастливый подзатыльник.

Нормальная *семейная идиллия.*

4.

Каждое утро Синди отправляется на пляж бегать. Продирает глаза, напяливает мятые серые тренировки и мятую синюю майку и тихо выскальзывает из комнаты, чтобы не разбудить нас с Крохой, но я в это время обычно уже не сплю. Часто думаю о Синди и представляю себя на ее месте. В самом деле, была бы я способна в один прекрасный день взять и бросить, возможно, тягомотную, но прилично оплачиваемую работу в Нью-Йорке и полететь в какую-то Прагу, где сроду не была? Just for fun[1]. И остаться в этой Праге на целых пять лет. Выучить чешский, найти работу, квартиру и парня семью годами младше себя — какого-то водителя грузовика (как-то вспоминая о нем, Синди сказала *грузовист*). Потом разойтись с ним, познакомиться с разведенным солдатом-кадровиком, у которого двое взрослых детей и который слово thriller произносит как "трайлер", а дома ходит в лиловом армейском тренировочном костюме.

И при этом выглядеть счастливой.

Синди возвращается, румянец во всю щеку, потемневшая от пота майка.

— Hi[2], — улыбаясь, шепчет она, чтобы не разбудить Кроху. — Хочешь кофе? Я включу кофейник.

Пока она сыплет кофе в фильтр, я разглядываю личико спящей Крохи. *Странный барьер между маленькими детьми и бездетными женщинами* (Джон Фаулз). Хотя Кроха вовсе не такая уж маленькая, но этот барьер налицо. Я лезу из кожи вон, но барьер не исчезает. И мы обе знаем это. Я и она. Я могу ежедневно покупать ей хоть двадцать порций мороженого, могу отыскать с ней хоть пятьдесят шикарных лавчонок с модными шмотками, могу с ней на этом треклятом тобоггане хоть разодрать

1. Просто шутки ради (*англ.*).
2. Привет! (*англ.*)

до крови задницу (и при этом ни на секунду не переставать безумно смеяться) — но все равно мы обе будем постоянно знать, что *в действительности* недолюбливаем друг друга.

Естественно, знает это и М.

Когда, случается, мы остаемся вдвоем, он хвалит меня за мои старания, но я-то знаю: одновременно он мысленно и укоряет меня, что я всего лишь *стараюсь*. Что его дочь я не люблю как бы от чистого сердца. Что я не люблю ее по-настоящему.

Мы знаем это оба, но ни за что не признались бы в этом.

Ведь тогда наш общий мир распался бы, правда?

Мне двадцать семь, и у меня еще нет ребенка. У Синди тоже нет детей, хотя она на девять лет старше меня. Но несмотря на это, она, похоже, совсем не спешит обзавестись ребенком. Похоже, ей комфортно и без мужа и без ребенка. В этом смысле ее присутствие — очень успокаивающий фактор. Она не гладит не только майку, но и юбку. Она не зациклена на свадьбе, как большинство окружающих меня, включая даже тех, о ком такого и не подумаешь. Взять хотя бы моего отца. Чем дольше он в разводе, тем больше тайно мечтает о моей свадьбе. Это точно. Он хочет лично повести меня к алтарю... Да, пусть de jure он и потерял бы меня, но de facto он уже раз и навсегда обрел бы покой. Потом уж пусть кто-то другой сохнет от любви ко мне. Всю ответственность за меня возьмет на себя мой муж. А он, отец, уже ничего сделать не может... Я понимаю его, это для него, наверное, страшно заманчиво: так он дотянул бы свою отцовскую роль до победного конца.

Впрочем, почему всех своих *более серьезных* кавалеров я всегда столь охотно водила к нему на показ? — задаюсь я вопросом. Разве я не хотела представить ему и пана архитектора?

Почему?

Не потому ли, что подсознательно я всегда старалась ему *угодить*?

5.

Еще до развода (месяца за два с половиной) я познакомился на работе с одной сослуживицей по имени Линда, было ей двадцать семь, и работала она в нашей части вольнонаемной в отделе труда и заработной платы (работала она там и раньше, так что, естественно, мы знали друг друга еще до моего развода, то есть до этих двух с половиной месяцев, но это было как бы деловое знакомство). Ребята предупреждали меня и постоянно твердили известную поговорку "Что в своем дому, то не беру", но я не принимал это во внимание. И, думаю, правильно делал: во-первых, по большей части они мне просто завидовали, что я встречаюсь с молодой и красивой девушкой, а во-вторых, именно Линда была тем человеком, кто помог мне не сбрендить в то время, когда дома, так сказать, не говорило со мной даже радио. Она хотя бы тем помогала мне, что я мог спокойно обо всем поговорить с ней, а главное, она умела слушать, что, думаю, в наше время тоже редкое качество. Встречались мы с ней без малого четыре года, хотя условия у нас были довольно трудные: детям о ней я, естественно, не говорил, значит, и приходить к нам домой она не могла и тому подобное. Когда я с Линдой познакомился, Ренате было двенадцать, а мальчику — всего шесть, а в таком возрасте, как говорится, нельзя рубить с плеча, это любой признáет. Со временем Линда, естественно, хотела с детьми познакомить-

ся, но я ей сказал, что лучше не надо, что, мол, она в свои годы, ясное дело, подходит ко всему правильней, чем малые дети, которые еще без понятия и к тому же успели досыта "нахлебаться", когда мы с моей бывшей женой разводились. Линда была умницей и, к·счастью, подошла к этому здраво, ни на чем не настаивала. Тем самым в отпуск я ездил четыре раза в год — два раза с детьми и два раза с Линдой, что, с одной стороны, было приятно, а с другой — шибко било по карману; кроме того, очередного отпуска в основном не хватало, и на одну неделю мне всегда приходилось брать отгулы, что, естественно, нашему командиру было не по нутру. Но делал я это ради детей, особенно ради Ренаты — ведь эти зимние и летние двухнедельные отпуска были единственными в году, когда я мог по-отцовски более или менее нормально, день за днем, жить с ней и разговаривать, а не смотреть без конца на часы, как оно бывает, когда она со мной остается только на выходные. Сперва у нас все шло лучше некуда, хотя на работе частенько меня доставали: что это я, мол, всегда такой загорелый и тому подобное. Однако потом Линде стукнуло тридцать, и, естественно, ей тоже захотелось иметь своих детей. Таким образом наши отношения вскоре кончились — хотя Линду я искренно любил, однако ж не мог в то время представить себе, что способен еще раз взять на себя такую колоссальную ответственность. Ибо иметь ребенка — это и впрямь ответственность колоссальная, и она вовсе не кончается с его совершеннолетием, потому как ребенок, на мой взгляд, — пожизненная обязанность. А нынче я убежден еще и в том, что если у тебя нет твердой веры, что ты эту обязанность сможешь выполнить, то с детьми надо повременить. Что до меня, так этой веры у меня тогда не было (и по правде сказать, нет и посейчас). Я имею в виду не уверенность, ее, естественно, ни у кого в полной мере быть не может, а именно твердую веру в то, что ты способен стать хорошим и ответственным родителем, который до конца будет заботиться о своем ребенке. И если вы над этим задумаетесь, то убедитесь, что и за угон машин, и за изнасилование, и даже за убийство всегда ответственны не только те, кто совершил подобное, но отчасти и их родители, которые свою обязанность, видимо, не очень хорошо выполнили.

6.

Всегда, когда сестрица долгое время у нас не показывается, фатер впадает в тяжелую ломку и под каким-либо сомнительно прозрачным предлогом в ближайший уик-энд старается нагрянуть к ней с визитом. Бог весть почему, но он и меня берет с собой — скорей всего для алиби.

Так, например, спустя неделю-другую после того, как сестрица допрашивала этого обожателя раковин, у фатера с самого утречка в субботу поехала крыша: давай-ка, мол, прямо сейчас, до полудня, махнем к Ренатке — *наконец приделаем ей лампочку.*

— Лампочку? — с удивлением говорю я, постольку ни о какой лампочке мне, в натуре, невдомек.

— Ну да, над кроватью, — втирает мне очки фатер. — Она читает в постели, а до сих пор у нее там не приделана лампочка.

— Вот оно что.

— Та черная. Из "IKEA".

— Схвачено, — говорю.

Папахен принимается радостно укладывать инструмент.

— Это так, про между прочим: а сестрица в курсе, что мы к ней сегодня ввалимся?

— Как-никак я могу раз в месяц навестить собственную дочь, — обиженно гундит фатер.

— Почему же нет? Кто говорит, что не можешь? — срезаю его, но тут же, как только он запирается с субботним приложением в сортире, быстро набираю сестрицын номер.

Телефон звонит многозначительно долго.

— Але, — отзывается наконец сестрица.

Ну ясно, она еще дрыхла.

— Высыпь пепельницы, убери бутылки. А того гаврика, что возле тебя слюнявит подушку, мигом выстави. Через полчаса мы с фатером у тебя. Если случайно тебе еще неизвестно, так знай: двигаем к тебе мастерить лампочку...

— Что-что? — не врубается сестрица. — Какую, Господи, еще лампочку?

— Над кроватью, — сладко тяну я. — Ты же читаешь в постели без лампочки и портишь свои красивые глазки, sugar[1]. Твой папка больше не может этого вынести — он через минуту пожалует и приделает лампочку.

— Какой он правда хороший...

— Самоотверженный, да?

— Только я никакую лампочку не хочу! И уж тем более *в субботу утром*! И вообще, я не одна, и, кроме того, тут дикий бардак...

— Стало быть, honey[2], ты в обломе! Фатер покакает, и мы мигом к тебе.

— Никаких гостей я не принимаю!

— Это ты ему скажи...

— Но почему, Господи, в субботу утром?!

Слышу — фатер спускает воду.

— Закругляюсь, монтер уже идет, — говорю я быстро и вешаю трубку.

По сей день не допру, как она изловчилась, но, когда полчаса спустя мы с фатером ввалились к ней, ее гарсоньерка была как стеклышко: посуда вымыта и убрана, пыль вытерта, с пола, как говорится, хоть кашу ешь (при условии, конечно, если какому мудафелю такое пришло бы в голову). И сама она свежекупаная, башка мытая, в выглаженном кремовом халатике. И ко всему видок у нее ничуть не усталый. Даже наоборот.

— Папочка! Братец! — приветствует она нас с интонацией Адины Мандловой[3]. — Какая приятная неожиданность!

— Мы не разбудили тебя? — притворно спрашивает папахен и пристально оглядывает убранную квартиру.

— Что вы! Я с раннего утра на ногах, — сладко говорит сестрица и усаживается в кресло с пяльцами, что достались ей от нашей бабушки. — Вот вышиваю. Я всегда утречком по субботам вышиваю. — Показывает фатеру иглу с ниткой.

Фатер явно не врубается. Я сажусь на кровать и, когда фатер отворачивается, чуть приподымаю перину — интересно, нет ли на простыне следов спермы. Вроде нет ничего, но от одной подушки едва слышится слабый запах мужского одеколона.

1. Милочка (*англ.*).
2. Голубушка (*англ.*).
3. Адина Мандлова (1910—1991) — звезда чешского кинематографа межвоенного периода.

Сестрица предупреждает меня взглядом. Я корчу ей веселую рожу.

— У тебя тепло, — поддерживает разговор фатер. — Значит, он уже нагревается?

В прошлый наезд он спускал воздух из радиатора. ("Холодина у нее как в погребе", — твердил он.)

— Отлично нагревается, — говорит признательная сестрица с иглой во рту. — И кран в кухне, что ты *недавно* исправил, тоже пока не течет...

Папахен в явной отключке. Он ходит по квартире и с удовлетворением осматривает свои непрошеные починки.

— Я решил зайти к тебе и приделать лампочку над кроватью... — говорит он наконец.

Сестрица как бы от неожиданности откладывает вышивание.

— Серьезно?! Золотой мой, тебе цены нет...

7.

Сегодня Кроха в дурном настроении. Все утро она лежит в тени под пиниями и не желает ни с кем общаться. Примерно раз в час мы с М. проведываем ее.

— Что-нибудь случилось? — прямо спрашивает М.

Кроха молча мотает головой.

Подойдя к ней в очередной раз, мы видим — она уснула.

Изнывающий отец прикрывает полотенцем ей спину.

К концу дня она просыпается совершенно преображенной. На щеке у нее еще вмятина от парусинового лежака, но она уже бурлит энергией.

— У меня идея! — восторженно оповещает она всех.

И пускается перед нами вскачь по горячему песку.

— Слушаем тебя, — говорит М., сразу же оживившись. (Его мысль реагирует на изгибы настроения Крохи традиционно мгновенно.)

— Давайте не пойдем на ужин, а...

— Исключено! — улыбается М.

— Погоди, выслушай: давайте не пойдем на ужин, а вместо этого устроим на пляже пикник.

— Great idea![1] — говорит Синди.

— Пикник *у костра*! — мечтательно говорит Кроха.

Она жестами в воздухе изображает пламя, а затем извивается в коротеньком, но очаровательном восточном танце.

Оба присутствующих отца наблюдают за ней с упоением, которое ни Синди, ни я при всем нашем желании разделить до конца не можем.

— Правда, потрясная идея? — Кроха упорно добивается от них согласия.

М. переглядывается с моим отцом. Потом обращается к дочери:

— Девочка моя, безусловно это прекрасная, романтическая идея, но, к сожалению, неосуществимая. Даже в том случае, если мы откажемся от ужина в гостинице, что, естественно, делать не намерены.

— Я — запросто, — говорю я.

— Почему неосуществимая? — не отступает Кроха. — Ну скажи, почему?

— Да потому, что на этом *частном* пляже — это ты можешь прочесть

1. Прекрасная идея! (*англ.*)

вон на той табличке на нескольких европейских языках — разводить костры запрещено под угрозой высокого штрафа.

— Не будь таким невыносимо консервативным, — говорю я и мужественно встречаю его осуждающий взгляд. — Найдем другой пляж, что особенного?

— Sure[1]! — поддерживает меня Синди.

— Здорово! — восклицает Кроха. — Какой-нибудь общий пляж, так?

М., слегка поднимая брови, пробегает взглядом разноцветные прямоугольники отдельных пляжей, тянущихся вдоль моря до самых скалистых утесов на весьма отдаленном горизонте.

Братец громогласно смеется.

— Ну хорошо, — говорит М., — тогда предположим, что теоретически нам удается найти пляж, на котором разводить костры разрешается. Но вопрос второй: из чего мы разложим этот костер и что в течение всего пикника будем в него подкладывать?

— Для этого есть плавник, — произносит Кроха авторитетно.

— Правильно! — восклицаю я как можно радостнее. — Правда, Синди?

— Правда, — соглашается Синди. — А что такое *плавник*?

М. оглядывает нас обеих, словно видит впервые в жизни.

Мой отец делает веселый и одновременно всепонимающий вид.

Братец одурело держится за голову.

Кроха, глядя на него, упрямо скалится.

— Хорошо, — говорит М. спокойно и серьезно. — Допустим тогда, что мы нашли подходящий пляж с необходимым количеством сухого плавника, с помощью которого мы легко разведем костер.

Уголки губ у него весело подрагивают, но он подавляет улыбку.

— Допустим далее, что прилив нам неустанно будет подбрасывать сухой плавник, скорее всего обломки потерпевших крушение деревянных кораблей, так что у нас будет чем поддерживать огонь.

— Ты противный, папка! — мрачнеет Кроха.

— Остается последний вопрос: что мы будем есть?

— Нормально возьмем с собой ужин из столовой, — торжествует Кроха. — Незаметно сделаем свертки!

В наступившей тишине мы все, несомненно, думаем о том, как *незаметно* вынести из переполненной гостиничной столовой ужин на шестерых человек.

— А в конце концов почему бы и нет? — озорно говорю я.

— Я скажу тебе, почему нет, — говорит мне М., с виду обиженный моим поведением (но на самом деле я продолжаю расти в его глазах).

— Oh, shut up, — смеется Синди. — Let's have a picnic[2]!

Часа через три мы сидим под дальними скалистыми утесами у костра, разложенного из остатков случайно найденной камышовой циновки, нескольких бумажных стаканчиков и *трех* кусков плавника. Мы едим из свертков, вынесенных из гостиничной столовой на глазах у возмущенных официантов.

У нас пикник.

За нашими спинами гудит прилив, и искры, взметающиеся от костра, похожи на заблудшие светящиеся звезды, которые тщетно пытаются снова попасть на небо.

Самым большим счастьем светится, конечно, Кроха.

1. Наверняка! (*англ.*)
2. О, замолчи! Давайте устроим пикник! (*англ.*)

Когда она не видит, М. посылает мне влюбленные взгляды.
Отец и Синди идут плавать.
Мы с братцем все это записываем.

8.

— Ну, дело сделано, — говорит фатер и принимается укладывать обратно в сумку инструмент.

Лампочка вкручена и горит.

— Спасибо, папочка, — говорит сестрица.

Между тем она приготовила кофе. Я мигом выхлебываю его и лезу под стол записывать. Наверху пьют кофеек и беседуют. Сестрица по обыкновению старается говорить о настоящем, тогда как папахен больше всего любит повспоминать — сейчас как раз о каком-то докторе Хароусе, к которому сестрица ходила в детстве.

— Пап, — внезапно прерывает его сестрица, — в следующее воскресенье ты придешь к маме обедать? Я хотела бы представить тебе одного человека.

— Он фотографирует? — говорит фатер с такой обалденной находчивостью, что мы с сестрицей награждаем его коротким смешком.

— Никоим образом. Не беспокойся...

— А чем он занимается? — бросает папахен вроде непринужденно, но если бы вы сидели под столом, то видели бы, как он нервозно мнет ладони между коленями.

— Он... инженер, — осторожно говорит сестрица.

Фатер поначалу не замечает ее смущения.

— Архитектор, — уточняет сестра.

Звучит это почти что виновато.

Руки фатера взлетают вверх и хватаются за край стола.

Идиллия кончилась.

— *Тот самый* архитектор? — заводится он. — Я правильно понял?

— Да, правильно.

— Тогда с обедом на меня не рассчитывайте, — говорит фатер ледяным тоном.

Он даже встал.

— Папа, — говорит сестрица мирно, — это интеллигентный, порядочный и вежливый человек. Разве ты не считаешь, что, прежде чем осуждать людей, надо сначала узнать их лично?

— Я его слышал и сыт этим по горло.

Он рассерженно обувает свои офицерские полуботинки.

Похоже, мы уходим.

— Папа, он не прокаженный... — убеждает его сестрица.

Вид у нее не сказать чтобы happy.

— Он никому не приносит вреда. Да, он определенным образом увечный, но ведь и мы все немного с прибабахом? — подводит черту сестрица с явным намеком на наш семейный заворот — сидение под столом.

И все же фатер хлопает за собой дверью. Обыкновенный семейный хипеж. Надо бы, решаю я, разрядить духоту, приколоться малость.

— Ну что, сестрица? — говорю. — Этот инж уже продул тебе сифон?

Думаете, она мою хохму оценила?

Тем не менее в следующее воскресенье мы с фатером у мамочки как часы — я, в натуре, ждал этого с самого начала. Пожаловали мы даже с утра пораньше, чтобы, дескать, он мог с матерью спокойно обо всем потолковать. Говорили они non stop несколько часов кряду. Когда потом в полдень сестрица с этим интеллигентным и вежливым извращенцем позвонили в дверь, фатер напоминал герметический котел, в котором все утро под высоким давлением варились твердые намерения и настоятельные просьбы.

— Добро пожаловать, — старательно произносит фатер. — Не снимайте обувь, пожалуйста, мы тоже никогда не разуваемся.

— Мы *всегда обязательно* разуваемся, — информирую я коллегу-девианта из-под стола. — Отец заливает.

— Перестань, — осаживает меня фатер. — В самом деле, не разувайтесь.

Но покуда он облизывает сестрицу, инженер за его спиной смущенно снимает шузы. На нем коричневые пропотевшие носки — вид у него сразу становится ужасно комичным.

— Вы действительно сняли обувь? — говорит мать, однако в руках у нее уже домашние тапки. — Зачем же вы, право?!

— Не оставил ли тебе фатер засос? — кричу я из-под стола сестрице. — Как и в прошлый раз?

— Вылазь! — советует мне фатер.

Я слушаюсь.

Папахен недовольно оглядывает меня и пожимает плечами...

— Вот, познакомьтесь с Ренатиным братом, — говорит он кисло. — Он у нас немного того, юморист.

— Приветик, — говорю я архитектору, и мы пожимаем друг другу руки.

— Кроме того, он, должно быть, раз в пятый переживает переходный возраст.

— Точняк, — говорю я и правой рукой изображаю знак V. — Forever young[1], правда?

— Проходите, садитесь, — вступает в разговор мать. — Суп будет через минуту, вот только нарежу омлет.

— Вы к супу подаете омлет? — кричит ей в кухню извращенец. — Я буквально обожаю омлет!

"А раковины?" — мелькает у меня в голове. Но я держу язык за зубами.

— В ресторанах его уже практически нигде не подают, — держится затронутой темы инженер.

— Я делаю абсолютно простой, — весело кричит мать. — Немного муки, взбитый белок и, разумеется, соль.

— Точно такой делает моя мама, — говорит инженер.

Я весело улыбаюсь сестрице. Но ее взгляд скорей всего умоляющий.

Архитектор для разнообразия обращается ко мне.

— Разумеется, я читал твою книжку, — заявляет он весело, в то время как фатер рассаживает нас вокруг стола. — Право, мне понравилась. Особенно этот причудливый образ отца, залезающего под стол, — он поистине восхитил меня.

Во взгляде сестрицы мольба стоимостью в тысячекронную гербовую марку.

— Спасибо, — говорю нейтрально.

1. Вечно молодой (*англ.*).

— Уже готово! — кричит из кухни мать. — Знаю, вы умираете с голоду!

— Не с голоду вовсе, — замечаю я.

Сестрица сверлит меня глазами.

—Ну что, инженер, — говорю я быстро, стараясь исправить дело. — Завтра снова, как говорится, к станку?

Видок у инженера малость напуганный.

— Что ж поделаешь, как-то существовать надо, — выдавливает он из себя.

— Прошу прощения за смелость, но что именно вы сейчас возводите?

Он выдает мне то, что хоть маленько возвращает ему уверенность.

— И где же это?

Он благодарно, но чересчур пространно объясняет. Мутота страшная, но я самоотверженно изображаю интерес. Обдумываю, о чем бы, блин, еще спросить.

— А во что обходится эта мраморная хреновина?

Архитектор начинает извергать какие-то цифры, но тут эстафету разговора перехватывает, к счастью, фатер, и уж оно пошло-поехало: *стоимость строительного материала, его качество, субпоставщики, стоимость строительных работ, архитектурный надзор, тупые хранители памятников, передатчик на Жижкове* и прочая мура. Да, видать, папахен к сегодняшнему обеду специально подковался. Он типа как ботаник — напичкан знаниями.

— Три минутки — и готово! — кричит мать. — Потерпите!

— Прошу извинения, — неожиданно говорит инженер. — Я могу сполоснуть руки?

— Естественно, — говорит сестра. — По коридору налево.

Архитектор отваливает в ванную. Слышу, как он запирает дверь. Секунду-другую ничего не происходит. Потом он спускает воду.

Спервоначалу я и бровью не повел, но затем не выдерживаю и усмешливо гляжу на сестрицу.

Папахен несколько раз откашливается.

Сестрица кидает на нас угрожающие взгляды.

— Перестаньте! — шипит она. — Человек нормально пошел перед обедом вымыть руки — вот и все.

— А я что? Ничего, — говорит фатер.

Но видок у него нехороший.

Мать вносит дымящуюся супницу.

— Где же пан?

— В ванной! — отсекает сестрица.

Мать раскладывает на тарелки куски омлета. Вода в ванной продолжает течь. Мы ждем. Фатер постукивает вилкой об стол. Он в нервном напряге, как сани перед зимой. Чувствую, что эту светскую духоту за столом хорошо бы слегка разрядить.

— Сходи проверь его, — говорю я сестрице, — прежде чем он снесет тебе умывальник.

Как всегда, я единственный, кто смеется.

Архитектора все нет и нет. Только слышно, как течет вода. Фатер откладывает ложку.

— У меня не хватает на это нервов, — говорит он тихо. — Не сердитесь.

Голос у него дрожит.

— Я старался, видит Бог, что я правда старался, но...

И он залезает под стол.
Инженер наконец возвращается.
– Омлетом пахнет! – кричит он с показным восторгом. – Ням-ням!

Часть четвертая

Пойду куплю прохладительного!

1.

Однажды летом девяносто четвертого года фатер приготовил на ужин йештедские драконы, то есть не что иное, как фаршированные свиные котлеты, запеченные с сыром, однако в любом случае это тебе не хухры-мухры, а работа трудоемкая. Особенно фарш. "Фу-ты ну-ты, что творится?" – говорю я про себя. Когда же фатер вытащил еще ботлу итальянского сухого вина, тут уж я смекнул, что у него для меня припасен какой-то симпатичный сюрприз. Я, в натуре, чуял какой, но и ухом не повел, делая вид, что рубать на ужин йештедские драконы и к тому же хлестать итальянское вино – в нашем доме вещь нормальная.

– Недурственно, папуля, – тем не менее похвалил я его, когда мы все начисто подмели.

Я даже сполоснул посуду, чтобы лишних разговоров не было, что, дескать, от меня никакого проку, и залез под стол. Практически я и не написал ничего, так как все время ждал, когда же наконец фатер типа расколется.

Вот он уже откашлялся, но опять ни гу-гу.

– Ты что-то сказал? – прорвало меня.

Он опять кашлянул.

– Я хотел завтра кой-кого представить тебе, – выскакивает из него наконец. – Одну женщину.

– А почему бы нет? – говорю. – Хоть двух.

– Мы встречаемся.

Лица его я не видел, но судя по тому, что́ он делал под столом со своими руками, он здорово мандражировал.

– Но если ты против, чтобы она сюда ходила, я настаивать не буду...

– Нормально, приводи свою кралю, – говорю я великодушно. – С удовольствием погляжу на нее.

– Hi, – говорит мне на другой день Синди. – Я Синди!

Ей лет тридцать пять, малость задастая, но в целом кадра ничего себе.

Иногда и фатер умеет удивить.

– Синди? – говорю. – Это ваша кликуха или имя?

– Синди – мое имя. Если хочешь, можешь говорить мне ты. Что такое *кликуха*?

– Примерно то же, что имя, – объясняю.

– Имя для какой-нибудь девушки?

– Нет, но это не важно. Ты, видать, не здешняя, правда, Синди?

– Правда. Я из Цинциннати, Огайо.

– Клево, – говорю я и киваю на фатера. – И ты летела в такую даль, чтобы захомутать *его*?

Она не понимает меня.

– Говори медленнее, – замечает фатер. – И повежливей.

– Почему ты, блин, выбрала *его*? – повторяю я Синди медленнее. – Объясни мне. Объясни мне, почему ты возишься с этим старпером?

– Ну-ну, – замечает фатер обиженно.

Синди улыбается ему и обращается ко мне (у нее красивые зубы):

– Ты хочешь в шутку или сказать тебе правду?

– Правду. Ничего, кроме правды, Синди.

Синди всерьез задумывается.

– Потому что он ласковый, – говорит она, чуть погодя.

– Ласковый?! Не спутала ли ты словечко? Ласковый! Это мне надо взять на заметку!

Синди снова типа смущается.

– На каком языке, блин, вы разговариваете? – спрашиваю.

– Наполовину по-чешски, наполовину по-английски, – говорит Синди.

– Он не знает английского! – смеюсь я.

– Он уже хорошо знает.

Я только глаза таращу. Оказывается, Синди три раза в неделю учит английскому фатера и еще нескольких таких же дубарей, чтобы якобы подготовить их к НАТО!

Это даже для меня перебор.

– К НАТО?!

Я пододвигаю к себе ноутбук и набиваю на нем печатными буквами: DON'T YOU KNOW HE WAS A KOMMUNIST?[1] Потом поворачиваю монитор к Синди так, чтобы папахен не видел его.

– I know[2], – смеется она. – Но думаю, холодная война уже кончилась.

Ее акцент вполне sexy.

– Ведь ему под пятьдесят! – сообщаю я Синди.

– Не перехватывай! – отбивается фатер.

– Ты вообще-то знаешь, с кем ты мудохаешься, Синди? Со старой структурой! С разведенным хмырем, у которого двое взрослых детей! Один из них к тому же бабахнутый. Конкретно я. I am a disabled person, do you know it? I am obsessed by writting. I write and write and write. I can never stop doing that. Did he tell you that?[3]

Украдкой взглядываю на фатера: заметил ли он , как я ловко шпарю на иноязе.

– Yes, he did, – кивает Синди. – I like your obsession. And I like him[4].

Отпад, ей хоть кол теши...

– Ты еще не все знаешь, Синди!

– Что я не знаю? – смеется она.

– Я предупреждаю тебя: самое худшее впереди.

– Что самое худшее?

Я делаю типа драматическую паузу.

– Он будет тебе показывать *фильмы о моей сестрице*! Бесконечная хренотень детских песенок и танцев! Ничего ужаснее ты и вообразить не можешь!

– Могу. Я уже смотрела все эти фильмы, – смеется Синди. – Отняло у меня много времени.

1. Разве ты не знаешь, что он коммунист? (*англ.*)
2. Знаю (*англ.*).
3. Я извращенец, разве ты не знаешь этого? Я зациклен на писании. Я пишу, и пишу, и пишу. Я не могу не делать этого. Он говорил тебе об этом? (*англ.*)
4. Да, говорил... Мне это в тебе нравится. И мне нравится он. (*англ.*)

– Не все, – отбивается фатер.

Он вытаскивает наши лучшие тарелки, и Синди кладет на них бутерброды с омаром, которые купила в "Деликатесах". Я смотрю на этих двух голубков-перестарков и, ей-богу, не знаю, смеяться мне или плакать.

А бутерброды и впрямь классные.

2.

На сей раз придется начать в несколько эпическом духе: в среду 10 июля 1997 года в мое окно с самого утра светило солнце. Возможно, именно поэтому я проснулась чуть раньше обычного, где-то около половины восьмого. Какое-то время я просто нежилась в постели, любуясь золотым сверканием в просвете темных оконных штор, а потом меня потянуло пройтись по этим утренним солнечным улицам, чтобы купить газеты и что-нибудь к завтраку. Я встала и прямо на голое тело (деталь немаловажная, учитывая последующие события) натянула короткие старые джинсы и мятую (доставшуюся мне от кого-то) белую майку с логотипом фирмы "Agip" (из-за чего ношу ее в основном дома). Наскоро почистив зубы, я сунула ноги в пляжные сандалии и вышла из дому. Воздух приятно холодил. Я никуда не спешила и с удовольствием щурилась на солнце. У зеленщика купила огромный ярко-желтый грейпфрут, в булочной – три посыпанных сахаром пончика, а затем направилась к газетному киоску.

Очередь маленькая, человека три-четыре. Передо мной высокий темноволосый молодой человек лет за тридцать, покупающий "МФ днес" и "Лидове новины".

– Мне то же самое, – говорю я киоскерше. Молодой человек довольно бесцеремонно пялится на меня. Мне неприятно – тем самым он, почти на подсознательном уровне, несколько разочаровывает меня. Я поворачиваюсь и, выразительно подняв брови, в упор смотрю на него.

Он как-то меланхолично улыбается.

В одной руке у него купленные газеты и огромный желтый грейпфрут, в другой – пластиковый пакет с тремя посыпанными сахаром пончиками.

Мне становится смешно, но он с виду серьезен.

– Мы очевидно предназначены друг для друга, – произносит он медленно. – Столь знаменательный знак судьбы нельзя проигнорировать – это было бы кощунством. На следующей неделе мы должны обвенчаться.

– На следующей неделе не получится, – включаюсь я в его игру. – Следующая неделя забита у меня до отказа.

– Я готов на неделю отложить свадьбу, – говорит он, не спуская с меня глаз. – Но ни на день дольше. Не применяйте ко мне выжидательной тактики.

Я весело усмехаюсь. Мы стоим друг против друга с нашими одинаковыми покупками и молчим.

Становится немного неловко.

Молодой человек приподнимает пакет с пончиками.

– Кстати, не хотите ли позавтракать вместе? Скажем, у меня? Такой завтрак вдвойне приятнее, – говорит он абсолютно спокойно.

– *До свадьбы?* – прикидываюсь я возмущенной. – Я приличная девушка. До свадьбы – исключено.

— Все же подумайте. Дома у меня свежие пончики. И где-то должен быть грейпфрут.

— Грейпфрут? Серьезно? Звучит привлекательно.

— Естественно, я хочу *молча* позавтракать, — предупреждает он. — Ибо не выношу, когда за чтением газет кто-то со мной заговаривает.

— Я тоже.

Опять молчание.

— Ну как, пойдем? — приглашает он как ни в чем не бывало.

— И все-таки нет.

Впервые он по-настоящему улыбается. Красивая улыбка.

— Нет?

Решаю быть искренной.

— Несколько необычно все же. Скажу откровенно: боюсь.

— Понимаю. — говорит он. — Синдром Иротки[1].

До меня не доходит:

— Синдром Иротки?

— То есть панический страх, что ваши сотрапезники начнут бросать в вас пончиками.

Он в самом деле мне нравится. Однако идти к нему в дом — полный бред.

— Ну что ж... до свиданья, — говорю я, но не ухожу.

— Жаль, в телевизоре всегда получается, что вы понимаете нас, девиантов.

— Оптический обман, — сообщаю ему. — На самом деле девиантами я по горло сыта.

И особенно после того, добавляю я про себя, как почти полгода потеряла с одним таким, что изменял мне с каждым вторым умывальником, встреченным на пути.

— Этого я и ждал.

— Какая, впрочем, *у вас* девиация?

— Иногда не люблю завтракать в одиночестве.

— О Боже, — улыбаюсь я. — Тяжелый случай, правда?

— Безнадежный, — говорит он так же меланхолично. — Определенно в конце вашей передачи людям я не откроюсь. Не хочу, чтобы соседи указывали на меня пальцами: *Вон тот мерзкий извращенец, который любит завтракать вдвоем...*

С минуту я разглядываю его.

— Знаете что? Пошли! — слышу я вдруг самое себя. — Где вы живете?

— Здесь близко, за углом, у ратуши, — говорит он спокойно. — Когда через две недели пойдем под венец, не придется далеко топать.

3.

Ренате захотелось, чтобы я написал что-нибудь и о своей приятельнице Синди. Что ж, попробую. С Синди я познакомился у нас в части, когда посещал специальный двухлетний курс под названием "Подготовка офицеров для взаимодействия с войсками НАТО", там она преподавала английский. Синди американка. Сперва долго жила в городе Цинциннати, штат Огайо, вышла там замуж, но с мужем общего языка не нашла — он был менеджером фирмы по продаже автозапчастей и при-

1. Имеется в виду эпизод из романа "Сатурнин" современного чешского писателя-сатирика Зденека Иротки.

знавал в жизни совсем другие ценности, чем Синди. Поэтому спустя немного времени она развелась с ним и переехала в город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. В Нью-Йорке в принципе ей нравилось, но по прошествии нескольких лет она почувствовала необходимость перемен и потому после нашей революции прилетела к нам в Чехию (тогда, правда, это была еще Чехословакия, но это не имеет значения), в которой уже в те годы жили многие ее соотечественники и о которой она много слышала. Я, естественно, никогда не думал, что смогу подружиться с американкой, и даже после первого года обучения, когда кое-как уже мог объясниться по-английски, я все равно не представлял себе этого, хотя Синди, скажу прямо, нравилась мне с самого начала. Заявляя, что не представлял себе этого, я тем самым, натурально, имею в виду не то, что Америку или американцев как-то слишком обожествляю, как теперь многие наши, особенно молодежь, а скорее то, что с кем-то, кто здесь не родился и говорит совсем на другом языке, могу найти взаимопонимание. И дело, конечно, не в языке, ибо в этом плане нет проблем, потому как Синди живет в Праге уже более шести лет и говорит по-чешски лучше, чем я по-английски, и мы все равно общаемся по-чешски, но вы же понимаете, что я имею в виду. А это, натурально, общие мысли и взгляды на жизнь, на работу, на времяпровождение, на детей и тому подобное. И тут мы с Синди, как ни странно, прекрасно понимаем друг друга, чему, скажу прямо, я до сих пор не перестаю удивляться. Хотя у Синди все еще легкий иностранный акцент и в чешском она делает ошибки (главным образом в падежах и предлогах, но это нормально), я эти погрешности, по правде говоря, уже не очень замечаю и иной раз вообще забываю, что она, собственно, иностранка. Я просто свыкся с мыслью, что дружу с американкой, и не вижу тут ничего особенного. Может, временами только, когда Синди с кем-то по телефону говорит по-английски или читает "The Herald Tribune", я вдруг снова осознаю, что она иностранка (или еще когда она за завтраком оладьи смачно закусывает салом или куски жареного цыпленка обмакивает в мед, что мне представляется уж и впрямь, с позволения сказать, похабством). Либо когда вспоминаю, что еще несколько лет назад в каждой стенгазете нашей части висели фото боевого оружия американской армии, потому как согласно коммунистической идеологии это был главный наш враг, а теперь оно вот как обернулось. Однако Синди относится к таким вещам по-другому, она вообще многое близко к сердцу не принимает, и это, возможно, как раз то, что мне в ней нравится (тем самым не хочу сказать, что она не нравится мне физически, но вы же понимаете, что я имею в виду). Когда я после опыта с Линдой сказал ей прямо, что в данный момент еще неясно представляю, чего хочу от остатка моей жизни и хочу ли вообще еще иметь детей, она ответила мне "ОК", то есть что это нормально и что в моем положении она ничего другого и не ждет. Кстати, никаких великих планов на будущее она вообще не строит, живет как-то больше в настоящем и в отличие от многих чешских женщин не считает (как и я) брак самым лучшим делом на свете. Она, к примеру, вмиг согласилась, когда я сказал ей, что хотел бы и дальше жить вдвоем с парнем, потому как думаю, лучше людям видеться тогда, когда они обоюдно хотят видеться, а не потому, что волей-неволей живут вместе. Иными словами, я не перестаю удивляться, на какое множество вещей у нас с ней одинаковые или по меньшей мере сходные взгляды и что с какой-то американкой из Цин-

циннати штата Огайо я скорее нахожу общий язык, чем с большинством чехов и даже пражан.

4.

Он живет в маленькой квартирке под самой крышей шикарного модерна. Пять этажей без лифта. Он идет впереди, идет сравнительно быстро, я стараюсь не отставать и при этом не кряхтеть. Вплоть до четвертого этажа двери всех квартир инкрустированы. Облезлая железная противопожарная дверь, через которую мы входим в его квартиру, особого доверия не вызывает.

Помимо всего, на протяжении этого альпинистского восхождения он упорно молчит.

Я ненормальная, говорю себе. Ненормальная.

Подозрительно оглядываю темную прихожую.

— Вход не внушает особого доверия, да? — говорит он.

— Да, конечно, — отвечаю с облегчением.

Как только он открывает вторую дверь, картина сразу меняется. Окна квартирки выходят в парк, и она полна утреннего солнца. Я осматриваюсь: обшарпанный пробковый пол, белая встроенная кухонька, полная грязной посуды, круглый стол с *интеллигентскими* газетами и журналами, рабочий уголок с компьютером и принтером, большой набитый книгами антикварный шкаф, черный диван, столик с переносным телевизором и массивная двухъярусная кровать с крутой деревянной лесенкой.

Просто и вполне уютно.

Кроме того, приятно, что он не говорит фразы типа *"Извините за беспорядок"* или *"Может, какую-нибудь музыку?"* и что избегает всяких обычных клише при знакомстве. Причем настолько успешно, что я до сих пор не знаю его имени.

— Садитесь, — только говорит он.

Молча начинает готовить завтрак. Его молчание создает в комнате, конечно, определенное напряжение, но при этом мне нравится, что он *не мелет языком попусту.* Он включает чайник, моет чашки, тарелки и выжимает грейпфрут — для этого у него есть специальный изогнутый ножик.

— Классный нож, — отмечаю, — а я всякий раз прорезаю корку, и половина сока вытекает в тарелку.

Он кивает и собирает на стол. Затем приносит наши четыре газеты.

— Забыл, какие ваши, — говорит он. — Кажется, эти.

И подает мне.

— Нет, это ваши, — говорю я. — Если не возражаете, я возьму свои.

— Естественно, — говорит он почти без улыбки, но чувствую, что заработала один балл.

Он наливает чай, надкусывает первый пончик и действительно углубляется в чтение. Хотя, похоже, его что-то все время гнетет, но сейчас вид у него спокойный. Единственное, что в эту минуту, пожалуй, волнует его, — это чтобы джем не капнул на газету.

Я растерянно наблюдаю за ним и в отличие от него сосредоточиться на чтении не могу. Что будет, когда мы прочтем газеты? Он станет на меня кидаться? Разрежет меня на куски своим изогнутым ножиком? В

какой-то момент я подумываю, уж не педик ли он — впрочем, я всегда мечтала дружить с каким-нибудь интеллигентным, остроумным гомосексуалистом.

Снова эта красивая улыбка.

— Хотите услышать последнее открытие журналистов-аналитиков "Лидовых новин"? — спрашивает он.

Я киваю.

— "*Туристов привлекают пражские памятники старины*", — читает он заголовок крупным шрифтом. — Вы могли бы такое предположить?

— Нет, — говорю я. — Это настоящее открытие...

Он снова погружается в газету, а я тем временем перевожу взгляд на три обрамленные фотографии на противоположной стене. На всех трех одна и та же юная девушка. Красивая.

Он подмечает, куда устремлен мой взгляд, но не испытывает потребности хоть как-то прокомментировать это.

— "*Производители стальных труб намерены защищаться*", — читает он следующий заголовок. Коротко усмехается: — Надеюсь, не трубами...

Я смеюсь.

Затем опять мы долго молча едим и читаем.

— Или послушайте вот это: "*Чешские пивоварни за бортом*", — наконец говорит он. — Это не журналисты, а сюрреалисты. Фокусники с метафорой. Представьте себе корабль, полный чешских пивоварен... И двух матросов, которые все эти пивные заводы запросто бросают за борт...

Я улыбаюсь.

— Могу я вас кое о чем спросить? — говорю я чуть погодя.

— Нет, — говорит он с веселой решительностью, не отрывая взгляда от газеты.

— Нет?! Что это значит? Я что, не могу вас ни о чем даже спросить?

Наконец он внимательно на меня смотрит.

— Это прекрасная ситуация. Не портите ее.

И он придвигает к себе свой грейпфрут.

— Но поймите, — возражаю я уже с некоторой досадой, — я ведь о вас ничего не знаю. Не знаю даже вашего имени.

С минуту он задумчиво смотрит на меня.

— Я вас понимаю, — говорит он. — Но *в самом ли деле* что-то изменится, если я вам скажу, что зовут меня, предположим, Эмиль и что служу я в Коммерческом банке и что на уик-энды езжу на дачу в Южную Чехию?

Теперь уже я разглядываю его. Изучаю его лицо.

— Вас зовут не Эмиль. И ни в каком Коммерческом банке вы не служите, — наконец заявляю я убежденно.

— В самом деле?

— В самом. Вы не тот тип. — Я смотрю на часы. — И кроме всего прочего, вы давно сидели бы в банке.

— Сегодня у меня отгул.

— Неправда. И дачи у вас тоже нет.

— А дачу, дачу я от папы получу-у-у, — затягивает он.

Мы смеемся.

— Я сижу в вашем доме и ничего о вас не знаю, — повторяю я уже с отчаянием, но на сей раз мое отчаяние – *наигранное.*

— Именно это и нравится мне в данной ситуации, — говорит он. — Конечно, будь я вашим отцом, это нравилось бы мне, видимо, меньше.

И мы оба снова возвращаемся к раскрытым газетам. Кое-что зачи-

тываем вслух и комментируем особо дурацкие заголовки и статьи. Я расслабляюсь — с этим абсолютно чужим человеком мне на удивление хорошо.

В конце концов газеты мы дочитываем. Невозможно же читать две газеты два часа кряду!

— Мне надо идти, — говорю я.

Он кивает и встает. На меня не кидается и уж тем более не режет меня на куски своим изогнутым ножиком. К сожалению, даже не удерживает меня.

— Я спущусь вместе с вами, — говорит он деловито. — Дверь наверняка закрыта.

Все пять этажей проходим в молчании.

— Наши свадебные гости все ноги собьют, — пытаюсь я возобновить нашу изначальную игру, но это не очень срабатывает.

Он улыбается, но опять-таки грустно.

Открывает дверь (действительно заперта).

— Отличный был завтрак, — говорит он. — Спасибо.

— Не за что. Ваше извращение тоже отличное.

Я медлю перед открытой дверью, но сколько можно? Смущенно глажу запыленную стену коридора — а потом на мягкой штукатурке нацарапываю ногтем свой номер телефона.

Я чувствую его взгляд, но посмотреть ему в лицо уже не решаюсь.

— Не хотите пригласить меня, разнообразия ради, на ужин? — говорю я смущенно, опустив голову (это я-то, телевизионная звезда...). — Допустим, в эту пятницу? "Тринадцатую комнату" ведет коллега...

Он колеблется.

— Обещаю вам, что надену майку получше. — Я стараюсь говорить непринужденно. — Поверьте, этот наряд не вполне отражает мой вкус.

— В пятницу не могу. — Он качает головой. — Но...

Чувствую, как краснею. Такого не случалось со мной уже много лет.

— Тогда в субботу?

— В субботу, к сожалению, тоже не получится.

Он хочет что-то добавить, но я опережаю его. Чувствую себя униженной, и мой голос неожиданно становится неприятно скрипучим.

— В вашем Коммерческом банке какое-нибудь важное совещание в выходной? Или к вам на дачу в Южной Чехии именно в этот уик-энд приедет говнос?

М. искренно смеется.

— Да нет, — говорит спустя минуту. — В этот уик-энд у меня будет дочка...

5.

Когда в первые годы после развода я заполучал Ренату на уик-энд (на каждый второй уик-энд, что, думаю, естественно), то встречались мы всегда в пятницу в пять часов на станции метро "Народни тршида" у последнего вагона. Я предпочитал встречаться внизу в метро, потому что наверху вокруг всех этих палаток перед универсамом "Май" (нынче он называется иначе, но это не имеет значения) уже тогда толпилась всякая пьяная шелупонь. Я обычно приходил немного раньше, минут за пятнадцать, чтобы она там не оказалась одна — ведь никогда не знаешь, что может случиться, особенно с молодой девушкой (и особенно в Пра-

ге). Вспоминаю еще, как иногда я нервничал при мысли, что на сей раз она на себя напялит, ибо в том критическом возрасте между тринадцатью и шестнадцатью (естественно, это лишь приблизительные границы) она часто умудрялась надевать совершенно сногсшибательные вещи, в которых иногда походила, с позволения сказать, на шлюшку, и мне с трудом удавалось сдерживать себя, чтобы не взорваться и не сказать ей об этом. И что люди оглядываются на нас. Сын со мной не ходил, но, признаться, не потому, что стеснялся Ренатиных шмоток, а потому, дескать, что не может смотреть на мое "токование". Он, натурально, перебарщивал, ибо ни о каком "токовании" речь явно не шла, а то, что я, как отец, после двухнедельного перерыва страшно радовался своей дочери, — вещь, думаю, вполне естественная. Напротив, я никогда не позволял себе прилюдно гладить ее по голове — у нее была буквально аллергия на это, а поцелуя удостаивался лишь тогда, когда при нашей встрече или прощании сам напрашивался (максимум еще вечером перед сном, но для этого она должна была быть в хорошем настроении). Естественно, я понимал, что для молодой девушки уик-энд, проведенный с тридцатипятилетним "старцем", удовольствие небольшое, и потому всегда старался организовать для нее какую-нибудь программу. Мы ходили в кино, естественно, на Петршин и в зоопарк, я доставал билеты в театр и типа того. Однажды мы пошли кататься на лодке на Славянский остров, но Рената была все время замкнутой и противной и только потом дома объяснила мне, что ей мешала моя форма, которую в тот день я не успел переодеть, ибо в части у нас была генеральная инспекция. Естественно, я мог понять чувства четырнадцатилетней девочки, но, с другой стороны, поверьте мне, мало приятного, когда вы вдруг обнаруживаете, что ваш ребенок стыдится того, чем вы занимаетесь, и даже говорит вам, что вы похожи на "капитана Коркорана"[1]. С тех пор я следил за этим и ходил только в цивильном, хотя мой цивильный костюм она также часто критиковала. Заказал я как-то столик в одном дорогом ресторане, но она сказала, что из-за "похоронной пары", которая на мне, она со мной никуда не пойдет. Однако на мне был выходной темно-синий костюм, и я действительно не понимал, что ей в нем не по нраву. С этими ресторанами в те ее годы я вообще нахлебался. Если когда-нибудь, к примеру, Рената и соглашалась пойти со мной на праздничный обед или ужин, то по дороге туда съедала две порции мороженого и еще орешки в сахаре, так что в конце концов я все равно ел один, а она лишь сидела, играла с ножом и вилкой и скучала. А об ее диетах и говорить не приходится — одно время она день за днем ела только овощные салаты и подобные глупости, хотя была такой худущей, что, глядя на нее, сердце кровью обливалось. А когда я пытался разумно ей объяснить, что она совершает огромную ошибку, ибо все еще развивается и ее организм требует гораздо более разнообразной и богатой пищи, она сердито затыкала уши. Тем самым, однако, не хочу сказать, что мы с Ренатой не провели уйму прекрасных выходных дней, когда, например, отправлялись в долгие вечерние прогулки по Старому Месту и Малой Стране, где Ренате, естественно, очень нравилось, ведь она была, как и всякая молодая девушка, "романтической душой" и иногда даже брала меня за руку. По субботам мы ходили плавать в бассейн "Славии"[2], а по

1. Комический персонаж фильма "Героический капитан Коркоран"; в главной роли — знаменитый чешский комик Власта Бурьян (1891—1962).
2. Пражский спортивный клуб, основанный в конце XIX века.

воскресньям с утра Рената обычно готовила обед. Но вы можете представить себе "обед", приготовленный неопытной тринадцатилетней девочкой... (Сейчас она готовит уже хорошо, а тогда ее "обеды" нельзя было есть, но в отличие от сына я всегда пересиливал себя и еще старался хвалить ее.) В первый год после развода она еще спала в моей постели и всегда, перед тем как уснуть, склоняла голову к моему плечу, а я наблюдал, как она тщетно и так забавно борется с сонливостью. Наконец она засыпала, а я еще долго бодрствовал: слушал ее дыхание, дышал ароматом ее волос, и после всего того, что пережил до развода и потом, испытывал такой покой и мир, что не могу даже описать это.

6.

Эге, не забыть бы мне про мертвяка-критика: не поверите, но через пару-тройку недель этот смрад из подвала начал помаленьку улетучиваться, а месяца через два исчез напрочь. Офигеть можно! Думаю, скорей всего его сожрали крысы (любопытно было бы знать, не проснулся ли в них от этого так называемый критический дух и не взялись ли они остальным крысам вдалбливать, какой пражский водосток загажен художественно правильно, до глубины, а какой — всего лишь поверхностно, вот это и вовсе был бы прикол!).

Стало быть, единственная вещь, что в нашем доме воняет, это фатеровы майки, которые он всегда после своей домашней культуристики вешает в ванной комнате на сушилку. Они висят там постоянно, ибо наш фатер тренируется ежедневно. А тренируется он ежедневно с ранней юности, чтобы не быть слюнтяем и не бояться чертей (посему дед с бабушкой и отдали его в высшую военную школу — думали, армия сделает из него мужика, который уже не станет залезать под стол при виде черта с Микулашем. Эта цель была достигнута, в натуре, только отчасти: хотя черта с Микулашем папахен теперь проглатывает спокойно, зато всякий раз залезает под стол, когда сестрица приводит в дом какого-нибудь нового трахаля).

Папахен укрепляет мышцы и нынче, невзирая на то, что у нас в гостях Синди.

— Ты когда-нибудь слышал слово "гостеприимство"? — говорю я этому чудику, когда он, раздевшись перед нами, остался в одних трусах.

— Через двадцать минут я в вашем распоряжении! — Он не дал сбить себя с толку и нормально пошел упражняться.

Словом, у старого холостяка свои твердые установки, и нам с Синди ничего не остается, как сидеть ожидаючи в гостиной и слушать, как в соседней комнате он пыхтит перед открытым окном. Временами слышно, как звякают гантели.

— Идиот, правда? — говорю я, чтобы оживить разговор.

— Нет, — защищает его Синди, в натуре, — мне нравится, когда у мужчины муксулы.

— Мускулы.

— Мус-ку-лы, — старательно повторяет Синди.

Папахен возвращается примерно часа через пол. К счастью, он принял душ, но, к сожалению, и побрился и навонял этим мерзопакостным питралоном, который считает, в силу своей ограниченности, непревзойденным по благоуханию косметическим изделием для мужчин. В руке у него Синдины "Нью-йорк таймс" — прям-таки истинный комильфо.

— Синди, — говорит он, — ты знаешь, что на следующей неделе День отцов?

— Знаю. Будет тусовка?

— Нет, у нас это не празднуют. Но тебе надо было бы купить что-нибудь и послать отцу, как по-твоему?

Синди с минуту глядит на него.

— Do you know I really love you? Give me a kiss[1].

Но фатер целоваться не настроен, потому что меня он обычно стесняется (скорей всего боится навредить моей нравственности).

Однако Синди наклоняется к нему, и ему ничего не остается, как чмокнуть ее в щеку.

— У вас на День отцов не дарят отцам подарки? — говорит он чуть погодя и показывает ей несколько реклам часов, галстуков, запонок и подобных хреновин.

— Дарят, — допускает Синди.

— А не стоит ли и тебе...

— Ты же знаешь, что мы с отцом не особенно любим друг друга.

Фатер *обалдело* отстраняется от нее.

— Но ведь это твой отец...

Синди весело вздыхает.

— Пошли ему хоть какой-нибудь пустячок, — советует ей папахен. — Да хотя бы прибор для бритья.

— *Для битья!* — смеется Синди. — Oh my God![2]

— Или галстук...

Синди подмигивает мне и забавно качает своей американской башкой.

И снова внимательно разглядывает фатера.

— Sometimes you are really funny[3], — говорит она.

Я тоже так думаю.

7.

Однако в пятницу после обеда М. неожиданно звонит мне. У меня мама, но, к счастью, она уже уходит.

— Одну минуту, я только провожу маму, — говорю ему радостно и весело подмигиваю маме. — Я не хочу, чтобы она слышала наш разговор, — я же ей еще не сказала, что на следующей неделе у нас свадьба.

Я кладу трубку и буквально выталкиваю маму из квартиры.

— Пока, мама, пока. Позвоню тебе. Потом все расскажу.

Как только она, несколько обиженно, закрывает за собой дверь, я бегу к телефону.

В передней мельком почему-то оглядываю себя в зеркале.

— Я уже одна, — говорю ему, едва переводя дух. — Теперь можем говорить о чем угодно — хоть об оральном сексе или там...

"Не перехватила ли я?" — в ту же секунду ужасаюсь я самой себе.

— Как это вы угадали, ради чего я позвонил? — говорит он с деланным изумлением.

Я с удовольствием слушаю его.

1. Ты знаешь, что я действительно люблю тебя? Поцелуй меня *(англ.)*.
2. О Боже! *(англ.)*
3. Иногда ты и вправду чудной (*англ.*).

— Тем не менее я продолжаю думать, что *еще до того* нам стоит пойти куда-нибудь поужинать...— улыбаюсь я в трубку.

— Не будьте такой невыносимо консервативной...

— Прошу прощения, но за многие годы я как бы привыкла именно к такой очередности.

— Очередность! — говорит он презрительно. — Настоящая страсть не знает очередности. Впрочем, очередность не что иное как национальный или связанный с эпохой обычай — например, китайцы ели суп только после главного блюда. Плюньте на очередность. Знаете поговорку: если дали вам бумагу в линейку, пишите поперек. Я не слишком разболтался, как по-вашему?

— Нет. Я с удовольствием слушаю вас.

— Теперь касательно ужина, — говорит он. — Полагаю, на сегодня у вас уже что-то намечено?

Черт возьми, кое-что намечено. Отменить? Не годится. И вправду не годится.

— Откровенно говоря... ничего.

Большей дряни, чем я, нет во всей Центральной Европе!

— Ничего?

Похоже, он обрадовался.

— В таком случае приглашаю вас на ужин.

— Как так? А что же уик-энд с дочерью?

— Не получилось, — объясняет он. — Они поехали с моей экс-супругой куда-то в Северную Чехию выбирать щенка.

— Щенка кого?

— Мне кажется, она говорила о собачьем щенке, но я не совсем уверен. Может, речь идет о щенке лошади? Нет, она определенно не говорила о лошадином щенке, это я бы запомнил.

— Щенка какой *породы*? — смеюсь я.

— Это она мне тоже говорила. Фокстрот-терьера? Или слоуфокс-терьера? Не разбираюсь в этом.

— Или вальс-терьера? — включаюсь я в его игру.

— Да, да, думаю, именно его! Хотя, постойте, вспомнил: таксы.

— Ах вот оно что...

— Заказал я на сегодня столик на двоих — разумеется, для себя и для дочери. И если вы не сочтете унизительным исполнять роль заместительницы...

Радость пропитывает меня, как вода губку, но стараюсь не показывать виду.

— Ну что вы, наоборот... — говорю я и уже обдумываю свой туалет. — Где это?

— В "Макдональдсе", — говорит он на полном серьезе. — В детском уголке.

Зарезервирован столик, однако, в шикарном ресторане "Ambiente", что на Виноградской улице. Народу — битком, куча иностранцев. У официанта, провожающего нас к столику, вид несколько смущенный, а возможно, это мне только кажется.

М. элегантен, пиджак ему к лицу. На аперитив мы заказываем сухое мартини, затем стейк из молодого барашка для меня и говяжий — для него, греческий салат и бутылку выдержанного красного (*первые* ужины я обычно запоминаю, а этот — в особенности).

М. милый, внимательный, веселый. В конце ужина спрашивает, не выпью ли я с ним рюмочку коньяка.

— Хоть пять, — говорю я бездумно.

Мне хорошо, как давно не было. Официант что-то шепчет М. У М. вид весьма удивленный.

— Я совершенно забыл об этом, — говорит он. — Нет, нет, обязательно принесите.

Официант снова доверительно наклоняется к М. М. несколько смущенно слушает его.

— Нет, не зажигайте, — говорит он, чуть помедлив.

Официант уходит.

— А впрочем, зажгите!— кричит ему вслед М. Официант на ходу оглядывается и кивает.

— Это будет выглядеть довольно странно, — говорит М. Впрочем, он и сам выглядит довольно странно. Я вопросительно улыбаюсь.

— В чем дело?

— Сегодня мы должны были праздновать ее день рождения. У нее сегодня *действительно* день рождения, — уточняет он.

— Я не предполагала... — говорю нейтрально.

А официант уже тащит торт с зажженными свечами. Это, естественно, возбуждает интерес итальянцев, сидящих за соседним столом. Они затягивают *Happy birthday to you!*

— Нет, нет, — быстро качаю головой. — It's misunderstanding. It's not my birthday![1]

Пение смущенно затихает.

М. задувает свечи, прячет лицо в ладони и начинает смеяться. Я рада, что он относится к этому с юмором. На торте надпись: *Мне сегодня 13!!!*

Я смеюсь вместе с М., но свечной дым вызывает у меня кашель. Вдруг с изумлением обнаруживаю, что М. не смеется, а плачет. Он краснеет, у него трясется подбородок. Это портит его... Мне неловко. Я озираюсь — не слышит ли кто его приглушенные всхлипы. Похоже, никто ничего не замечает.

Мне вдруг становится стыдно. Я наклоняюсь к М. и глажу его по руке. Вскоре, похоже, он овладевает собой. У него красные, влажные глаза, он глубоко дышит. Прокашливается.

— Прошу прощения, не думал, что...

Он не договаривает. У меня сводит горло, я ничего не могу сказать вслух — только сильнее сжимаю его руку.

М. снова прокашливается.

— Это уже третий уик-энд без нее. Три раза подряд она отменяла наши совместные выходные. Последний раз я видел ее двенадцать дней назад на нашей так называемой встрече по средам. Эти встречи по средам не длятся и часа. Сорок пять, пятьдесят минут, не более...

— Мне очень жаль...— произношу я с трудом.

М. долго молчит, потом сообщает мне, что научно доказано, будто дети, которых в раннем возрасте отлучают от отца, так же бурно протестуют против этого, как и тогда, когда их отлучают от матери. Затем он цитирует мне профессора Матейчика: *"Материнское поведение по отношению к ребенку присуще не только биологическим матерям – речь идет об универсальном поведении всех окружающих"*.

1. Это ошибка... Это не мой день рождения... (*англ.*).

— Типично материнское поведение со всей очевидностью присуще и отцам, — заявляет М. нахмурившись. — Но невзирая на это, забота о ребенке почти в девяноста пяти процентах случаев доверена у нас матери.

— Неужели столько? Я не знала.

— Насильственное отторжение членов семьи. Однажды уже это было. Делали это нацисты.

Сравнение кажется мне несколько преувеличенным, но я не осмеливаюсь оспорить его.

Официант наконец приносит коньяк.

Я смотрю на ту, которой тогда предназначался тот торт. Она лежит на животе, чудесно загорелая, и читает. На маленьких ступнях чуть шелушится кожа.

— Намазать тебе спину? — спрашиваю я.

Она улыбается мне, откладывает книгу и поворачивает голову на правую сторону. Закрывает глаза, но моим рукам полностью не отдается. Лишь изображает расслабленность, а на самом деле остается напряженной.

Я отбрасываю ее волосы с затылка и пальцем нежно провожу по позвоночнику.

Она вопросительно приоткрывает левый глаз.

Я наклоняюсь еще ниже.

— Папа ужасно любит тебя, ты знаешь это?

Она закрывает глаз, чуть приподнимается и поворачивает голову на другую сторону. Говорить со мной явно не желает.

"Больше, чем меня, ты знаешь это?"

Нет, этого я ей, естественно, не сказала.

8.

Если вам хочется создать для себя точный образ нашей завороченной семейки, попробуйте представить себе, к примеру, следующую картину.

Воскресное утро в кухне нашей матери. Все вытерто, убрано, на плите булькают четыре до блеска начищенные кастрюли. Вы чувствуете этот аромат? А теперь представьте себе нашу мутер: вот она прячет в шкафчик еще мокрую посуду, чего обычно, в натуре, никогда не делает. Тарелки она держит на отлете, чтобы, не приведи Бог, не накапать на себя, ибо она уже припарадилась, а точнее — на ней темно-синий брючный костюмчик, хоть он и не плох (правда, малость уже затрепан), но, как говорится, не фонтан. Это вам не то шикарное темно-зеленое бархатное платье, в котором она привечала недоумка Виктора, а потом и этого любителя раковин. Ни хрена подобного! Кто знает, может, этот скромный потертый костюмчик должен намекнуть нам, что *на сей раз* сестрицыну "помолвку" она воспринимает посдержаннее. Типа поспокойнее. Типа примиреннее.

А потом вдруг начинает высказываться.

Вслух.

Одна в пустой кухне.

— Конечно, *он* разведен, и *у него* тринадцатилетняя, можно сказать, взрослая дочь. Мы все это знаем. Знаем с самого начала...

Ё-моё, кому это она говорит? Кастрюлям? Или мышке?

— Насколько мне известно, он ни от кого ничего не утаивал. Но, в конце концов, это не главное. Что до меня, так думаю, факт его развода мы слишком драматизируем — ты иного мнения?

Кого она спрашивает? Таз? Фритюрницу?

— К чему это? В конце концов — такова жизнь. Надо наконец смириться с тем, что даже к нашей Ренате не прискачет некий сказочный принц на белом коне, а заявится обыкновенный и даже в чем-то ущербный человек. И даже разведенный. Ну и что?! Это случается и в самых лучших семьях. Люди, короче говоря, встречаются и расходятся. Просто абсурдно, что именно тебе я должна это объяснять.

Фритюрница не отвечает.

— Но в конце концов, может, оно и лучше. И знаешь почему?

Фритюрница опять ни гу-гу. Молчит как рыба.

— Знаешь почему?— разнообразия ради мать спрашивает уже кухонный стол, который, в натуре, так же скуп на слова, как и дотоле фритюрница.

— Я скажу тебе почему. А потому, что наконец-то мы его *не идеализируем*! Не идеализируем, понимаешь?

Она наклоняется к столу, приподнимает скатерть и в упор смотрит сперва на меня, потом на фатера. Фатер отводит взгляд. На его физиономии типично мученическое выражение.

— Потому, что мы, по крайней мере, не предаемся никаким *ложным ожиданиям*, — спокойно объясняет ему мать.

Но я-то знаю, что́ больше всего гложет папахена: не то, что этот кадр разведенный. Ни хрена подобного! Гложет его главным образом то, что сестрица, очевидно, относится к делу серьезно, тогда как все — от и до — возникло *случайно*. А случайность есть нечто, с чем наш фатер — во всяком случае, касательно сестриных ухажеров — изначально отказывается смириться.

— Почему, Господи, почему именно он? Потому что *случайно* купил точно такое же число пончиков? — гудит он. — А в следующий раз она может познакомиться с тем, кто *случайно* врежется в нее в метро...

— Такие вещи бывают, — подкалываю его я. — Насколько мне известно, ты познакомился с матерью только потому, что у вас в одно и то же время *случайно* защипало от хлорки глаза ...

Фатер, однако, на меня — ноль внимания.

— Разве это не то же самое, что тогда с ее *фотографом*... Почему он? Потому что он сделал ей первые пригодные для проездного фотки?

— Я так весьма сомневаюсь, что те фотки могли пригодиться для проездного, — разражаюсь я хохотом.

И еще кое-что уедает его...

Приходим мы как-то в "сам-бери" и в дверях едва не натыкаемся на уже немолодую, минимально сорокалетнюю клячу, которая прет, должно быть, с сотню пластиковых сумок. Фатер, как и подобает истинному армейскому джентльмену, дверь, в натуре, придерживает, и тетка с благодарностью одаривает его этакой кривой, усталой улыбочкой, после чего фатер пялится ей вслед на порядок дольше, чем эта обветшалая Британия заслуживает.

— Ты уже так оплохел с этим делом? — говорю я ему. — Синди тебе уже дала коленом под зад?

Он не ответил мне, но и без того до меня дошло, что промелькнуло в его башке: что через пару-тройку лет мы вот так же можем встретить Ренату. От нее так же будет нести ромом и "Рексоной", и она так же будет переть пластиковые сумки с мороженым шпинатом и кнедликами для своего *благоверного.*

9.

Однажды, когда нашей Ренате было лет пять, мы наладились с ней на прогулку. Вдруг она вздумала взять с собой детскую коляску с куклой, но я ни в какую: коляска стала сплошной скрипучей рухлядью, у которой того и гляди отвалится какое-нибудь колесо (конечно, можно было и приварить их должным образом, но я, к сожалению, не находил для этого времени), а у куклы тоже лучшие годы были давно позади — она почти совсем облысела. Естественно, Рената подняла дикий рев, слезы с горошину, но все ж таки я настоял на своем, ибо, сказать по правде, стеснялся показаться на людях с таким скрипучим хламом, и мы пошли без коляски. Однако спустя годы я эту с виду ерундовую историю не раз вспоминал и ужасно жалел, что тогда не разрешил ей взять коляску. Нынче однозначно я пошел бы даже с этой плешивой куклой, потому как теперь мне плевать, что скажут люди. Теперь-то я понимаю, что такие вещи делаешь не ради людей, а ради детей, и остальное не имеет значения. Дети есть и должны быть в жизни самым главным — в это я всегда, по крайней мере, верил, хотя позднее, правда, в этом засомневался, особенно в тот период, когда Рената целых два года у нас не показывалась (ни разу даже не позвонила!). И стал я тогда думать: не роковая ли это ошибка, когда человек всем сердцем связывает себя со своими детьми, а дети потом, лет в шестнадцать или двадцать, берут и оставляют его навсегда? И стоит он себе в одиночестве с пустыми руками и открытым ртом и ведать не ведает, что ему теперь делать. Я, естественно, понимаю, что птенцам положено, как говорится, вылететь из гнезда и встать на собственные ноги, оно в порядке вещей, но все ж таки частенько в толк не возьму, куда потом деваться всей этой родительской любви? Тот факт, что за два года Рената ни разу не навестила меня, был, по существу, хорошей подготовкой к тому, что́ рано или поздно должно наступить (хотя за такую подготовку ей "большое спасибо"). Как говорится, дети — смысл нашей жизни, однако тут-то и кроется величайшая опасность: если вы так считаете, то когда дети покинут вас, ваша жизнь логически теряет всякий смысл. Если, к примеру, отец моей Синди, которого она навещает раз в год на Рождество, относился бы к этому именно так, то он должен был бы пустить себе пулю в лоб. Но, видимо, к этому так относиться и вправду нельзя. Детки, как говорится, тебе и в радость и в бедки, и потому надо наперед знать, что за каждую радость рано или поздно придется платить. В том-то и дело.

10.

С самого начала нашего знакомства М. отстранял меня от большинства проблем, связанных с его отношением к дочери. Естественно, я сперва думала, что те немногие беспокойные фразы, оброненные им в ресторане "Ambiente", лишь предваряют некое неизбежное вступление к проблеме, которую позднее в спокойной обстановке М. изложит мне

подробнее. Но я ошибалась. Любой разговор на подобную тему М. обрывал, как только я пыталась завести его; и объяснял это тем, что не хочет постоянно и нудно докучать мне своей *бесконечной мелодрамой*...

– *Постоянно?* – удивилась я. – Мы еще ни разу не говорили об этом.

М. заявил, что это неправда, что тогда в "Ambiente" он сказал мне в сущности все.

Его *четные* уик-энды (заметьте: те, что он проводил со мной, были *нечетными*) создавали чуть таинственный, неведомый мир, вход в который для меня был закрыт. Со второй половины пятницы вплоть до воскресного вечера М. исчезал с моего горизонта. *Пока еще* он не хотел звонить мне в присутствии дочери, а если же, в порядке исключения, сообщал мне, когда и куда они предполагают пойти, то делал это лишь для того, чтобы мы случайно, не приведи Бог, в указанном ресторане или кино не встретились.

Звонил он мне только в воскресенье под вечер, только после того, как сажал дочь в метро. То, как прошли выходные, я обычно распознавала по его тону в телефонной трубке (сам же он никогда не говорил мне об этом).

– Я хотел бы сегодня вечером пригласить какую-нибудь интеллигентную взрослую женщину на ужин. Но у меня три условия: она ни в коем случае не должна качаться на стуле, играть с кетчупом или с солонкой и уж тем более во время ужина не должна жевать жвачку "Губа-буба".

Вы угадали: выходные прошли удачно.

Но случалось, М. приходил совершенно убитый.

– Плохо было? – спрашивала я его осторожно.

– Хуже некуда.

– Серьезно? Мне, право, жаль. Хочешь поговорить об этом?

– Нет, прошу тебя, не надо. Иначе я снова рассержусь.

Я подчиняюсь его просьбе и начинаю рассказывать смешную историю из интимной жизни одного нашего оператора.

М. явно меня не слушает.

– Любовь моя, – говорю я с терпеливой улыбкой. – Ты меня вообще слушаешь?

– Извини. Все время думаю об одном и том же.

– Понимаю.

– Нет, боюсь, что, при всем желании, понять этого ты не можешь.

Ну конечно, не понимаю. Я бездетная и понять этого не могу. Могу только смиренно ждать, когда М. мне все объяснит.

– Кое-чем поделюсь с тобой, – говорит он. – Когда хочет, она может быть просто чудо! Остроумная, милая, внимательная... Но с равным успехом может вести себя как жестокая и наглая эгоистка.

Иногда о его дочери я думаю то же самое (каждый ребенок временами ведет себя как бесчувственный выродок – будто я по себе не знаю...), однако с таким его резким суждением согласиться не осмеливаюсь. Это была бы грубая ошибка.

Я робко что-то возражаю в пользу Крохи, но М. обрывает меня.

– Я не видел ее уже более двух недель и в ближайшие выходные тоже не увижу, потому, естественно, хотел с ней встретиться хотя бы раз на этой неделе, – тщательно и весомо произнося слова, он повторяет все то, что, разумеется, мне уже известно.

А хотите знать, почему он так тщательно все произносит?

Да потому, что скорее всего надеется, что его услышит, кто-то (желательно на небесах) и признает его правоту.

— В понедельник, естественно, встретиться она не могла — должна была готовиться к письменной по химии. Во вторник у нее была аэробика, а в среду после этой вторничной аэробики она была *жутко измотана.* Четверг вроде бы единственный день на неделе, когда она может погулять с Моникой. Итак, оставался только один день — сегодняшний.

Сейчас я не только могу согласиться, но должна это сделать.

— Мы договорились встретиться в четыре в городе, но после обеда она позвонила мне домой и сказала, что к четырем явно не успеет — ей нужно *отдать одному мальчику из класса струны для гитары.* Без комментариев. Я сосчитал до десяти и передвинул нашу встречу на полчаса. Она приехала на восемнадцать минут позже и, извинившись, сказала, что *у нее есть для меня самое большее минут сорок,* потому что к шести, от силы к шести с четвертью ей позарез нужно быть дома — она едет с мамой *на Слапы жарить на костре сардельки.*

— Да что ты!

— Вот именно. *Жарить сардельки!* Я про себя сосчитал до двадцати, а потом с улыбкой до ушей предложил ей, не теряя времени, сесть где-нибудь в ближайшем кафе и после того, как мы три недели не виделись, немного поговорить...

М. молча наблюдает за моей реакцией. Я чувствую, что опять должна кивнуть, и я киваю.

— И знаешь, что она мне ответила? Что ненадолго на чашку кофе она пойдет со мной, но *еще до этого* нам придется поискать запасные колесики для роликов...

Я целую его в щеку и сочувственно глажу по руке.

— Мы видимся все меньше, разговариваем все меньше, и, естественно, дальше будет еще хуже, — говорит М. — Если она вот так плюет на меня в тринадцать, что же будет в шестнадцать? Если я действительно стремлюсь к невозможному, зачем тогда *вообще* стремлюсь? Почему не оборву все?

— Потому что ты ее любишь, — говорю я.

11.

— Позвольте спросить вас: как вообще ваша дочь переносит это? — говорит наш фатер этому разведенному кадру. — Я имею в виду вашу взаимную разлуку?

Мы как раз откушали. Обед протекал в поразительно спокойной обстановке, так что пока я единственный, кто залез под стол, но к этому давно все привыкли. Мать сервирует кофеек с такой осторожностью, что я едва-едва слышу: с одной стороны, она старается не разбить праздничный сервиз, с другой — не сглазить это небывалое совпадение взглядов. Я всем нутром чую, как она силой принуждает себя не идеализировать ситуацию, а принимать ее трезво, без всяких нереалистичных, преувеличенных ожиданий.

— И знаете ли, что самое удивительное? — говорит фатеру ухажер. — Мы обычно спрашиваем, как это переносит *она.* Почти автоматически все предполагают, что в таких случаях ребенок страдает несравнимо больше взрослого.

Слышу, как он отхлебывает кофе и ставит чашку обратно на стол.

— Но когда вы такого якобы страдающего ребенка попросите поскорее позвонить вам, то он об этом — очевидно, по причине своего страдания — всякий раз забывает. Вы ждете, ждете, но телефон молчит. В конце концов вы не выдерживаете и звоните сами, ибо после двух-трех дней напрасного ожидания именно вы умираете от тоски и печали, а измученный родительским разводом ребенок как ни в чем не бывало говорит вам: "Привет, папуля, послушай, я могу тебе звякнуть примерно через час? Sorry, но по телику как раз начинается "Беверли-хиллс"...

Фатер заразительно смеется.

— Это мне явно кое-что напоминает...

Готов поклясться своими башмаками, что при этом он кидает выразительный взгляд на сестрицу.

— Запомните правило номер один: прежде чем позвонить ей, посмотрите телевизионную программу, — поучает папахен.

Он, факт, лыбится — по голосу слышу.

— А тепе́рь скажите: как эту разлуку переносите вы?

— Сейчас уже лучше. Временами бывает довольно трудно, но иной раз, напротив, очень хорошо. Даже *опасно* хорошо. Надеюсь, вы понимаете меня.

— Да, понимаю, что вы имеете в виду.

Минутная тишина.

— Но с чем действительно я не могу смириться, так это с тем, что вижу ее так мало. Так отчаянно мало.

— Раз в неделю во второй половине дня и каждый второй уик-энд, — говорит фатер со знанием дела.

— Именно так.

— С Ренатой у меня было точно так же — правда, Рената?

— Да, папенька, — говорит сестрица голосом Адины Мандловой. — Вы совершенно правы, папенька.

— Кое-чем поделюсь с вами, — говорит этот отвергнутый отец с пылом. — Да, я вижу свою дочь крайне мало, но верю, что, невзирая на это или скорее даже поэтому, я парадоксально в большей мере отец, чем неразведенные отцы, которые могут видеть своих дочерей, когда им заблагорассудится.

Похоже на то, что наш фатер серьезно призадумывается над такой премудростью.

— Вы так считаете?

— Да. И по двум причинам. Первая: ты ценишь эти неожиданно подаренные редкие часы, которые можешь провести с ней, и проживаешь их, стало быть, гораздо интенсивнее и как бы *осознаннее.* И вторая: в течение тех дней, которые вынужден прожить без нее, тоска активизирует поразительное множество воспоминаний о том времени, когда вы жили вместе. Ты можешь вдруг вспомнить, как впервые купал свою дочь в белой пластиковой ванночке в ромашковом отваре и едва дышал, боясь, как бы это мокрое маленькое тельце не выскользнуло из рук. Или как несколькими годами позже в песочнице она с этаким шаловливым прерывистым смехом сыпала песок тебе в волосы...

Он вдруг замолкает.

Эта тишина наверху за столом длится вроде так же долго, как и в тот раз, когда сестрицын фотограф начал сервировать к кофейку ее кошечку.

Я зашкаливаю и высовываюсь из-под стола: этот разведенный крендель многократно прокашливается, а наш папахен без передыху кивает головой, точно какой придурок.

— Похоже, вы двое долго искали друг друга, покуда нашли, — обалдело говорит сестрица.

Ее меланхоличный любарь раз-другой пробует улыбнуться, но хрен у него получается.

— Погляди на них, — говорит сестрица матери.

Вид у нее такой, будто ее обсморкали, но мы-то знаем, что реально она счастлива.

— Я хотел только сказать, что и разлука с ребенком неожиданно может обернуться своей хорошей стороной, потому что в тебе оживают воспоминания, которые, возможно, не будь этой разлуки, были бы навсегда похоронены, — объясняет этот ее boy-friend.

Фатер наклоняется к нему так резко, что под столом въезжает в меня коленями.

— *Видеокамера*! — гудит он победоносно. — Только она сохраняет для вас все воспоминания! Если вам интересно, я могу вам показать несколько довольно забавных...

— Нет!!! — вопим мы с сестрицей и матерью почти в один голос.

В конце концов дело ограничивается коробками с фото, что в отличие от нас фатер считает вполне приемлемым компромиссом. Они смотрят их едва ли не час. В конце концов хахаль вытаскивает портмоне и демонстрирует матери и отцу несколько фоток своей дочери.

— Красивая, — мгновенно реагирует мать. — Даже слишком красивая.

И тут же с ходу устанавливает сходство — дело известное!

Я заглядываю ей через плечо. Ну факт, я и не ждал другого: хоть и не уродка, но абсолютно нормальная тинейджерша, каких тринадцать на дюжину встретите с утречка перед любой девятилеткой.

Мать передает фотки сестрице, которая тотчас не глядя сует их фатеру.

— Я их уже видела, — говорит она. — Он показывает их каждому встречному: почтальонше, таксисту... и даже совсем незнакомым людям, которые подсядут к нему в кабаке...

— *Одному* таксисту, — оправдывается гордый отец. — Он вез меня в аэропорт. Я в тот день улетал на два месяца в Америку и был в несколько сентиментальном настроении...

— Ой, накажи меня Бог, — говорит наш фатер, глядя на фото, — думаю, вас ждут нелегкие времена.

— И билетершам в кино! — добавляет сестрица.

— *Одной* билетерше!

Хахаль прячет фотки назад в портмоне.

— Так что же? — неутомимо поддерживает разговор фатер. — Вы собираетесь с ней куда-нибудь в отпуск?

— Да. То ли на Крит, то ли в Истрию. Выбор за ней.

— Нормально, — говорит фатер, усмешливо взглядывая на сестрицу. — По крайней мере, не будете отвечать за то, что там нет мороженого "стракателлы", а на пляже — тобоггана.

— И что на дискотеке нет *лазеров*, — добавляет мать.

— Ну, это вы сочиняете! — протестует сестрица. — Такой избалованной я не была.

Мать улыбается фатеру, как в былые времена.

Но фатер тут же типа серьезнеет.

— Вы едете втроем? — спрашивает он.

— Ни в коем случае, папочка, — говорит сестрица. — Время, когда я буду представлена его дочери, еще не наступило.

— Правильно, — говорит фатер. — Такие вещи с бухты-барахты не делаются. Рената все может понять, а ребенок — нет.

— Мне тоже вроде так кажется, — говорит сестрица матери, а сама зубы скалит.

— Но позвольте дать вам совет: только не в Болгарию, — продолжает фатер. — Естественно, если не хотите, чтобы пьяные немцы бросали в вашу дочь пивные бутылки.

— Пустые банки, — уточняю я.

— Потрогай, — говорит сестрица и подносит руку хахаля к соответствующему месту на голове.

— В Истрии, натурально, тоже красиво, — продолжает фатер. — Взять хотя бы эти старинные узкие улочки в Поречье, эти мелкие лавчонки...

— И галерея! — восклицает мутер.

— И галерея. Несомненно ей бы понравилось. Но есть одна существенная проблема.

Он делает обычную драматическую паузу, и мы все как идиоты послушно ждем, когда же его благородие фатер соизволит осветить нам эту проблему.

— *Тобогган.* Там должен быть тобогган. Если не будет тобоггана, тринадцатилетняя девочка там заскучает. Взвесьте все.

— В этом что-то есть, — послушно все взвешивает этот меланхолик.

12.

Два дня стоит такая жара, что послеполуденную сиесту мы предпочитаем проводить в наших комнатах с кондиционерами. Естественно, Кроха, Синди и я — в одной, отец, братец и М. — в другой. Посещения, конечно, не возбраняются. Наш отдых явно напоминает школьный лагерь: мальчики навещают нас в нашей комнате, и мы, девчонки, играем с ними в разные настольные игры. Вчера, например, мы играли в "монополию": текст был на чешском, и для Синди это оказалось несколько затруднительным (попробуйте-ка перевести словосочетание *поле с заселенной недвижимостью* и вы поймете почему).

Сегодня мы все читаем: я — роман "Обряд" индейской писательницы Лесли Мармон Силк; не сказала бы, что он потрясает меня, но иногда натыкаешься там на занятные вещи: "*Я сочинил историю, которая должна была придать всем силы.*"

В последние две-три недели перед нашим отпуском мама стала приглашать на воскресные обеды не только отца и братца, но и М.

— Ну как дела с дочкой? — всякий раз таким вопросом встречает его мой отец.

— И не спрашивай, Карел. Мы вдребезги рассорились.

— Она что, не пришла на свидание?

— Нет, пришла, — говорит М. насупившись. — Пришла... Но, знаешь, что у нее было на губах? *Синяя помада.*

Я прыскаю со смеху. Отец серьезно качает головой.

— Синяя, Карел! Ты только представь себе! Она была похожа на труп. В буквальном смысле. Люди оглядывались на нас. Нет, знаешь, на кого она была похожа? Скажу тебе: на *потаскушку.*

Отец с пониманием качает головой.

— К сожалению, я так ей и сказал, — признается М.

Отец горестно цокает.

— Ошибка, — замечает он. — Колоссальная ошибка.

— Знаю, но пойми: не удержался.

— А она что? В слезы? Рассердилась?

— Сперва рассердилась. Демонстративно вытерла рот белоснежным чистым платком. Тут-то я и заметил, что у нее совершенно *черный* лак на ногтях. А на среднем пальце какая-то *татуировка.*

— О Господи!

— Татуировка, Карел! — восклицает М. — Понимаешь? Ей тринадцать — и татуировка! Никогда, понимаешь, никогда не смогу смириться...

Отец опять молча кивает.

— Потом, правда, выяснилось, что это всего лишь переводная картинка, но я уже успел повысить на нее голос.

Опять молчаливые кивки...

— Сказать по правде, я стал орать на нее.

— Она, конечно, разревелась?

— Конечно, разревелась.

— Вырвалась от тебя и уехала домой?

— Вырвалась от меня и уехала домой.

История повторяется.

— Как ты думаешь, Карел, что мне делать?

Отец думает.

— Позвони ей и скажи, что ты сожалеешь. Извинись.

— Это нужно?

— Сделайте так, — вступает в их разговор мама. — Мы иногда думаем, что наши дети замечательные и что только под чьим-то дурным влиянием вызывающе одеваются, красятся или слушают дурацкую оглушительную музыку. Все это не так. Все это неотделимо от них — это *их* одежда, *их* макияж, *их* музыка. Это они какие есть.

— Железно, — усмехается братец. — Это мы какие есть. Это наше скурвленное поколение.

— Сегодня не Рождество, — напоминает отец автоматически.

— И когда мы их упрекаем, что они надели на себя нечто, на наш взгляд, несносное, или что их любимый хит совершенно дурацкий, они понимают это обычно так, что тем самым они тоже глупы и несносны.

М. внимательно слушает мою мать.

— Позвони ей и скажи все, — советует мой отец.

М. идет к телефону и с отчаянным видом набирает номер.

— Это я, Кроха. — Голос у него совершенно другой — со мной он разговаривает иначе. — Послушай, я очень сожалею, что так получилось.

— Я имел в виду совсем не то, — шепотом подсказывает ему мой отец.

— Я имел в виду совсем не то, — говорит М.

Кроха что-то отвечает.

По выражению лица М. ясно, что его извинения благосклонно приняты.

Минутой позже он уже непринужденно беседует — я даже узнаю его голос.

Мой отец удовлетворенно кивает.

— Ты уже пообедала? Что же ты ела? *Вареную брокколи?* Без ничего? И это ты называешь обедом?!

Отец вскакивает и закрывает ладонью трубку.

— Пищу не критиковать! — настойчиво шепчет он.

— Я пошутил, — быстро говорит М. — Брокколи — это нормально.

Он еще с минуту-другую говорит, потом начинает прощаться:

— Ну будь здорова, любонька. Посылаю воздушный поцелуй.

Он чмокает губами в воздухе и вешает трубку.

— Я клятвенно обещаю, что детей у меня никогда не будет, — кисло говорит братец.

Вспоминаю. Пишу. Читаю.

Вдруг меня начинает мучить жажда, но в холодильнике пусто, хотя только сегодня утром я купила три литровые бутылки минеральной воды! Меня охватывает какое-то глубокое раздражение, усталость от всего этого отпуска.

Пытаюсь подавить свое раздражение.

А что еще нам остается?

— Пойду куплю прохладительного, — восклицаю как можно веселее. — Говорите, кому что!

Памяти Е. Г. Эткинда (1918–1999)

Михаил Яснов

"Парижские письма" Ефима Эткинда

В 1908 году Максимилиан Волошин, рецензируя только что вышедшую книгу переводов Федора Сологуба из Верлена, вспомнил слова Теофиля Готье: "Всё умирает вместе с человеком, но больше всего умирает его голос... Ничто не может дать представления о нем тем, кто забыл его". Волошин опровергает Готье: есть область искусства, пишет он, которая сохраняет "наиболее интимные, наиболее драгоценные оттенки голосов тех людей, которых уже нет. Это ритмическая речь — стих".

Ефим Григорьевич Эткинд не писал стихов (за исключением разве что блестящих экспромтов, шуточных посланий, стихов на случай), но стихи были главным делом его жизни. Более полувека он изучал русские, французские, немецкие стихи (последние к тому же много и плодотворно переводил), исследовал их как текст поэзии и текст культуры, часто работая на узком пространстве между серьезной наукой и популяризацией, где как раз и важны собственный голос, собственная интонация. Многочисленные ученики, друзья, последователи Эткинда вспоминают именно это — его неповторимый голос, его поразительное умение читать стихи и держать паузу.

В его жизни таких пауз не было. Даже на сломе судьбы, в 1974 году, когда пятидесятишестилетний профессор Герценовского института, в одночасье лишенный всех званий и степеней, был вынужден эмигрировать на Запад, последовавшая затем многолетняя разлука с родиной и родной культурой обернулась феноменальной по энергии и завоеваниям деятельностью — научной, организаторской, публицистической. Полтора десятилетия имя Эткинда было запрещено в Советском Союзе, книги его были изъяты из библиотек и по большей части уничтожены. Незадолго до внезапной кончины Е. Г. Эткинд обратился с открытым письмом к тем, кто был повинен в этом варварстве, со справедливым требованием оплатить переиздание его уничтоженных книг, многие из которых долгие годы были уникальными учебными пособиями для филологов — и остались таковыми по сей день.

Ответа, конечно, не последовало, но, к счастью, Ефим Григорьевич был заряжен великим оптимизмом, который позволял ему во все трудные времена находить собственные пути для творчества — и его сохранения, — адекватные высоким и благородным целям. Во второй половине семидесятых имя его все чаще появляется в эмигрантской периодике, а в восьмидесятые годы начинает звучать его голос — в передачах Би-би-си, посвященных русской и европейской культурам.

Это был взгляд из Европы — на саму Европу, прежде всего на Францию, и на Россию. В круг зрения попадали злободневные события из общественной и культурной жизни, премьеры фильмов и выставки, выход новых книг и присуждение литературных премий, юбилеи и прощания с друзьями. Собственно, это был разговор, который Ефим Григорьевич вел изо дня в день в своей прежней жизни, —

© М. Яснов, 2000

только там этот разговор был скорее камерным, как повелось в советском быту, — "на кухне"; теперь он стал достоянием широкой аудитории и не раз приобретал острое политическое звучание. И все же это был разговор прежде всего литературный и о литературе — как те три эссе из написанных для русской службы Би-би-си, которые мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

Почти все годы вынужденной эмиграции Эткинд неоднократно возвращался к мучительному для него вопросу, который сформулировал в "Записках незаговорщика": "Понимает ли читатель на Западе степень моей связанности с той жизнью, мою от нее неотделимость? Мою вплетенность в эту ткань, где я был всего одной только ниткой, но ведь и частью ткани?.." Ответом и себе, и окружающим на этот вопрос была в полном смысле слова подвижническая деятельность Эткинда по исследованию, переводу, пропаганде русской классической и современной литературы на Западе.

В канун Рождества 1982 года по Би-би-си прозвучала очередная передача с очередным "парижским письмом" Ефима Григорьевича. Может быть, имеет смысл вспомнить начало этого текста, озаглавленного "Русский Париж", поскольку в нем возникает один из главных сюжетов жизни и научной работы Е. Г. Эткинда — Пушкин.

"Конец года ознаменовался вспыхнувшим интересом к русской культуре – чуть ли не два последних месяца прошли под знаком России: спектакли, университетские заседания, Неделя русского языка и литературы в середине декабря и даже – даже литературные премии. За восемь лет жизни во Франции мне не приходилось видеть такой концентрации русских тем и героев...

16 декабря во Французской академии состоялась ежегодная публичная сессия с оглашением имен лауреатов. Большую премию романа получил Владимир Волков за роман "Монтаж" — это премия в высшей степени почетная; кстати сказать, недавно она была присуждена другому автору русского происхождения, поэту Алену Боске за автобиографический роман "Русская мать". Рискуя прослыть нескромным, сообщу, что и я был под знаменитым академическим куполом на набережной Конти не в качестве наблюдателя или гостя, а тоже как лауреат 1982 года; Французская академия присудила свою переводческую премию, носящую имя Ланглуа, руководимой мною группе поэтов-переводчиков, участвовавших в создании первого во Франции собрания произведений Пушкина... Переводчики Пушкина работали совместно более пяти лет, и в конце концов нам удалось сделать то, что французы за полтора столетия не удосужились: выпустить в свет стихотворения, поэмы (в том числе "Евгения Онегина"), сохранив во французском переводе ритмическую и строфическую структуру оригинала и даже рифмы, которые современные переводчики, как правило, игнорируют. Пресса широко обсуждала это издание, статьи в большинстве журналов и газет были весьма благожелательны, и вот увенчалось все это обсуждение премией Ланглуа. Поскольку на сей раз речь идет о "русском Париже", то я не скрою от наших слушателей, что мы отпраздновали нашу пушкинскую премию в старейшем русском ресторане "Доминик" на rue Bréa (поблизости от rue Campagne première, где в гостинице "Истрия" имел обыкновение жить Маяковский). Хозяин ресторана, покинувший Петроград в двадцатых годах — Лев Адольфович Аронсон, он же месье Доминик, — приходил к нам чокаться тем самым шампанским вином, которое так ценил Пушкин – "Вдова Клико"; многое с тех пор утекло, исчезло или преобразовалось, а "Вдова Клико" та же. Да и Французская академия не изменилась — впрочем, она та же, какая была еще в XVII веке, когда ее основал кардинал Ришелье".

Итогом эткиндовской пушкинианы стали два тома, вышедшие незадолго до его кончины, — свод научных исследований "Божественный глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции" и юбилейное издание, приуроченное к 200-

летию А. С. Пушкина, "Избранная поэзия в переводах на французский язык". В этой последней книге, изданной уже в России, снова, как почти два десятилетия назад, собрались под одной обложкой замечательные французские переводчики, объединенные в свое время Эткиндом, — Андре Маркович и Клод Эрну, Жан-Луи Бакес и Владимир Берелович, Вардан Чимишкян и Жан-Люк Моро... Об этой книге — отдельный разговор. В одном из давних писем из Парижа Ефим Григорьевич обронил: "Здесь постарались всё забыть; помнят — хотят всё помнить — у нас..." Ныне в эту фразу можно внести определенную коррекцию: и там далеко не все и не всё забыли, и здесь далеко не все и не всё хотят помнить. Жизнь и литературная судьба Ефима Эткинда была в определенном смысле реализацией идеи памяти, хранящей высокие помыслы и откровения от Пушкина до наших дней.

Ефим Эткинд

Три эссе

Два русских француза

ЭТОЙ весной два француза русского происхождения взволновали парижскую критику: романистка Натали Саррот и философ-музыковед Владимир Янкелевич. Им обоим свыше восьмидесяти, они принадлежат к тому поколению, которое помнит дореволюционную Россию; оба сохранили русский язык — и не только смутные воспоминания о нем; оба играют значительную роль в культуре сегодняшней Франции. Натали Саррот с середины пятидесятых годов стала одним из наиболее влиятельных французских стилистов; Владимир Янкелевич еще в довоенные годы завоевал репутацию любимого профессора Сорбонны; ныне он хотя и не преподает уже (по возрасту), но по-прежнему влиятелен в кругах молодежи: философов и музыкантов.

В мае появилась новая книга Н. Саррот, "Детство", — она удивила своей новизной даже давних поклонников ее таланта. Натали Саррот здесь впервые позволила себе открытую субъективность повествования — она не таясь говорит от собственного имени. До сих пор этого не бывало — Саррот стремилась к наиболее полной отрешенности от себя, к психологической отстраненности и к наивозможной, почти исследовательской точности. Так были построены ее романы — "Портрет неизвестного" (1948, 1957), "Мартеро" (1953), "Планетарий" (1959), "Золотые плоды" (1963), "Вы слышите их?" (1972), "Говорят глупцы" (1976). В книге "Детство" (1983) старая писательница со свойственной ей ошеломляющей естественностью речи и точностью слова возрождает эпизод своего далекого русско-французского прошлого, какие-то всплывающие в памяти картины и фигуры, которые, при всей случайности, послужили формированию того человека, что в будущем напишет "Золотые плоды". Наталия, Наташа, Ташек — как маленькую девочку называл отец — та же ли это самая, которая в свои восемьдесят три года считает, что прожила несколько жизней? По ее признанию, в мемуарной книге она хотела рассказать о том, как "рождается страдание, сопровождающее богохульство". Это богохульство — оно возникло внезапно в сознании ребенка, до сих пор истово привязанного к жизненным ценностям и вдруг взбунтовавшего-

© Е. Г. Эткинд (наследники), 2000

ся: увидев однажды в парикмахерской витрине завитую куклу, девочка принялась сравнивать ее со своей матерью и открывать ее, своей матери, несовершенства. Мать отличалась безграничной самовлюбленностью, считала себя существом вне сопоставлений с другими и близким к совершенству; именно мать была причиной и виной гибели семьи; дочь разглядела в ней отчужденность, равнодушие, холодный эгоизм. Впоследствии, во Франции, она так и не читала никогда сочинений своей дочери и только перечитывала — с энтузиазмом — собственные, по-русски для детей написанные, книги.

Критики, подробно разбиравшие последнюю книгу Н. Саррот, отмечали удивительную красоту ее слога: французский с двух лет стал для нее родным языком, обогащенным, однако, вторым, русским, который оттеняет, углубляет, остраняет французский. Впрочем, для Натали Саррот никакой язык не может быть полным выражением ее намерений, а тем более ее внутреннего мира; отмечая это свойство Саррот, ее биограф, критик и близкая подруга Вивиан Форестье сравнивает ее с Гёльдерлином, Кафкой, Фрейдом — каждый из этих трех ее предшественников не довольствовался языком как средством выражения: вещи порою говорят сами, без участия слов, и уметь заставить их говорить — в этом искусство писателя. Вивиан Форестье задает вопрос, который мы выше уже сформулировали: "Как рождается страдание богохульства?" И отвечает: "На протяжении всего своего творчества Натали Саррот, боец без претензии на боевые заслуги, без предвзятых идей, без изначальной партийности, развенчивает в самом зародыше все возможные тоталитаризмы..." Это справедливо: в прозе Саррот содержится освободительная энергия, которая, хоть она и не окрашена в какой-либо политический цвет, не может не пугать или, уж во всяком случае, не раздражать власть имущих, привыкших к беспрекословному повиновению. Вот важнейшая причина, по которой советские издательства не спешат публиковать ее сочинения: слишком вольно, ни на что не похоже, дьявольски умно и, наверное, таит в себе скрытые подрывные начала.

Однако не только советский режим не поощрял Н. Саррот — французский "истеблишмент" тоже долго от нее сторонился, а также от всего течения "нового романа", которое в середине пятидесятых годов возникло при участии Алена Роб-Грийе, Клода Симона, Робера Пенже, Клода Мориака, Натали Саррот. Теперь, по мнению Роб-Грийе, Натали Саррот пробила лед — ее приняли в хорошем обществе, а других еще держат в про́клятых. Роб-Грийе пишет: "Разделяй, чтобы властвовать, — таково золотое правило критики, скрывающей свои реакционные пристрастия под маской импрессионизма и свободы... Неужели теперь весь ужасающий "новый роман" сводится к одному жуткому Роб-Грийе, гангстеру и инквизитору?" — И Роб-Грийе продолжает: — "Неужели вы в самом деле полагаете, — вы, уцелевшие после ГУЛАГа, что после четверти века литературного террора, колючей проволоки и часовых на вышках я один мешаю вам спать?" Роб-Грийе настаивает на том, что "новый роман" по-прежнему жив, и не как особая литературная техника, а как изображение современного человека, мир которого, составленный из бесчисленных обрывков и фрагментов, лишь намекающих на прежнюю целостность, требует новой литературы. Натали Саррот — мастер этой новой литературы. Критики и литературоведы единодушны в утверждении, что Натали Саррот достойна тех же почестей, каковые получила Маргерит Юрсенар: избрание во Французскую академию, издание в серии "Плеяда".

О Владимире Янкелевиче тоже нередко вспоминают как о возможном кандидате в Академию; прославленный философ снова стал музыковедом — новым изданием вышла его книга "Музыка и невыразимое" (1961) и впервые — ее второй том "Далекое присутствие", о трех малоизвестных композиторах Альбенисе, Севераке и Момпу́. Янкелевича научила играть на рояле одна из его теток, русская эмигрантка, она же внушила ему лю-

бовь и интерес к русской музыке, которой В. Янкелевич посвятил ряд исследований. На вопрос журналистов, ценит ли В. Янкелевич новейшую музыку, он отвечает, что в ней преобладают шумы, и далее: "Современный человек боится молчания, боится пустоты. Вот почему он запускает музыку в лифтах, в залах ожидания, в магазинах... Мы заполнены лжемузыкой, лжеконцертами. Человечество охвачено каким-то неврозом, каким-то коллективным помешательством, и оно взыскует шума. Это все очень серьезно".

Журналист [журнал "Магазин литтерер"] спрашивает В. Янкелевича: "Последняя глава вашей книги "Музыка и невыразимое" называется "Музыка и молчание". Как это понимать?"

Ответ: "Музыка нуждается в молчании. Родившаяся из тишины, она возвращается в тишину. Дух музыки творит не шум, а некое пианиссимо: послушайте Дебюсси, он обращается ко всему, что в вас есть тайного, ночного... В пианиссимо – вся сила музыки, как и поэзии. Чем она проще, тем таинственней. Чем она противоречивей, тем в большей степени она несет мечтания и эмоции. Музыка, которая сама производит столько шума, – это молчание всех иных звуков, она свергает удручающее господство дидактической речи. Еще Бэкон говорил: "Тишина – это сон, питающий мудрость".

Натали Саррот, Владимир Янкелевич: таковы два пришельца из России, которые обогащают культуру современной Франции. К чести французов надо заметить, что им безразлично и то, что они оба – не французского происхождения, и то, что они родом из России, и то, что они не только русские, но еще и евреи. Скоро ли мы доживем до такой высокой демократической культуры?

Две смерти Ромена Гари

В современной французской литературе немало видных авторов – выходцев из России. К ним относятся Натали Саррот, Эльза Триоле, Владимир Познер, Владимир Волков, Ален Боске (недавно прославившийся автобиографическим романом "Русская мать"), Ромен Гари и Эмиль Ажар. Вот о двух последних и пойдет речь.

Ромен Гари ошеломил читающую Францию полгода назад своим неожиданным самоубийством: 2 декабря он выстрелил себе в горло. Объяснения до сих пор не нашли: шестидесятишестилетний Ромен Гари был в расцвете физических и творческих сил и в зените славы. Начиная с 1945 года, в особенности после 1960-го он почти ежегодно публиковал по роману, начиная с книги, появившейся в первый послевоенный год, "Европейское воспитание"[1], до последней, вышедшей тридцать пять лет спустя, – "Летающие змеи"[2]. В 1956 году он получил высшую литературную награду Франции – Гонкуровскую премию – за роман "Корни неба", потом с успехом прошло несколько его фильмов, в которых играла молодая жена писателя американская киноактриса Джин Сиберг; особенно прославился фильм 1968 года "Птицы умирают в Перу". Литературная судьба Ромена Гари сложилась как нельзя лучше: этот русско-литовский еврей, Роман Кацев, родившийся в 1914 году в Вильно, приехал в двадцатых годах в Ниццу вместе с матерью, актрисой французского театра в Москве, учился во французских лицеях и университетах, получил диплом юриста в Сорбонне и филолога-слависта в Варшавском университете. В конце тридцатых, когда началась война, Ромен Гари стал летчиком-истребителем и после капитуляции присоединился к генералу де Голлю, с которым сблизился и даже подружился. "Де Голль, – говорил он впоследствии, в книге 1974 года "Ночь будет тихой", – де Голль для меня это человек [...] который вопреки своей одинокой слабости говорил *нет* величайшим державам мира, *нет* – уничтожению, *нет* – капитуляции самого человека; отказ от капитуляции – это,

1. Здесь и далее названия произведений Р. Гари даются в переводе Е. Эткинда.
2. В "ИЛ" роман опубликован под названием "Воздушные змеи" (1994, № 1, 2).

пожалуй, единственная форма человеческого достоинства, на которую мы можем претендовать".

Юрист. Писатель. Летчик, герой Сопротивления. Кинематографист. Это еще далеко не все грани его личности. Шесть из двадцати романов написаны этим русским евреем по-английски и затем им же самим переведены на французский. Он, подобно поэту Сен-Жон Персу, был дипломатом: сотрудником французских посольств в Софии, в Берне (1949), в Лондоне (1955), генеральным консулом Франции в Лос-Анджелесе (1956—1960), где четыре года близко наблюдал Голливуд, нравы и функционирование американской кинопромышленности. Ромен Гари был удивительно талантлив, и это проявлялось во всем, за что он брался: лингвистика, романы, сценарии, авиация, дипломатия. Как писатель он затронул важнейшие проблемы времени. "Все мои книги насыщены нашим веком до бешенства", — говаривал он. Мы найдем в них и польское сопротивление фашизму ("Европейское воспитание"), и гибель природной среды ("Корни неба"), и концентрационные лагеря ("Брат Океан"), и американский расизм ("Белая собака"), и многое другое. Некоторые черты сближают Гари с Хемингуэем: страсть к путешествиям и открыванию новых миров, культ мужественности и мужества, страстная заинтересованность в судьбе доверенной людям и уничтожаемой ими природы, солдатская самоотверженность и вера в честь как высшую доблесть человека. Своему другу, известному критику Франсуа Бонди, он как-то сказал: "По-русски *гори́* — это повелительное наклонение глагола *гореть*; от этого приказа я никогда не уклонялся ни в творчестве, ни в жизни". И вот 2 декабря 1980 года он услышал этот приказ — услышал на своем родном языке это повелительное наклонение — и сгорел: прострелил себе горло. Почему? Может быть, это связано с тем, что за год до того любимая женщина, актриса Джин Сиберг, покончила с собой в день выхода на экран фильма Гари и Коста-Гавраса "Clair de femme" ("Свет женщины"). Все это покрыто тайной, и, вероятно, критик газеты "Монд" Жаклин Пиатье была права, когда в декабре писала: "Эти сильные натуры, живущие перенасыщенной жизнью и необузданными требованиями, нередко таят в себе тревогу, глубокие трещины, трагическое сомнение в смысле бытия, и вдруг неожиданно для всех они должны рухнуть. Тогда их исчезновение создает ничем не восполнимую пустоту".

Такова одна из ярких писательских судеб русских эмигрантов во Франции. Теперь расскажем о другой. Речь пойдет об Эмиле Ажаре, молодом авторе, прогремевшем осенью 1974 года, когда появился его роман "Gros Câlin"("Толстяк")[1] — философско-художественное сочинение о человеке, который, чтобы уйти от гнетущего одиночества, живет в обществе питона. Имени Ажара никто не слышал до того; говорили, что рукопись пришла в издательство "Галлимар" из Бразилии почтой. Год спустя, в 1975-м, другой роман Эмиля Ажара, "Жизнь впереди"[2], был награжден Гонкуровской премией; речь идет об арабчонке Момо́, которого воспитала недавняя проститутка, Madame Rosa, французская еврейка, — в кино ее роль с блеском исполнила Симона Синьоре. Эмиль Ажар от премии отказался, и при этих обстоятельствах выяснилось, что Ажар — псевдоним, за которым скрывался некий Поль (Павел) Павло́вич, двоюродный племянник Ромена Гари. Его биография похожа на дядину: литовский еврей, очень молодым эмигрировал во Францию с матерью, которая была ювелиршей в Ницце, разорилась и сошла с ума. Сам Эмиль Ажар, то есть Поль Павлович, не выдержав нервного потрясения, вызванного историей с Гонкуровской премией, попадает — по следам своей матери — в психиатрическую лечебницу в Дании и там пишет в 1976 году автобиографическую книгу "Псевдо", где в некоем Макуте читатели узна́ют Ромена Гари: племянник сво-

1. В "ИЛ" роман опубликован под названием "Голубчик" (1995, № 7).
2. Роман опубликован в Библиотеке "ИЛ", 1988.

дит счеты с нелюбимым дядюшкой, самовластным, вздорным, даже тираническим стариком. Критики пишут об Ажаре с растущим восхищением, и в конфликте "дядя – племянник" сочувствуют молодому, стилистически более изощренному и поражающему блеском воображения писателю – особенно в романе "Страхи царя Соломона"[1], появившемся в 1979 году. Поль Павлович, то есть Ажар, – автор бестселлеров; он богат и почитаем; издательство "Меркюр де Франс" приглашает его литературным директором (то есть главным редактором), и Павлович, оценивая рукописи уже молодых авторов, определяет издательскую политику. И вдруг...

Вдруг французы узнают, что дядя и племянник, Ромен Гари и Эмиль Ажар – одно и то же лицо. В какой-то момент Ромену Гари стала невтерпеж его уже сложившаяся литературная репутация, и он решил начать сначала, от нуля. Под псевдонимом "Ажар" он послал рукопись в издательство из Бразилии. Рукопись отстояла себя сама, и тогда же, в сентябре 1974 года, в газете "Монд" появилась статья Ж. Пиатье под заглавием "Замечательное открытие". И Эмиль Ажар стал существовать сам по себе, отдельно от Ромена Гари; когда же по случаю Гонкуровской премии ему пришлось материализоваться, Гари убедил своего племянника взять на себя эту роль. Так появился Поль Павлович, сотрудник и друг Гари, который согласился на псевдоним "Ажар". Французы только теперь заметили, что обе фамилии по-русски связаны образом *огня*: первая от "гореть", вторая от "жар". Могло ли им прийти в голову, что один и тот же человек, как бы он ни был яростно талантлив, за пять лет написал семь книг от самого себя и еще четыре от выдуманного автора, итого одиннадцать – не говоря о других формах деятельности.

Третьего июля в очередном (282-м!) выпуске телевизионного литературного журнала "Апостроф" появился Поль Павлович, теперь наконец написавший и собственную книгу под заглавием "L'homme que l'on croyait" ("Человек, которому верили"), – это история отношений племянника с дядей и, следовательно, история одной из удивительнейших литературных мистификаций. Поль Павлович смущенно отвечал на вопросы собеседников: Почему он согласился на ложную роль? Много ли денег принесли ему книги Ажара? Зачем он написал теперь книгу с разоблачением истины? В ходе беседы были высказаны интересные мысли об этом эпизоде. Друг Ромена Гари – Франсуа Бонди сообщил о том, с каким равнодушием французы читают известных авторов: одна из книг Гари вышла дважды под разными заглавиями, и читатели этого не заметили; Гари хотел разбить лед инерции и читательского безразличия. А Мишель Турнье, сам крупный прозаик, сказал: "Меня восхищает удача Гари. Он играл до конца. Думаю, что самоубийство с этой историей связано. А книги Эмиля Ажара превосходны: Ромен Гари превзошел самого себя. Конечно, это мошенничество; но ведь мошенничество – это свойство художественной литературы: писатель непременно сочиняет и персонажей, и самого себя". Еще один из участников беседы, профессор-психиатр Мантель, назвал Ромена Гари большим прозаиком, а Эмиля Ажара – великим писателем.

Критик журнала "Нувель обсерватёр" Ги Дюмор вторил ему: "Можно полагать, что Эмиля Ажара запомнят лучше, чем Ромена Гари".

Таков этот эпизод современной французской литературы, уходящий корнями в Россию. Как видим, к французским писателям русской культуры и русского происхождения прибавился еще один: Эмиль Ажар.

Возвращение Великого Астролога

Для культурной жизни Франции середина сентября – время особое, торжественное: школы возобновляют занятия, студенты сдают отложенные экзамены. На улицах и в магази-

1. Роман опубликован в "ИЛ" (1997, № 3).

нах толкается множество людей — толпа особенно поражает после августовского затишья, когда в отпуск одновременно отправляются почти все. Это время называется "la rentrée", буквально — возвращение, фигурально — возобновление занятий, работы. К этим дням фабриканты и торговцы готовятся долго: за кратчайший срок разойдутся миллионы тетрадей, авторучек, фломастеров, резинок. Но к этим же дням издатели приурочивают выпуск в свет книг — в пору *rentrée* могут быстро разойтись издания, которые в другое время залеживаются на полках: скучные, академические, дорогие. Издатели знают, что книги периода *rentrée*, сентябрьские, совсем не то же самое, что июльско-августовские, которые французы покупают для чтения на пляже: детективы, облегченные повести, романы ужасов, фантастика, пикантные псевдоисторические сочинения из серии "Дамы в истории Франции".

В нынешнем году произошло нечто почти фантастическое, удивившее издателей, книготорговцев, журналистов и, вероятно, самих читателей. Одна и та же книга оказалась безусловным бестселлером и на августовских пляжах, и в строгие дни сентября — в пору *rentrée*. Эта книга называется так: "Нострадамус, историк и пророк". Автор ее — дотоле неизвестный Жан-Шарль де Фонбрюн. К началу сентября было продано 230 тысяч экземпляров — издатель Кристиан Бургуа ожидает растущего интереса к этой книге, он намерен до конца года продать не менее полумиллиона. Даже для Советского Союза, привыкшего к астрономическим тиражам, 500 тысяч — это много; следует помнить, что наше население в пять раз превосходит французское. Значит, 500 тысяч французских книг равно двум с половиной миллионам советских.

Нострадамус — лицо историческое. Его настоящее имя Мишель де Нотрдам (Нотр-Дам — Богоматерь), был он врачом, в свое время, в XVI веке, прославившимся мужеством, — лечил чумных больных, не боясь заразиться; и врачом был, видно, неплохим, если судить, в частности, по тому, что Екатерина Медичи призвала его ко двору и назначила личным медиком Карла IX, на каковой должности Нострадамус пробыл, впрочем, всего два года, — в 1566 году он умер. Его имя дожило до нашего времени, преодолев четыре столетия, но не оттого, что Нострадамус хорошо лечил, а оттого, что он был астрологом, предсказывал будущее по звездам. Свои предсказания он облекал в стихотворную форму — в середине XVI века, в 1555 году, появились пророческие четверостишия, которые составили книгу под темным заглавием "Астрологические центурии", то есть века. Современники толковали как могли загадочные строки Нострадамуса и приходили в ужас от предстоящих катастроф. О достоверности пророчеств Нострадамуса можно судить хотя бы вот по какому эпизоду: его сын, тоже писавший астрологические сочинения, поджег город Ле-Пузен и спалил его — только для того, чтобы оправдать собственное предсказание, сулившее Ле-Пузену пожар.

Прошло четыре века. Нострадамуса не забыли — время от времени филологи и историки возвращались к его текстам, пытаясь их расшифровать. Все чаще они приходили к заключению, что "Астрологические центурии" не что иное, как ехидная шутка какого-то довольно способного стихотворца. Иначе говоря, пророческие стихи Нострадамуса относятся не столько к истории литературы, сколько к истории литературных мистификаций.

Нострадамуса вспоминали и как мага-предсказателя. В прошлом столетии появлялись время от времени стихи, как бы продолжавшие его зловещие "Центурии". Так Беранже, знаменитый песенник, в сороковых годах сочинил песню, озаглавленную "Предсказание Нострадамуса на 2000 год", которую на русский язык перевел — не странно ли это? — Александр Иванович Куприн; кажется, это у Куприна единственный опыт стихотворного перевода. Песня эта начиналась так:

Свидетель Генриха Четвертого
рожденья
Великий Нострадам, ученый-
астролог,

Однажды предсказал: "Большие
превращенья
В двухтысячном году покажет
людям рок".
В Париже в этот год близ
Луврского чертога
Раздался жалкий стон средь
радостных людей:
"Французы добрые, подайте,
ради бога,
Подайте правнуку французских
королей".

Беранже написал свою шуточную песню, когда французы жили при королях и еще только готовились к очередной революции; в песне отразилась мечта о республике. Русский же писатель А. И. Куприн перевел ее в 1917 году, когда Россия стояла на пороге республики и припев Беранже – "Подайте правнуку французских королей" – воспринимался как аллюзия, как намек на российские обстоятельства.

Ну а почему полумиллионный тираж Нострадамуса в 1981 году?

Жан-Шарль де Фонбрюн, новый автор-издатель "Центурий", рассказывает в газетах, по радио и по телевидению, что он четырнадцать лет готовился к изданию этой книги, потом три года вставал в четыре утра и писал свои толкования; значит, на воскресение Нострадамуса он потратил семнадцать лет. Это еще не все, утверждает он: его отец, Фонбрюн-старший, всю жизнь положил на ту же работу; итого новое издание стоит сорока четырех лет жизни отца и сына. Фонбрюны вчитывались в таинственные четверостишия, поэтому на заключительной стадии младший связался с CNRS (Национальным центром научных исследований), который предоставил в его распоряжение компьютеры. Фонбрюн ввел в машину все тексты Нострадамуса и составил их частотный словарь; согласно этому словарю, глагол *venir* (приходить) появляется у Нострадамуса 460 раз. Такова научно-филологическая база этого труда в 600 страниц. Все это пускание в глаза научной пыли похоже на вторичную мистификацию или на пародию.

Что же нам сообщает Нострадамус? Что в 1981 году террористы убьют Папу Иоанна Павла II. Что во Францию вернется на престол король. Что до наступления нового тысячелетия Париж будет дотла разрушен. Что Запад будет завоеван арабами и русскими. И еще многое в этом роде.

Можно ли не верить Нострадамусу? Фонбрюн изумляется: как же не верить пророку, предсказавшему все главные события нашей эпохи? В одном из своих четверостиший он предрек измену маршала Петена (измена для Фонбрюна – это не сотрудничество с немцами, а капитуляция перед союзниками). В другом Нострадамус говорит о пришествии *розы*, а ведь роза в кулаке – эмблема французских социалистов. В одном из интервью Фонбрюн категорически утверждает: "То, что Нострадамус предвидел социалистов у власти, это факт. И потом, было покушение на Папу, об этом помалкивают; между тем это вполне точно, точнее, чем роза у власти... Нострадамус говорит, что Иоанн Павел II будет убит, когда придет роза... Значит, имевшее место покушение лишь предрекает дальнейшее... К сожалению, я уверен, что Папу убьют, до конца этого года убьют. Людей смущает точность моих данных – но это не моя вина..."

О чем свидетельствует взрыв интереса к Нострадамусу, над которым смеялись отцы и деды? Люди XVIII века, современники Вольтера и Дидро, люди XIX века – Беранже и Гейне, Бальзак и Золя – видели в Нострадамусе мистификатора или сумасшедшего. И вдруг сегодня его принимают всерьез и покупают грубую подделку за 120 франков – то есть за цену, в четыре – пять раз превышающую цену любой хорошей книги.

Французские социологи и писатели видят в успехе Фонбрюна симптом невероятного взлета иррационализма. Да, конечно, к власти пришли социалисты и принесли с собой свойственный им здравый смысл. Но чем материалистичнее здравый смысл левых, тем агрессивнее иррационализм правых. Может быть, никогда за сто пятьдесят лет – после реставрации Бурбонов – во Франции не было столько гадалок и астрологов, опре-

деляющих судьбу по созвездиям, не было такого суеверного страха перед привидениями и дурным глазом, такой веры в талисманы и гороскопы. В наши дни предрассудки получают научный облик — вместо "призрак" говорят "ovni" (objets volants non identifiés, "неустановленные летающие предметы"). Кажется, если Нострадамуса пропустить через компьютер, то его предсказания получат научное подтверждение. Это зловещий признак — хуже всего то, что растущей волне иррационализма ничего не противостоит. Марксизм, казавшийся надежным барьером, давно сам стал философией иррационализма, или, точнее, он стал религией, системой догм и табу. Одну из причин фантастического успеха Нострадамуса в наши дни вскрывает Жан Делюмо, в интереснейшей книге "История страха на Западе"; Делюмо видит сходство между XVI веком и нашим. Тогда были Столетняя война, эпидемия чумы, церковный раскол. Теперь — экономический кризис, растущая опасность ядерной войны, раскол мира на два враждебных лагеря, способных в мгновение ока уничтожить друг друга. Западный обыватель ищет спасения в пророчествах, гороскопах, спиритизме, талисманах. Он склонен во всех несчастьях современности обвинять науку, породившую технику, и противопоставлять науке веру. В конце концов — не все ли равно во что? Веру в вождей-спасителей, в национальный дух, в сатанинскую роль инородцев, в династию. Этот трагический взлет иррационализма нашего века иногда принимает фарсовые формы, и тогда возрождается древний мистификатор — маг и астролог Нострадамус.

К. Долинин
Впервые на французском языке

22 ноября 1999 года в Потсдаме на 82-м году жизни скончался Ефим Григорьевич Эткинд — "филолог от Бога", по выражению Б. Ф. Егорова, ученый с мировым именем, крупнейший специалист в области стиховедения, стилистики, теории художественного перевода, истории литературы, автор таких книг, как "Семинарий по французской стилистике" (1961 и 1964), "Поэзия и перевод" (1963), "Разговор о стихах" (1970), "Бертольт Брехт" (1971), "Материя стиха" (1978 и 1985), "Кризис одного искусства. Опыт поэтики стихотворного перевода" (1982, на французском языке), "Там, внутри. О русской поэзии XX века" (1996), "Внутренний человек и внешняя речь" (1998), "Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во Франции" (1999) и ряда других, оставивший помимо книг не менее пяти сотен статей и заметок, составитель и редактор многих десятков сборников.

О "структурализме с человеческим лицом" Е. Г. Эткинда (по его же собственному определению) написано немало у нас и за рубежом и, надо полагать, будет написано еще больше. Эта статья, задуманная еще до смерти Ефима Григорьевича, посвящена той сфере его деятельности, которая осталась практически неизвестна в России, хотя сам он придавал ей огромное значение и, по его же собственному признанию, "положил [на нее] лучшие, ценнейшие свои годы".

Название статьи, по замыслу автора, должно напомнить всем, кто в 60-х — начале 70-х бывал в Ленинградском Доме писателей, устный альманах "Впервые на русском языке", который был задуман Е. Г. Эткиндом и выходил под его руководством примерно раз в два-три месяца с оглушительным успехом. Являться надо было как минимум минут за двадцать до начала — иначе в большом зале рококо

© К. Долинин, 2000

особняка на Шпалерной (тогда улице Воинова) вполне можно было остаться без места. Маститые и начинающие переводчики читали свои новые переводы, стихи и прозу, а иногда даже ставились спектакли. Полагаю, хотя и боюсь ручаться, что именно здесь впервые перед широкой публикой выступил Иосиф Бродский: он читал свой перевод стихов польского поэта Константы Ильдефонса Галчинского, перевод поразительный; ну а как он читал, известно. Но, независимо от наличия или отсутствия в программе таких вот ударных номеров, каждый выпуск альманаха был праздником для публики и для участников — праздником широкого и относительно свободного интеллектуального общения, совершавшегося не только в зале, но и в коридорах, на лестнице, в гостиных. А Ефим Григорьевич, неизменно председательствовавший на этих вечерах, был гостеприимным хозяином праздника. Он воспринимал альманах как свое произведение, радовался успеху каждого выпуска и каждого из участников, гордился выступавшими, как руководитель оркестра гордится исполнителями. В альманахе "Впервые на русском языке" в полной мере отразился темперамент Эткинда и его дар просветителя.

По характеру Ефим Григорьевич был в высшей степени экстраверт. Ему недостаточно было открыть, придумать, найти что-то новое и интересное, встретиться с талантливым или необычным человеком — ему непременно хотелось поделиться своей находкой, заставить других разделить его энтузиазм. Ему постоянно была нужна аудитория, не только анонимное множество читателей, но в первую очередь круг живых лиц, здесь и сейчас внимающих слову мэтра. Поэтому, кстати сказать, для него так важно было общение со студентами, которое в течение более пятидесяти лет он не прерывал ни на год. С этой потребностью в аудитории была тесно связана и его организаторская деятельность. Альманах "Впервые на русском языке" — далеко не единственная его инициатива такого рода. И до своего отъезда из России, и во Франции, и снова у нас, когда он получил возможность приезжать на родину, Ефим Григорьевич постоянно организовывал всевозможные вечера, семинары, конференции, коллективные издания, к участию в которых привлекал единомышленников и учеников.

Просветитель всегда, хочет он того или не хочет, становится общественным деятелем. Так было и с Эткиндом — достаточно вспомнить "дело" того же Бродского: естественно, что Ефим Григорьевич не мог остаться в стороне. Диссидентом в полном смысле слова Эткинд не был, но часто балансировал на грани дозволенного, и до поры до времени это ему, в общем, сходило с рук. Но бесконечно такое балансирование продолжаться не могло. Как писал в 1975 году сам Ефим Григорьевич (в "Записках незаговорщика"): "Наша ли вина, что всякое честное высказывание приобретает в Советском Союзе — помимо нашей воли и наших намерений — антисоветский смысл?" С учениками и с читателями он всегда говорил честно (некоторое вынужденное лукавство он допускал только в объяснениях с начальством, когда его в очередной раз начинали трепать за "идеологические ошибки" и "политическую близорукость"). Он, естественно, не говорил публично всего, что думал; но и того, что говорил, было достаточно: сказанное звучало громко, к нему прислушивались. И в апреле 1974 года по представлению КГБ Е. Г. Эткинд был лишен всех степеней и званий, уволен из ЛГПИ им. Герцена, где проработал более двадцати лет, и исключен из Союза писателей. Что оставалось делать бывшему профессору, бывшему доктору филологических наук и бывшему члену ССП, лишенному права преподавать и печататься?

Мысль об эмиграции всегда пугала Ефима Григорьевича: "Это горько и страшно. Разъезжаются деятели русской культуры по странам Запада, распадается наша культура. Поэт творит в языке, и когда вокруг него звучит чужая речь, он постепенно немеет, чувство языка притупляется, слова гаснут. Ученый формировался

внутри своей школы, у него свои противники и свои союзники. Оказавшись в чужом мире, он — наедине с самим собой — нередко чахнет; утратив учителей и учеников, оппонентов и читателей, он теряет и чувство пути, и чувство цели"[1].

Это он писал в 1975 году, уже будучи профессором университета "Париж X".

Сегодня такой взгляд на отъезд в другую страну может показаться странным: чего переживать-то? Наоборот, радоваться надо! Но в те годы эмиграция воспринималась как отъезд навсегда, без надежды на возвращение — недаром провожавшим порой казалось, что аэропорт в такие минуты похож на крематорий. А для Ефима Григорьевича отъезд за границу означал потерю аудитории, которую он так терпеливо, талантливо и темпераментно формировал в течение более двадцати лет: уехав, он действительно оставался "наедине с самим собой". Но здешнюю аудиторию у него все равно отняли, и не было гарантии, что дело не кончится арестом. Кроме того — и это было очень важно, — оставаясь в СССР, опальный профессор ставил под удар всех тех, кто продолжал поддерживать с ним связь (а их было немало). И 16 октября того же года Ефим Григорьевич с семьей улетел по израильской визе в Вену, а спустя 9 дней оказался в Париже (тогда это делалось именно так — менялся лишь конечный пункт назначения). Так на пятьдесят седьмом году жизни профессору Эткинду, по его же собственному выражению, "пришлось почти начинать с нуля".

В целом деятельность Ефима Григорьевича на Западе стала в какой-то мере зеркальным отображением того, что он делал здесь. В Ленинграде в институте Герцена он был профессором кафедры французского языка (хотя в последние годы читал и на литфаке русистам); в Париже стал профессором отделения славистики. У нас он писал главным образом о западной литературе (о Золя, Барбье, Брехте, Метерлинке, Бодлере, Верлене, Парни...), там — о Пушкине, Блоке, Лермонтове, Державине, Мандельштаме, Цветаевой, Ахматовой, Заболоцком, Льве Толстом, Достоевском, Гончарове и многих других, вплоть до Аксенова, Галича и даже... Брежнева (статья "Brezhnev the Writer" в журнале "Survey"). В России Эткинд много и плодотворно занимался историей и теорией поэтического перевода, главным образом, естественно, на материале переводов на русский язык. Достаточно назвать его монографию "Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина" (1973), уже упомянутую книгу "Поэзия и перевод" (1963), его докторскую диссертацию "Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики" (1965), а также подготовленные им сборники "Мастера русского стихотворного перевода" (1968) и "Французские стихи в переводе русских поэтов XIX — XX вв." (1973) с его же предисловиями и комментариями. А во Франции?

И вот тут, после затянувшегося биографического предисловия, автор переходит наконец к основной теме статьи.

В России, как известно, была и есть замечательная школа поэтического перевода, давняя традиция, заложенная еще Жуковским и Пушкиным. Оказавшись во Франции, Эткинд обнаружил, что искусство стихотворного перевода в этой стране находится в явном упадке. Началось с того, что он столкнулся с поразительным невежеством своих студентов по части иноязычной поэзии. В самом начале 80-х он писал об этом так: "Те самые молодые люди, которые имели кое-какое представление о французских поэтах — Гюго, Мюссе, Бодлере, Верлене или Элюаре, — не знали ровно ничего об иностранных. Иногда они располагали какими-то сведениями об их жизни, но о творчестве не знали ровным счетом ничего". И дальше: "Молодые французы не виноваты: если они не владеют иностранными языками, откуда им знать, что Лермонтов или Рильке — замечательные лирические поэты? Их переводят обычно прозой или настолько изуродованными стихами, что читать их можно только на предмет предстоящего экзамена. Величайшие

1. *Е. Эткинд.* Записки незаговорщика (Notes of a Non-conspirator). London, 1977.

иностранные поэты <...> просто не существуют по-французски". И еще чуть ниже: "Французские поэты перестали переводить стихи. В лучшем случае они передоверили эту задачу филологам <...>. Филологи же видят в иностранной поэзии лишь предмет научных изысканий, предлог для демонстрации своей эрудиции, а не художественные произведения. Они не гнушаются переводом; со всей профессиональной добросовестностью они стараются передать рациональное содержание иноязычных стихов <...>. Какая разница, кто написал эти стихи — Мицкевич, Пушкин или Гёте? Французский читатель не ждет от них эстетических переживаний или душевного потрясения; он хочет получить лишь полезные сведения о национальной психологии или истории литературы"[1].

Думается, что в приведенных отрывках есть некоторое преувеличение: поэтические переводы русских и прочих иноязычных стихов на французский язык все-таки были. В работах того же периода, что и "Кризис одного искусства", откуда взяты эти строки, сам же Эткинд называет целый ряд поэтов-переводчиков, профессионалов и любителей, оставивших вполне достойные образцы переводов русской поэзии XIX — XX веков. И все же по существу Ефим Григорьевич был, видимо, прав: хорошие переводы русской поэзии существовали, но для того, чтобы их найти, надо было перерыть сотни и тысячи страниц журналов и отдельных, нередко малотиражных, изданий, часть из которых к тому же выходила за границей — в Швейцарии, в Бельгии, в СССР. В целом же не подлежит сомнению, что, по крайней мере в те годы, во Франции общепринятых норм перевода стихов просто не существовало, и принцип, согласно которому перевод иноязычной поэзии должен быть прежде всего поэзией, отнюдь не считался бесспорным.

Ефим Григорьевич решил попытаться перебороть тенденцию к депоэтизации переводов иноязычной поэзии на французский язык. Он вполне отдавал себе отчет в том, что это предприятие может оказаться безнадежным. "Всегда тяжело восставать против тенденции, которой подчиняется действительный ход вещей: в этой тенденции мы склонны усматривать проявление фатальной неизбежности; нам же самим наши усилия кажутся бесполезными конвульсиями, наши протесты — истерическими выкриками, наши доводы — бессвязным бредом. Напрасно кричать и жестикулировать — история развивается по своим законам, движется своим путем, не удостаивая нас взглядом. Бороться с ней — все равно что пытаться остановить голыми руками курьерский поезд" (там же). К этим словам Эткинда надо добавить, что такая открыто заявленная попытка переломить господствующую тенденцию была в то же время актом гражданского мужества. "Да кто он такой, чтобы учить нас, коренных французов, как надо переводить иностранных поэтов?" — такая реакция ведь тоже могла иметь место! Надо полагать — теперь, увы, не спросишь, — что все началось с конкретного предложения, которое он получил от главы издательства L'Âge d'Homme Владимира Дмитриевича, серба по происхождению, издававшего по преимуществу произведения восточноевропейских авторов как по-французски, так и на языке оригинала. Здесь лучше всего будет привести рассказ об этом самого Ефима Григорьевича.

"Лозаннское издательство L'Âge d'Homme (основатель и руководитель Владимир Дмитриевич) готовило в начале семидесятых годов собрание сочинений Пушкина, составленное известным филологом Андре Менье. Вышли в свет тома, содержавшие художественную и критическую прозу; том поэтических произведений лежал еще в рукописи, когда автор настоящего очерка был призван продолжить дело Менье. Андре Менье когда-то изложил свои принципы перевода стихов Пушкина: он полагал, что ценой успешного перевода должен быть отказ, прежде всего, от рифмы, но также, в случае надобности, и от регулярного ритма. Мне подобная цена казалась немыслимой: утрата рифмы означает отказ от стро-

1. *E. Etkind.* Un art en crise: Essai de poétique de la traduction poétique. Lausanne, 1982.

фической организации стихов; не говоря уже о "Евгении Онегине" и "Домике в Коломне", которые, теряя строфику, утрачивают форму и, следовательно, всякий смысл существования, безрифменные (и часто лишенные ритма) переводы большинства пушкинских стихотворений оказывались художественно неполноценными. Я воспитан в русской традиции перевода поэзии, в традиции Жуковского, Пушкина, а в мое время — М. Лозинского, Б. Лившица, С. Маршака, Б. Пастернака, Т. Гнедич, В. Левика, Л. Гинзбурга, Э. Линецкой. В начале 60-х годов я написал книгу "Поэзия и перевод", где излагал свои принципы поэтического перевода, решительно расходившиеся с принципами Андре Менье и укоренившейся во Франции традицией; позднее, уже во Франции (где я живу с 1974 года), вышла другая моя книга на близкую тему: "Кризис одного искусства. Опыт поэтики поэтического перевода". Принципы, выработанные мною, изложены во вступительной статье к французскому изданию Пушкина 1981 года:

1) передавать русские стихи французскими стихами;

2) воссоздавать строфическую форму пушкинских стихотворных произведений, воссоздавая по-французски строфы, использованные Пушкиным (четверостишия, октавы, терцины, онегинскую строфу и т.п.);

3) находить по-французски ритмические формы, аналогичные тем, которые Пушкин использует по-русски <...>;

4) неизменно уважать историческое и национальное своеобразие стилей и стилизованных форм, с тем чтобы пробуждать ассоциации, аналогичные или близкие тем, которые рождает поэзия Пушкина <...>.

Для совместной работы мы привлекли группу поэтов-переводчиков, которые согласились разделить изложенные выше принципы. В течение более чем трех лет мы работали коллективно, придирчиво рассматривая каждый из представленных переводчиками текстов"[1].

По возрастному, социальному и профессиональному статусу группа была весьма разнообразной, чтобы не сказать пестрой. В нее входили: университетский профессор, специалист по сопоставительному литературоведению Жан-Луи Бакес; историк и преподаватель русского языка Владимир Берелович; чиновник департамента социального обеспечения, переводчик-любитель Жан Бессон; служащий Интерпола, редактор международного журнала уголовной полиции, полиглот, переводчик юридических и технических текстов Жак Давид; студент-славист Андре Маркович; брат и сестра Вардан и Сато Чимишкян, он в те годы — служащий компании "Эльф", она — преподаватель русского языка в университете; Клод Эрну, специалист по радиовещанию, самостоятельно изучивший русский язык. Самому младшему, Андре Марковичу, в 1977 году, когда начиналась работа над сборником, было17 лет; самому старшему, Жаку Давиду, — 66. Список не претендует на полноту, тем более что с годами состав группы менялся, главным образом за счет появления новых лиц. В создании сборника принимали участие также, не входя непосредственно в "оркестр" (так называл группу сам Ефим Григорьевич), член Бельгийской академии языка и литературы, поэт, романист и переводчик Робер Вивье, опытная переводчица, поэт, бывший секретарь музея Тюильри Катя Гранофф, университетские профессора Жан-Марк Бордье, Мишель Кадо, Морис Колен, Жорж Нива, а также маститые поэты и переводчики Эжен Гильвик и Леон Робель.

По свидетельству Владимира Береловича, собирались на квартире у Ефима Григорьевича раз в две или в три недели, по субботам или по воскресеньям. Жена хозяина дома, покойная Екатерина Федоровна Зворыкина, угощала чаем с бутербродами, а затем принимались за работу. Работа проходила так, как это обычно

1. *Е. Эткинд.* Поэзия А. С. Пушкина во французских переводах // А. С. Пушкин. Избранная поэзия в переводах на французский язык. М., 1999.

делалось и делается у нас на переводческих семинарах в Союзе писателей или в университете: каждый читал тексты, которые он подготовил, а остальные высказывались по поводу услышанного. Позже было принято решение тексты переводов раздавать или рассылать заранее, чтобы люди могли подготовиться к обсуждению. И так за три с лишним года заново или впервые перевели бóльшую часть поэтического наследия Пушкина и отобрали из уже существовавших переводов те, которые соответствовали требованиям, сформулированным "дирижером оркестра". В одном случае старый перевод был подвергнут редактированию и правке — так поступили с переводом "Евгения Онегина", выполненным Гастоном Перо и опубликованным в 1902 году: он был пересмотрен и исправлен Андре Марковичем.

Сборник вышел в конце 1981 года в двух книгах, которые вместе составляют второй том полного собрания сочинений Пушкина, осуществленного издательством L'Âge d'Homme. Первая книга открывается вступительной статьей, озаглавленной "Переводить Пушкина", в которой Ефим Григорьевич рассказывает об истории переводов Пушкина на французский язык и излагает свои творческие принципы. В первую книгу вошли стихотворения, сказки и поэмы (за исключением "Евгения Онегина" и "Руслана и Людмилы") в переводах, выполненных главным образом членами группы и переводчиками, непосредственно сотрудничавшими с ней. В ряде случаев одно и то же стихотворение дается в двух или трех разных переводах. Группировка текстов нетрадиционна: том начинается с поэзии 1820—1825 годов, а юношеская поэзия завершает ту часть, которая посвящена собственно стихотворениям. Эпиграммы составляют особый раздел, равно как и разделы "Легенды и баллады" ("Песнь о вещем Олеге", "Стенька Разин", "Жених", "Утопленник", "Анчар", "Песни западных славян" и др.), "Сказки" и "Повести в стихах" (от "Кавказского пленника" до "Медного всадника"). Самое большое новшество заключается в том, что лирические стихи, обращенные к женщинам, выделены в особую рубрику, названную "Музы", и распределены по адресатам. Но можно ли считать, что адресат каждого такого стихотворения четко установлен? Все это сделано, надо думать, для того, чтобы французский читатель не соскучился.

Вторая книга складывается из трех основных частей: драматические произведения в стихах (где почему-то отсутствует "Борис Годунов" — видимо, он вошел в один из томов, подготовленных Андре Менье), "Евгений Онегин" (канонический текст плюс отрывки из "Путешествия Онегина" плюс отрывки из X главы) и вынесенная в приложение небольшая и не претендующая на полноту историческая антология переводов Пушкина на французский язык. В самом конце — примечания к обеим книгам, библиография переводов, биографические сведения о переводчиках, участвовавших в издании, сопровождающиеся их высказываниями о поэтическом переводе, и алфавитный указатель переводов, вошедших в обе книги. В целом получилось нечто не вполне академическое, в какой-то мере даже провокационное, с точки зрения правоверного пушкиниста, но несомненно интересное.

В те же годы Ефим Григорьевич написал большую монографию о проблемах и принципах поэтического перевода применительно главным образом к французскому языку — "Кризис одного искусства. Опыт поэтики поэтического перевода", цитаты из которой уже приводились. Книга вышла в том же издательстве по-французски, через полгода после "Пушкина". Главная мысль ее заключается в том, что иноязычную поэзию можно и нужно переводить на французский язык именно как поэзию, ибо ни в системе французского языка, ни в системе французского стихосложения нет ничего, что препятствовало бы адекватной передаче формы и содержания подлинника. "Кризис одного искусства" был теоретически аргументированной заявкой на реформирование устоявшейся переводческой прак-

тики, причем заявкой не голословной, а подкрепленной конкретным делом: ведь что ни говори, а Пушкин-поэт впервые зазвучал на французском языке именно как поэт в исполнении «оркестра» под управлением Е. Г. Эткинда. Недаром в том же 1982 году сборник был удостоен премии Французской академии за лучшую книгу переводов.

После окончания работы над Пушкиным группа не распалась. Перед ней была поставлена новая, едва ли менее почетная задача: руководствуясь теми же творческими принципами, создать достаточно полную антологию русской поэзии с XVIII века по сегодняшний день, от Кантемира до Бродского. "Антология"[1] вышла через полтора года после "Пушкина". В ней представлено творчество 150 поэтов — всего около шестисот стихотворений, многие из которых даны в двух или трех различных переводах. Впервые на французском языке появился сборник такого объема (700 страниц, включая комментарий и сведения об авторах), содержащий образцы творчества если не всех, то большинства сколько-нибудь значительных поэтов, писавших по-русски как в России, так и за границей.

Последней большой совместной работой "оркестра" стал перевод поэтического творчества Лермонтова. Книга вышла в 1985 году. Она выглядит значительно скромнее, чем "Пушкин" и чем "Антология": один том в мягкой обложке, без какого-либо библиографического аппарата. Том содержит, кроме текстов Лермонтова, две вступительные статьи и примечания. Одна статья, "Лермонтов как поэт", написана профессором Иерусалимского университета, бывшим ленинградцем Ильей Захаровичем Серманом, а вторая, "Поэзия Лермонтова во французских переводах", принадлежит Е. Г. Эткинду.

После "Лермонтова" было еще несколько публикаций переводов русской поэзии под редакцией Эткинда, в частности, две книжки стихов Марины Цветаевой в переводе Эв Мальре. Последняя публикация из этой серии — подготовленная Ефимом Григорьевичем к пушкинскому юбилею книга "Избранная поэзия А. С. Пушкина в переводах на французский язык" (с параллельными русскими текстами). В нее вошли главным образом переводы из двухтомника 1981 года, а также некоторые работы членов группы, опубликованные позднее.

В двух вступительных статьях (на русском и французском языках) Ефим Григорьевич кратко излагает историю переводов Пушкина на французский язык и подводит итог сделанному им самим и его "оркестром": "Французские переводы Пушкина после 1981 года изменились. Едва ли кто-нибудь станет переводить стихи Пушкина прозой или подделкой под верлибр. Переводы, составившие двухтомник, остались своего рода эталоном".

В рамках этой статьи нет возможности детально оценить качество переводов, вошедших в названные четыре книги. В целом уровень переводческой работы "оркестра" несомненно выше, чем это бывало раньше. Отдельные неудачи — это почти исключительно переводы старые, не прошедшие редактуру Е. Г. Эткинда и включенные в сборники, надо думать, из-за физической невозможности охватить силами группы весь требуемый объем текстов.

Все три (или четыре) книги можно рассматривать как широкомасштабный эксперимент, призванный ответить на вопрос, возможен ли полноценный, подлинно поэтический перевод русской поэзии на французский язык. Ефим Григорьевич, убежденный сторонник тезиса о переводимости поэзии вообще, считал, как уже говорилось, что ни в системе французского языка, ни в системе французского стихосложения нет ничего, что препятствовало бы адекватному переводу русских стихов. Что касается французской системы версификации, эксперимент как будто дал положительный результат: все разнообразие русских метров и ритмов, по-видимому, и в самом деле может полноценно отразиться во французском

1. Poésie russe: Anthologie du XVIII au XX siècle presentée par Efim Etkind. Paris, 1983.

стихе. Что же касается языкового барьера, то тут дело обстоит несколько сложнее.

Ефим Григорьевич посвятил этой проблеме целую большую главу в "Кризисе одного искусства", названную "Защита и прославление французского языка" — так же, как известный трактат Ж. Дю Белле, поэта и филолога XVI века. Основная мысль этой главы заключается в том, что все сетования на бедность, сухость, рассудочность, ограниченность ресурсов французского языка, может быть и оправданные в начале XIX века, сегодня уже абсолютно безосновательны. Под пером сначала поэтов-романтиков, затем знаменитых мастеров прозы этого и следующего столетий и, наконец, таких поэтов, как Бодлер, Верлен, Эредиа, Малларме, Валери, Клодель, Пеги, Аполлинер, французский язык обрел и легкость, и гибкость, и лексическое богатство, позволяющие передавать все разнообразие смысловых и стилистических оттенков любой иноязычной поэзии. Французскому языку, по мнению Ефима Григорьевича, не хватает лишь торжественно-архаического словаря, представленного в русском славянизмами (перси, очи, ланиты и т.п.), да еще, может быть, свободы словосложения.

Так ли это? Читая переводы, вошедшие в книги, созданные заботами Е. Г. Эткинда, и сравнивая их с оригиналами, приходишь к несколько иному выводу. Языковой барьер ощутимо дает о себе знать, как только в тексте подлинника обнаруживаются сколько-нибудь необычные, отклоняющиеся от нейтрально-литературного регистра слова. В большинстве подобных случаев переводчик вынужден либо передавать соответствующее понятие обычным словом, либо вообще не называть его. Так "лобзать", "лобзанье" будут переданы нейтральными французскими словами, означающими "целовать" и "поцелуй", "почить" — "уснуть", "бредь" — "кошмар", "шляться" — "ходить", "тальянка" — "гармоника" (она же "аккордеон") и т.д. В некоторых случаях исходный текст за счет этого становится неузнаваемым.

Другое, многократно описанное, свойство французского языка — это так называемая абстрактность лексики. В русском языке, например, существуют близкие, но вовсе не тождественные по значению слова "разлука" и "расставание"; во французском же тому и другому соответствует слово *séparation*, которое, кроме того, еще означает "отделение", "разделение". Семи (!) русским словам: "посторонний", "чужой", "чужак", "пришелец", "иностранец", "иноземец", "чужеземец", различающимся по предметно-логическому значению и по стилистической окраске, соответствует одно французское слово *étranger*.

Еще одна лакуна, свойственная французскому языку, — это существенно меньшая, чем в русском, употребительность суффиксов субъективной оценки. Спрашивается, как в таких условиях перевести следующий отрывок из Марины Цветаевой: "Молоденький!/ Да родненький!/ Да плохонький какой!/ В серебряном нагрудничке, /и кольчики занятные,/ и ничего, что худенький, — / На личико приятненький."?

И еще одно свойство французского словаря способно попортить кровь переводчикам. Это свойство — статичность. В одном из писем к Рильке Марина Цветаева писала: "Немецкий продолжает создаваться читателем — вновь и вновь — бесконечно. Французский — уже создан. Немецкий становится, французский — существует. Язык <...> неблагодарный для поэтов <...>. Почти невозможный язык <...>". Статичность наглядно проявляется в отсутствии потенциальных слов — таких, которые не фигурируют в словаре, но без труда воспринимаются читателем (например, "криветь", "бездревесность", "недоразвиток"). Спрашивается, как на язык, не способный производить потенциальные слова, перевести "Бабочку" Мандельштама, где бабочка именуется "жизняночка и умиранка" и "с большими усами кусава"? А как передать "Он один и бабачит и тычет"?

И наконец, последнее замечание такого рода. Для русского языка очень характерны безличные конструкции, в которых субъект состояния либо обознача-

ется дательным падежом, либо вовсе отсутствует: "(Мне) стыдно, грустно, весело, жалко" и т.п., при том что вполне допустимо сказать "Я стыжусь, грущу, радуюсь, жалею"; сравним еще: "Мне не спится, не читается, (не) хочется, (не) верится..." и "Не могу спать, читать, (не) хочу, (не) верю...". Такие безличные конструкции отличаются от личных тем, что состояние мыслится как нечто стихийное, не зависящее от воли субъекта, что-то такое, с чем субъект не может справиться и за что он не несет ответственности (в пристрастии к таким оборотам нередко усматривают проявление характерной черты русского национального характера)[1].

В современном французском подобные конструкции есть, но их очень мало. Из широко употребительных — "(Мне) нужно", "(Мне) кажется", "(Мне) трудно/легко" (что-то сделать), и, пожалуй, все. Как же перевести Лермонтова — "И скучно, и грустно, и некому руку подать..." или "И верится, и плачется, / И так легко, легко..."?

Конечно, опыт и талант помогают порой восполнить такие вынужденные потери. Но в целом, видимо, нельзя не признать — опираясь и на лингвистическую теорию, и на переводческую практику, — что французский язык нередко задает переводчику неразрешимые задачи, что приводит в конечном счете к стилистическому, а иногда и смысловому обеднению текста. Как ни грустно, но это, по-видимому, общий закон: либо обеднение, либо отход от оригинала. А чаще всего — то и другое одновременно. Сказанное ни в коей мере не может служить аргументом в пользу перевода стихов прозой хотя бы потому, что прозаический перевод стихотворного текста, лишь минимально облегчая переводчику борьбу с указанными трудностями, заведомо влечет за собой еще бóльшие утраты, поскольку, как многократно писал Эткинд и многие до него, поэтическое содержание немыслимо вне поэтической формы.

Подведем некоторые итоги. Не все переводы, выполненные под руководством Е. Г. Эткинда, и далеко не все из ранее выполненных работ, которые он отобрал, могут считаться образцовыми. Виноваты в этом не только переводчики, но и... французский язык. Однако вряд ли будет преувеличением сказать, что старениями Е. Г. Эткинда Пушкин, Лермонтов и еще 148 русских поэтов впервые прозвучали так громко и так внятно на французском языке, впервые французский читатель получил возможность более или менее обоснованно судить о русской поэзии. И еще один вопрос, на который отсюда, из Петербурга, ответить трудно: привела ли деятельность Ефима Григорьевича к реформе стихотворного перевода во Франции? Знаю только, что в 1996 году Жан-Луи Бакес опубликовал свой перевод "Евгения Онегина" — без рифмы.

1. См.: А. Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. М.,1996.

Великобритания

"Политикос" — уникальный книжный магазин

В Лондоне, на Артиллери-роу, недалеко от здания парламента располагается не совсем обычный книжный магазин "Политикос". С момента своего открытия в 1997 году магазин неизменно притягивает политиков, журналистов и всех, кто интересуется политикой. 37-летний Иан Дейл, один из основателей магазина и его директор, раньше не имел ни малейшего отношения ни к книгам, ни к книготорговле. Политика, напротив, была его основным занятием. На мысль создать "Политикос" Дейла натолкнули впечатления от поездки в Вашингтон, где он видел магазины сувениров "с политическим уклоном" и обычные книжные магазины с крошечной кофейней. Иан Дейл подумал, что гибрид торговых заведений такого рода был бы весьма кстати в Лондоне, который, как и Вашингтон, является крупным политическим центром.

"Политикос" — единственный книжный магазин в Англии, который предлагает доклады групп по интенсивным исследованиям и решению различных проблем, а также все политические издания. Кроме того, в нем можно найти и такие редкости, как письма Гладстона и Дизраэли. Владельцы стараются не скатываться до уровня кича для туристов. В качестве исключения недавно была заказана партия нижнего белья с надписями типа "Люблю хороший шлепок крепкой правительственной руки", а также цитатами из Дизраэли и других деятелей.

Хотя и такой товар идет хорошо, наибольшим спросом у покупателей в последнее время пользовалась книга о выборах 1997 года в Великобритании. "Очень скучная книжка, — говорит Иан Дейл. — Вполне соответствует расхожему мнению об ассортименте магазина. Кроме книг, мы предлагаем довольно много видеокассет. К прошлому рождеству мы заказали видеофильм "В эфире политические партии" — специально для заядлых коллекционеров. Мы продали тысячу штук: кассеты шли нарасхват в качестве рождественского подарка тому, кого вы терпеть не можете. И мы продолжили это начинание, в этом году предлагаем "Великие речи в парламенте".

Выбор читателей и покупателей иногда удивляет: так, "Питаясь святым духом", книга журналиста Чарльза Лидбитера об организации делового предприятия, пользуется огромным спросом, поскольку люди готовы читать не слишком увлекательные теоретические изыскания, чтобы больше узнать о лейбористах и их экономической программе. "К нам приходили из посольств и скупали все со словами "лейбористы" или "Блэр" на обложке. Нас это устраивает", — улыбается Иан Дейл.

Бестселлерами являются и мемуары бывших премьер-министров страны — Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора. Этот жанр по-прежнему популярен, а вот широко разрекламированная книга о Монике Левински успеха не имела: из 40 с трудом проданных экземпляров половина разошлась лишь благодаря личному автографу биографа. В любом случае "Политикос" собирается и далее удовлетворять различные вкусы политически активных британцев.

Италия

Возвращение нобелевского лауреата

Удивительная судьба оказалась у первого стихотворного сборника Сальваторе Квазимодо (1901—1968), нобелевского лауреата 1959 года, поэта, театрального критика, преподавателя итальянской литературы. Началом своей литературной карьеры он обязан семейному скандалу: в 1929 году его сестра Розина сбежала из дома со своим возлюбленным, писателем Элио Витторини. Женившись на Розине и стремясь наладить отношения с новыми родственниками, Элио Витторини решил помочь шурину в его первых шагах на литературном поприще. Уже в 1930 году по его протекции флорентийское издательство "Солариа" опубликовало сборник "Воды и земли", в который вошло 47 стихотворений Квазимодо, написанных между 1920 и 1929 годами.

Эта небольшая книга сделала совсем еще молодого поэта ярчайшей звездой на небосклоне итальянской поэзии; ему выпало счастье и честь быть замеченным крупнейшими литераторами страны, первым из которых стал еще один будущий Нобелевский лауреат Эудженио Монтале, написавший: "...это вполне сложившийся и свободный поэт. Он настолько свободен, что способен в тревожно-волнующем стихотворении "Ветер над Тиндари" показать, возможно, все самое лучшее в себе". В этом стихотворении Квазимодо вспоминает поездки в Тиндари "в легкой и приятной компании". Надо отметить, что в эту компанию входили незаурядные люди: Глауко Натоли (он также стал

поэтом), Джорджо Ла Пира (будущий мэр Флоренции) и Сальваторе Пульятти (адвокат и впоследствии ректор Мессинского университета), с которым поэт переписывался всю жизнь. Сегодня первое издание сборника стало настоящим библиографическим раритетом: экземпляр книги "Воды и земли" сто́ит на аукционах около двух миллионов лир!

Канада

Литературный путеводитель по Торонто

Идея написать литературный путеводитель по Торонто появилась у Грега Гейтенби, основателя и художественного директора Харборфрантского международного писательского фестиваля, когда он узнал, что Уильям Батлер Йейтс четыре раза посещал этот крупнейший канадский город. Итогом гигантских литературно-топографических исследований стал 620-страничный том "Торонто: Литературный путеводитель" (издательство "Макартур энд компани").

Грег Гейтенби, как и именитый канадский литературовед Нортроп Фрай, считает, что писатели связаны тысячами профессиональных, творческих и жизненных нитей. Мысль о том, что в вакууме никто не может полноценно творить и существовать, подчеркнута включением в книгу имен не только писателей, но и издателей, критиков, журналистов, названий литературных клубов и т.д. Автор мастерски демонстрирует переплетения судеб своих героев: так, рассказывая о речи, произнесенной Нелли Маккланг в 1921 году в Художественно-литературном клубе на улице Элм (тогда женщины впервые были допущены в клуб), он упоминает, что там присутствовали известная в ту пору писательница Люси Мод Монтгомери и знаменитая английская поборница женского равноправия Эмили Панкхерст.

Информация структурирована по городским районам (всего их 62); кроме того, в книге есть раздел о "литературных гостях" Торонто, начиная с конца XVII века и кончая визитом Генри Джеймса в 1871 году. Грег Гейтенби словно идет по улице, показывая на тот или иной дом и рассказывая о его обитателях и их месте в писательском сообществе. Читатель (особенно знакомый с Торонто) начинает поновому воспринимать привычный городской пейзаж. Например, в доме на перекрестке улиц Янг и Джеррард в центре города провел свое детство Эдгар Селвин, который впоследствии уехал в Нью-Йорк, написал 35 пьес, стал процветающим бродвейским продюсером и кинорежиссером и подарил последний слог своей фамилии названию кинокомпании "Голдвин" (некий Голдфиш предоставил первую половину).

Увлекательные истории сопровождаются прекрасным фотоархивом: тут и У. Х. Оден во время визита в Торонто, и журналист Беверли Бакстер на прогулке по улицам города, и поэт Джон Макрей в шляпе-котелке в Хайпарке, и лауреат премии генерал-губернатора и Пулицеровской премии Кэрол Шилдс на пороге своего дома с детьми. Она, кстати, будучи родом из Виннипега, дважды по нескольку лет жила в Торонто и очень полюбила этот город. Теперь здесь живут две дочери писательницы, она сама часто приезжает сюда, и именно в Торонто разворачивается действие двух ее романов. По мнению автора рецензии в газете "Глоб энд мейл оф Кэнада", бывшего мэра Торонто Джона Сьюэлла, подобного путеводителя — увлекательного, информативного и превосходно написанного — заслуживает каждый город.

Канадская писательница Кэрол Шилдс с детьми на пороге своего дома на Страт авеню, 41; Торонто, 1968 год (газета "Глоб энд мейл оф Кэнада")

США

Рейган

Новая биография Рональда Рейгана наверняка озадачит читателей: ее автор, писатель и журналист Эдмунд Моррис, удостоенный Пулицеровской премии за биографическую книгу "Восхождение Теодора Рузвельта", избрал весьма необычный метод рассказа о бывшем президенте США. Моррис создал вымышленный персонаж, который живет параллельно с Рейганом и повествует обо всех событиях в жизни своего "подопечного". У этого персонажа есть собственная история, семья, друзья, а приблизительно в 1968 году его место занимает сам Э. Моррис.

При всей нетрадиционности и рискованности подобного подхода, именно он, по мнению автора, позволил ему (и читателям) увидеть мир глазами Рейгана — образно и кинематографично. Кроме того, только так Моррис смог сделать себя, 59-летнего, современником Рейгана и рассказать о ранних годах его жизни столь же подробно и живо, как и о годах, проведенных в Белом доме.

Работа над книгой "Голландец" (детское прозвище Рейгана) началась в 1985

году, когда Эдмунд Моррис получил контракт от издательства "Скрибнер" на 3 миллиона долларов и неограниченный доступ к самому президенту, его бумагам, помощникам, друзьям и членам семьи. Семь лет спустя, Моррис, по его словам, "был в отчаянии". У биографа ничего не получалось, ибо объект внимания избегал его не менее упорно, чем всех остальных. Рейган жил в мире своих мыслей и своего воображения и не желал допускать туда посторонних.

Моррис впервые встретился с героем своей будущей книги на званом обеде в 1981 году, и тогда президент показался ему "крупным, добродушным, привлекательным, но скучным человеком"; год спустя он сидел подле Рейгана на очередном обеде, и тогда Рейган показался ему "поразительно банальным". В конце концов Моррис решил обратиться за помощью к самому главному человеку в жизни президента — его супруге. Нэнси Рейган направила журналиста к советнику президента по созданию имиджа, и вскоре биограф был допущен в Белый дом и даже получил возможность регулярно — раз в месяц — встречаться с главой государства.

Впрочем, эти встречи разочаровали Морриса: Рейган оказался невежей в культурном отношении и весьма неотзывчивым собеседником. "Когда я задавал вопросы о его жизни, мне казалось, что я бросил камень в колодец и так и не услышал всплеска", — вспоминает Моррис. Получив в 1989 году доступ к дневникам Рейгана, журналист открыл для себя кое-что новое в характере своего героя. Например, глава крупнейшей мировой державы тщательно подсчитывал и записывал, сколько раз его речи прерывались аплодисментами (как утверждает Моррис, это необычайно важное занятие имело целью "определить степень успешности выступления").

Переработав все материалы, Моррис написал, по его

Рональд Рейган в конце 1920-х годов работал спасателем на пляже Рок-ривер (журнал "Ньюсуик")

собственному определению, "странную книгу о странном человеке". В ней отражен долгий путь Рейгана: студента-футболиста, спасателя, агитатора в колледже, ведущего на радио, голливудского актера, профсоюзного лидера, представителя корпорации, губернатора Калифорнии и, наконец, президента США. Многие этапы этого пути впервые освещены в подробностях. Так обсуждаются загадочные обстоятельства первого брака Рейгана с Джейн Уаймен; брак длился 8 лет и закончился разводом в 1948 году. Все это время оба бывших супруга хранили упорное молчание относительно реальности слухов о том, что Уаймен шантажировала Рейгана, дабы женить его на себе.

Некоторые эпизоды и особенности характера Рейгана могут разочаровать его поклонниц и поклонников. При всем своем внешнем добродушии Рейган всегда был холоден с детьми, а его вице-президент Буш по окончании совместной работы не услышал ни слова благодарности. Зато актерствовал Рейган не только в Голливуде: даже во время неудачного на него покушения, в самом начале президентства, он демонстрировал стране и миру образ не по годам бравого "отца нации". Хорошую мину при плохой игре пришлось сохранять и во время теперь подзабытого скандала вокруг сделки "Иран-контрас".

Как известно, последние годы Рейган страдает болезнью Альцгеймера и никого не узнает, кроме Нэнси (без которой он и раньше не мог обходиться). Когда ему на глаза попалась керамическая модель Белого дома, бывший президент США сказал: "Это... как-то... связано со мной... но не знаю точно".

Книга Морриса позволяет читателям представить себе, каким человеком был на самом деле сороковой президент США.

Франция

Бурная жизнь в бурную эпоху

Доминик Дезанти, автор книги "Робер Деснос: Жизнь — роман" (издательство "Меркюр де Франс"), новой биографии французского поэта Робера Десноса, хорошо знала его и часто встречалась с ним в 1938—1944 годах. Он делился с ней своими мыслями и переживаниями, они вместе ходили на блошиный рынок (Деснос обожал безделушки — они, по его мнению, хотя и не имеют большой цены, заставляют работать воображение). На основе личных воспоминаний и архивных материалов Д. Дезанти воссоздала волнующую картину жизни одного из ярчайших представителей эпохи сюрреализма.

Большое влияние на формирование литературных вкусов Десноса оказали книги Сада, Ретифа де ла Бретонна, Лакло, которые будущий поэт начал читать, будучи секретарем литератора и журналиста Жана де Бонфона. Вращаясь в кругах богемных анархистов, Деснос знакомится с журналистом Анри Жансоном, с которым его будет связывать крепкая друж-

ба. После первых литературных опытов настало время встречи с компанией сюрреалистов: в 1921 году в парижском баре "Серта" Деснос встречает Бретона, Арагона, Пере, Тцара, Риго, Сандрара, Радиге.

В этот период Робер Деснос много работал как кинокритик, много экспериментировал; ему хотелось "освободить энергию источников высшего вдохновения в творчестве, дать реальности проявить свою мощь и силу, потрясти основы приличий и разума". Символичны в этом плане знаменитые сеансы "поэтического спиритизма", которыми увлекались сюрреалисты и которые чаще всего происходили дома у Бретона. Деснос с энтузиазмом относился к ним, приписывая им волшебный, чудодейственный характер; он легко впадал в транс и черпал в нем образы и творческие силы.

Доминик Дезанти в подробностях воссоздает ту бурную эпоху, когда театральные премьеры и литературные вечера нередко заканчивались криками, скандалами, потасовками и вмешательством полиции — настолько накалены были страсти. В барах и литературных кафе играл джаз, встречались деятели культуры и представители богемы, среди которых были и две женщины, сыгравшие особую роль в жизни Десноса, — Юки Фуджита и Ивонн Жорж.

Трагическая и чувственная певица Ивонн Жорж была равнодушна к поэту, их объединяла лишь страсть к опию. Как и полагается подобной героине, она ушла из жизни молодой, в 1930 году. Юки, которая также увлекалась алкоголем и наркотиками, танцевала на столах и опустошала все бокалы в пределах досягаемости, была менее склонна к самоуничтожению. Она, одна из королев парижской ночной жизни, стала подругой Десноса, именно о ней он думал в концлагере годы спустя.

Робер Деснос – доброволец в Марокко, 1921 год

После немецкой оккупации Парижа убежденный антифашист Деснос начал сотрудничать с газетой "Ожурдюи", которую тогда возглавлял его друг Анри Жансон. Как член подпольной сети "Действие" Деснос поставлял информацию движению Сопротивления и помогал изготавливать фальшивые документы. Доминик Дезанти часто виделась с ним в тот период — у них были общие интересы.

22 февраля 1944 года Робера Десноса арестовывали и отправили в концлагерь. Пройдя Освенцим и Бухенвальд, он оказался в лагере в Саксонии, откуда всех оставшихся в живых узников эвакуировали перед наступлением войск союзников. Деснос, превратившийся к тому времени в еле живую тень, мечтал лишь об одном: еще раз увидеть Париж и Юки. 8 июня 1945 года, через месяц после окончания войны, он умер от тяжелой болезни — удивительное сходство с судьбой Аполлинера, которого он оплакивал в конце предыдущей войны.

Он делает историю

Драматург, писатель и философ Вацлав Гавел — уникальный пример сочетания политической власти и морального авторитета (сравнить его можно разве что с Нельсоном Манделой). Недавно в британском издательстве "Блумсбери" увидела свет биография Гавела, написанная его другом Джоном Кином, "Вацлав Гавел: Политическая трагедия в шести актах". Почему же трагедия? И почему в шести актах?

Дж. Кин делит жизнь Гавела на шесть этапов: студент во времена просталинского режима; драматург и эссеист в 1960-е; свидетель провала попытки "социализма с человеческим лицом", Пражской весны 1968 года; диссидент и политзаключенный, один из главных вдохновителей и представителей "Хартии-77"; активный участник "бархатной революции" и, наконец, президент Чехословакии, а затем Чешской Республики. Рассказывая об этапах этого большого пути, автор рисует портрет живого, реального Гавела, со всеми его недостатками, достоинствами и многочисленными своеобразными, если не сказать экстравагантными, чертами.

Среди таких черт можно упомянуть, например, многочисленные любовные связи Гавела (как известно, Гавел, написавший знаменитые тюремные письма своей жене Ольге, выйдя из заключения в 1977 году, первые несколько недель на свободе провел с любовницей). Довольно эксцентрично для главы государства и то, что по коридорам огромного президентского дворца он катается на детском самокате. Гавел также известен как любитель рок-музыки, хорошей туалетной воды и долгого утреннего сна; возможно, эти привычки являются следствием его "буржуазно-

го" происхождения: родители будущего президента были так называемыми "культурными капиталистами", владельцами чешской киностудии "Баррандов".

Но почему же в названии книги фигурирует слово "трагедия"? По мнению Дж. Кина, источник трагедии Гавела заключается не в противоречии между общественным деятелем и реальным человеком и даже не в потере некоторой части популярности за последние годы — это в той или иной степени характерно для любой политической карьеры. Главное противоречие заключается в несоответствии двух образов общественного деятеля: мужественного диссидента, проповедующего "жизнь по правде" и президента-постмодерниста, рассуждающего о необходимости военного вмешательства НАТО в европейские конфликты. Беззащитный драматург в мятом пиджаке, демонстрирующий несгибаемую силу духа в своем противостоянии тоталитарному режиму, возможно, слишком быстро превратился в респектабельного европейского политика, который защищает западные ценности и которому аплодирует американский конгресс.

История творилась столь стремительно, что даже Гавел, непосредственный участник и соавтор происходящих перемен, не всегда верил собственным глазам и ушам: фото- и кинокамеры запечатлели его изумленное лицо во время первого официального обеда в качестве президента. Опальный критик и драматург стал ключевой политической фигурой, в стране произошло чудо "бархатной революции", при Гавеле-президенте перестала существовать ЧССР, мирно — что само по себе поразительно — разделившись на Чехию и Словакию, и, наконец, Чехия вступила в европейские структуры, включая НАТО, — и все это за период, в историческом масштабе равный секунде. В эссе 1978 года "Власть бессильных" Вацлав Гавел проанализировал то, как социализм нравственно калечит людей, превращая в послушных режиму марионеток даже самых лояльных граждан. Сегодняшний Гавел показал миру не менее важную вещь: Чехии, как и другим странам, не нужен "третий путь" развития, поскольку второго — просто не было. Жизненная пьеса Гавела еще не закончилась, и надо надеяться, что в ней будет еще много интересных актов.

По материалам газет "Стампа-Туттолибри" [Италия], "Глоб энд мейл оф Кэнада" [Канада), журналов "Лондон ревью оф букс" [Великобритания] , "Ньюсуик" [США], "Магазин литтерер" [Франция].

Что читают в мире?

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров газеты «Ю-Эс-Эй тудей» от 7 мая 2000 г.

1 SPENCER JOHNSON
Who Moved My Cheese

2 TONI MORRISON
The Bluest Eyes

3 NORA ROBERTS
River's End

4 RICHARD KIYOSAKI
Rich Dad, Poor Dad

5 IRIS JOHANSEN
The Killing Game

6 JACK CANFIELD
Chicken Soup for the Teenage Soul III

7 MARY HIGGINS CLARK
Before I Say Good-Bye

8 BILLIE LETTS
Where the Heart Is

9 J.K.ROWLING
Harry Potter and the Sorcerer's Stone

10 MARIA SHRIVER
Ten Things I Wish I'd Known – Before I Went Out into the Real World

Ричард Форд
Richard Ford
[р.1944]. Американский писатель.

Автор пяти романов, в том числе *Спортивный журналист* [*The Sportswriter*, 1986], *День независимости* [*Independence Day*, 1995], сборника новелл *Женщины с мужчинами* [*Women with Men*, 1997].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Рок Спрингс* [*Rock Springs*. New York, Vintage Books, 1988].

Чеслав Милош
Czesław Miłosz
[р. 1911]. Польский поэт, прозаик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии [1980]. Профессор славистики в Калифорнийском университете в Беркли.

Автор около 30 стихотворных сборников на польском и английском языках, сборников эссе *Подневольный разум* [*Zniewolony umysł*, 1953], *Земля Ульро* [*Ziemia Ulro*, 1977], *Поиски родины* [*Szukanie ojczyzny*, 1992], *Собачонка на обочине* [*Piesek przydrożny*, 1998], автобиографической книги *Долина Иссы* [*Dolina Issy*, 1955] и др.
В *ИЛ* стихи и проза Ч. Милоша печатались в 1991, № 5; 1992, № 8, 9; 1995, № 1.
В номере публикуются фрагменты поэмы Ч. Милоша *Город без имени* [*Miasto bez imienia*. Warszawa, Czytelnik, 1981].

Франсуа Каванна
[Литературное имя — Каванна]
François Cavanna
[р.1923]. Французский писатель, журналист, художник-карикатурист, лауреат премии Интералье [1979].

Автор серии автобиографических романов *Семья Рюскофф* [*Les Ruscoffs*, 1979], *Глупый и злой* [*Bête et méchant*, 1983], *Глаз зайца* [*L'oeil du lapin*, 1986] и др. Выпустил ряд юмористических произведений в серии *Тайный юмор* [*Humour secret*].
Роман *Сердце не камень* [*Coeur d'artichaut*] вышел в 1995 году в парижском издательстве Albin Michel.

Тед Хьюз
Ted Hughes
[1930–1998]. Английский поэт, лауреат литературных премий Англии и США.

Автор сборников стихов *Ястреб под дождем* [*The Hawk in the Rain*, 1957], *Ворон* [*Crow*, 1970], *Муртаун* [*Moortown*, 1980] и др., сборника пьес *Пришествие королей* [*The Coming of the Kings*, 1970].
В русском переводе стихи Т. Хьюза печатались в книге *Из современной английской поэзии* [М., 1976], в *ИЛ* [1983, № 4] и других изданиях.
Публикуемые стихи взяты из книги Т. Хьюза *Письма ко дню рождения* [*Birthday Letters*. London, Faber and Faber, 1998].

Михал Вивег
Michal Viewegh
[р.1962]. Чешский писатель, лауреат премии Иржи Ортена [1993].

Автор книг *Взгляды на убийство* [*Názory na vraždu*, 1990], *Идеи любезного читателя* [*Nápady laskavého čtenáře*, 1993], *Воспитание девушек в Чехии* [*Výchova dívek v Čechách*, 1994]. В *ИЛ* был напечатан роман *Лучшие годы – псу под хвост* [1997, № 4].
Перевод романа *Летописцы отцовской любви* [*Zapisovatelé otcovský lásky*] выполнен по изданию Brno, Nakladatelstvi Petrov, 1998.

Ефим Григорьевич Эткинд
[1918–1999]. Филолог-компаративист, исследователь русской и зарубежных литератур, пере-

Автор ряда научных трудов, в том числе *Поэзия и перевод* [1963], *Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина* [1973], *Материя стиха* [1978], *Кризис одного искусства. Опыт поэтики поэтического перевода* [*Un art en crise. Essai de poétique de la traduction poétique*, 1982], *Там, внутри. О русской поэзии XX века* [1996], *"Внутренний че-*

водчик. С 1974 г. — в эмиграции.

ловек" и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской литературы XVIII–XX вв. [1998], *Божественный глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции* [1999]. Составитель многих антологий зарубежной поэзии в русских переводах и русской поэзии в переводах на французский и немецкий языки.
В *ИЛ* печатались его статьи *...Как Феникс из пепла (Поэзия Анны Ахматовой на Западе. Германия и Франция)* [1989, № 2], *Вопреки всему* [1998, № 2] и ответы на анкету [1989, № 3].
Эссе Е. Г. Эткинда печатаются по рукописи.

Михаил Давидович Яснов
[р.1946]. Поэт и переводчик французской поэзии.

Автор пяти книг лирики, многих сборников стихов и переводов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Э. Ростана, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4] и Ж. Рубо [1999, № 8].

Константин Аркадьевич Долинин
[р.1928]. Филолог-романист, доктор филологических наук, переводчик с французского.

Автор ряда статей и книг [*Интерпретация текста*, 1985, *Стилистика французского языка*, 1987 и др.].

Переводчики

Лариса Георгиевна Беспалова
Переводчик с английского и французского языков.

В ее переводе издавались произведения И. Во, Б. Бейнбридж, Э. Дж. Гейнса, К. Э. Портер, У. Фолкнера, В. Вулф, С. Беккета, С. Беллоу и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Сергей Михайлович Морейно
[р.1964]. Поэт, переводчик с немецкого и польского языков.

Автор трех стихотворных сборников. В его переводах печатались стихи П. Целана, Г. Бенна, Г. Айха, Ч. Милоша и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Алсу Шагитовна Губайдуллина
Переводчик с французского языка.

Ранее занималась переводами технической литературы. Данная публикация в *ИЛ* — ее первый опыт художественного перевода.

Глеб Юрьевич Шульпяков
[р. 1971]. Поэт, критик, переводчик.

В его переводе публиковались стихи современных британских поэтов К. Смита, С. Хилл, Д. Константайна и др. Составитель и один из переводчиков книги эссе и стихотворений У. Х. Одена *Чтение и Письмо* [М., Независимая газета, 1998]. В *ИЛ* в его переводе печатались стихи Р. Хасса [1999, № 6].

Нина Михайловна Шульгина
Переводчик, критик, лауреат литературной премии *ИЛ* [1987] и словацкой премии имени О. П. Гвездослава.

В ее переводе издавались многие произведения чешских и словацких писателей, в том числе В. Шикулы, Р. Слободы, И. Климы, М. Кундеры, М. Вивега и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны романы М. Кундеры *Шутка* [1990, № 9, 10], *Невыносимая легкость бытия* [1992, № 5, 6], *Бессмертие* [1994, № 10], вышедшие позже отдельными книгами в издательствах Азбука и Амфора, а также роман М. Вивега *Лучшие годы псу под хвост* [1997, № 4].

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

л и н и я - а р т

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

В оформлении обложки использован фрагмент работы чешского фотохудожника Яна Саудека
Ловя ветер [1984]

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев

Компьютерная верстка Светлана Бейлезон

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
Тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@adicom.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
"Англия" —
Хлебный пер., д.2/3
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д.28
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д.46
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

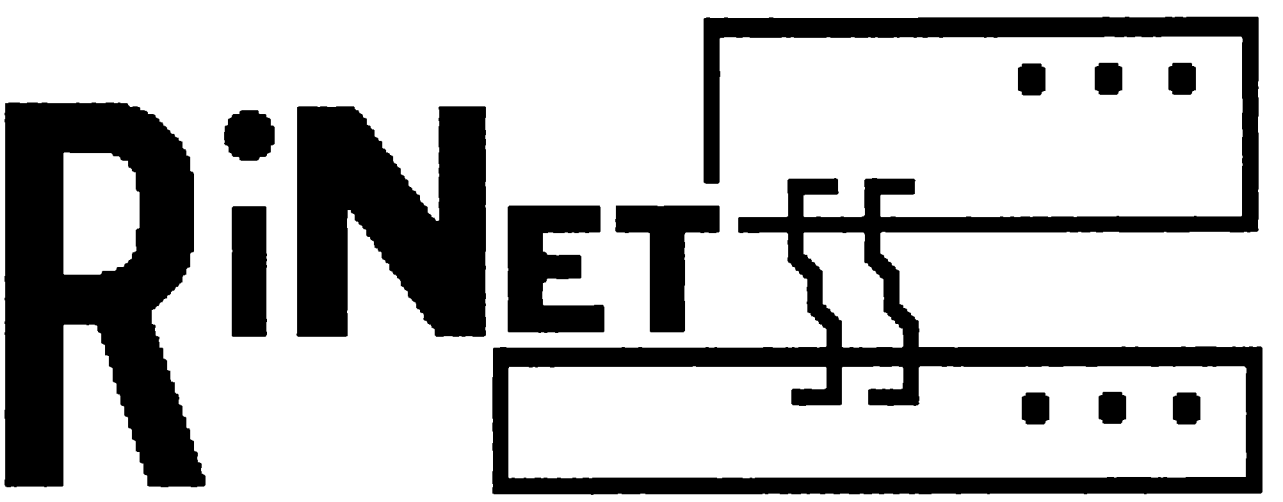
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 29.05.2000.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28,35.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,72.
Заказ №1406.
Тираж 13 930 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

ON-LINE ALL TIME

- Подключение к сети Интернет
- Электронная Почта
- Хостинг



1-й Хвостов переулок, 11а
метро "Полянка", "Октябрьская"

232-1730
238-3922

admin@rinet.ru
WWW.RINET.RU

---

[7] 2000

В следующем номере:

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ДЖОЗЕФ КОНРАД: МЕЖДУ МИРАМИ" — БЕРТРАН РАССЕЛЛ, ФОРД М. ФОРД, КАРЕН ХЬЮИТТ, СТЕФАН ЖЕРОМСКИЙ / РОМАН БЕРИЛ БЕЙНБРИДЖ "МАСТЕР ДЖОРДЖИ" / ИСПАНСКАЯ ПЕСЕННАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА / РАССКАЗ ИНГЕБОРГ БАХМАН "СМЕРТЬ ПРИДЕТ" / ЭССЕ МАЙКЛА СКАММЕЛЛА "ПЕРЕВОД НАБОКОВА, ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПЕРЕПИСКЕ"

ИНДЕКС 70394

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР

В нашей новой книжной серии **“Иллюминатор”** читайте лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

006. Марек Хласко “Красивые, двадцатилетние”. **007**. Малькольм Брэдбери “Профессор Криминале”. **008**. Кадзуо Исигуро “Остаток дня”. **009**. Алан А.Милн “Двое”. **010**. Т.Корагессан Бойл “Восток есть Восток”

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@adicom.ru

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2000, №6, 1-288